Д·Л·МОРДОВЦЕВ

СОЧИНЕНИЯ

Д. Л. МОРДОВЦЕВ

СОЧИНЕНИЯ

В ДВУХ
ТОМАХ

●

Д. Л. МОРДОВЦЕВ

СОЧИНЕНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ

Москва
«Художественная литература»
1992

Д. Л. МОРДОВЦЕВ

СОЧИНЕНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ

1

ВЕЛИКИЙ РАСКОЛ

•

ФАНАТИК

Москва
«Художественная литература»
1992

ББК 84Р1
М79

СОСТАВЛЕНИЕ, ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
И КОММЕНТАРИИ

Ю. В. Лебедева

ОФОРМЛЕНИЕ ХУДОЖНИКА

В. Н. Ходоровского

М $\frac{4702010101-183}{028(01)-92}$ без объявл.

ISBN 5-280-02675-1 (Т. 1)
ISBN 5-280-02676-Х

ДАНИИЛ ЛУКИЧ МОРДОВЦЕВ
(1830—1905)

Пожелтевшие отчеты провинциальных русских и украинских библиотек конца XIX — начала XX веков свидетельствуют, что в числе наиболее популярных писателей неизменно оставался тогда Даниил Лукич Мордовцев, не избалованный критикой, но в широких читательских кругах снискавший славу «Вальтера Скотта отечественного Парнаса». В одной из статей по поводу пятидесятилетнего юбилея его литературной деятельности не случайно отмечалось, что, «быть может, после Гоголя никто из наших деятелей печати так не послужил культурному братству обоих разветвлений великого восточного славянского племени, как Даниил Лукич, и вот почему он должен быть дорог этим обоим разветвлениям»[1]. Писатель-демократ, глубокий знаток тревожных судеб русского и украинского народов, по оценке М. Е. Салтыкова-Щедрина, сохранял в своих произведениях «трезвый, положительный, иногда довольно осторожный и часто вполне светлый взгляд на события минувшей истории нашего отечества»[2].

1

В эпоху смут после гетмана Мазепы, когда державной волею Петра украинское казачество стало терять одну за другой все былые свои привилегии, началось бегство наиболее свободолюбивых казаков на восток, в слободскую Украину и даже в Область Войска Донского. В казачьей слободке Даниловке, живописно раскинувшейся по берегу речки Медведицы, в одной из таких украинских семей как священная реликвия хранилась старая икона, на окладе которой было

[1] Исторический вестник, 1905, № 2, с. 602.
[2] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 9. М., 1970, с. 581.

вычеканено: «Сей образ сооружен тщанием и трудами бывшего сотника малороссийских войск Иоанна Власиева Слепченко-Мордовцева» и стоял год чеканки — 1719-й. Этот сотник был прадедом Даниила Лукича Мордовцева, который родился в Даниловке 7 декабря 1830 года. Отец его был управляющим этой слободки, доверенным лицом помещиков Ефремовых, которым Даниловка и принадлежала. Здесь он женился на дочери местного священника Дионисиева. Даниил был младшим ребенком в семье Мордовцевых и рос под опекой трех старших братьев, сестры и, конечно же, хранительницы-матушки, которая очень любила своего «мизинчика», с пеленок оставшегося без отца: он умер, когда Данилке не было еще и года.

С первыми проблесками сознательной жизни мальчика окружили семейные легенды и предания. Рассказывали об архиве с какими-то тайными бумагами из канцелярии самого Мазепы, с которым был близок прадед Иван Власьевич. Но еще дедушка сжег этот архив по совету казаков, так как в нем были документы о Мазепе, содержание которых могло навлечь большие неприятности со стороны властей. Документы пропали, но мечты о свободной и вольной Украйне, о ее исторических героях оживали в долгих зимних беседах взрослых у камелька. Заслушивался мальчик рассказами казака Ивана Устенко о запорожской вольнице, о былых казачьих походах, об изгнании Бонапарта из российских пределов. Тут Иван Устенко особенно оживлялся, не скупясь на описания и своих «геройских подвигов». Была у Данилки, как водилось в добрые времена, нянюшка Оксана с целым коробом украинских сказок и завораживающим слух многоголосием украинских народных песен. Мальчик рос в атмосфере певучей украинской речи, а первые уроки грамоты получил в пять лет, причем грамоты не русской и не украинской, а старославянской: его учил по древним книгам племянник матери, слободской дьячок Федор Листов. Недостатка в таких книгах в доме не было. Отец Данилки, по воспоминаниям старожилов, «был хохол старого закала, начетчик, любитель древней письменности и обладатель обширной старинной библиотеки»[1].

[1] Исторический вестник, 1905, № 2, с. 583.

Уроки дьячка не прошли даром: в семь лет мальчик, к удовольствию учителя, сочинил первые стихи на малороссийском языке и написал их древнеславянскими буквами. А однажды в сундуке с книгами мальчик случайно наткнулся на «Потерянный рай» Мильтона в переводе Амвросия Серебреникова, префекта Московской духовной академии. Впервые Данилка столкнулся с тайнами другого, тоже близкого к украинскому и довольно понятного русского языка. Книга эта произвела на него огромное впечатление, картины борьбы злых духов с ангелами воспаляли воображение, преследовали во сне. А если учесть, что матушка воспитывала детей «в страхе Божием», то обострялись до предела и религиозные чувства слободского мальчугана. Наделенный от природы цепкой памятью, он выучил наизусть почти всю поэму и долгое время находился под гипнотическим обаянием ее суровых образов.

Проходили зимние дни, оживала степь, птичьим гомоном наполнялся лес — и тогда мальчуган в стайке слободских ребятишек с утра до позднего вечера предавался утехам поэтического крестьянского детства. «Мы, деревенские ребятишки, бродили по лесу ватагами, разоряя птиц и собирая «козельцы», зато изучили природу до тонкостей и знали каждую птицу, каждое дерево, каждую травку»,— вспоминал Мордовцев [1].

Но к девяти годам неожиданно оборвалось беззаботное детство. Даниила вместе с двумя старшими братьями посадили на подводу и увезли в станицу Усть-Медведицкую на Дону в местное окружное училище. Тяжело переживал мальчик отрыв от семейного гнезда, плакал от горькой обиды, когда дети степных помещиков смеялись над его украинской речью и дразнили «хохлом-мужиком». Но не подвела Данилку казачья кровь: был он мальчиком гордым, упрямым и настойчивым в достижении поставленной цели. Так что и года не прошло, как овладел он легко и свободно русской речью и обогнал своих насмешников прилежанием и успехами, а перед летними вакациями имя Даниила Мордовцева уже появилось в училище «на красной

---

[1] См.: Быков П. В. Д. Л. Мордовцев. Критико-биографический очерк.— Полн. собр. историч. романов, повестей и рассказов Д. Л. Мордовцева, т. 1. М., 1914, с. IV.

доске». С похвальным листом он вышел отсюда в возрасте 14 лет.

В августе 1844 года вместе со старшим братом, «записавшимся в купцы», Мордовцев приехал в Саратов и поступил во второй класс гимназии. Здесь у юноши появились первые друзья, с которыми он поддерживал связь всю жизнь и которым суждено было сыграть выдающуюся роль в истории русской науки. Он тесно сошелся с двоюродным братом Н. Г. Чернышевского Александром Николаевичем Пыпиным, будущим автором уникальной «Истории славянских литератур» и трудов по русскому расколу. Друзья увлекаются «Космосом» Гумбольдта, чертят карты звездного неба. Но рядом с астрономией их завораживает не менее загадочный мир истории, волнуют судьбы южного славянства, уже пробуждающегося к великой освободительной борьбе. Вместе с Мордовцевым и Пыпиным в Саратовской гимназии учится Павел Аполлонович Ровинский, будущий писатель и ученый-славист, неутомимый путешественник по славянским землям, Сибири и Китаю, автор капитального двухтомного труда «Черногория в ее прошлом и настоящем». В тесном товарищеском кружке издается свой рукописный журнал, в котором Мордовцев, по его поздним воспоминаниям, «свирепствует в стихах и в прозе». А когда в 1849 году выходит перевод «Одиссеи» Гомера, сделанный В. А. Жуковским, озорной гимназист пишет гекзаметрами шуточную «Одиссею» Саратовской гимназии, выставляя в ирои-комическом виде и весь гимназический ареопаг, и своих друзей-товарищей. Через Пыпина Мордовцев знакомится с талантливым юношей, студентом Саратовской духовной семинарии Николаем Гавриловичем Чернышевским, мечтающим оставить богословские науки и уехать в Петербург, в университет.

В столь благоприятном дружеском окружении, располагающем к серьезным занятиям, одержимом страстью к знаниям, Мордовцев много и усердно работает, восполняя недостатки слободского воспитания, успешно овладевает новейшими европейскими языками, знакомится с древнееврейским, татарским и калмыцким, сочиняет гекзаметры на латинском, а древнегреческие тексты переводит с листа. О незаурядных лингвистических способностях гимназиста ползет молва по Саратову, и в старших классах он уже

дает уроки в знатных саратовских домах, и в частности, в семье молодой вдовы Анны Никаноровны Пасхаловой, женщины незаурядной, последовательницы новейших идей женской эмансипации, первой собирательницы народных песен Поволжья.

2

В 1850 году, успешно окончив Саратовскую гимназию, Мордовцев едет в Казань поступать в университет, надеясь только на свои знания и способности и сознавая, как мало шансов у него, стараниями старшего брата приписанного к купеческому сословию, получить высшее образование. Русское правительство, напуганное размахом революционных событий в Западной Европе, ужесточает до предела условия приема. Число своекоштных студентов в университетах России ограничено в 300 мест (нет ограничений только на медицинские факультеты). Изучение гуманитарных наук стеснено суровыми мерами. Учеба в университете даже для дворянской молодежи считается излишней: ей рекомендуется «поступать в военно-учебные заведения или прямо в ряды войск». В число казеннокоштных студентов можно попасть лишь за особые успехи только со второго курса. А. М. Скабичевский, поступивший на первый курс филологического факультета Петербургского университета в 1856 году, с удивлением обнаружил, что «второй курс состоял из трех студентов, а третий из одного»!

Вероятно, эти сложные обстоятельства и заставили Мордовцева держать экзамен на физико-математический факультет. Однако его блестящие ответы по гуманитарным дисциплинам привели экзаменаторов в восторг. «Как можно с такими удивительными знаниями по предметам не из области математики избрать факультет математический?» — недоумевали профессора, и, по-видимому, благодаря их настойчивости Мордовцев стал вопреки всему студентом первого курса историко-филологического факультета.

Здесь под руководством профессора Виктора Ивановича Григоровича он с полной самоотдачей занялся изучением языковедения и славянских наречий. К тому вре-

мени Виктор Иванович был довольно известным в России ученым-славистом, автором «Исследования о церковнославянском наречии» и «Опыта изложения литературы словен в ее главнейших эпохах». Показательно, что славянские литературы Григорович впервые осмысливал системно-исторически: они рассматривались в его работе параллельно друг другу, как части одного целого, причем сопоставлялись литературные факты из жизни таких народностей, за которыми до сих пор не признавалось никакой литературы. Григорович знал славянские языки и литературы не только по русским книжным источникам. Он совершил два длительных путешествия по славянским землям, находившимся тогда под игом Турции и частью Австро-Венгрии. Молодой профессор привлекал студентов как широтой эрудиции, так и простотой общения, товарищеской близостью. В назначенные дни на его квартире запросто собирались студенты-филологи и слушали рассказы ученого о его заграничных путешествиях, о трагической истории юго-западных славян.

Как ни удачно было начало студенческих лет Мордовцева в Казани, его все-таки манила к себе столица, Петербург. Друг А. Н. Пыпин, поступивший на историко-филологический факультет Петербургского университета, в письмах к Мордовцеву всячески настаивал на переводе: он был в восторге от лекций Измаила Ивановича Срезневского, выдающегося ученого-слависта, знатока украинской этнографии, автора книги «Запорожская старина», создателя трехтомного «Словаря древнерусского языка» и многочисленных исследований по языку и истории южного славянства. Привлекала университетскую молодежь идея будущего общеславянского федеративного объединения, которую Срезневский неизменно проводил в своих университетских лекциях.

По совету Пыпина, Мордовцев перевел для Срезневского стихами на украинский язык с чешского знаменитую «Краледворскую рукопись» и переслал свой труд в Петербург. Удовлетворенный лингвистическими способностями юноши, Срезневский поддержал прошение Мордовцева, и в 1851 году Даниил Лукич отбыл из Казани на второй курс историко-филологического факультета Петербургского университета.

Времена тогда были суровые. После февральской революции 1848 года во Франции и разгрома социалистического кружка петрашевцев в России наступила реакционная полоса николаевского царствования, получившая название «мрачного семилетия». Но живая академическая жизнь в стенах Петербургского университета не прекращалась. Студенты-филологи объединились в кружок и увлеченно занимались литературой, историей и славянскими языками. Наряду с Мордовцевым и Пыпиным в кружке участвовал Владимир Иванович Ламанский, будущий историк и один из близких друзей Мордовцева, на всю жизнь сохранивший верность идее славянского объединения. В Оресте Федоровиче Миллере, молодом стихотворце, знатоке русского художественного слова, формировался профессор истории русской литературы, автор трехтомного труда «Русские писатели после Гоголя». В мир Древней Греции самозабвенно погружался Василий Васильевич Бауэр: ему суждено было стать одним из воспитателей наследника престола, Александра III, которому он будет читать сначала древнюю, а потом новую историю.

В студенческие годы Мордовцев страстно увлекается славянскими языками и историей, читает Пушкина, Гоголя, Лермонтова и особенно близкого, кровно родного ему поэта Тараса Шевченко, томящегося в суровой оренбургской ссылке. На каникулы он регулярно уезжает в свою Даниловку, интересуется историей донского казачества, слушает песни бандуристов, записывает легенды, сказки, предания. Под руководством профессора Срезневского Мордовцев пишет научный трактат «О языке «Русской правды», за который получает золотую медаль. По-прежнему увлекается юноша стихами и в подражание Шевченко сочиняет на украинском языке поэму «Казаки и море». В 1854 году он заканчивает полный курс университета со степенью кандидата, но, вопреки ожиданиям друзей, пренебрегает открывающейся перед ним ученой карьерой и уезжает в Саратов.

3

Что влекло Мордовцева в русскую провинцию? Вероятно, не только теплые гимназические воспоминания. Есть основание предположить, что главным центром

притяжения тут был незаурядный человек, выдающийся русский и украинский историк Николай Иванович Костомаров, оказавший решающее влияние на мировоззрение Мордовцева и даже на его личную судьбу. Костомаров появился в Саратове в 1848 году по «не зависящим от него обстоятельствам». Он отбывал здесь десятилетнюю ссылку после разгрома Кирилло-Мефодиевского братства и жил под надзором полиции вместе с матерью в небольшом домике на окраине Саратова. Он был постоянным гостем в доме Анны Никаноровны Пасхаловой, где гимназист старших классов Даниил Мордовцев давал частные уроки детям хозяйки. Тут, по всей вероятности, и произошла встреча Мордовцева с Костомаровым, быстро перешедшая в духовный союз преданного ученика и благодарного учителя, идеи которого нашли в душе юного гимназиста восторженный отклик.

В 1846 году преподаватель истории Киевского университета Н. И. Костомаров организовал кружок, члены которого были преданы идее возрождения украинской народности и намеревались воплотить ее в жизнь. В этот кружок входили П. А. Кулиш, А. В. Маркович, В. М. Белозерский, Н. И. Гулак, Т. Г. Шевченко, Н. И. Савич. Вскоре кружок реорганизовался в Кирилло-Мефодиевское общество со своею программой и уставом. В написанных Костомаровым воззваниях «Братьям украинцам», «Братьям великороссиянам и полякам» провозглашалась евангельская мысль о «равенстве и братстве», призванная объединить все угнетенные славянские племена. В основу идеологии общества была положена идея христианского социализма. В неизданной «Книге бытия украинского народа» Костомаров утверждал, что все исторические беды человечества связаны с тем, что «род человеческий забыл Бога и отдался дьяволу», сотворив себе земных кумиров. Отступление от социалистических мыслей Спасителя началось еще в Римской империи, когда враги христианства, императоры, приняли учение Христа на словах, а на деле извратили его в свою собственную пользу. Так случилось в Византии, так произошло и в папском Риме. Отныне история двух ветвей христианства, православной и католической, приняла нехристианский характер. Костомаров отрицательно оценивает и Французскую революцию. «На французах Господь хотел показать всем

народам, что нет свободы без Христовой веры. Несчастье славянских народов в том, что они не могут жить в согласии друг с другом и что, по примеру других народов, они завели у себя королей и царей. Великороссияне своего царя приравняли даже к земному Богу. Но не этого хочет народ, в частности, Украина с ее братствами и казачеством. «Истинный украинец, будет ли он происхождения простого или дворянского, должен не любить ни царя, ни господина, а должен любить и помнить одного Бога Иисуса Христа, царя и господина неба и земли»... Тем более что в России, например, царь — деспот и вовсе не славянин, а немец, и чиновники его — немцы, да и дворяне скоро переделаются в немцев или французов».

Но когда угнетенная Украина возвысит свой голос, ее услышат все страдающие братья, «и восстанет Славянщина, и не останется ни царя, ни царевича, ни царевны, ни князя, ни графа, ни герцога, ни сиятельства, ни превосходительства, ни пана, ни барина, ни крестьянина, ни холопа ни в Великой России, ни в Польше, ни в Украине, ни в Чехии, ни у хорутан, ни у сербов, ни у болгар»[1].

Евангельские социалисты Кирилло-Мефодиевского братства принципиально отрицали пути революционного насилия, надеясь достичь своей цели совершенно мирными средствами. В «Главных правилах» общества утверждалось: «Как все Общество в совокупности, так и каждый член должны свои действия соображать с евангельскими правилами любви, кротости и терпения; правило же: цель освящает средство — Общество признает безбожным»[2]. Не случайно впоследствии и Костомаров, и его ученик Мордовцев осуждали социализм русских «нигилистов» за допущение революционных путей борьбы. Оба они ратовали за союз нравственности с политикой и провозглашали идеи христианской политики как единственный путь обновления и возрождения Славянщины.

Будущее славянского мира виделось Костомарову единой, дружной и вольной семьей. «Взаимность славянских народов в нашем воображении не ограничивалась уже

[1] См.: Сакулин П. Русская литература и социализм. Часть первая. Ранний русский социализм. М., 1924, с. 291—292.
[2] Там же, с. 289.

сферою науки и поэзии, но стала представляться в образах, в которых, как нам казалось, она должна была воплотиться для будущей истории,— писал Костомаров в своей «Автобиографии».— Помимо нашей воли стал нам представляться федеративный строй, как самое счастливое течение общественной жизни славянских наций... Во всех частях федерации предполагались одинакие основные законы и права, равенство веса, мер и монеты, отсутствие таможен и свобода торговли, всеобщее уничтожение крепостного права и рабства в каком бы то ни было виде, единая центральная власть, заведующая сношениями вне союза, войском и флотом, но полная автономия каждой части по отношению к внутренним учреждениям, внутреннему управлению, судопроизводству и народному образованию» [1].

Кирилло-Мефодиевское общество просуществовало не более года. Студент Петров, подслушавший беседы участников кружка, настрочил донос, и весною 1847 года члены общества были арестованы, обвинены в государственном преступлении и наказаны. Т. Г. Шевченко сослали солдатом в Оренбургскую губернию. Н. И. Костомаров, просидев год в Петропавловской крепости, был «переведен на службу в Саратов», под надзор местной полиции, с запретом преподавания и печатания своих произведений, на должность секретаря губернского статистического комитета.

Здесь он не пал духом, продолжал писать начатый в Киеве исторический труд о Богдане Хмельницком, задумал новую историческую работу о внутреннем быте Московского государства XVI—XVII веков, а также вместе с А. Н. Пасхаловой совершал этнографические экскурсии, собирая песни и предания Поволжья, знакомясь с раскольниками в Иргизских скитах. Вокруг Костомарова сформировался небольшой кружок саратовской интеллигенции, куда был вхож и Мордовцев, ставший одним из самых решительных последователей исторических взглядов своего учителя.

«Отчего это во всех историях толкуют о выдающихся государственных деятелях, иногда о законах и учреждениях, но как будто пренебрегают жизнью народной массы? — гово-

[1] См.: Мякотин В. Костомаров.— Энциклопедич. словарь Брокгауза и Ефрона, т. XVI. СПб., 1895, с. 402.

рил Костомаров.— Бедный мужик, земледелец-труженик как будто не существует для истории; отчего история не говорит нам ничего о его быте, о его духовной жизни, о его чувствованиях, способе его радостей и печалей?»[1] Перед участниками саратовского кружка Костомаров развивал мысль о полной переориентации всей исторической науки: хватит заниматься историей государства — нужно писать историю народа, причем не только по мертвым летописям, но и в живом народе, через его язык, песни, легенды, предания, через его быт, в котором сохранились отголоски исторического прошлого.

Свой взгляд был у Костомарова на формирование русского централизованного государства, отличавшийся и от славянофильской школы, и от исторических концепций «государственника» С. М. Соловьева. «Русское государство,— утверждал он,— складывалось из частей, которые прежде жили собственною, независимою жизнию, и долго после того жизнь частей высказывалась отличными стремлениями в общем государственном строе. Найти и уловить эти особенности народной жизни частей русского государства составляло для меня задачу моих занятий историею»[2].

Как писатель-демократ, он сочувственно относился к цветущей сложности и многообразию народной жизни всех областей, краев и национальных гнезд внутри Российского государства. Ему казалось, что процесс централизации огромной страны мощью российского самодержавия искусственно подавил это живое и естественное многообразие, вызывая периодические вспышки народных волнений и бунтов, в которых живая историческая жизнь народа пыталась стряхнуть с себя навязываемое ей сверху деспотической рукой официальное, казенное единообразие.

История создания Московского государства воспринималась им в более мрачных и суровых красках, чем в трудах историков-славянофилов и государственников. Решительный противник самодержавия, он отстаивал идею исторической, культурной и национальной самобытности отдельных частей

---

[1] Мякотин В. Костомаров.— Энциклопедич. словарь Брокгауза и Ефрона, т. XVI, с. 402.

[2] Там же, с. 403.

и областей России, ратуя за федеративный, демократический принцип ее государственной организации. Он критически относился ко многим фактам российской истории, которые всячески возвеличивались в официальной науке и общественном мнении. «Свержение авторитетов», которое не раз предпринимал Костомаров, рассматривалось многими как покушение на исторические святыни и вызывало бурную полемику не только в академических кругах, но и на страницах популярных журналов. Здесь Костомаров, конечно, «хватал через край» и в полемическом задоре уходил от объективной истины. Но в главном он был прав. Мордовцеву глубоко импонировало «украинофильство» Костомарова, идея самостоятельного значения малорусского племени. Он всячески поддерживал полемику учителя с теми польскими и русскими историками, которые эту самостоятельность отрицали.

Но «украинофильство» Костомарова и Мордовцева никогда не переходило в национализм. Оба они не отождествляли самодержавие с русским народом, показывая, как его крайние проявления в равной мере пагубно сказываются и на украинской, и на русской национальной культуре и исторической судьбе. Более того, и Костомаров, и Мордовцев видели необходимость изучения и возрождения местных особенностей и различий внутри каждого народа. Традиции древнего Новгорода, например, во многом отличались от традиций Москвы, и это накладывало свой отпечаток на жизнь и народный характер москвичей и новгородцев. А сколько такого многоцветия таила в себе живая, многострадальная Украина, отстаивавшая веками свою самобытность под польскими, венгерскими, татарскими, турецкими, крымскими, российскими, молдавскими и прочими влияниями. И чем глубже уходила пытливая историческая мысль в анализ этих внутренних оттенков и различий, тем очевиднее становилась слепота узколобого, догматического национализма. Сколько раз перекрещивались, сливались и расходились судьбы народов в многонациональной Российской империи, как породнила и сплела их история между собой!

Идеи Костомарова и Мордовцева не оставались пустыми декларациями, они переходили в дело. В Саратове как бы закладывались первые камни в здание так называемой

областной истории. Благодаря усилиям Костомарова и Мордовцева создавался прочный фундамент для расцвета провинциальной культурной жизни, местной печати, краеведения.

Так что отъезд Мордовцева в Саратов, отказ от блестящей ученой карьеры, которая открывалась перед ним в столице, был далеко не случайным. Он связывался с принципиальными идейными соображениями и был обусловлен всей системой взглядов на прошлое, настоящее и будущее России, на призвание прогрессивно мыслящего человека, определяющего себе достойное место в движущейся истории.

4

Саратов, судя по документам и воспоминаниям, принял молодого кандидата Петербургского университета не очень радушно, что и немудрено: ведь о симпатиях бывшего гимназиста к Н. И. Костомарову, о близости его к крамольному семейству Пасхаловых местному начальству было известно давно. А. Н. Пасхалова славилась в Саратове умом и образованностью, с 1842 года под псевдонимом «А. Б-ц» она печатала в местных изданиях статьи и стихи. Близость ее к опальному Костомарову тревожила местные власти. А вернувшийся из Петербурга Мордовцев снял квартиру в доме Пасхаловой на углу Царицынской и Большой Сергеевской улиц и осенью 1854 года женился на Анне Никаноровне, женщине с двумя детьми, которая была старше его на семь лет.

Кто знает, как бы сложилась судьба Мордовцева в Саратове, если б не исторические события тех лет, круто повернувшие внутриполитический курс России в сторону демократизации, гласности и крутых правительственных реформ. В феврале 1855 года умер Николай I, а в августе пал Севастополь. Проигранная Россией Крымская война обнаружила все язвы бюрократической системы. В стране назревала революционная ситуация. Александр II взошел на русский престол с обещаниями существенных перемен «сверху». По словам С. В. Максимова, в считанные месяцы в стране произошло «небывалое событие». «Неожиданно, но определи-

тельно и ясно выражено было намерение употребить в дело силы, с которыми до той поры боролись или которых только гнали»[1].

16 августа 1856 года, не без содействия Костомарова, Мордовцев был «допущен к исправлению должности» начальника губернского стола «с исполнением обязанности переводчика того же правления», а также редактора неофициальной части «Губернских ведомостей». Так перед молодым человеком открылось, наконец, широкое поле деятельности, к которой он стремился и ради которой оставил все соблазны столичной жизни. Используя служебное положение, Мордовцев много путешествует по губернии, изучая народный быт, собирая живые крестьянские воспоминания о Разине и Пугачеве, о местных разбойниках и бунтарях, о народных восстаниях. В его распоряжении богатейший Саратовский архив с уникальнейшими документами по истории так называемой «понизовой вольницы». К сотрудничеству в «Губернских ведомостях» Мордовцев привлекает лучшие силы саратовской интеллигенции. Он близко сходится, например, с Евгением Александровичем Беловым, преподавателем географии в Саратовской гимназии. Будущий профессор истории в Царскосельском лицее и автор исследований «Об историческом значении русского боярства до конца XVII века», «О смерти царевича Димитрия», о московских смутах конца XVII века, Евгений Александрович проявляет живой интерес к русской истории и участвует вместе с Мордовцевым в разыскательской работе.

Одна за другой на страницах «Саратовских губернских ведомостей» появляются статьи Мордовцева о ярмарках Саратовского края, об исторических и статистических сведениях уездных городков и сел, о заводском и промышленном производстве, строительстве железных дорог, развитии судоходства, успехах и неудачах народного просвещения. Значительный слой публикаций посвящен истории Саратовского края. Мордовцев печатает неизданные материалы, относящиеся к прошлому Саратова, в двадцати трех номерах газеты за 1861—1862 годы публикуется уникальная саратовская летопись, приводятся исторические и статистические описа-

---

[1] Русская мысль, 1890, № 2, с. 17.

ния посада Дубровки, города Балашова, Камышинского уезда, историко-статистический очерк Царицына, Петровска и др. В центре внимания краеведческих трудов Мордовцева неизменно оказывается народная жизнь в ее настоящем и далеком прошлом. Публикуется опыт собирания материалов для нравственной статистики, дается развернутая историко-этнографическая характеристика поволжского населения, печатается исследование о разбойниках в Саратовской губернии прошлого столетия. Цикл статей Мордовцева появляется в «Памятных книжках Саратовской губернии». Выходят отдельные издания в местной печати: «Несколько данных из материалов для статистического описания Саратовской губернии» в двух книгах (1858, 1859), «Картины судоходства по Медведице и по Дону» (1858), «Саратовская губерния в прошлом веке в отношении к нынешнему ее составу» (1860).

Однако энергическая деятельность убежденного патриота областной печати и провинциальной культуры сразу же наталкивается на противодействие. Обличительный фельетон Мордовцева, посвященный местному военному сословию и опубликованный в «Губернских ведомостях» в 1859 году, навлекает на автора, а вместе с ним и на губернатора А. Игнатьева гнев высших петербургских властей. Мордовцев едет в Петербург для объяснения. К счастью, министр внутренних дел П. А. Валуев, занимавшийся тогда организацией земской статистики, увидел в лице молодого провинциала сведущего человека и незаменимого помощника. Он направляет Александру II милостивый доклад и отпускает Мордовцева в Саратов без всякой кары. Но подобный инцидент не проходит бесследно, и тернии на пути провинциального литератора с годами становятся все более и более колючими. Не случайно в 1875 году, когда с Саратовом пришлось уже навсегда расстаться, в журнале «Дело» Мордовцев опубликовал две большие статьи под названием «Печать в провинции». В них он не без горечи замечал, что как в природе большие рыбы стремятся в большие моря, так и в обществе все выдающееся тянется к крупным центрам, оставляя провинцию вдовствующей во всех отношениях. Остается лишь мечтать о том, что когда-нибудь все-таки процесс централизации остановится и сменится дорогими сердцу Мордовцева центробежными началами,

и тогда литература хлынет в провинцию к возрождению и расцвету областной культурной жизни. Но когда это произойдет?

В. Г. Короленко вспоминал, что «статья г. Мордовцева, написанная слишком наскоро и довольно сбивчиво в отношении главной мысли, однако не лишенная той талантливой и раздражающей яркости, которая вообще была присуща этому писателю, задела — может быть, неожиданно для самого автора — целую серию сложных вопросов»[1]. Началась бурная полемика; с резкой критикой пессимистических заключений Мордовцева выступил нижегородский литератор и публицист А. С. Гацисский. «Д. Л. Мордовцев отступил перед натиском и впоследствии напечатал в газетах полупокаянное обращение к Гацисскому, в котором заявлял, что ошибся, что радуется своей ошибке и даже (выражаясь своеобразным полуархаическим стилем автора) имеет «патент радования», выданный ему благодушным противником А. С. Гацисским, пионером все растущего областного слова...»[2] И все же грустное предчувствие чуткого к течению общественной жизни Мордовцева, как показала дальнейшая история России, было не лишено основания.

В Саратове, вместе с Костомаровым, Мордовцев публикует в 1859 году «Малороссийский литературный сборник», куда входят его оригинальные литературные произведения на родном украинском языке, и в частности, юношеская поэма «Казаки и море». Имя литератора и историка Мордовцева начинает привлекать внимание большой столичной прессы. В 1859 году первый исторический его рассказ «Медведицкий бурлак» появляется на страницах прогрессивной «Русской газеты» и вскоре попадает в историческую хрестоматию П. М. Перевлесского. Затем в газете И. С. Аксакова «Парус» выходит в свет историческое исследование «Самозванец Богомолов» — первый шаг автора в изучении самозванства на Руси. В «Русском слове» за 1860 год публикуется «Понизовая вольница», а в «Русском вестнике» за 1860 и 1862 годы печатаются статьи «Самозванец Ханин», «Атаман Брагин и разбойник Зубакин». О Мордов-

---

[1] Короленко В. Г. Полн. собр. соч., т. 2. СПб., 1914, с. 348.
[2] Там же, с. 349.

цеве начинают поговаривать в ученых и литературных кругах как о талантливом «бытописателе тревожных судеб русского народа». И даже сам Михаил Петрович Погодин проездом через Саратов удостоивает Мордовцева чести личного знакомства и благословения на дальнейшие исторические труды.

В Петербургском университете, куда весною 1859 года определился Костомаров, покинувший Саратов, возникает мысль о предоставлении Мордовцеву кафедры русской истории. В 1860 году к нему обращается с письмом друг студенческой юности В. И. Ламанский: «С новым годом, желаю тебе всего хорошего,— пишет он,— и, главное, перемены твоего положения, что, кажется, от тебя зависит... В университете нашем вскоре будет предлагаться кандидат на кафедру русской истории, именно новой. Костомаров и Пыпин хотят предложить тебя...»[1] Однако на призывы друзей Мордовцев ответил отказом. Не согласился он и во второй раз, когда в 1864 году кафедра русской истории оказалась свободной в связи с уходом из университета Костомарова. Карьера академического ученого Мордовцева, по-видимому, не прельщала.

О переезде провинциала в Петербург хлопотали и журналисты. В августе 1860 года редактор журнала «Русское слово» Григорий Евлампиевич Благосветлов писал своему сотруднику: «Не будет ли у вас доброго желания переселиться в Петербург? Здесь все натянуто и глупо до пошлости, но по сравнению с саратовскими степями все же есть кое-какая жизнь и, пожалуй, мысль...»[2] В 1861 году Благосветлов в очередном письме уже точно оговаривает условия сотрудничества в «Русском слове» в случае переезда Мордовцева в Петербург. Но упрямый Даниил Лукич остается верен Саратову. Лишь в 1864 году, не сойдясь с новым губернатором князем В. А. Щербацким, Мордовцев увольняется и уезжает в Петербург на должность младшего столоначальника в хозяйственном департаменте министерства внутренних дел. Но в 1867 году он вновь возвращается в Саратов и служит правителем дел в «комиссии народного продовольствия», секретарем попечительного о тюрьмах комитета,

---

[1] Исторический вестник, 1905, № 2, с. 587.
[2] Там же, с. 589.

младшим помощником правителя губернской канцелярии «для заведывания производством дел как по особому о земских повинностях присутствию, так и по делам земских учреждений». Здесь Мордовцев обстоятельно знакомится с земским движением, до тонкостей вникая во все подробности работы новых земских учреждений, и набирает богатый материал для будущей книги «Десятилетие русского земства».

В 1869 году Мордовцева назначают правителем дел губернской канцелярии и одновременно секретарем статистического комитета. Но служба в провинции уже начинает тяготить его. Не осталось в Саратове прежних друзей: Костомаров, Белов, Ган давно перебрались в столицу. Печатается теперь Мордовцев в основном в столичных журналах. К тому же в обстановке спада общественного движения, особенно после апрельского 1866 года выстрела Каракозова в Александра II, местное начальство становится все более подозрительным и недоверчивым: приходится жить в страхе за каждое неосторожное слово, а сколько таких слов уже высказал Мордовцев за многие годы своей литературной деятельности! И вот пришла пора, когда пишущий чиновник оказался не ко двору в среде провинциальной администрации. Работая в Саратовском архиве, писатель нашел яркие обличительные материалы о жизни крестьян и помещиков в предреформенные годы. Объединив очерки под рубрикой «Накануне воли», Мордовцев начал печатать их на страницах журнала «Дело». Когда саратовские дворяне и чиновники узнали себя и своих близких в очерках писателя, в столицу посыпались жалобы и доносы. Главное управление по делам печати запретило публикацию и направило обстоятельное обозрение всей журнальной деятельности Мордовцева в высшие сферы. Писатель был признан вредным и «не могущим быть терпимым на ответственном посту правителя губернской канцелярии». Весною 1872 года саратовскому губернатору М. Н. Галкину-Врасскому было указано на необходимость отставки Мордовцева от должности.

В конце 1872 года писатель появился в Петербурге. Некоторое время он жил литературным трудом, а в 1873 году был принят графом Бобринским на службу в министерство путей сообщения, где организуемый в то время стати-

стический отдел нуждался в опытных и сведущих работниках по статистике. Цикл статей «Накануне воли», запрещенных цензурою в журнале «Дело», Мордовцеву так и не удалось напечатать. Когда в 1889 году он собрал их и, дополнив новыми, хотел издать отдельной книгой, она была предана сожжению. Сожгли и опубликованные в 1877 году «Славянские драмы» писателя под предлогом того, что «австрийское правительство обидится на Россию за правдивое изображение несчастий славянства» под игом австро-венгерской монархии.

Но такие крупные неудачи не подрывали работоспособности волевого и упрямого малоросса. Весь период 1860—1870-х годов он напряженно работает в ежемесячных русских журналах в качестве историка и публициста. Его статьи за собственной подписью или под псевдонимами (Д. С...о — М...ц, Джемс-Плюмпудинг-Эсквайр, Дионисиев, Гиппократ, Евдокия Зуб, Елисавета Воробей, Фома Брут и др.) появляются в «Русском слове», «Отечественных записках», «Русском вестнике», «Деле», а также в газетах «Неделя», «Голос» и др. Когда во второй половине 1870-х годов С. Н. Шубинский редактирует журнал «Древняя и Новая Россия», Мордовцев становится деятельным его сотрудником и по-своему печется о демократическом направлении редакции, снабжая Шубинского историческими очерками и монографиями «Чума в Москве», «Суворов в народной поэзии», «Ванька Каин» и др. В одном из писем Шубинскому Мордовцев высказывает следующий совет: «Я полагаю, что в «Древнюю и Новую Россию» следует впустить р у с с к и й н а р о д, а то ваш сборник почти исключительно вертится около царей, цариц, царевен, князей и всяких высоких особ. Я хочу немножко демократизировать ваш журнал — в самом деле это необходимо»[1].

5

В конце 1860-х и в 70-е годы Мордовцев подводит итоги своей деятельности на поприще ученого-историка, издавая ряд монографий и сборников, по-своему обоб-

[1] Исторический вестник, 1905, № 2, с. 596—597.

щающих многолетние его труды: «Самозванцы и понизовая вольница» (1867), «Гайдаматчина» (1870), «Политические движения русского народа» (1871), «Русские исторические женщины допетровской Руси» (1874), «Русские женщины нового времени» (1874), «Исторические пропилеи» (1889).

Сочувственную оценку исторической концепции автора этих монографических книг дал Н. К. Михайловский в статье «Центробежные и центростремительные силы г. Мордовцева». «Почти через все исторические работы г. Мордовцева,— отмечал этот ведущий критик русского народничества,— проходит одна чрезвычайно симпатичная и глубоко верная мысль, та именно, что история не клином сошлась на внешних войнах, дипломатических сношениях и внутренних мероприятиях, составляющих излюбленную тему большинства историков. В статье «Представляет ли прошедшее русского народа какие-либо политические движения» ⟨...⟩ Мордовцев очень язвительно смеется над «большой, столбовой исторической дорогой, по которой русские историки старого пошиба любят кататься на тройке казенных лошадей с казенным колокольчиком под дугой и чуть ли не с подорожной по казенной надобности в кармане». Так, Щебальский, «в качестве ловкого чиновника исторических казенных поручений, терся только около сановных лиц русской истории и произвел ряд полицейско-исторических дознаний» по делам о разных принцах, графах и князьях. Собственный г. Мордовцева идеал истории состоит в «обстоятельной, беспристрастно и умно-художественно нарисованной картине того, как пахал землю, вносил подати, отбывал рекрутчину, благоденствовал и страдал русский народ, как он коснел или развивался, как подчас он бунтовал и разбойничал целыми массами, воровал и бегал тоже массами, в то время, когда для счастия его работали генералы, полководцы и законодатели» [1].

Мордовцев показал в своих исторических трудах, что народные волнения вынесли на поверхность отечественной истории два противоположных, но родственных между собою типа — разбойника и святого подвижника, вольницу

---

[1] Михайловский Н. К. Соч., т. 6. СПб., 1897, с. 665.

и религиозный фанатизм. «И тот, и другой тип,— отмечал Михайловский,— представляет собою протест против существующего строя и, во имя этого общего им протеста, обе крайности нередко подавали друг другу руки,— одна окровавленную, другая — изможденную постом и молитвою»[1]. В романе писателя «Великий раскол» и повести «За чьи грехи?» этот союз аскетического раскола с разгульной вольницей подчеркивается сценами свидания Степана Разина с протопопом Аввакумом и боярыней Морозовой. Отступая от реальных исторических фактов, Мордовцев остается верен духу русской истории, как он чувствовал и понимал ее.

В основе взглядов писателя на русскую историю лежит теория двух влияющих на любой общественный строй сил — центробежной и центростремительной. В связи с идеями Кирилло-Мефодиевского братства, Мордовцев отдает явное предпочтение силам центробежным. «Изучению проявления центробежной силы и ее факторов (народные движения, понизовая вольница, пугачевщина, гайдаматчина, Пугачевы, Железняки, Заметаевы, Брагины и подобные им факторы) мы посвятили бо́льшую часть наших исторических работ и полагаем, что этим скромным делом мы все-таки положили первый камень под великое здание будущей истории русского народа»[2].

В центростремительных началах, напротив, он видел по преимуществу торжество худших, деспотических сил российского самодержавия. Но ведь центробежные начала в истории русского, украинского и любого другого народа нельзя абсолютизировать и идеализировать. В том же народе, например, зрела мысль о необходимости объединения Руси, прозвучавшая в «Слове о полку Игореве» незадолго до нашествия монголов. А стремление центробежное, на определенном этапе переходящее в сепаратизм, принесло России немало бед в эпоху великокняжеских междоусобиц и едва не погубило не только государственную, но и национальную самостоятельность русского народа. Да и принятый на Переяславской Раде акт воссоединения Украины с Россией разве не был следствием полного истощения сил

---

[1] Михайловский Н. К. Соч., т. 6. СПб., 1897, с. 667.
[2] Исторический вестник, 1905, № 2, с. 597.

украинского народа, терзаемого междоусобицами и кровавыми войнами?

В исторической концепции Мордовцева явно недооценивается созидательная роль не только центробежного, но и центростремительного фактора в мировой истории. А применительно к истории отечественной ощущается некоторая глуховатость писателя и ученого к прогрессивным моментам объединения отдельных княжеств и национальных окраин вокруг Московской Руси. В оценке этого исторического процесса Мордовцеву явно не хватает диалектики. Справедливо отмечая отрицательные последствия деспотизма и самовластия, чрезмерное подавление самобытных национальных и областных традиций под державной рукою Москвы, писатель не обращает внимания на другую сторону медали, а если и делает уступки на этот счет, то крайне осторожные, дающие повод многим критикам, в том числе и Михайловскому, говорить о непоследовательности, эклектизме, неполноте и туманности его исторической позиции.

Было бы неверно относить такую непоследовательность Мордовцева лишь к его «украинофильским» симпатиям или к идее всеславянской федерации. Не менее решительно сказывалась здесь характерная как для многих либеральных, так и особенно для революционно-демократических течений прямая и бескомпромиссная оппозиция по отношению к русскому самодержавию. Волей-неволей она накладывала свой жесткий, не лишенный догматизма отпечаток и на исторические взгляды «государственников», и на концепции «демократов». И нельзя не заметить, что в напряженной борьбе «демократов» с «государственниками» Мордовцев хотел сохранить объективность: в какой-то мере его удерживала в рамках историзма апелляция к общечеловеческим нравственным ценностям.

Когда критика упрекала Мордовцева в том, что и в научных и в художественных произведениях (рассказ «Фанатик») он недостаточно преклоняется перед гением Петра-преобразователя и не симпатизирует его стремлениям обновить Россию, изгнав из нее московский дух, писатель в специальном обращении к редакции «Исторического вестника» так объяснял существо своей позиции:

«Само собою разумеется, что обвинение это ни на чем не

основано: оно вытекало из самого простого, тоже совсем обыденного обстоятельства, из того — скажу откровенно,— что критики мои совсем не занимались историей и никогда об ней серьезно не думали. В своих исторических работах, как прежних, монографических, так и в последующих, историко-беллетристических, я неуклонно пробивал тропу в одном направлении, именно — к принципиальному решению некоторых, самых притом существенных, исторических вопросов. Один из таких вопросов меня занимал постоянно, это — на стороне какого исторического процесса развития человеческих обществ лежит залог будущего, успехи знаний, добра и правды, какой исторический рост человеческих групп действительно двигает вперед человечество — свободный или насильственный? Мне всегда казалось, что последний не имеет будущего, а если и имеет, то очень мрачное.

С таким пониманием истории и ее законов я и приступал всегда к моим историческим работам. Оттого моим критикам и казалось, что я не симпатизирую некоторым историческим личностям. Но это не так: мне не симпатичны в них только их ошибки.

Относясь принципиально к царю-работнику, как к историческому деятелю, я не забываю выставленных выше и всегда носимых мною в душе тезисов о свободном и насильственном росте в истории. Я всегда стоял и буду стоять за первый, и боюсь, что с этой стороны никогда не буду понят критикою. Так, с точки зрения моих исторических тезисов, я относился и к Петру, и к Мазепе, и к Никону, и к Аввакуму, и к Алексею Михайловичу, и ко всем прочим историческим деятелям, выводимым в моих романах и повестях»[1].

Здесь безусловно сказывается главный принцип «христианской политики» Кирилло-Мефодиевского братства: «правило же: цель освящает средство — общество признает безбожным». Этот предельно широкий идеал в какой-то мере смягчал присущую исторической науке середины XIX века чрезмерную просветительскую нормативность в осмыслении истории. И с этой точки зрения творчество Мордовцева способствовало пробуждению исторической памяти, столь

[1] Исторический вестник, 1881, № 11, с. 650.

спасительной в эпоху крайнего радикализма как правого, так и левого крыла русской общественности. Утверждая, что «исторический роман не может не служить задачам современности», Мордовцев несколько иначе, чем многие его современники, понимал существо этих задач. «Задача русского народа в будущем,— писал он,— его роль в истории человечества и его взаимодействие на другие народности мира уразумеются только тогда, когда русский народ будет иметь *свою* историю...»[1] Именно потому с конца 1870-х годов Мордовцев оставляет перо историка и берет в руки кисть художника-беллетриста, создавая целую серию повестей, романов, рассказов из русской и украинской истории. «Если тогда, когда я работал для истории, я приносил хотя скрупулезную долю пользы двум-трем тысячам читателей, то теперь я приношу эту пользу 〈...〉 уже значительно большему — на многие тысячи большему числу читателей»[2].

6

Еще Н. К. Михайловский заметил, что даже в сугубо научных трудах Мордовцева бьется художественная жилка, что «его всегда тянет к образному воспроизведению исторического материала»[3]. Но до поры до времени писатель сдерживал в себе художественный талант. Собственно литературное творчество Мордовцева развивалось в 1860-е годы на родном, украинском языке. Когда в 1861 году в Петербурге П. А. Кулишом и В. М. Белозерским был открыт южно-русский ежемесячный литературно-ученый журнал «Основа», Мордовцев стал деятельным его участником. Ему импонировало стремление сотрудников журнала изучить украинскую старину и народность, защитить право украинской литературы на самостоятельное существование. Друг Шевченко и Костомарова, он опубликовал в «Основе» две малороссийские повести «Дзвонарь» и «Солдатка», от которых пришла в восторг вся грамотная Украина. «Солдатку» приравнивали к шевчен-

[1] Исторический вестник, 1905, № 2, с. 597.
[2] *Там же*, 1881, № 11, с. 643.
[3] *Михайловский Н. К.* Указ. соч., с. 664.

ковской «Катерине», а иные ставили ее даже гораздо выше этой поэмы.

В Петербурге «дид Мордовцев», как величали его земляки, учредил «украинские вечера», выступая на них оратором и чтецом. Он поддерживал все украинские благотворительные и просветительские общества и не отказывал в помощи любому украинцу, прибывавшему в северную столицу. В 1896 году Мордовцев получил следующий адрес от группы своих поклонников:

«Высокоуважаемый Даниил Лукич. Прошло сорок лет с того времени, как вдохновленная казачеством и любовью к родному краю душа ваша вылилась в поэме «Казаки и море», а вслед за тем из-под вашего пера явились повести: «Старці» и «Солдатка и дзвонарь». Это были первые ваши литературные опыты, которые вы целиком отдали своей бесталанной Украине. Чуткая душа, вылившаяся в этих повестях, искренняя любовь к родному краю и народу, необыкновенная мелодичность речи и настоящий украинский юмор,— все это обратило на вас внимание земляков и порадовало думою за родное слово и литературу. ⟨...⟩

С того времени и по сей час ежегодно являются ваши не большие, но сердечные повести и рассказы, в которых так тепло, правдиво и мастерски рисуется Украина с ее историей, ее литературою, ее горькою долею и неумирающею надеждою; живуча эта надежда у вас, живет она и у нас, и слава вам, наш друг, наш отец, за то, что вы, имея талант и счастливую долю, поддерживаете в нас эту надежду» [1].

Одним из первых опытов на русском языке был роман Мордовцева «Знамения времени», опубликованный в 1869 году в журнале «Всемирный труд» и получивший широкий общественный резонанс и читательское признание в прогрессивных кругах революционной молодежи. Мордовцев показал в этом романе жизнь русской демократической интеллигенции, так называемых «новых людей», в эпоху реакции и спада революционного движения «шестидесятников». «Свой роман,— писал В. Г. Короленко,— он начал эффектным бредом больного. В картинах этого бреда ловились намеки на казнь Каракозова. Это кидало на весь роман неуловимый для цензора, но ясно ощутимый покров

---

[1] Исторический вестник, 1905, № 2, с. 602—603.

«революционности». Можно было подумать, что автору и его героям выход из современного положения ясен, и если бы не цензура, то они бы его, конечно, указали... Роман имел в то время огромный успех. Его зачитывали, комментировали, разгадывали намеки, которые, наверное, оставались загадкой для самого автора. В качестве грядущей революционной силы в тумане рисовались... какие-то, кажется, уральские артели»[1].

Ясно, что революционно-демократическая интеллигенция искала в романе намеков на тот путь разрешения общественных конфликтов, какой самому автору «Знамений времени» представлялся опасным заблуждением. Сторонником революционных действий Мордовцев никогда не был, и в своем романе он дал на этот счет весьма решительный ответ, который революционно настроенная молодежь начала 1870-х годов постаралась не заметить:

«Мы идем в народ не с прокламациями, как делали наши юные и неопытные предшественники в шестидесятых годах... мы идем не бунты затевать, не волновать народ и не учить его, а учиться у него терпению, молотьбе и косьбе. То были дети, а мы уже не дети: мы не верим ни в благотворность французских и испанских революций, ни в благодетельность удобрения земли человеческой кровью. История научила нас не верить этим пустякам, как верили наши предшественники»[2]. Цель «новых людей» Мордовцева — в духе идей христианского социализма Кирилло-Мефодиевского общества — не крестьянская революция, а мирный процесс культурно-экономического обновления народной жизни на общинных, артельных началах.

Успех первого романа укрепил веру писателя в свой талант беллетриста, и когда в 1875 году А. С. Суворин предложил Мордовцеву написать роман из эпохи Петра I, он охотно согласился. Так в 1876 году на страницах суворинского журнала «Новое время» появился исторический роман «Идеалисты и реалисты», положивший начало целой художественной летописи, созданной Мордовцевым в 1880—1890-х годах: «Лжедимитрий» (1879), «Великий раскол» (1880),

---

[1] Короленко В. Г. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 5. М., 1954, с. 316.

[2] Мордовцев Д. Л. Знамения времени. М., 1957, с. 312.

«Двенадцатый год» (1879), «Царь и гетман» (1880), «Сагайдачный» (1882), «Господин великий Новгород» (1882), «Соловецкое сидение» (1880), «За чьи грехи?» (1890) и др.

Необыкновенная плодовитость Мордовцева-беллетриста не раз вызывала нарекания критики. А. М. Скабичевский, например, писал: «Вообще нельзя отказать Мордовцеву в таланте, в основательном знании истории и в добросовестном отношении к историческим фактам, но, к сожалению, плодовитость сильно вредит качественности его произведений. Они не создаются, не пишутся, а пекутся как блины, и при этой скороспелости производят впечатление крайней небрежности» [1].

Скабичевский во многом прав, но, как всегда, неудержим в суровой бескомпромиссности своих приговоров. Мордовцев, конечно, не является писателем первого ряда, но это ничуть не умаляет его заслуг перед нашим обществом и литературой.

Среди романов, повестей и рассказов Мордовцева на самые разные исторические темы есть одна, неизменно привлекавшая внимание писателя, которую можно назвать ключевой,— это тема раскола. Она не случайно заняла ведущее место в исторической беллетристике писателя: Мордовцев воспринимал раскол как эпохальное событие, драматические последствия которого до сих пор оказывают влияние на судьбу России.

Официальная церковь утверждала, что причины раскола коренятся в невежестве русского духовенства, которое не сумело отличить внутреннее от внешнего, содержание от формы и в неизбывной косности своей ухватилось за обрядовую сторону древнего благочестия. Мордовцев в первом романе «Великий раскол» не отвергает обвинения раскольников в невежестве, но, с другой стороны, считает его недостаточным. По мнению писателя, причиной раскола явилась ничем не оправданная нетерпимость патриарха Никона и вселенского собора 1666—1667 годов к формальным различиям в православном богослужении. Сами борцы против раскола проявили чрезмерный фанатизм, пытаясь насилием утвердить несущественные изменения

---

[1] Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы. СПб., 1891, с. 373.

в церковном обряде, который и в древнем своем виде не представлял ничего еретического и имел полное право на существование.

Сама по себе борьба никонианцев со старообрядцами была бы, по Мордовцеву, бесплодной схоластикой, если бы за нею не стояли иные, более существенные основания. На стороне реформаторов была потребность приобщения России к достижениям западноевропейской науки и цивилизации. На стороне раскольников — протест против насилия как в делах веры, так и во внутренней политике государства, породившей всеобщее недовольство. Оно проявилось не только в сопротивлении церковным реформам «сверху», но и в периодических бунтах против боярского утеснения, вылившихся в крестьянскую войну под руководством Степана Разина. На почве социального протеста и возник, по Мордовцеву, союз аскетического раскола с разинской вольницей. Главную причину раскола писатель видит в том, что русское самодержавие насилием старалось опередить историю и разрушало органический процесс развития общества.

В эпоху Мордовцева такая трактовка раскола была довольно смелой и прогрессивной. Она воспринималась как «новое слово» в понимании судьбоносного для России события. Возникал повод для примирения православия с расколом — идея, в начале 1880-х годов буквально «носившаяся в воздухе». Но в понимании истоков раскола Мордовцев во многом оставался на обычной в XIX веке просветительски-нормативной точке зрения, по-своему усиленной его «украинофильскими» взглядами. Были глубокие национально-духовные причины раскола, которые оказались в тени у историка-беллетриста.

Конечно, корни раскола гораздо глубже, чем простой спор о текстах и обрядах: они связаны с глубокими национально-религиозными процессами в русской и мировой истории. Известно, что до XV века русская церковь считала себя дочерью Византийской, греческой церкви и во всех вопросах веры беспрекословно ей доверялась. Но с XV века авторитет этой церкви решительно пошатнулся. Когда в 1439 году греческая иерархия под угрозой турецкого нашествия стала искать союза со странами Западной Европы и на Флорентийском соборе заключила унию с церковью католической, она уронила себя

в глазах православной России, да и многих духовных деятелей самой Византии. Великий князь Василий Васильевич с позором изгнал из Москвы митрополита Исидора, известившего об этой унии. Беглец нашел себе приют в Киеве, а потом оказался в числе лиц, приближенных к римскому папе.

Спустя несколько лет Константинополь был завоеван турками, в чем православные русские христиане увидели Божие наказание Византии за ересь. Митрополит Филипп в 1471 году сказал: «И о том, дети, подумайте: Царьград непоколебимо стоял, пока в нем, как солнце, сияло благочестие, а как скоро покинул он истину, да соединился с латиной, так и попал в руки поганых». А русский инок Филофей писал великому князю Василию: «Соборная церковь наша в твоем державном царстве одна теперь паче солнца сияет благочестием во всей поднебесной...»

Так возникло в самых широких кругах русского общества твердое убеждение, что христианство Руси со всеми местными его особенностями — одно в мире истинно и никаким поправкам и поновлениям со стороны не подлежит: как пал Древний Рим от ереси и гордости, так пал и второй Рим — Царьград — от непостоянства. Теперь Москва — третий и последний Рим, единственное убежище православной веры, истинного благочестия. Такое убеждение вселяло гордость в сердца людей, служило оплотом целостности и могущества России. В 1551 году Стоглавый собор признал истинными все обряды и все тексты русского богослужения. А начавшееся на Руси книгопечатание закрепило эти текстуальные особенности и распространило их по всей стране. Вот почему духовенство ревниво относилось к чистоте именно русского православного обряда и уже Бориса Годунова упрекало в чрезмерном пристрастии к иноземцам, грозя ему небесными карами.

Тут началась эпоха смуты, польского нашествия, когда Россия, казалось, подверглась участи Византии: на московском престоле оказался католик, польский королевич Владислав. Изгнание поляков с помощью национально-православных, патриотических сил нижегородского ополчения, избрание нового царя земским собором не сняло всех противоречий, рожденных этим драматическим временем: падение нравов, смута в умах и сердцах, а на этом фоне укрепление самодержавной власти в разоренной стране, нарастание

казенных повинностей, приводивших к дальнейшему истощению народных сил и хозяйственной разрухе.

Если в XVI веке, по словам В. О. Ключевского, «в русском обществе сложился даже взгляд на объединительницу Русской земли Москву как на центр и оплот всего православного Востока», то «теперь было совсем не то: прорывавшаяся во всем несостоятельность существующего порядка и неудача попыток его исправления привели к мысли о недоброкачественности самых оснований этого порядка, заставляли многих думать, что истощился запас творческих сил народа и доморощенного разумения, что старина не даст пригодных уроков для настоящего и потому у нее нечему больше учиться, за нее не для чего больше держаться. Тогда и начался глубокий перелом в умах: в московской правительственной среде и в обществе появляются люди, которых гнетет сомнение, завещала ли старина всю полноту средств, достаточных для дальнейшего благополучного существования; они теряют прежнее национальное самодовольство и начинают оглядываться по сторонам, искать указаний и уроков у чужих людей, на Западе, все более убеждаясь в его превосходстве и в своей собственной отсталости. Так на место падающей веры в родную старину и в силы народа является уныние, недоверие к своим силам, которое широко растворяет двери иноземному влиянию»[1].

Патриарх Никон и был человеком этого тревожного, смутного времени. Вслед за своим предшественником Иосифом он круто изменил отношение высшей церковной власти к греческим патриархам и киевским богословам, пропитанным польской и римской схоластической ученостью. Он приглашает их в Москву, не смущаясь, что его избранники ведут себя как спесивые гости, гордящиеся своей ученостью и относящиеся к русскому духовенству как к невежественному, недостойному уважения сословию.

Да и сам Никон на церковном соборе 1655 года горделиво объявляет, что хотя по рождению он и русский, а по вере и убеждениям — грек. В том же году во время службы в Успенском соборе на глазах у всего народа Никон снимает русский клобук и надевает греческий, что воспринимается

---

[1] Ключевский В. О. Соч. в 8-ми томах, т. 3. М., 1957, с. 257—258.

православными людьми как вопиющее святотатство. Но уничижение паче гордости: Никон публично провозглашает с кафедры, что священство выше царства, а когда его упрекают в папизме, он спокойно заявляет: «За доброе отчего и папу не почтить?»

Патриарх ополчается против русских иконописцев, отступивших от греческих образцов. Он приказывает провести обыски по домам, в том числе и у знатных людей, чтоб изъять из обращения эти иконы. По его распоряжению у конфискованных икон выкалывают глаза святых, а потом носят эти иконы по городу, зачитывая указ, грозящий строгим наказанием всем русским иконописцам. В 1655 году на богослужении Никону подносят отобранные иконы, и он, показывая каждую народу, поднимая их высоко над головой, с силой бросает на железный пол, так что они раскалываются или разлетаются в щепки. А затем меняется русское церковное пение в унисон на киевское партесное, следуют строгие приказы об отмене многовековых обрядов, идет решительное исправление богослужебных книг, исправление, не всегда согласное с духом русского языка. Причем все это внедряется в церковную жизнь с шумом и треском, с угрозами и бранью, с жестокими мерами против ослушников.

Но что такое для верующего человека радикальная перемена в обряде, если каждый жест и каждое слово в книге воспринимается им как нечто богооткровенное, дарованное свыше? Ведь тексты и обряды складывались исторически, выращивались и шлифовались столетиями. «Можно придумать тексты и обряды лучше, совершеннее тех, которые воспитали в нас религиозное чувство,— заметил В. О. Ключевский,— но они не заменят нам наших худших» [1].

Никон своим вызывающим и оскорбляющим национальные чувства реформаторством неуклонно ронял в глазах народа свой пастырский авторитет и окружал страдальческим ореолом, праведным венцом своих противников. Немало тому способствовало и его спесивое окружение: грек Арсений — бродяга-перекрест, малороссы, злорадно укоряющие русский народ в невежестве. Симеон Полоцкий

---

[1] Ключевский В. О. Указ. соч., с. 289.

с церковной кафедры в Успенском соборе публично обличает «невежд, которые смеют называться учителями». Под этими невеждами разумеются московские священники, десятилетиями верой и правдой служившие по старому православному обряду и древним богослужебным книгам.

Наконец, на вселенском соборе 1666—1667 годов отлучается от патриаршего сана вызвавший смуту и сделавший свое дело Никон, а затем предается анафеме все, что утверждалось Стоглавым собором 1551 года: «отцы этого собора мудрствовали безрассудно». Предается поруганию та русская церковная старина, которая для большинства искренне верующих людей является предметом высшей божественной святости, имеющей вселенское значение.

Раскольники приходят к выводу, что за патриархом Никоном стоят приезжие греки и украинские начетчики, которых они не без основания подозревают в латинстве. Возникает недоверие и к правительству, которое охотно принимает все, идущее с Запада, и сытно кормит при царском дворе целую свору хулящих древнее русское благочестие еретиков. В народном сознании устанавливается мнение, что Никон и его приспешники — тайные проводники папской власти, в очередной раз пытающейся олатынить Россию. В 1662 году соловецкий чернец Савватий в челобитной царю Алексею Михайловичу писал: «Ныне новые вероучители учат нас новой и неслыханной вере, точно мы мордва или черемиса, Бога не знающая; пожалуй, придется нам вторично креститься, а угодников Божиих и чудотворцев вон из церкви выбросить; и так уже иноземцы смеются над нами, говоря, что мы и веры-то христианской по сие время не знали»[1].

Так в считанные годы нарушается органический рост национального духа и вносится раскол в фундамент общественного бытия. Лучшая, нравственно устойчивая часть нации отделяется от общего корня и уходит в бескомпромиссную, многовековую оппозицию по отношению к официальной церкви, государственным устоям, светской культуре. Петровские реформы лишь увеличивают число людей, уходящих в раскол. «Старая Россия, сломленная и проклятая, оборванная на полуслове, не исполнившая своих заветов, осталась с расколом, новая, наследниками которой мы

[1] См.: Ключевский В. О. Указ. соч., с. 311.

являемся, пошла за Петром, а та, которая могла явиться из самостоятельного пути, не хватавшаяся за передовое насилием, а производившая его естественным ходом развития, так и не явилась на свет. А то, что она могла явиться, что в народе было для этого творческое и духовное обеспечение, больше всего расколом и доказывается»[1].

Эти творческие силы раскола, основанные на общинной жизни, крестьянском самоуправлении и трудовых нравственных началах, не обходит вниманием и Д. Л. Мордовцев. Он глубоко раскрывает их в историческом романе «Великий раскол», в повестях «За чьи грехи?», «Сидение раскольников в Соловках», «Социалист прошлого века», «Фанатик». Историческая достоверность, опора на сведения, почерпнутые из летописных, архивных источников, а также из устных народных преданий,— отличительная особенность романов и повестей Мордовцева. Писателя есть за что упрекать, можно оспорить его освещение тех или иных событий отечественной истории, но отступлений от точных фактов и документальных свидетельств он, как правило, не допускает.

В повести «За чьи грехи?» он показывает наступающий кризис русского боярства, изживающую себя систему «местничества», когда положение человека определялось знатностью его происхождения. Такие бояре, как Ордин-Нащокин и его сын, являются провозвестниками нового времени, эпохи грядущих петровских преобразований. Они по-своему приближают, готовят ее. Даже сюжетная занимательность в повестях Мордовцева выглядит жизненно достоверной. Разумеется, судьба матери Пересвета и Осляби, оказавшейся пленницей, а потом и любимой женой татарского хана,— чистейший вымысел. Но эпизод этот в повести «Мамаево побоище» передает действительно возникавшую в ходе истории родственную взаимосвязь русского и татарского народов, причем связь не только на великокняжеском, но и на более глубоком, демократическом уровне. И Мордовцеву дороже не политические интриги и войны сильных мира сего, а жизнь повседневная, которая течет в обход официальной вражды государств и партийных сект и которая, в сущности,

[1] Распутин В. Смысл древнего прошлого. Религиозный раскол в России.— Наш современник, 1989, № 11, с. 154.

является главной созидательной силой истории, хранительницей ее жизнеутверждающих основ.

Л. Н. Толстой записал в дневнике от 4 апреля 1870 года: «Читаю историю Соловьева. Все, по истории этой, было безобразие в допетровской России: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неуменье ничего сделать. Правительство стало исправлять. И правительство это такое же безобразное до нашего времени. Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России.

Но как же так ряд безобразий произвели великое, единое государство?

Уж это одно доказывает, что не правительство производило историю.

Но кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: чтó грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто воспитывал и рожал этих людей единого корня? Кто блюл святыню религиозную, поэзию народную, кто сделал, что Богдан Хмельницкий передался России, а не Турции и Польше?

Народ живет, и в числе отправлений народной жизни есть необходимость людей разоряющих, грабящих, роскошествующих и куражащихся. И это правители — несчастные, долженствующие отречься от всего человеческого» [1].

Мордовцеву импонировал толстовский взгляд на ход истории, на подлинные движущие источники ее. И вероятно подобно Толстому он старался не выпячивать роль личности в истории. Это чувствуется, например, и в изображении Димитрия Донского в «Мамаевом побоище», и в повести «Сидение раскольников в Соловках», где политический конфликт переводится в бытовой, общенародный план, так что

---

[1] Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20-ти томах, т. XXI. М., 1985, с. 265—266.

мы понимаем и беды этих ни в чем не повинных стрельцов, и драму соловецких старцев, и частную судьбу полюбивших друг друга юных героев Аннушки и монаха Иринеюшки, которых разлучает официальная, но объединяет простая человеческая жизнь.

В глубинном, подводном течении жизни многое видится иначе, чем с точки зрения державной воли, верховных государственных забот. И хотим мы этого или нет, но русло жизни все-таки прокладывается не в верхах, а там, в низах, где, в конечном счете, и творится история, и решаются судьбы народов и государств. Мордовцев, в силу отпущенного ему природой художественного дарования, отстаивает именно такой, демократический взгляд на ход истории, стараясь быть верным не только букве, но и самому духу ее.

И здесь на помощь писателю приходит его языковое чутье, умение передать характеры и конфликты через особенности речи его персонажей. Он умело и достаточно искусно воскрешает атмосферу времени, создавая исторически колоритные характеры людей. Интрига в его произведениях тоже по-своему исторична, равно как и игра писательской фантазии, художественный вымысел. В повести «Мамаево побоище» Мордовцев говорит о преимуществе исторического писателя «перед своею «матушкою», историею: старушка история, по своей дряхлости и слепоте (ее очки — «документы», а эти очки — не всегда бывают у старушки), не может сама рыскать по полям сражений, переноситься из столетия в столетие и видеть все своими глазами; а незаконное чадо ее, «тайный плод любви несчастной», прижитый с фантазиею, видит все сам, живет во все века, был на всех битвах... Он был и на Куликовом поле и все видел сам...»

7

В 1885 году в судьбе Мордовцева совершается крутой перелом. На сорок четвертом году кончает жизнь самоубийством его пасынок Виктор Никандрович Пасхалов, талантливый музыкант, высоко ценимый М. П. Мусоргским и В. В. Стасовым. Вскоре после этого трагического события умирает Анна Никаноровна Пасхалова, жена писателя. По-

трясенный потерями близких людей, Мордовцев уходит со службы. По приглашению брата, Андрея Лукича, писатель переезжает в Ростов-на-Дону. Здесь он часто печатается в местной газете «Донская речь», а в «Живописной России» публикует очерки о строении почв и сельском хозяйстве Донской области. По-прежнему главный беллетристический интерес Мордовцева связан с историей. В эти годы стремительно расширяется тематический диапазон его произведений. Писатель создает четыре романа из жизни Древнего Египта («Замурованная царица» — 1891, «Месть жрецов», «Богиня Изида — сваха», «Говор камней» — 1895), обращается к истории Древнего Рима («Жертвы вулкана. Из последних дней Помпеи», «За всемирное владычество»), пишет о трагических судьбах древних евреев («Погибель Иерусалима», «Ирод»).

Романы Мордовцева из древнеегипетской и римской жизни, написанные в основном по книжным источникам, оцениваются критикой невысоко: слышатся упреки в вычурности и писательских потугах. Но «еврейские ученые высоко ставят беллетристику нашего автора, имеющую сюжетом древнееврейскую жизнь. Поэтому они охотно переводят его романы на древнееврейский язык (язык торы) и отмечают, что в этих романах превосходно схвачен дух древнего иудейства и понят смысл истории Иудеи»[1].

В 80-х годах Мордовцев совершает путешествие в Египет и Палестину, а затем во Францию, Италию и Испанию. Так собирается богатый материал для его путевых очерков, объединенных в книги «Поездка в Иерусалим», «На Арарат», «В гостях у Тамерлана», «Поездка к пирамидам», «Из прекрасного далека», «По Испании», «По Италии». Очерки Мордовцева отличаются проникновенным лиризмом, лукавым украинским юмором и картинностью изображения. В них с блеском проявляется историческая эрудиция автора: непосредственные впечатления от увиденного сопровождаются экскурсами в историю, придающими повествованию живой познавательный интерес.

24 апреля 1905 года общественность Петербурга торжественно отмечает пятидесятилетие литературной деятельности Мордовцева. В многочисленных поздравлениях подчеркива-

---

[1] Исторический вестник, 1905, № 2, с. 605.

ется, что талантливый историк и писатель «всегда и во всех областях литературного слова оставался верным народному благу». Тепло приветствовали «дида Мордовцева» земляки-украинцы.

В мае 1905 года Мордовцев почувствовал себя плохо: в петербургском климате обострилась хроническая болезнь — воспаление легких,— которую он подхватил во время одной из поездок на Кавказ, где он, поднимаясь на Арарат, сильно простудился. По дороге в Ростов он так устал и ослаб, что его внесли на руках в квартиру брата. Не отдохнув как следует, Мордовцев засобирался в Кисловодск: «Там воздух и природа восстановят силы, а общение с молодежью развлечет». В последние годы он всегда проводил летние месяцы в Кисловодске, на даче у брата, расположенной на берегу речки Кисловодки, и очень верил в целебную силу южной природы.

Однако на этот раз не помог и Кисловодск, болезнь приковала Даниила Лукича к постели. Он все еще надеялся поправиться, был занят мыслью о большой исторической повести «Посошков», готовил статьи для разных изданий, собирался писать воспоминания...

О тяжелом состоянии Мордовцева дали знать его единственной дочери Вере Даниловне Александровой, которая поспешила в Кисловодск из Минска.

8 июля Даниилу Лукичу стало совсем плохо, а 10 июля в 7 часов 30 минут он скончался на руках у дочери на 75-м году жизни. За несколько минут до смерти он пришел в возбужденное состояние и произнес последнюю в его жизни фразу: «Ах, как хорошо быть со всеми в дружбе, всех любить и быть любимым!»

Даниила Лукича Мордовцева похоронили в Ростове-на-Дону, в фамильном склепе Мордовцевых, на Новоселовском кладбище.

Ю. Лебедев

ВЕЛИКИЙ РАСКОЛ

Исторический роман

из эпохи царствования

Алексея Михайловича

Часть первая

I. ПОПЫТКА К ВОЗВРАТУ

В ночь с 17-го на 18-е декабря 1664 года из ворот Воскресенского монастыря, что под Москвой, выехало несколько саней. В передних, с высокой спинкой, обитых черной материей, виднелась массивная фигура в черном высоком клобуке, на котором, при мерцании звезд и движении саней, искрились разноцветные огоньки дорогих камней. Против него, на переднем сиденьи, виднелась другая человеческая фигура, над которой высился большой крест, тоже искрившийся огоньками. Проходившие в это время по дороге люди, завидев передние сани и крест, поспешно отошли в сторону и упали ниц.

Ночь была морозная, тихая. На небе вызвездило. Необыкновенно ярко выступали из мрачного покрова, раскинувшегося над землею, то трепетные и мигающие, то яркие и дрожащие искры далеких огней, брошенных неведомою силой в пространство, и чем дольше всматривался в них глаз, тем далее, казалось, уходили они в мрачную, беспредельную даль и пустоту, так что становилось чего-то страшно. Страх этот ясно изображался на бледном лице того, который сидел на переднем сиденьи первых саней и держал в руках высокий металлический крест: он по временам испуганно взглядывал на это темное, усеянное звездами небо, на котором среди других звезд неподвижно стояла страшная, хвостатая звезда, словно огненная метла, брошенная на небо хвостом на полдень,— и тихо шептал молитву.

Поезд двигался скоро, резко визжа полозьями по снегу. Возницы, сидевшие на передках саней, тихо, без слов, но торопливо подгоняли лошадей длинными бичами. Во всех санях виднелись черные клобуки — и весь этот ночной поезд с черными клобуками представлял что-то таинственное, загадочное.

— Что крест-от так дрожит у тебя в руках? — спросил вдруг тот, у которого на клобуке искрились драгоценные камни.

— Страховито видение сие, великий государь,— отвечал державший крест, указывая на комету.

— То знамение Божие — перст огненный, им же Он, сый и грядый, судьбы мира пишет [1].

— К добру ли знамение-то, великий государь?

— Судьбы Его кто исповесть? Может, на врагов моих и сквернителей церкви российской указует тот палец огненный, а может, на меня.

Через дорогу, впереди саней, промелькнуло что-то серенькое и попрыгало по снегу к ближайшему перелеску.

— Стой! Останови сани! — повелительно сказал последний голос.— Заяц перебежал дорогу... Лукав бес отводит добро...[2] Поди, Иванушко, осени крестом дорогу.

Возница остановил коней. Остановился и весь поезд, лошади встряхивались, гремя наборной сбруей.

— Что случилось? Зачем стали? — слышалось из прочих саней...— Заяц передорожил.

Тот, кого называли Иванушкой, вылез из первых саней, держа перед собой высокий крест, прошел вперед и, трижды осенив крестом дорогу, молча воротился на свое место.

Поезд снова двинулся. Опять завизжали полозья, звонко, резко, словно бы под ними кто-то вскрикивал от боли, жалуясь на холод. Снова безмолвно смотрели с неба чьи-то страшные очи да огненный палец,— не палец, а целая горящая пятерня указывала на что-то далекое, невидимое. Иногда лес заслонял собою горизонт и снежную, утопавшую во мраке равнину, и тогда казалось, что вдоль дороги, по сторонам, двигались какие-то тени в саванах, из-под которых простирались длинные руки, словно закоченевшие от холода.

Время переходило уже за полночь, и в ночном воздухе слышалось что-то похожее не то на продолжительный, неумолкаемый стон, не то на далекую, протяжную и плачущую музыку. Сидевший в передних санях словно как бы вздрогнул и вытянулся, к чему-то прислушиваясь.

— Меня зовут — по мне встосковались храмы Божии,— радостно сказал он.

То слышался далекий звон московских церквей к заутрени. Скоро близость Москвы стала сказываться все яснее и яснее. Потянулись изгороди, заборы, боярские подгородные усадьбы. Чаще попадались обозы, гуськом тянувшиеся в город, к раннему базару.

У заставы поезд остановлен был окриком сторожей: «Кто едет?»

— Савина монастыря власти,— отвечали из первых саней.

— Подвысь! Вольно! С Богом!

И сторожа, при виде креста в санях, в недоумении сняли шапки и стали креститься.

Поезд с крестом проехал прямо в Кремль и остановился у Успенского собора. В соборе в это время шла заутреня. Служил ростовский митрополит Иона, временный блюститель патриаршего престола. Народу было полна церковь, так полна, что во время молитвенных возглашений иподиакона вся церковь представляла колышущуюся массу голов, которые, по-видимому, не вмещались в тесных стенах обширного храма и во всяком случае не могли делать истовые размашистые поклоны, как то требовалось обычаем. В спертом от дыхания воздухе свечи, которых зажжены были целые леса, горели тускло, оплывали и чадили. Но при всем том в храме царствовала благоговейная тишина и только слышались сдержанные старческие покашливания да вздохи сокрушенных сердцем, а то и просто вздохи обычая — что так-де надоть, крепче будет. Над всем этим господствовал звонкий, грудной, хотя тоже, в силу обычая, для большей истовости несколько гнусивший, голос псаломщика — митрополичьего поддьяка, высоко и шибко забиравшего большей частью там, где не следовало. Читалась уже вторая кафизма. Голос чтеца гулко отдавался под сводами храма, как бы силясь вырваться на морозный воздух из этой душной, пропитанной восковым чадом атмосферы.

Вдруг у входных дверей послышался какой-то шум. Сделалось смятение. Все головы оборотились назад в ожидании чего-то непонятного. Входные двери загремели железными засовами, завизжали на петлях и тяжело растворились настежь. В церковь дымными клубами ворвался морозный воздух.

Что такое? Не царь ли идет? Голос псаломщика дрогнул; но чтение не прекращалось.

Стена молящихся насунулась вперед и уперлась в самый амвон. Те, которые занимали середину церкви, шарахнулись в стороны, как овцы, прижимаясь к стенам и колыхая паникадилами, которые чуть не попадали — да упасть было некуда,— попадали только некоторые свечи.

Показались ряды монахов с заиндевевшими от мороза бородами. За монахами — высокий, блестящий

золотом и самоцветными камнями крест. За крестом — высокая, коренастая, осанистая фигура в черном клобуке, на котором блестит и искрится отливающий всеми цветами радуги налобный крест. Лицо вошедшего за крестом бледное, суровое, с выражением чего-то повелительного, непреклонного, скорее жестокого и отталкивающего: глаза — которые никогда, кажется, не смотрели нежно даже на ребенка, губы — которые никогда, кажется, не знали поцелуя любви и ласки.

Все головы оборотились к нему, и всё, казалось, замерло с испугу. Один поддьяк не прерывал чтения, хотя и его голос срывался и дрожал.

— Перестань читать! — раздался, как удар кнута, повелительный голос, который так часто когда-то слышали эти стены; а теперь и стены, казалось, дрогнули от испуга: так давно они не слыхали этого знакомого, страшного голоса — после шести лет не слыхали его.

Слова читавшего кафизмы замерли в горле — на полслове остановился, словно бы перед ним разверзлась бездна. А в этот момент откуда-то раздались стройные, плавные звуки, как будто они исходили из купола, в то время как страшный пришелец твердо и грузно вступал на патриаршее место.

— Исполла эти, деспота!

Это пели монахи, только что вошедшие в церковь. Потом запели — «Достойно есть»... Вся церковь окаменела от изумления; никто не молился; митрополит стоял бледный, потерянный — он не знал, что ему делать, не понимал, что же такое случилось, что вокруг него происходит.

Когда кончилось пение «Достойно», протодиакон, стоявший в полном облачении, недвижим, как истукан, невольно поднял обернутую в орарь правую руку, которая дрожала.

— Говори ектенью! — второй раз прозвучал по церкви тот страшный голос, который всех приводил в трепет.

Протодиакон оторопел, заспешил было, сорвался с голоса, поправился, передохнул — и продолжал уже ровной, привычной октавой... «О свышнем мире и о спасении душ наших! О мире всего мира...»

А страшный пришлец, сойдя с патриаршего места, плавно, но твердо, словно вдавливая ноги в церковный каменный помост, стал ходить по церкви и прикладываться к образам и мощам. Народ со страхом рас-

ступался перед ним, боясь поднять глаза до его глаз, светившихся каким-то фосфорическим светом.

Окончив это, пришлец опять взошел на патриаршее место, возглашая громко, медленно и сурово, как бы грозясь кому-то: «Владыко многомилостиве!..»

— Иди под благословение! — повелительно обратился он, тотчас после молитвы, к митрополиту Ионе, который продолжал стоять неподвижно, по-прежнему бледный, недоумевающий.

Иона повиновался — подошел, склонив ниже обыкновенного седую голову в богатой митре. За ним робко потянулось прочее духовенство. Пришлец порывисто шептал благословение и также порывисто крестил подходящих, словно ударял ладонью провинившийся перед ним воздух. Никто не глядел в глаза этому страшному пришельцу.

— Поди, возвести великому государю о моем пришествии, — сказал он митрополиту, окончив благословение.

Оторопелый митрополит еще ниже наклонил голову — седые редкие косы его дрожали на плечах.

— Иди! — раздался повторительный возглас.

Иона пошел, шатаясь и не поднимая головы. За ним торопливо последовал ключарь собора, Иов. Народ поспешно расступался перед ними, как бы боясь прикоснуться до их риз.

За духовенством, один за другим, тихо и робко ступая по помосту, стали всходить на патриаршее возвышение и прочие молящиеся. Пришлец благословлял всех, долго благословлял. Не одну тысячу раз сделала в воздухе крестное знамение жилистая рука его; а народ все подступает, робко прижимаясь один к другому.

А время идет... Пришлец нетерпеливо поглядывал на входные двери — никого нет... На лицо его все более и более ложится какая-то зловещая тень... Глаза перестают глядеть на подходящий под благословение народ: они его не видят, а видят как будто что-то другое, никому невидимое.

Церковные сторожа робко, словно бы украдкой и боясь взглянуть на пришельца, пробираются между народом с пучками, с целыми охапками свечей и втыкают их во все свободные ячейки паникадил и между ячейками, по бортам, до бесконечности увеличивают это несметное множество блестящих огненных языков, чтобы ярче, до боли глаз, осветилась огромная храми-

на, словно бы желая ярким светом освященного огня согнать с давно вдовствующего патриаршего трона это страшное, сидящее на нем, привидение, о котором начали было уже забывать, как о заживо погребенном. И храмина осветилась ярко, зловеще; а привидение не исчезает; оно все сидит на троне и автоматически машет рукой над робко склоняющимися головами молящихся. И лицо у привидения становится еще зловещее: матовая бледность его переходит в какую-то зеленоватость, в серо-пепельность...

Вдруг входные двери с шумом растворились. Народ опять шарахнулся в разные стороны.— Не царь ли идет? — Нет, не царь.— Показались бледные, смущенные лица митрополита Ионы, ключаря Иова, а за ними еще четыре лица... Это бояре. Впереди всех сухая, высокая фигура с иконописным лицом и черненькими в мешках и складках глазами. Это Одоевский князь, Никита Иванович, боярин и постник. За ним статная, осанистая фигура другого боярина с добрым лицом и добрыми глазами. Это боярин — князь Юрий Алексеевич Долгорукий. Тут же и юркий молодой царедворец — Родион Стрешнев, и сухой, желтый, морщинистый, как пересохший пергамент, великий законник и воротило — дьяк Алмаз Иванов, изможденное лицо которого походило на полинялый от времени харатейный свиток[3], а живые черные глаза на этой харатье представляли подобие двух свежих чернильных пятен.

Бояре прямо подошли к патриаршему месту. Пришлец сидел, как статуя, не двигаясь; только огромный наперсный крест с камнями изобличал, что грудь, на которой он покоился, дышала тяжело, порывисто: камни дрожали и сверкали разноцветными искрами.

Вся церковь замерла от ожидания. Одоевский, молча и не кланяясь, подошел к пришельцу. Глаза их встретились. Глаза Одоевского потупились и спрятались под мешочками.

— Ты оставил патриарший престол самовольно,— сказал он хрипло,— обещался впредь в патриархах не быть, съехал жить в монастырь, о чем и написано уже ко вселенским патриархам; а теперь ты для чего в Москву приехал и в соборную церковь вошел без ведома великого государя и без совета всего освященного собора? Ступай в монастырь по-прежнему.

Пришлец вздрогнул и поднялся во весь свой огромный рост. Одоевский невольно попятился назад. По

церкви прошел ропот испуга. Многие учащенно крестились.

— Сошел я с престола никем не гоним, теперь пришел на престол никем не зван для того, чтоб великий государь кровь утолил и мир учинил, а от суда вселенских патриархов я не бегаю, а пришел я на свой престол по явлению.

Пришлец проговорил это необыкновенно отчетливо и резко.

— Ступай в свой монастырь! — вторично прохрипел князь Одоевский то, что ему приказано было сказать.

Пришлец понял, что это уже царский указ — «пошел!» — и ни слова больше... Он пошарил что-то под панатею и вынул оттуда запечатанный пакет.

— Вот письмо, отнесите его к великому государю,— сказал он, протягивая пакет и ни на кого не глядя.

— Ступай в монастырь! — автоматически повторил Одоевский.

— Без ведома великого государя мы письма принять не смеем,— как-то испуганно заговорил дьяк Алмаз Иванов, причем харатейная кожа на его лице еще более сморщилась: он вспомнил, что еще не так давно его, думного дьяка Алмаза Иванова, да подьячего Гришку Котошихина велено было бить батогами нещадно за то, что они приняли одно такое письмо, недосмотрев, а в нем была прописка в титуле великого государя — опискою написано было «гусодаря»,— после каковых батогов, не стерпя побой, оный Гришка Котошихин бежал к свейскому королю за море[4], а Алмаз Иванов харкал кровью.

— Без указа великого государя, его пресветлого царского величества, мы письма принять не смеем,— повторил этот великий законник.

— Пойдем, известим о сем великому государю,— добавил Юрий Долгорукий.

Посланные вышли. Церковь представляла теперь необыкновенное зрелище: служба была прервана; духовенство — соборные попы и протопопы, дьяконы и поддьяконы, находившиеся перед тем в каком-то оцепенении, теперь ожили — бродили с клироса на клирос, с амвона в алтарь и по церкви, перешептывались, иногда менялись улыбками и шушуканьем, кивали головами и свободно зевали и широко разметывали

косы; сторожа украдкой, а иногда и явно пофукивали на паникадилы и притушивали излишне зажженные из страха свечи; народ, все время до пришествия посланцев теснившийся к патриаршему месту для благословения, теперь с робостью отхлынул от этого места и не знал, что ему делать. Казалось, в церкви был покойник, и словно бы все ждали, что вот-вот запоют — «помилуй раба твоего»... Тяжелое ожидание!

И пришлец казался теперь не тем, чем был недавно: он сидел неподвижно, как статуя; ему уж некого было благословлять — и он молча перебирал четки; бледное лицо его по временам судорожно подергивалось... Между тем время тянулось так долго. Давно зажженные свечи догорали, и словно мрак какой-то спускался от купола все ниже к полу. Становилось как-то сумрачно. То там, то здесь слышались вздохи, шепот молитвы...

Наконец, двери опять широко распахнулись — и все вздрогнуло, засуетилось. Вошли прежние посланцы.

— Великий государь указал нам, холопам своим, объявить тебе прежнее — чтобы ты шел назад в Воскресенский монастырь, а письмо взять у тебя! — проговорил, как по заученному, Одоевский, подходя к патриаршему месту.

Пришлец снова выпрямился во весь рост и сделал шаг к Одоевскому и к прочим посланцам. Дьяк Алмаз Иванов попятился назад; но чернильные пятна — глаза его — заискрились.

— Коли великому государю приезд мой ненадобен, то я поеду назад в монастырь, но не выйду из церкви, пока на письмо мое отповеди не будет,— сказал пришлец по-прежнему громко и отчетливо.

И он гордо, не как проситель, подал письмо. Дьяк Алмаз Иванов быстро нагнулся и взглянул на титул письма: он пуще смерти боялся прописки в титуле — это было одно из величайших и тягчайших государственных преступлений того времени.

Посланцы опять вышли — опять в церкви осталось то же слоняющееся без дела священство, те же ожидающие чего-то прихожане, та же неподвижная фигура на патриаршем месте, а рядом — высокий блестящий крест в руках ставрофора-крестоносителя.

После томительного ожидания в третий раз распахнулись входные двери собора. Теперь впереди посланцев от царя выступал смиренный Павел, митрополит

Крутицкий; но из-за маски смирения лицо его светилось скрытым злорадством.

— Письмо твое великому государю донесено,— начал он громко, обводя весь собор глазами, и остановился.

Все ждали, притаив дыхание. Митрополит начал:

— Он, великий государь, его пресветлое царское величество, власти и бояре письмо выслушали,— продолжал он и снова остановился.

Все ждали опять — ждали еще с более напряженным вниманием. Послышался где-то стон. С висячего паникадила упала свечка, проведя в воздухе огненную полосу, словно падучая звезда, и погасла. «Ох!» — послышался чей-то испуганный голос.

— И ты, патриарх, из соборной церкви ступай в Воскресенский монастырь по-прежнему,— закончил Крутицкий митрополит.

Это был жестокий приговор. Пришлец пошатнулся было назад, но тотчас же оправился, только лицо его позеленело. Он молча сошел с патриаршего места, медленно приложился к образам, взял посох митрополита Петра — этот исторический посох московских святителей[5] — и направился к выходу между двумя стенами безмолвных зрителей, которых он, не поднимая глаз, благословлял обеими руками.

— Оставь посох! — говорил Одоевский, поспешая за ним.

— Оставь посох! — повторили прочие бояре.

— Отнимите силою! — не глядя на них, отвечал пришлец и вышел из собора.

Впереди по-прежнему несли крест. Ночь была на исходе. На небе все еще стояла огненная метла, только хвостом уже на запад. Народ повалил из собора.

Пришлец, садясь в сани, стал отрясать ноги, громко говоря евангельские слова:

— Иде же аще не приемлют вас, исходя из града того, и прах, прилепший к ногама вашема, отрясите во свидетельство на ня!

— Мы этот прах подметем! — дерзко отвечал стрелецкий полковник, наряженный провожать пришельца, как арестанта.— Пойдемте-ста!

— Да разметет Господь Бог вас оною божественною метлою, иже является на дни многи! — сказал ему пришлец и указал на комету.

— Ох, Господи! Спаси нас, помилуй! — послышался испуганный крик в народе.

Поезд двинулся в обратный путь. Народ повалил за поездом. Из дворца прискакали — окольничий князь Дмитрий Алексеевич Долгорукий и любимец царский Артамон Сергеевич Матвеев,— и следовали за поездом.

Странный вид представляло это шествие в ночной темноте, при только что занимавшейся заре. За поездом теснились толпы, опережая его и производя необыкновенный гул и ропот: стук тысяч ног об замерзшую землю, скрип саней, карканье проснувшихся галок и воронья и смутное рокотанье голосов сливались в какой-то невообразимый хаос. В разных местах города звонили колокола, как бы прощаясь с уезжающими.

Пришлец, тот, который произвел все это волнение, сидел в первых санях и как-то странно глядел на стоявший перед ним крест... «Порвалась — порвалась последняя нитка»,— шептали бледные губы.

За земляным городом поезд остановился. Долгорукий сошел с коня и приблизился к первым саням, сняв свою высокую боярскую шапку.

— Великий государь велел у тебя, святейшего патриарха, благословение и прощение просить,— сказал он, почтительно нагибая голову.

— Бог его простит, коли не от него смута,— отвечал сидевший в первых санях.

— Какая смута? — удивленно спросил Долгорукий.

— Я не своей волей приезжал — по вести,— был ответ.

Поезд снова двинулся в путь сквозь густую толпу народа. На колокольне Ивана Великого загорался золотой крест — всходило солнце.

II. ПОСОХ МИТРОПОЛИТА ПЕТРА

Так неудачно кончилась попытка Никона (это был он) — попытка к примирению с царем Алексеем Михайловичем. «Тишайший» первый раз в жизни оказался непреклонным.

За шесть лет до начала настоящего повествования, летом 1658 года, в Москву приехал грузинский царевич Теймураз. По этому случаю у царя был большой обед.

Приглашена была к столу вся московская знать; не был приглашен один Никон, великий святитель и патриарх Никон, который за столом царя занимал обыкновенно первое место. Это было для него прямым ударом в сердце: «тишайший» царь, называвший Никона «собинным» другом своим, не решавшийся без его благословения ни на какое государственное дело, именовавший его не иначе, как «владыкою святым», «великим святителем», «равноапостольным богомольцем», своим «преосвященным главою», повелевавший ему писаться в указах царских рядом с царем и тоже называться «великим государем»,— царь вдруг охладевает к своему любимцу и даже не приглашает к столу. Задетый за живое, Никон посылает своего боярина, одного князя, во дворец за каким-то церковным делом или просто высмотреть, что там делается. В это время царевич Теймураз ехал во дворец. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово очищал ему путь, колотя, по московскому обычаю, палкой в лоб каждого, кто высовывается из толпы. Один из таких ударов попал в голову посланцу Никона.

— Не дерись, Богдан Матвеич! — закричал посланец, хватаясь за голову.— Вить я не просто сюда пришел, а с делом.

— Ты кто такой? — спросил окольничий.

— Патриарший человек, с делом послан.

— Не дорожись! — закричал Хитрово и снова ударил патриаршего посланца дубиной по лбу.

Тот с плачем бросился к Никону. Никон написал царю, прося «розыскать дело» и наказать Хитрово. Царь тотчас же отвечал собственноручно: «Сыщу и по времени сам с тобою видеться буду».

Но прошел день, другой — ни розыска, ни свиданья.

Подоспел праздник Казанской Богородицы — большой праздник, с крестным ходом всего освященного собора. А царь — такой богомолец, такой любитель церковной обрядности и всего священного благолепия. Накануне праздника Никон, по обыкновению, посылает попа доложить царю, что святейший патриарх шествует в церковь. От царя — ни ответа, ни привета. У обедни — опять нет царя! Это так не похоже на него... И праздник не в праздник... Через два дня опять большой праздник — праздник ризы Господней. Никон опять шлет к царю с вестями — и опять нет царя! Вместо него является к патриарху царский спальник,

князь Юрий Ромодановский — такой хмурый, торжественный... Что бы это значило?

— Царское величество на тебя гневен — оттого не пришел к заутрени и повелел не ждать его и к святой литургии.

Вот какую громовую весть принес Ромодановский — было отчего смутиться. Но Никон не смутился — он знал «тишайшаго», своего «собинного» друга.

— За что его царское величество на меня гневен? — спросил он.

— Ты пренебрег его царским величеством — пишешься великим государем; а у нас один великий государь — царь!

— Называюсь я великим государем не собою. Так восхотел и повелел его царское величество — свидетельствуют грамоты, писанные его рукою.

— Царское величество почтил тебя яко отца и пастыря, и ты этого не уразумел. А ныне царское величество велел тебе сказать: отныне не пишись и не называйся великим государем, почитать тебя впредь не будет [6].

Что после этого оставалось делать? Или сломить, или самому сломиться. Но не такая это была воля, чтобы сломиться.

По уходе Ромодановского Никон не долго думал. В нем тотчас созрело решение. «Кину патриарший престол вдовым — напугаю, сломлю всех... Кроткий и богобоязненный царь испугается...» Он сказал об этом своему дьяку. Дьяк стал уговаривать — напрасно. Патриарх был непреклонен. Дьяк кинулся к другу Никона, боярину Зюзину. Тот велел умолять патриарха — не делать этого, не гневить царя: «после-де захочешь воротиться, да поздно будет». Упрямый гордец задумался было — стал даже писать царю; но прилив злобы все испортил...

— Иду! — тряхнул он своею черною гривою и в клочки изодрал написанное...— Купите мне простую палку, какие попы носят...

И он отправился в Успенский собор.

Энергией и силой звучал его металлический голос во время службы — никогда он не служил так хорошо, величественно; руки его, сжимая золотые свещницы с горящими свечами, казалось, благословляли этим светом весь мир. Когда хор возглашал: «Исполла эти, деспота!» — величественное лицо его, казалось,

говорило: «Кто против меня, тот против Бога и церкви!»

После причастия он велел ключарю поставить у выходов сторожей, не пускать народ из храма: «поучение-де будет».

И вот великий патриарх вышел на амвон — лицо какое-то необыкновенное, не его лицо!

— Буди имя Господне! — загремел хор.

Народ понадвинулся к амвону. Тысячи глаз смотрели в лицо проповеднику.

— Ленив я был вас учить,— раздались слова с амвона,— не стало меня за это... От лени я окоростовел, и вы, видя мое к вам неучение, окоростовели от меня. От сего времени я вам больше не патриарх; а если помыслю быть патриархом, то буду анафема. Как ходил я с царевичем Алексием Алексиевичем в Колязин монастырь, и в то время на Москве многие люди к Лобному месту собирались и называли меня иконоборцем, потому что многие иконы я отбирал и стирал, и за то меня хотели убить. А я отбирал иконы латинские, писанные по образцу, какой вывез немец из своей земли. Вот каким образам надо верить и поклоняться (и он указал на образ Спасов в иконостасе). А я не иконоборец. И после того называли меня еретиком — новые-де книги завел! И все это учинилось ради грех моих. Я вам предлагал многое поучение и свидетельство вселенских патриархов, и вы в окаменении сердец ваших хотели меня камением побить; но Христос нас единожды кровию искупил — а коли меня вам камением побить, и мне никого кровию своею не избавить, и чем вам камением меня побить и еретиком называть, так лучше я вам от сего времени не буду патриарх. Аминь.

Как громом поразили эти слова весь собор. Недоумевающие, смущенные, оторопевшие, испуганные, все стояли точно окаменелые и с каким-то ужасом как бы искали понять, кто же тут виноват во всем этом, где те преступники, которые вызвали страшное проклятие на весь собор, на всю эту массу молящихся верующих, чего-то чающих — где они, эти изверги, где виновные в том, что вот-вот сейчас гром небесный разразится над храмом... Послышались всхлипывания, стоны, женщины громко плакали... «Матушка! Святители! Что ж это будет с нами!.. ох!..»

— Батюшка! Кормилец! Кому же ты нас сирых

оставляешь! — голосили бабы и боярыни в истошный голос. — Кому, батюшка наш! О-о-о!

— Кого вам Бог даст и Пресвятая Богородица изволит, — отвечал Никон.

Его стали разоблачать. Казалось, что это раздевают покойника. А вон и саван несут — это мешок с простым монашеским платьем. Что ж это такое будет!

Толпа не выдержала — бросилась к послушникам и отняла у них мешок. Толпа превращалась в зверя: как она в другое время побила бы камнями этого самого Никона, так теперь за него она готова была растерзать всех.

Никон не мог ослушаться толпы и ушел в алтарь. Там он потребовал бумаги и чернил. Нагнувшись к престолу, он, стоя, начал чертить пером на бумаге. Рука его дрожала; перо не попадало в чернильницу. Он сам повторял за собой то, что чертила его рука на бумаге... Это было письмо к царю... Отхожу ради гнева твоего, исполняя писание: дадите место гневу... И паки: егда изженут вас от сего града, бежите во ин град, и еже аще не примут вас, грядуще отрясите прах от ногу вашею...

— Отрясу... Отрясу, — бормотал он, когда, тотчас после этого, на него стали надевать простую мантию с «источниками» и черный клобук. — Бегу во ин град — бегу в пустыню.

Взяв в руки простую палку, он быстро вышел из алтаря и направился было к выходным дверям. Что-то страшное и в то же время обаятельное было во всей его фигуре. Сначала было все шарахнулись от него с испугу в сторону, но потом задние бросились к дверям и заслонили их собою.

— Не пустим! Не пустим! — застонала толпа.

Женщины истерически рыдали, валяясь в ногах у упрямца и целуя его ризы, ноги, палку... Выпустили только Крутицкого митрополита Питирима, который поспешил во дворец доложить царю о том, что происходило в соборе.

Царь был поражен, как громом, нежданной вестью... «Точно сплю с открытыми глазами и все это вижу во сне», — бормотал он, хватаясь за голову и беспомощно озираясь. Глаза его упали на стоявшего тут же князя Трубецкого, Алексея Никитича, великого стратига московского[7].

— Иди, Алексей, образумь его, скажи: я жалую его, не гоню, рад ему... Ох, Господи!

Трубецкой явился в собор. Никон сидел на нижней ступени патриаршего места, чертя в задумчивости посохом по церковному помосту. Трубецкой подошел к нему под благословение.

— Прошло мое благословение, недостоин я быть в патриархах,— сказал Никон, не давая Трубецкому благословения.— Недостоин.

— Какое твое недостоинство? Что ты сделал?— спросил недоумевающий Трубецкой.

— Если тебе надобно, то я стану тебе каяться,— с горькой иронией отвечал патриарх,— всему собору, всем православным христианам буду каяться.

В толпе послышался ропот. Трубецкой смутился.

— Это не мое дело, не кайся,— бормотал он,— скажи только, зачем бежишь, престол свой оставляешь. Живи — не оставляй престола! Великий государь наш тебя милует и рад тебе.

Никон вынул из-под мантии клок бумаги, что сейчас исписал за престолом, и подал Трубецкому.

— Поднеси это государю... Попроси царское величество, чтоб пожаловал мне келью.

Трубецкой ушел. Патриарх, несмотря на свою железную волю, озирался растерянно, видимо не находя себе места: то садился на нижней ступени патриаршего места, как бы униженно припадая к ногам обезумевшей от изумления толпы, то вставал и порывался к дверям. Но народ с плачем не пускал его, падая перед ним ниц или простирая к небу руки. Картина была потрясающая. Женщины то рыдали, сбившись в кучу, как овцы в зной, то ползали у ног упрямца, стукаясь головами о каменный церковный помост.

Не выдержал и патриарх — заплакал: беспомощно опустившись на нижнюю ступень своего седалища, он припал лицом к ладони и тихо, беззвучно рыдал.

Это уже было выше меры. Церковь вся огласилась рыданиями. Даже сторожа, забившись по углам, плакали.

Но снова явился Трубецкой и, отдавая Никону назад письмо его, сказал: «Великий государь указал тебе сказать, чтоб ты патриаршества не оставлял, а келийде на патриаршем дворе много».

— Уже я слова своего не переменю,— сказал патриарх и вышел из собора.

Теперь уж его никто не останавливал. Народ чувствовал, что вместе с патриархом и ему нанесена обида... Стоит ли-де настаивать после этого!

Но, когда Никон хотел сесть в карету, народ бросился на нее и выпряг лошадей. Никон пошел пешком чрез Кремль — народ за ним. Патриарх хотел уйти Спасскими воротами — народ запер ворота. Тогда Никон сел в нишу под воротами, в «печуру». Народ запрудил всю эту половину Кремля, и только посланные из дворца бояре могли заставить народ выпустить своего пленника.

Опальный патриарх пошел пешком до своего подворья, на Ильинку, а народ, провожая его, плакал словно по покойнике.

. . . .

Все это вспомнил теперь Никон, возвращаясь в свой Воскресенский монастырь из Москвы, куда он попытался было, но так неудачно, снова воротиться из своего добровольного, а теперь невольного изгнания. Тяжело было у него на душе. Да и как переменилось все в эти долгие, мучительно однообразные шесть лет изгнания? Тогда, оскорбленный и униженный, он ехал в изгнание все-таки полный надежд, что его скоро воротят, попросят назад и торжество его будет полное. Теперь он возвращался полный мрачной безнадежности и тоски: мало того, что теперь его выгнали как собаку,— впереди еще ждет его суд вселенских патриархов[8]. «О! Наемники!» — невольно вырвалось у него слово — и он оглянулся назад. Сани его катились по той же однообразной снежной равнине, по которой он несколько часов тому назад, ночью, ехал с тайной надеждой на победу... Нет, не победа ждала его, а глубокое посрамление...

И он снова мыслью переносился в прошлое. Тогда, шесть лет назад, эти поля покрыты были зеленью; теперь — кругом саван белый — глазам больно от этого снежного моря...

Вспоминалась ему вся его горькая, одинокая жизнь в монастыре и та светлая, полная торжества, власти и славы жизнь, когда он еще не покидал патриаршего престола. Припомнилась и последняя, прошлогодняя схватка с Паисием Лигаридом[9] и другими посланцами царя... Пришли они к нему в келью целым сонмищем, а впереди всех этот грек-бродяга, Паисий... Не вытер-

пело сердце буйного патриарха, и он ринулся вепрем на бедного гречина:

— Вор! Нехристь! Собака! Самоставник! Мужик! — закричал он, стуча об пол посохом.— Давно ли на тебе архиерейское одеяние? Есть ли у тебя ко мне грамоты от вселенских патриархов? Тебе не впервой тыкаться по государствам да мутить — у нас того же захотел?

Но увертливый Одиссей не смутился.

— Отвечай мне по-евангельски,— мягко сказал Паисий по-латыни: — проклинал ли ты царя?

— Я служу за царя молебны,— накинулся на него Никон, когда ему перевели слова Паисия.— А ты зачем говоришь со мною на проклятом латинском языке?

— Языки не прокляты,— отвечал Паисий,— огненный дух сошел в виде языков. Я же говорю с тобою по-еллински, потому что ты невежда и не понимаешь этого золотого языка.

А тут некстати — вмешался Иосиф, архиепископ астраханский [10].

— И ты туда же! — крикнул на него Никон.— А помнишь ли, бедный, свое обещание? Обещался ты и царя не слушать, а теперь суешься! Али тебе, бедному, дали что-нибудь! Я ни слушать тебя, ни говорить с тобою не стану.

— А для чего ты,— вмешался в спор Одоевский,— для чего на молебнах жалованную государеву грамоту приносил, под крест клал и под образ Богородицы, читать ее приказывал и из псалмов клятвенные слова говорил?

— Я на литургии, после заамвонной молитвы, со всем собором молебен служил, государеву грамоту прочитать велел, под крест и под образ Богородицы клал, а клятву износил на обидящего мя, на Ромашку Боборыкина, а не на великого государя.

Те не верили, настаивали на своем. Никон не вынес больше и закричал:

— А хотя бы я к лицу великого государя клятву износил — так что ж? Я за такие обиды и теперь стану молиться: приложи, Господи, зла славным земли!

А потом, обратившись к Иосифу, спросил:

— Какой у вас теперь там на Москве собор и кто приказывал его вам открывать?

Иосиф отвечал:

— Этот собор созван по указу великого государя

ради твоего неистовства; а тебе до этого дела нет — ты свое достоинство патриаршеское оставил.

— Я своего достоинства патриаршего не оставлял.

— Как не оставлял! — Ему показали письмо.— А это разве не твое письмо, где ты пишешь, что не возвратишься на патриаршество, как пес на свою блевотину? Разве не сам ты писался бывшим патриархом? И после этого годится ли тебе называться патриархом?

— Я и теперь государю не патриарх! — загремел упрямец.

— А по самовольному с патриаршего престола удалению и по нынешним неистовствам твоим ты и нам всем не патриарх... Достоин ты за свои неистовства ссылки и подначальства крепкого, потому что великому государю делаешь многие досады и в мире смуту.

Тут же Никон окончательно вышел из себя и закричал не своим голосом:

— Вы пришли на меня, как жиды на Христа...

Все это припомнилось теперь несчастному. А впереди еще этот вселенский суд, а там, верно, вечная ссылка и вечное — до самого гроба — забвение...

Было уже далеко за полдень, когда поезд изгнанного из Москвы патриарха добрался до села Чернева. Лошади, не кормленные всю ночь и более половины дня, притомились. Свита Никона, тоже постившаяся и глаз не сомкнувшая со вчерашнего дня, изнемогла и отощала. Иван Шушера, ставрофор патриарха, постоянно державший перед ним крест, падал от утомления и, того и гляди, мог уронить и самый крест. Сам Никон, казалось, постарел за эту ужасную ночь на десять лет: он, постоянно прямой и твердый, как-то осунулся и сидел сгорбившись. Шушера, вглядываясь в его посеребренную инеем бороду, с ужасом замечал, что в ней начинает серебриться и другой, не морозный иней — иней седины, старости, дряхлости.

Решено было остановиться в селе Черневе — покормить лошадей и самим отдохнуть. Въехали на подворье. Молча, поддерживаемый монахами, Никон вышел из саней и вошел в избу. Почти все время, пока оставались в Черневе, он сидел неподвижно, в глубокой задумчивости. Из этой задумчивости он был выведен скрипом подъехавших к подворью саней и знакомыми голосами. Он встрепенулся — по лицу и по глазам его прошел какой-то свет. Он узнал звонкий голос Родиона Стреш-

нева и сухой кашель дьяка Алмаза Иванова. Что-то вроде надежды блеснуло в черных глазах изгнанника.

В избу вошел Павел, митрополит Крутицкий, Иоаким, архимандрит Чудовский [11], Родион Стрешнев и Алмаз Иванов.

— Великий государь приказал спросить тебя, по какой вести приезжал ты в Москву, и взять у тебя посох Петра митрополита,— сказал Стрешнев, став посреди избы.

— Приезжал я в Москву не своею волею — по вести из Москвы,— отвечал Никон по-прежнему гордо,— посоха не отдам — отдать мне посох некому.

Митрополит Крутицкий хотел что-то сказать, но Никон не дал ему рта разинуть.

— Тебя я знал в попах, а в митрополитах не знаю! — крикнул он на него.— Кто тебя в митрополиты поставил — не ведаю, да и знать не хочу. Посоха тебе не отдам, потому что не у кого, кроме меня, посоху быть. А кто ко мне весть прислал — вот письмо.

И он подал Алмазу Иванову исписанный листок бумаги, хранившийся у него на груди под мантиею. Алмаз Иванов быстро поднес листок к своему пергаментному лицу, пробежал его своими мышиными глазками, словно нюхая, чем пахнут чернила, и, пробормотав успокоительным голосом — «от Зюзина от Микитки»,— сунул его к себе за пазуху.

Никону доложили, что лошади уже запряжены — пора ехать. Не оборачиваясь к царским посланцам, он вышел из избы на крыльцо. Был уже вечер. Звезды, как и вчера, горели ярко, и длинный хвост кометы стоял на синеве неба прямо, словно огненная метла, поднятая невидимой рукою.

Посланцы вышли за патриархом. Когда Никон, поддерживаемый монахами, садился уже в сани, к нему подошел Крутицкий митрополит.

— Отдай посох,— сказал он настойчиво.

— Не тебе ли, худоглавый! — огрызнулся на него упрямец.

— Не мне, а великому государю.

— Чрез твои-то коростовые руки!

Ошпаренный митрополит не знал, что отвечать.

— На! — обратился упрямец к близ стоявшему монаху, подавая ему посох.— Отвези великому государю...

А мой посох — вон! (Он указал на комету.) Я с ним пойду по земле и всю российскую землю вымету начисто...

Он сделал знак рукою, и поезд двинулся в путь.

III. АВВАКУМ В ЦАРИЦЫНЫХ ПАЛАТАХ

В этот самый вечер, когда Никон, уезжая из села Чернева в ссылку, грозился, что, вместо посоха Петра митрополита, возьмет в руки божественную метлу — комету — и ею выметет русскую землю,— в это время в Москве, во дворце, на половине царицы Марьи Ильиничны[12], рядом с царицыной мастерскою палатой, в покоях боярыни Федосьи Прокопьевны Морозовой и княгини Авдотьи Прокопьевны Урусовой, которые были родные дочери Прокопья Федоровича Соковнина, ведавшего царицыну мастерскую палату, находился редкий гость — мужчина. По тому времени на женскую половину допускались весьма немногие мужчины — ближайшие родные, духовники, святоши да юродивые.

Гость, сидевший в покоях Морозовой и Урусовой, был поп, судя по его одеянию и наружности. Это был высокий, широкоплечий мужчина с длинной, апостольской седой бородою и такими же седыми курчавыми волосами, с длинным, тонким, красиво очерченным носом, с серыми большого разреза и длинными глазами и низеньким лбом, на который красиво падали седые кудерьки,— точь-в-точь святительский лик, какие можно видеть на старинных иконах суздальского письма. Серые, с длинным разрезом и длинными ресницами глаза смотрели ласково и по временам зажигались прекрасным, каким-то согревающим светом. Это были совсем отроческие глаза под седыми бровями.

Боярыни, у которых этот бросающийся в глаза старик сидел в гостях, смотрели еще совсем молоденькими. Они были одеты совсем одинаково: в черные, с малиновыми по переду и подолу разводами, сарафаны и в темно-малиновые с золотыми разводами душегреи. И лицом они походили одна на другую, только старшая из них на вид была покруглее лицом и всеми формами: немножко вздернутые кверху носики, большие, голубые, с наивно-детским выражением, глаза и круглые подбородки с ямочками — все это было

одного пошиба и смотрело одинаково мягко и симпатично.

Они сидели у покрытого ковром стола, на котором находился большой серебряный поднос, а на нем рассыпан жемчуг и разноцветный бисер. Они усердно подбирали жемчуг и бисер, по временам как бы замирали, слушая своего гостя и поднимая на него от работы изумленные, нередко испуганные глаза, и снова наклонялись над работой. Тут же стояла у стола маленькая, лет девяти-десяти, белокуренькая девочка и, торопливо выбирая с блюда самые крупные жемчужины, нанизывала их на красную нитку. Она часто смотрела на седого гостя своими большими, удивленными глазами, как бы не веря тому, что тот рассказывал, и, роняя иногда жемчужину на блюдо, нетерпеливо топала ножкой.

— И как я, светики мои миленькие, подал эти выписки о сложении перстов, меня и велел схватить оный Никонишко,— монотонно говорил седой гость, поглаживая свою бороду.— Взяли меня, светики мои, от всенощной, прямо из церкви, а со мной захватили и стрельцов человек до шестидесяти. Их-то, детушек моих, в тюрьму отвели, а меня на патриархов двор на цепь посадили на ночь, яко медведя. Когда же рассветало, посадили меня на телегу и растянули руки, точно распяли, и везли от патриархова двора до Андроньева монастыря, и тут на цепи, что собаку, кинули в темную-претемную палатку — вся в землю ушла, сыра и холодна, как могила. И сидел я там, светики мои, три дня, во тьме кромешной, не ел не пил, да и не давали ничего. И сидя там, я молился на цепи и кланялся с цепью — не знаю, на восток, не знаю, на запад поклоны клал... а цепь-то звенит, цепь-то плачет ко Господу! Никто ко мне туда не приходил, токмо мыши да черные тараканы, да сверчки и день и ночь кричат. И в третий день приалчен я бысть, сиречь есть захотел, отощал,— и оле чудо — ста предо мною не вем ангел, не вем человек — и по сие время не знаю, ста предо мною в потемках, молитву сотворил и, взяв меня за плечо, с цепью к лавке подвел, посадил, ложку в руки дал, хлебца немножко и штец дал — похлебать — зело превкусны хороши, и рекл ми: «Полно! довлеть ти ко укреплению». Да и не стало его: двери не отворялись, а его не стало. Дивно только — человек ли то, али ангел? Ино нечему дивиться, ангелу везде

не загорожено. То-то ночка была!.. Наутро архимандрит с братиею пришли и вывели меня из темницы: журят мне, что патриарху не покорился; а я, светики мои, от писания браню его да лаю. А там поволокли меня в церковь и в церкви-то за волосы драли, под бока пинками толкали, за чепь торгали и в глаза плевали... а я, светики мои, радуюсь: как клок-от волос выдерут, а я думаю себе: «венец-де нетленный плетут мне»; а цепь звенит — то райские птички поют: таково-то сладко на душе было!

Он остановился, как бы припоминая что. Слушательницы тихо позвякивали жемчугом, боясь проронить слово.

— В ту пору, светики мои,— продолжал гость,— взяли и Логина, протопопа муромского. В соборе, при самом государе, остриг его Никон в обедню — то-то знатную цирульню из храма сделал! Во время переноса оный цирульник Никон снял с головы у архидиакона дискос[13] и поставил на престол с телом Христовым и с чашею. А когда остригли Логина, то содрали с него и однорядку, и кафтан — точно разбойники! Логин же разжегся ревностью божественного огня, шибко, на весь собор, порицал Никона и через порог в алтарь в глаза ему плевал; а потом распоясался и рубашку с себя сдернул да голый, в чем мать родила, портками прикрывшись, ту рубашку в алтарь в глаза Никону бросил... И чудно! Растопоряся рубашка, и покрыла на престоле дискос, будто воздух... И в ту пору, светики мои, и царица в церкви была...

— В ту пору, батюшка, и я с царицею была там,— тихо сказала княгиня Урусова, вся красная, не поднимая головы.

— Была, миленькая, и чудо видела? — встрепенулся гость.

— Нет, я тогда горько плакала, за слезами ничего не видала.

— Жаль, жаль... Так вот, светики мои, остригши Логина, возложили на него цепь тяжелую, лошадину, и, таща из церкви, били метлами и шелепами до самого Богоявленского монастыря, а народу-то, народу-то что на улице! И кинули его там в палатку, в темницу, и стражу поставили. И что же бы вы думали! В ту нощь Бог ему шубу новую да шапку дал...

— Бог шапку и шубу дал! — встрепенулась бело-

куренькая девочка, подходя к старику и глядя своими большими изумленными глазами в его глаза.

— Дал, миленькая царевна, Софей-премудрость Божия! — ласково сказал старик, любуясь девочкой.— У Бога все возможно... Вон когда наутро и Никонишке рассказали об этом, так он, рассмеявся, аки пьяница на кружечном дворе, сказал: «Знаю, су, я пустосвятов тех!» — и шапку у него отнял, а шубу оставил прикрытия наготы ради.

— А в Сибири, отец, тяжко было жить? — спросила Морозова.

— И тяжко, и сладко, миленькая моя... Исходил я всю ее, студеную-то сторонку сибирскую. Был и в Тобольске, и в Енисейске, и везде-то за мной по пятам шла злоба Никонова. Мало ему было Енисейска, велел послать меня в Даурию с енисейским воеводою Афанасьем Пашковым. Уж и лют же был до меня оный Пашков, да Бог ему, Афанасью, простит. Вышли мы из Енисейска с полком казаков, в шестистах, водою, на дощениках. Уж и натерпелись же мы там: не один ковш горя выпили и не одно ведро слез пролили. Однова ехали мы по большой Тунгуске-реке, и в ту пору встала буря, и погрузило бурею в воду дощеник мой — совсем налился среди реки полон воды, и парус изорвало; остались над водою одни палубы, а то все в воду ушло. Жена моя на палубу из воды деток-ребяток кое-как повытаскала, мечется простоволоса, а я, на небо глядя, кричу: «Господи, спаси! Господи, помоги!» А Бог-от молитву людскую слышит и козявочку маленькую под листочком видит и бережет,— и ухо Его святое везде, и рука Его благая повсюду... И волею Божиею прибило нас к берегу; Бог берег меня, свою козявку бедную. Бог берег, так Пашков, в угоду Никону, души моей искал. Взлютовался он на меня крепко, стал из дощеника выбивать: «для-де тебя дощеник худо идет, еретик-де, поди-де по горам, а с нами не ходи». Страх меня оковал тут: горы высоки до небес; дебри непроходимые: утес каменный, яко стена стоит, и поглядеть на него, заломя голову, так шапка валится... А в горах тех змии великие живут... И чего-то там нет! А все не так, как у нас на Руси: там и гуси, и утицы — перие красное, и вороны серые и галки черные, там и орлы невиданные, и соколы дивные, и кречеты, и курята индейские, и бабы, и лебеди, и иные дикие, многое множество, птицы разные. А зверей-то там — и числа,

и имени им нету: козы дикие, и олени с оленцами малыми бегают, и зубры велие, и лоси, и кабаны — клыком зубра прошибают, и волки, и бараны дикие воочию бродят, а взять нельзя. На те-то горы выбивал меня Афанасий со зверьми рыскать да со птицами витать. Так я ему малое писаньице написал: «Человече! говорю: убойся Бога, сидящего на херувимах и взирающего на бездны, его же трепещут небесные силы и вся тварь со человеки — един ты презираешь его...» Послал к нему. А и бегут человек с пятьдесят казаков: взяли мой дощеник и помчали к нему; а я казакам кашки наварил да кормлю их; а они, бедные, и едят, и дрожат, а иные, глядя на меня, плачут — жалко им меня. Привели дощеник. Взяли меня палачи, привели пред него. Он со шпагою стоит и дрожит весь от злобы. «Поп ты или распоп?» — кричит. «Аз есмь Аввакум, говорю, протопоп». Он же рыкнул, яко зверь дикий, и ударил меня по щеке, да по другой, да в голову, и сбил меня с ног, да ухватя цепь, лежачего по спине, а потом, раздевши что липку, по той же спине семьдесят два раза. А я под кнутом-то молюсь: «Господи! Помогай меня». А ему горько и досадно, что не говорю «пощади». Стащили меня потом, еле жива, в казенный дощеник, сковали и руки и ноги и на беть кинули. Осень в ту пору стояла глубокая; дождь на меня лил всю ночь — под капелью лежал хуже пса... Как били кнутом-то, так не больно было с молитвою-то; а тут, лежа под дождем, заплакал до Бога. Да и как было не плакать! Все кости-то щемью щемят; жилы-те клещами тянут; все сердце во мне с телом издрожалось, и я помирать стал... Увидали это казаки, плеснули мне в рот водицы — ожил, отошел... Наутро кинули меня в лодку и везли дальше. Привезли к порогу Падуну — страшен тот порог, зело крут; гребень во всю реку — только воротца малые: что в воротца не попало, ино в щепы растрощит и размечет. Привезли меня под порог: со всего неба, кажись, дождь и снег собрался на меня, а у меня на плечах один кафтанишко; льет вода и по спине, и по брюху,— углобоша воды до души моей... О! таково нужно было... Привезли меня потом в Братский острог и в тюрьму кинули,— благо, соломки дали. В те поры там зима злая живет,— а меня Бог и без платья грел: что собачка на соломке лежу, о далекой Москве вспоминаю; коли накормят, коли нет, лежу да думаю... А тут эти мыши

покою не дают, и я их, бывало, скуфьею бил — и батожка мне дурачки не дали... Все на брюхе лежал; спина гнила — да что о том вспоминать!

А молодые боярыни, по-видимому, все усерднее и усерднее работали над своими жемчугами, только подчас выступавшие на щеках пунцовые пятна да дрогнувшая рука обнаруживали их внутреннее волнение. Маленькая царевна Софьюшка также вся превратилась в слух.

— На весну паки поехали вперед: все дале и дале — к самому, кажись, концу света,— продолжал, немного помолчав, гость.— Дорогой все испроели и совсем обносились — мало душу не износили в лохмотья. И вдругорядь тонул я на Байкалове море, только Бог вынес из пучины морской. А море-то, миленькие мои, у какое свирепое было! Словно звери седые да косматые ходили по нем и рыкали. А после Байкалова моря по Шилке шли: тут Пашков заставил меня лямку тянуть. Что ж! и тянул — чем я лучше других! А зело трудно и нужно было — и поесть было неколи, да и нечего, не то чтобы спать. Целое лето мучились от водяные тяготы: люди, что мухи, гибли, а у меня и живот, и ноги сини были — как и вынес! Два лета как-то бродили в водах, мерли да синели, а зимами через волоки волочилися. И на той Шилке я в третий раз тонул, да все не утонул: оторвало мою барчонку от берега водою, ухватило да и понесло; жена и дети на берегу остались — плачут, руки к небу возносят, хотят до неба докричать; а меня с кормщиком помчало — словно щепку нас буря подхватила... Переворачивает, это, нашу барочку вверх и боками, и дном, треплет, а я по ней ползаю, что козявка, да кричу: «Владычица, помози!» Иное ноги в воде, а иное выползу наверх! Гнало с версту и больше, да люди у смерти отняли — только все размыло до крохи. Да и крох-то этих было не густо. А что станешь делать, коли Христос да Пречистая Богородица изволили так? Их воля. Я-то, вышед из воды, смеюсь — рад, что жив, а люди-те плачут, платье мое по кустам развесивши. А Пашков опять меня же хочет бить — мало ему, благо зажила спина. «Ты-де, вопит волком, сам над собою делаешь на посмех!» Я-то сам топлю себя! И я опять Богородице-свету докучать: «Владычице! уйми дурака того!» Так она, надежа, уняла — жалко меня стало. Потом доползли до Иргея-озера. Волок тут большой, стали зимою

волочиться — волами поделались. Пашков отнял у меня работников, так я один уже и помаялся: детишки маленьки, едоков много, хоть и малы рты, а работников один я, горемыка-протопоп; нарту сам себе стюкал топориком, уложил деток да протопопицу — и волоку. А доволок, помогла Всепетая. А там и весна тепленька глянула: птички запели; травка зазеленела; речушки прошли,— так мы по Ингоде-реке и поплыли на низ — четвертое лето от Тобольска плаванию моему и плаканию — всласть наплакался. Там лес гнали хоромной и городовой — остроги ставили: Иркутск, Нерчинск, Албазин — много острогов нагородили. И стало есть нечего: люди учали с голоду пухнуть да помирать, да от работные водяные бродни погибать. О-и-хи-хи! Река мелкая; плоты тяжелые; приставы немилостивые; палки большие; баготы суковатые; кнуты острые; пытки жестокие — огонь да встряска,— люди голодные: лишь станут мучить, ан и умрет... Ах, времени тому! не знаю, как и ум от меня не отступился. А от Пашкова он ушел — да и был ли, полно? На Нерче-реке живучи, с травою перебиваючися, голодом помирая, а он все лютует, все ему мало. Осталось нас малое место, которые не перемерли, и мы, отай от него, по полям да по степям скитающеся, что кроты коренья копали. А пришла зима — сосну грызли, аки зайцы; а иное кобылятинки Бог даст — либо кости находили зверей, что волки зарезали, и что волк не доест, мы доедим, а то и самих озяблых волков да лисиц ели и всякую скверну. Кобыла жеребенка родит, а голодные отай и жеребенка, и место скверное кобылье съедят. А Пашков сведал — и кнутом до смерти забьет. И кобыла умерла — все извод взял, понеже не по чину жеребенка того вытащили из нее: лишь голову появил, а они и выдернули да почали черов скверную есть. Ох, времени тому! И сам я, грешный, волею и неволею причастник тем кобыльим и мертвечьим скверннам и птичьим мясам. Увы грешной душе моей, юже аз погубил житейскими сластьми! Ох, времени тому страшному!

— О-ох! — вырвался страстный стон из груди Морозовой.

Молодая боярыня бросилась перед Аввакумом на колени и, схватив его руку, покрывала ее поцелуями.

— Батюшка! Свет ты наш — мученик Христов! — шептала она страстно.

Аввакум встал в сильном волнении и силился при-

поднять молодую боярыню, которая целовала его рясу, а потом припала к ногам.

— Господь с тобой, дочушка моя во Христе, Федосьюшка милая, светик мой! — бормотал он растерянно, радостно, силясь приподнять молодую женщину.— Встань, дитя божье!

— О-ох, свет наш учитель! Дай мне, грешнице, ноги твои святые слезами омыть и косою моею мерзкою вытереть,— шептала боярыня, ломая свои пухлые ручки.

Аввакум приподнял ее, бережно прижал ее голову к своей груди и дрожащей рукою крестил плачущую женщину. «Господь над тобой, дочушка! Ангелы осени тебя чистые! Успокойся, дитятко!» — ласково говорил он, усаживая ее.

Княгиня Урусова также всхлипывала, припав головой к столу. Маленькая царевна стояла вся красная, готовая заплакать.

Морозова села. Грудь ее сильно поднималась под малиновой душегреей; губы дрожали. Аввакум с трудом пришел в себя.

— Разбередил я вас, старый дурак, миленькие мои, простите! — говорил он в волнении.— И что же, светы мои,— глядючи на вас, скажу: ближе к Богу жена стоит, нежели муж. Ей-так! Ей-ей, воистину так! Не даром Господь жену создал из ребра мужчины, а мужа из персти земной, из грязи. Тем и выше жена мужа и чище его духом и телом. Не вы первые, светики мои, не вы последние пример тому: уж коли женщина верит, так ее вера — адамант крепок и сила в ней несокрушимая. Вот хоть бы обо мне сказать: когда мы помирали голодной смертью в даурской далекой стороне и питались скверною всякой, мертвечиною и сосною, нас от смерти спасли жены воеводские — жена оного Афанасья Пашкова, Фекла Семеновна — болярыня — да болярыня воеводская сноха Авдотья Кирилловна — они нам от смерти голодной тайно давали отраду: без ведома его, Афанасья, пришлют иногда кусок мясца, иногда колобок, иногда мучки и овсеца, сколько сойдется — четверть пуда и гривенку-другую, а иногда и полпудика накопят и передадут, а иногда у куров корму из корыта нагребут да нам на обед либо на ужин пришлют. А раз и курочку живую дали. Черненькая была курочка, хохлатенькая и в штанишках, говорунья такая — все, бывало, каждое утречко: «коко-коко! коко-коко!» Ан глядь — два яичка снесла, да так по

два яичка на день и приносила робяти нашему на пищу, божьим повелением нужде нашей помогая: Бог так строил. Да, увы! на нарте везучи в то нуждое время, удавили ее по грехам нашим, недоглядели. И плакали по ней — гораздо поплакали. И нынеча жаль мне курочки той, как на разум, голубушка, придет. Не то курочка, не то чудо было от Бога: во весь год по два яичка давала — сто рублей при ней плюново дело! Жалею... И та курочка, одушевленное божие творение, нас кормила, и сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, если и рыбка прилучится, и рыбку клевала и нам против того два яичка на день давала. Слава Богу, вся сотворившему благая! И не просто она нам досталася. У боярыни той воеводши куры все переслепли и мереть стали, так она, собравши в короб, ко мне их прислала: чтоб-де батько пожаловал, помолился о курах. И я подумал: кормилица, то есть, наша, детки у нее, надобны ей куры. Да молебен пел; воду святил,— куров кропил и кадил; потом в лес сбродил, корыто им сделал, из чего есть, и водою покропил, да к ней все и отослал. Курки божьим мановением исцелели и исправилися по вере ее, болярыни. От того-то племени и наша курочка была. Да полно того говорить! — у Христа не сегодня так повелось. Еще Косма и Дамиан человеком и скотом благодетельствовали и целили о Христе. Богу вся надобна: и скотинка, и птичка во славу его пречистого Владыки, еще и человека ради. А все жаль курочки той...

Вдруг послышалось тихое, сдержанное всхлипыванье. Поглощенные рассказом Аввакума, мысленно бродившие с ним по далекой, неведомой даурской земле и по Нерче-реке, молодые боярыни не заметили, как маленькая царевна, тоже жадно слушавшая странного старичка и не спускавшая с него своих больших, изумленных глаз, припав своей белокурой головкой к коленям княгини Урусовой, тихо плакала.

— Что с тобой, солнышко-царевна! Об чем ты изволишь плакать? — встревоженно спрашивала молодая княгиня, приподнимая с своих колен заплаканное личико Софьюшки-царевны.

Девочка не отвечала, только розовые губки ее снова складывались, чтоб заплакать пуще прежнего.

— Христос над тобой, солнышко светлое! О чем плакынькаешь? — допрашивали ее обе сестры-боярыни.— А? Поведай нам, об чем?

— Жалко,— отвечала девочка, силясь сдержать слезы и как бы глотая их.

— Кого жалко, золотая?

— Курочку жалко...

— А! Курочку...— Все улыбнулись.— Что же теперь плакать о ней? Вон, мы не плачем...

— Нет, и вы плакали.

— Мы плакали о батюшке, об отце Аввакуме, какие он там муки терпел... А тебе батюшку жалко, а, скажи, золото червонное?

Девочка посмотрела на Аввакума. Тот ласково улыбался ей.

— Что меня, старого-то ворона, жалеть, осударыня царевна! — сказал он, подходя к ней и крестя ее головку.— Я вон жив, брожу, а курочка-то умерла.

В это время в комнату вошла, переваливаясь, как не в меру накушавшаяся утка, полная, с ожиревшим лицом и мешковатым подбородком, пожилая женщина. Заплывшие жиром глазки чуть-чуть выглядывали из своих щелей, словно тараканы.

Женщина, увидав Аввакума, тотчас подошла к нему под благословение. Тот осенил ее истово, двуперстно, изобразив из своих пальцев сорочий хвост.

— Я-то, старая, царевну ищу, а моя царевна вон где,— заговорила вошедшая женщина, кланяясь хозяйкам в пояс.— Она, моя голубушка, знает, где коломенской пастилой кормят.

— Нет, матушка, я не ела пастилы,— отвечала девочка.

— Ах, мы, скверные! — спохватилась Морозова.— Заслушались слова Божья, а о пастиле-то и забыли... А нам свеженькой, двухсоюзной прислал милый княжич наш, Васенька Голицын. Сбегай, Дунюшка, принеси, и батюшку попотчуем, как та курочка черненька, хохлатенька.

— Ах, вы курочки мои золотые! Балуете старика,— любовно говорил Аввакум, провожая глазами Урусову.

— А никак ты, царевнушка, плакынькала? — сказала толстая мамушка, вглядываясь в глаза девочки.— Об чем слезки жемчужны? а?

— Об курочке, как курочку задавили...

— Это я, старый ворон, каркал, раскивилил царевну,— вмешался Аввакум.— Курочка у меня в Сибири была.

— Осударыня царевна! — послышался вдруг моло-

дой, звонкий голос в дверях.— Осударыня царица приказала тебя кликать — учитель пришел.

Это была молоденькая дворская сенная девушка с розовыми щеками.

— Какой учитель? — встрепенулся Аввакум, обращаясь к маленькой царевне.

— Симеон Ситианович,— бойко отвечала девочка.

— А! Симеон Полоцкий[14] — хохол — умник белорусский,— брезгливо заметил Аввакум.— Чему же это он учит тебя, государыня царевна?

— И письму, и цифири, и великим хитростям,— быстро заговорила девочка: — псалтырь виршами, и небо мне показывает, и планиды — есть планида Крон,— есть планида Ермий, а звезды веществом чисты, образом круглы, количеством велики, явлением малы, качеством светлы, а земля черна и кругла — она есть кентр всего мира...

Девочка захлебывалась от торопливости, желая разом выложить все свои знания. Личико ее разгорелось, глаза блестели. А Аввакум, слушая ее, только головой качал.

— Ну, научат добру эти хохлы, научат...

IV. СТЕНЬКА РАЗИН У НИКОНА

Тяжелое, очень тяжелое было это время — шестидесятые годы XVII столетия, к которым приурочивается наше повествование,— такое тяжелое время, что едва ли и переживала когда-либо подобную годину святая Русь, хотя она уже и вынесла на себе и двухсотлетнее татарское ярмо, и лихолетье «смутного времени», и великое моровое поветрие: в эти тяжелые шестидесятые годы русская земля раскололась надвое — разорвалось надвое русское народное сердце, надвое расщепилась, как вековое дерево, русская народная мысль, и сама русская жизнь с этих несчастных годов потекла по двум течениям, одно другому враждебным, одно другое отрицающим.

И расколол русскую землю и русскую жизнь надвое не Никон, которому приписывают это расчленение великого царства раскольники, и не Аввакум, которого история считает первым заводчиком так называемого «раскола», или «старообрядчества», нет, клином, расколовшим русскую землю и русскую мысль надвое,

был просто типографский станок — это величайшее измышление человеческого ума,— станок, привезенный в Москву теми, которых батюшка Аввакум называл «хохлами» и о которых он говорил маленькой царевне Софьюшке, что они «научат добру»...

Дело было так. Привезли хохлы в Москву этот пагубный станок, уставили на печатном дворе, и началось в Москве печатанье церковных, богослужебных и иных душеспасительных книг. А до этой поры на Москве и по всей русской земле были книги писанные. В писанных книгах, само собой разумеется, было много описок, неточностей, разноречий: по одному списку в символе веры значилось — «его же царствию не будет конца», а по другому — «несть конца», в одной книге об Иисусе Христе говорится: «рожденна несотворенна», а в другой — «рожденна, а не сотворенна», и ввиду этого разноречия одни принимали этот аз, а другие отметали его. Было много и других подобных спорных вопросов. Типографский станок должен был примирить все эти споры: печать намерена была держаться чего-либо одного — и она нашла этот аз излишним. Люди, привыкшие слышать от купели своей в символе веры этот аз, восстали за него.

— Нам всем, православным христианам,— говорили эти сторонники аза,— подобает умирать за один аз, его же окаянные враги (это «хохлы») извергли из символа там, иде же глаголется о Сыне Божии Исусе Христе — «рожденна, а не сотворенна»: велика зело сила в сем азе сокровенна.

К сторонникам аза принадлежал и знакомый уже нам благообразный старец, протопоп Аввакум, вынесший ужаснейшие семь лет ссылки в Даурии и рассказывавший в предыдущей главе нашего повествования о своих страданиях в сибирской стороне боярыням Морозовой и Урусовой и маленькой царевне Софьюшке.

Когда «хохлы» привезли в Москву типографский станок, то в числе «справщиков» к нему был приставлен и Аввакум, или, говоря современным языком, Аввакум назначен был одним из редакторов для печатания на гуттенберговском станке церковных книг; но когда Никон, под влиянием образованных «хохлов», вроде Епифания Славинецкого, и хитрых греков, вроде Арсения, начал коренное исправление в печати богослужебных книг, и когда благочестивый Аввакум

с товарищами объявили, что за аз они скорее умрут, чем позволят выбросить его в корректуре символа веры, и при этом не послушались решения целого совета или собора святителей, то их и подвергли разным наказаниям и ссылкам.

Затем, когда упрямый и властолюбивый Никон, в гневе на царя, оставил патриарший трон и удалился в свой монастырь, сторонники аза, в большинстве случаев, были возвращены из ссылки. Возвращен был из Сибири и Аввакум — и вот после этого мы и видели его в беседе с Морозовой и Урусовой в вечер вторичного возвращения Никона из Москвы в свой монастырь.

Это и есть начало раскола в русской земле: величайшее в истории внутреннего развития русского народа событие совершилось, таким образом, из-за пустой корректуры, вызванной все тем же пагубным станком Гуттенберга.

Такие мысли, как волны под давлением порывистого ветра, обуревали поседевшую голову Никона, когда он, на другой день после неудачной поездки в Москву, стоял, во время обедни, в своей Воскресенской церкви и прислушивался к монотонному чтению иподиаконом апостола.

«Литеры малые, да слова, да препинательные знаки, да перстное сложение — экую бурю подняли оные литеры! — на весь мир буря... А все сей станок печатный...»

Так бессвязно думал он, напрасно силясь вслушаться в чтение иподиакона. Как изменился он со вчерашнего дня! Словно бы выдержал необыкновенный пост или тяжкую болезнь.

Но, как он ни был занят своими думами, он не мог не заметить какого-то неизвестного человека, который стоял у правого клироса перед изображением Спасителя, несущего крест, и горько плакал. По виду он не казался москвичом, да и костюм его отличался от обыкновенного московского платья. Никону виднелся несколько его профиль с характерным широким носом, подстриженный довольно высоко, толстый, как у вола, затылок; такая же шея и широкие плечи — вся коренастая, невысокая фигура его казалась крепкою, точно выкованною молотом на наковальне.

Всю обедню незнакомец молился и плакал: Никон видел, как он припадал головой к полу, долго не

поднимал ее, и как при этом вздрагивали от плача его могучие плечи.

«А должно, большое горе на душе у него»,— невольно думалось патриарху; ему самому, разбитому и поруганному, понятнее теперь становилось всякое человеческое горе.

После обедни незнакомец подошел к нему под благословение: необыкновенно добрые и, по-видимому, робкие, с какой-то скрытой, неуловимой мыслью глаза произвели на патриарха невольное впечатление. В глазах этих было что-то чарующее, покоряющее своей мягкостью, в которой сказывалась сила.

— Ты не здешний? — спросил его Никон, поднимая правую руку для благословения.

— Не здешний, великий государь владыко,— смело отвечал незнакомец.

— Не называй меня великим государем,— остановил его патриарх,— прошло мое государствование.

Незнакомец смотрел на патриарха, по-видимому не вполне понимая его.

— Я токмо патриарх, а не великий государь,— продолжал Никон с дрожью в голосе: — великий государь у нас один — царь Алексей Михайлович... А ты откуда и кто таков родом?

— Я с Дону казак, святой владыко, Степаном называюсь, по-нашему Стенькою, а по прозванию Разиным... Был на Дону на атаманстве, а теперь иду молиться — душу спасти [15].

— Доброе дело,— сказал патриарх и благословил его.— Куда же ты идешь молиться?

— Кланялся я на Москве московским святителям, а теперь иду поклониться соловецким, да к тебе, великий патриарх, зашел просить твоего благословения всему тихому Дону.

— Благое твое намерение,— ласково и задумчиво сказал Никон,— я рад тебе, Степан; заходи ко мне, я с тобою поговорю.

Разину на вид казалось лет около пятидесяти, а может быть, и меньше. В широкой, окладистой бороде его серебрилась резкая проседь. Невысокий лоб разрезывался надвое длинной характерной морщиной. Лобная кость казалась сильно выдававшейся над глазами. В выражении лица читалось что-то задумчивое, невысказываемое.

Патриарх вышел из церкви, а Разин остался, чтобы

приложиться к иконам и отслужить панихиду по новопреставленной рабе божьей девице Дарье. За панихидой он плакал еще неутешнее, чем за обедней. Кто была эта новопреставленная Дарья — это знал один только Стенька.

После панихиды к нему подошел посланный от патриарха — это был его неразлучный крестоноситель, Иванушка Шушера,— и позвал в патриаршие кельи.

Никон писал что-то, когда ввели к нему Разина. Патриарх указал ему место на скамье, а сам остался в кресле с высокой спинкой, на которой вышит был малиновый крест, как бы осенявший голову патриарха.

— Я рад тебя видеть, Степан,— снова сказал патриарх приветливо, вглядываясь в красивые глаза гостя.— Что у вас на Дону слышно?

— Слухов у нас, владыко святой, ходит немало, а все больше слухи московские,— отвечал Разин.

— Какие же такие московские слухи?

— О московском настроеньи ходят слухи — на тебя-де, великого патриарха, гонение неправое от бояр: таковы у нас слухи.

— И то правда,— сказал Никон, сверкнув глазами: — боярам я поперек горла стал — не давал им воли, так они наплели на меня великому государю многие сплетни безлепично, и оттого у меня с великим государем остуда учинилась на многие годы. Я сшел с патриаршества, дабы великий государь гнев свой утолил, а они без меня пуще распаяли сердце государево. Теперь меня, великого патриарха, хотят судить попы, да чернецы, да епископы — дети собираются судить отца... А у меня один судья — Бог!

Патриарх чувствовал, как раскрывались в его душе свежие раны, и голос его крепчал все более и более.

— Теперь я стал притчею во языцех: бояре надо мной издевки творят, мое имя ни во что ставят, из Москвы и из святых московских церквей меня, великого своего патриарха, выгоняют, аки оглашенного; ни меня до царя не допускают, ни царя до меня. Враги мои, не зная над собою страха, играют святостию, кощунствуют. Вон теперь Семенко Стрешнев что́ чинит с своею собакою — и сказать страшно. Он, вор Семенко, научил своего пса сидеть на задних лапах, а передними — благословлять!

— Благословлять! Собаку научил благословлять! — невольно вскрикнул Разин и вскочил с места. Глаза его загорелись — он в этот момент совсем не

походил на прежнего тихого, с кротким выражением глаз, Разина.— Это боярин научил собаку?

— Да, боярин Стрешнев — на ушке у царя он... И называет эту собаку Никоном-патриархом — Никонкою... Когда соберутся у него гости, он зовет тое собаку: «Никонко! Никонко-патриарх! Поди благослови бояр...» И бессловесный пес кощунствует, ругается над нами и над благословением божьим... Вот до чего мы дожили...

Никон встал и в волнении заходил по келье, стуча посохом.

— Так мы тряхнем Москвою за такое надругательство над верою,— мрачно сказал Разин.

Он был неузнаваем. Прекрасные глаза его остоячились, нижняя челюсть дрожала.

— Они хуже бусурман,— глухо продолжал он.— Мы с них сдерем боярскую шкуру на зипуны казакам, а то у нас на Дону голытьба, худые казаки — давно обносились.

Он как бы опомнился и снова моментально ушел в себя — только глаза его вопросительно обратились на патриарха.

— Теперь хотят судить меня судом вселенских патриархов,— продолжал Никон также несколько более спокойным голосом.— Я суда вселенских патриархов не отметаюсь — ей! не отметаюсь! Токмо за что судить меня? Если за один уход с престола, так подобает и самого Христа извергнуть — он много раз уходил страха ради иудейска... А я сшел с престола, бояся гнева царева и козней боярских: они хотели многим чаровством опоить меня, да и опоили было, только Бог меня помиловал — безуем камнем да индроговым песком отпился от этого чаровства.

Он остановился. Разин стоял, глубоко опустив голову.

— Садись, Степан, что ты встал? — сказал патриарх, как бы намереваясь переменить разговор.

Разин молча сел и продолжал о чем-то думать.

— Так как же, Степан,— когда ты в Соловки думаешь идти? — спросил Никон.

— Пойду ныне же, чтоб к весне на Дон воротиться,— отвечал Разин раздумчиво.

— А у нас не поживешь?

— Поживу — помолюсь, коли милость твоя ко мне будет.

— Живи, у нас место найдется и корм будет.

— Спасибо, святой патриарх.

Потом, немного помолчав, Разин спросил: «А твое великое благословение на Дон будет?»

— Я Дон благословлю иконою,— отвечал патриарх.

— А что мы казацкою думою надумаем — и то благословишь?

— Коли на добро православным христианам и во славу Божию, то будет и мое благословение. По тебе сужу, что донские казаки не суть рабы ленивии у Господа — молятся неленостно.

— Плоха наша молитва,— отвечал Разин грустно,— не высоко подымается.

— Для чего не высоко?

— Должно, грехи не пущают до неба — не доходит до Бога,— продолжал Разин как-то загадочно.

— Не дело говоришь, Степан,— строго заметил патриарх: — Бог и высоко, и низко живет — до него все доходит.

Разин молча покачал головой и вздохнул.

— У тебя, Степан, я вижу, горе есть на душе,— сказал Никон, зорко вглядываясь в своего собеседника.

Разин молчал, только рука его, брошенная на колено, задрожала.

— А кто виною печали твоей? — с участием спросил патриарх.

— Те же, что и твоей, владыко святой,— еще загадочнее отвечал гость.

— Ноли бояре?

Дверь в келью отворилась, и на пороге показался Иван Шушера, бледный, испуганный.

— Ты что, Иванушко? — тревожно спросил патриарх.— Что случилось?

— Бояре со стрельцами приехали.

— Спира воинская... взять меня хотят, яко Христа в саду Гефсиманском,— сказал он, вставая во весь свой рост.— Слуги Анны и Каиафы идут за мною [16].

Разин также вытянулся и выхватил из-под полы кафтана огромный нож.

— Что это? — тревожно спросил Никон.

— На бояр,— сипло отвечал гость.

Никон вздрогнул.

— Нет, не буди Петром... вложи нож... всяк, иже

нож изъемлет, от ножа погибнет,— торопливо говорил патриарх.

Разин был страшен. Казалось, что волосы на голове у него ходили — так двигалась кожа на его плоском, широком черепе.

— Вложи нож, Степан! Вложи! — повторил Никон, слыша шум в сенях.

Разин спрятал нож.

— Так к нам на Дон: мы не выдадим,— сказал он угрожающим голосом,— их растак...

В дверях показалось иконописное лицо Одоевского, а за ним харатейный лик дьяка Алмаза Иванова.

— Анна и Каиафа,— громко сказал патриарх, откидывая назад голову,— кто ищете? — се аз есмь...

— Комедиант! — проворчал про себя Алмаз Иванов.— Эки действа выкидывает.

Но, увидав лицо Разина, замолчал и попятился назад, к дверям, откуда высовывались бородатые лица стрельцов.

— Иди с Богом, сын мой,— сказал Никон, благословляя Разина.— Помолись обо мне.

Разин вышел, косо посматривая на стрельцов и меряя их с головы до ног своими большими глазами.

— Эки буркалы,— проворчал один стрелец со шрамом через всю щеку.— Нну — глазок!

V. АВВАКУМ И БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА

Боярыня Морозова, которую вы видели в беседе с Аввакумом и которую беседа эта так сильно потрясла, принадлежала к самой знатной боярской семье в Москве. Она была снохой знаменитого боярина Бориса Морозова, того, которого тишайший царь считал не только своим «приятелем», но почитал «вместо отца родного». Со своей стороны и Борис «сему царю был дядька, и пестун, и кормилец, болел об нем и скорбел паче души своей, и день и ночь не имея покоя...» А боярыня, молодая скромница Федосьюшка, была что глазок во лбу у этого царского пестуна и кормильца: Федосьюшка, вышедши по семнадцатому году замуж за Глеба, брата Борисова, недолго жила с мужем, который умер в молодых летах, оставив после себя единственную отраду молодой вдове — сынка Ивануш-ку. На этом-то Иванушке и на его молоденькой матери

пестун царский и сосредоточил всю свою нежность. Любили молодую боярыню и при дворе: и ласковый царь отличал ее перед всеми боярынями и боярышнями, и царица души не чаяла в «леповиде и лепослове» Прокопьевне — молодая боярыня действительно была «леповида» — существо необыкновенно миловидное, и «лепослова» — потому что она была умна, много читала и прекрасно говорила «духовные словесы».

Но нерадостна была в то время жизнь молодой боярыни. Еще с мужем она могла чувствовать некоторую полноту жизни; при муже она была менее отчуждена от мира, менее казалась затворницей. А вместе со вдовством для нее наступила как бы жизнь без жизни, бесцельное прозябание и преждевременное старчество.

Громыханье посуды от утра до вечера, звон ключей от зари до зари, плетенье да вязанья, беседы с ключницами да матушками и — как верх эстетического наслаждения — пенье песен сенными девушками — вот вся жизнь боярыни, каков бы ни был ее темперамент, каковы бы ни были годы и ее личные стремления.

Но не для всех женских характеров такая жизнь дает полное духовное удовлетворение... Морозова была из таких женщин, для которых громыхание золотой и серебряной посуды да звон ключей не составляли идеал жизни,— и она искала большего, более ценного для ума и сердца, чем золото. Богатые духовные силы ее требовали духовной работы; горячее молодое сердце искало любви не к одному сынку Иванушке,— который еще был так мал,— искало борьбы, самопожертвований, идеалов. А идеалы она знала только по книгам — идеалы святителей, мучеников, высокие образцы христианской любви. Кругом себя и во дворце она видела только будничную сторону жизни, внешние дрязги этой жизни, несмотря на ее блеск и роскошь,— и везде она чувствовала пустоту. Пустоту эту, как червоточину, она чувствовала и в себе, своем сердце. Чтобы задавить этого червяка в душе, залить пустоту, в которой чахло ее теплое, отзывчивое сердце,— она вся окунулась в наслаждение своим богатством, своим высоким положением. Она окружила себя блеском и роскошью. Она поставила свой дом, и без того пышный, гремевший на всю Москву,— поставила на царскую ногу: одной ей, ее прихотям услуживало в доме до трехсот человек прислуги; одно мановение ее беленькой пухленькой ручки, игравшей жумчугами да

яхонтами, приводило в движение всю эту ораву челядинцев, которые стремглав спешили исполнить волю и прихоть, какова бы она ни была, своей доброй, ласковой, сердечной боярыньки-света. Когда она выезжала из дому в своей богатой «драгой и устроенной мусисею и серебром и с аргамаки многими» карете, запряженной двенадцатью лошадьми, «с гремячими чепами», то за нею следовало «слуг, рабов и рабынь» сто, двести, а то и все триста, оберегая «честь ее и здоровье», а народ бежал толпами, хватая на лету алтыны и копейки, которые выбрасывала в окно кареты беленькая ручка боярыни. Сам тишайший царь, встречаясь иногда с блестящим поездом своей «пучеглазенькой Прокофьевны», как он называл Морозову, приветливо ей кланялся, снимая свою шапку — «мурманку». А бояре и князья так издали сымали шапки и кланялись ей в пояс, стараясь хоть мельком взглянуть в блестящие из-под фаты глазки красавицы.

Но и это не удовлетворило ее — не наполнило ее души довольством, не заняло пустоты, в которой сохло ее молодое сердце. Она искала идеала... Одно время ей думалось, что она нашла этот идеал человека: то был Никон. В своем гордом удалении от царского и святительского блеска, в своем вольном изгнании он казался ей мучеником. Вся его прежняя жизнь — от босоножия, когда маленьким Никиткой он голодал и зяб без лаптей на морозе, до святительского клобука и посоха Петра митрополита, когда Никитка, ставший патриархом Никоном и «великим государем», гремел с амвона на истинного великого государя,— вся эта жизнь представлялась ей в ореоле и величии апостольства. Но когда, после неоднократных тайных посещений его в Воскресенском монастыре и после продолжительных бесед с ним, она нашла в нем сухого эгоиста и самолюбивого, властолюбивого и мстительного черствеца,— она горько оплакала этот мираж своего идеала.

И вдруг судьба столкнула ее с Аввакумом. Этот мощный ум, эта несокрушимая воля, хотя, по-видимому, мягкая и тягучая, как золото, в делах добра и железная в других случаях, эта великая, страстная, по-детски наивная вера не только во всепроникаемость божественной любви и всепрощения, но и в обряд, в букву, в последнюю йоту веры — все это глубоко потрясло восприимчивую душу молодой, пылкой жен-

щины. Ей казалось, что она очутилась лицом к лицу с апостолом, мучеником, с тем первообразом и идеалом истинного человека, которого она в своей пылкой фантазии видела в фиваидских пещерниках, в столпниках, в обличителях нечестивых римских царей. Разве Сибирь — не та же страшная Фиваида, над которой она задумывалась при чтении житий святых? Разве боярин Пашков — не римский претор? Разве сибирские земляные тюрьмы — не те же языческие узилища? А он, Аввакум, по всему этому прошел — прошел босыми ногами по льду и по горящим угольям. И он не очерствел, не застыл в своем высокомерии, как Никон: он молился и плакал, плакал и радовался своим страданиям, да мало того — каждый день молился за других, часы и заутреню служил, будь то в земляной тюрьме на соломе, в обществе мышей и тараканов, будь то в снежных сугробах, в лесу, на воде, на работах...

— Ох, батюшки-свет! Святитель наш! Да как же ты службу-то служил при экихто трудах да мучениях! — невольно воскликнула молодая боярыня, возвращаясь с сестрой из дворца и захватив с собой в карету своего дорогого гостя.

— А все так же, дочушка моя золота-яхонтова: идучи, бывало, дорогою, зимой — или нарту с детками и курочкой своей волоку, или рыбку ловлю, зверя промышляю, или в лесу дровца секу, или ино что творю, а сам правильцо в те поры говорю, пою молитвы, вечереньку либо заутреньку мурлычу себе, что прилучится в тот час, — и плачу, и веселюсь, что жив, что голос мой во пустыне мертвой звучит, птички божьи мое моленье слышат, и за птичек молюсь и за деревцо — все ведь оно и божье, и наше... А буде в людях я, и бывает неизворотно, или на стану станем, а товарищи-то не по мне, моления моего не любят, — и я, отступя людей, либо под горку, либо в лесок — коротенько сделаю: побьюся головою о землю, либо о лед поколочусь, о снег, а то и заплачется — и все сладко станет, коли голова об землю поколотится либо слеза горячая снег прожжет. А буде по мне люди — и я на сошке складеньки поставлю, правильца проговорю, молитовку пропою, в перси себе постучу, а иные со мною же молятся, плачут, а иные кашку варят — и тоже маленько молятся. И в санях едучи, пою себе да веселюсь, и в тюрьме лежа, пою да

кандалами позвякиваю; а кандальный-то звон, тюремный, светики мои, слаще Богу звону колокольного: звонок, голосист звон-от тюремный!.. Везде, пташки мои, молюсь и пою, а хотя где и гораздо неизворотно, а таки поворчу, что собачка перед Господом, повою до неба праведного...

Аввакум еще более очаровал сестер, когда вместе с ним они из дворца приехали в дом Морозовой. Целые ряды челяди выстроились по лестнице и в сенях и низко кланялись, когда проходили боярыни; иные кланялись до земли, другие хватали и целовали ее руки, края одежды. Аввакум следовал впереди хозяйки, благословляя направо и налево, словно в церкви.

При входе во внутренние покои, навстречу боярыне вышла благообразная, бодрая старушка с прелестным белокурым ребенком на руках. Ребенок радостно потянулся к Морозовой, которая с нежностью выхватила его из рук старушки и стала страстно целовать.

— Ванюшка! Веселие мое! Цветик лазоревый!

Затем, как бы спохватившись, она быстро поднесла ребенка к Аввакуму. Щеки ее горели, по всему лицу разлито было счастье.

— Батюшка! Благослови мово сыночка — наследие мое.

Аввакум истово перекрестил ребенка, сунул легонько свою костлявую, загрубелую руку к раскрытому ротику мальчика и, ласково, добро улыбаясь ему, стал гладить курчавую его голову.

— Весь в матушку-красавицу, токмо русенок — белява волосками гораздо... А подь ко мне на ручки...

И протопоп протянул к ребенку растопыренные ладони. Ребенок смотрел на него пристально, с удивлением и, видя улыбку под седыми усами, сам улыбался.

— Подь же к деде на ручки, подь, цветик,— поощряла его мать, вся сияющая внутренним довольством и любуясь добрым, нежным выражением лица сурового учителя.

— Иди-иди, боярушко, иди, миленький! — говорил этот последний.

Ребенок пошел на руки к Аввакуму. Мать вскрикнула от радости и перекрестилась. Перекрестилась и старушка. Все жадно и восторженно смотрели, как ребенок, взглянув в глаза Аввакума, потом, обратясь к матери и к нянюшке, стал играть седою бородой протопопа.

— Ай да умник! Ай да божий! — ласкал его протопоп. — А Бозю любишь? А? Любишь, боярушко, Бозю?

— Маму люблю, — отвечал ребенок, оборачиваясь к матери.

Морозова только руками всплеснула и припала к ребенку, целуя его в плечо и вместе с тем страстно припадая губами к руке Аввакума, лежавшей на этом плече.

— А Бозю любишь? — настаивал Аввакум.

— Няню люблю, — снова невпопад отвечал ребенок.

— А Боженьку? — вмешалась мать, начиная уже краснеть от стыда и волнения. — Боженьку...

— Дуню, тетю.

— Ах, Господи! Ванюшка!

Аввакум поднес ребенка к киоте, которая так и горела дорогими окладами икон, залитых золотом, жемчугами, самоцветными камнями.

— Вот где Бозя! — сказал он. — Глянь, какой светленький!

Ребенок поднял ручку и стал махать ею около розового личика, прикладывая пальчики то к маковке, то к плечу и глядя на няню: «смотри-де — как хорошо молюсь».

Старушка няня, мать и «тетя Дуня» улыбались счастливо, радостно. Но Аввакум тотчас воззрился на пальчики ребенка: так ли-де, истово ли, мол, персточки складывает? Не никонианскою ли-де еретической щепотью?

— Ну-ко, ну-ко, боярушко, покажь персточки, как слагаешь крестное знамение...

— Ручку сложи, — подсказала мать.

Ребенок не сложил, а разжал левую ручку, а правой стал тыкать в левую ладонь... «Сорока-сорока, кашку варила, на порог скакала», — лепетал он, весело глядя в добрые глаза протопопа.

Мать вспыхнула и застыдившимся лицом уткнулась в ладони. Даже суровый протопоп не выдержал — рассмеялся.

— Вот те и перстное сложение! Ах ты никонианец, еретик ты эдакий! А! Вон что выдумал — по-никоновски молиться: «сорока-сорока — кашку варила...» Истинно по-никоновски!

— Матушки! Срам какой! Владычица! — застыдились боярыни.

— Никонианец, никонианец,— добродушно говорил протопоп,— поди, чу, и табачище уже нюхает...

Старушка няня готова была сквозь землю провалиться.

— Чтой-то ты, батюшка, грех какой, не путем говоришь! — защищалась она.— У нас и в заводе-тс этого проклятого зелья не бывало... Вона что сказал!

А Аввакум между тем старался сложить пухлые, точно ниточками перевязанные пальчики ребенка в двуперстное знамение; но как ни силился — не мог: пухлая ладонька или разжималась совсем как бы для «сороки», или сжималась в кулачок.

— Ну, мал еще — глупешенек, мой свет, невинный младенец,— говорил протопоп, передавая ребенка матери.— Подрастет — научим перстному сложению и в лошадки еще поиграем.

Аввакум окончательно покорил сердца молодых женщин. Морозова от волнения не спала почти всю ночь. Ей постоянно представлялась далекая, студеная и мрачная Сибирь и какая-то страшная, неведомая, еще более далекая Даурия, по которым бродил и мучился благообразный, святой и добрый старичок, страдал за перстное сложение... «Ах, какой он добрый да светлый!.. Ванюшка-то как его полюбил — все брадою его святою играл, словно махонький Христосик-свет играл брадою Симеона-богоприимца... Ах, нашла я, мой свет, нашла! Пойду я за ним, как блаженная Мария Египетская[17]... Ох, Господи, сподоби меня, окаянную... Аввакумушко! Светик мой, батюшка!»

Так металась в постели молодая женщина, охваченная волнением и жаром: то страстно шептала молитвы, то с такой же страстью сжимала свои нежные пухлые руки и била себя в полные перси. Она несколько раз вставала с постели и босыми ногами пробиралась к киоте, бросалась на пол и горячо, сама не зная о чем, молилась и радостно плакала. Опомнившись, что она повергается перед Христом простоволоса, в одной сорочке, сползающей с плеч, она стыдилась, вспыхивала сама перед собой и закутывалась в шелковое из лебяжьего пуха одеяло; но вспомнив, что и Марию Египетскую она видела на образах простоволосою, даже без сорочки, прикрытую только своей косою, она успокаивалась и снова падала ниц перед иконами...

«Ах, какой он светлый!.. И Ванюшку благословил...

Ах, сыночек мой!.. А он сороку-то, сороку...» — бормотала она бессвязно.

Затем неслышными, босыми ногами прошла она в соседнюю комнату, где, освещаемый тусклым светом лампады, спал, разметавшись, в постельке ее Ванюшка. В комнате было жарко, и ребенок весь выкарабкался из-под розового одеяльца. Он улыбался во сне, а между тем и сонный выделывал ручками что-то вроде «ладушки»: молодая мать догадалась, что это он во сне проделывал «сороку»,— и, счастливая, восторженная, не вытерпела, чтоб не поцеловать его босые ножки...

— Что ты, сумасшедшая, делаешь? — раздался за ней испуганный шепот.

Она вздрогнула и обернулась: за ней стояла старая няня и грозилась пальцем.

— Что ты, озорная! — накинулась няня на растерявшуюся боярыню.— Испужать, что ли, ребенка хочешь — калекой сделать?

— Я тихонько, нянюшка,— оправдывалась пойманная на месте преступления молодая мать.

— То-то, тихонько! А чего Боже сохрани...

— Да он «сороку», няня, во сне делал! Ах, какой милый!

— А хуть бы и ворону, не то что «сороку»,— ворчала старушка,— это с ним, с младенцем чистым, сами аньделы божии играют — «сороку» сказывают ему — вот что! А ты, дура, матушка, будишь его.

— Не сердись, няня, не буду.

— То-то не буду... Вот такая же дура,— царство ей небесное,— была и матушка твоя, боярыня Анисья Петровна, не тем будь помянута... Я тебя махонькую тоже нянчила — выносила вон какую красавицу, а покойница боярыня Анисья Петровна так же вот, как ты, однова ночью и приди в твою спаленку, а ты лежишь в кроватке такой «аньделочек» — она и накинься тебя целовать... А я-то, старая грымза, тады помоложе была, крепко заснула, так и не слыхала, что матушка-то твоя с тобой проделывает. Ты как вскрикнешь — да так и закатилась... Уж насилу добрые люди тебя, голубушку, отшептали на другой день... Так-то, нехорошо детей будить. Может, он, светик, с аньделами забавочки творит, а ты его пужаешь.

— Ну-ну, прости, нянюля, не буду никогда.

И молодая женщина бросилась целовать старушку.

— Ну, добро, добро! Пошла, спи! Ишь, полунощница — в одной рубашонке бродит простоволоса — срамница! — ворчала старушка.

Только к утру Морозова угомонилась и заснула.

Протопоп Аввакум также беспокойно провел эту ночь. Воротясь от Морозовой к себе домой, на подворье Новодевичьего монастыря, что в Кремле, он застал у себя друга своего и сына духовного, Федора-юродивого. Даже такой железный человек, как Аввакум, удивлялся суровому подвижничеству этого юродивого. Он жил в это время у Аввакума.

— Зело у Федора того крепок подвиг был,— говорил о нем впоследствии Аввакум: — в день юродствует, а ночь всю на молитве со слезами, да так плачет горько, что душу разрывает. Много добрых подвижников знал, а такого другого и не видывал. Жил он со мной на Москве — уж и надивился я его великим подвигам! Бывало, ночью час-другой полежит, повздыхает, да встанет — тысячу поклонов отбросает — таково стучит лбом пред Господом да коленками бьется, а там сядет на полу — и ну плакать. Боже ты мой! Как уже плакал-то! Откуда и слезы берутся — не вем... Плачет-плачет, рыдает-рыдает, нарыдается гораздо, глаза попухнут от слез, да тогда ко мне приступит. А мне немоглось тогда. Приступит: «Долго ли тебе, протопоп, лежать-тося? Образумься, вишь ты, поп,— как сорома нет!» И мне все неможется — так он подымет меня, говорит: «Встань, миленькой батюшка!» Ну и стащит как-нибудь меня; мне, в немощи-то, велит, сидя, молитвы говорить, а сам за меня поклоны бьет — и свету нет! То-то друг мой сердечный был!.. Скорбен, миленькой, был с перетуги великие: черев у него вышло в одну пору три аршина, а в другую пору пять аршин — так он же сам и кишки себе перемеряет — и смех с ним, и горе! На Устюге пять лет беспрестанно мерз на морозе бос, в одной рубахе — я сам сему самовидец. Тут мне он и учинился сын духовный: как я из Сибири ехал, у церкви в палатку прибегал ко мне молитвы ради и сказывал: «как-де от мороза в тепле том станешь, батюшка, отходить, так зело-де в те поры тяжко бывает». По кирпичью тому ногами теми стукает, что каганьем, а наутро опять не болят. Псалтирь у него тогда был новых печатей в келье — маленько еще знал о новизнах, и я ему подробно рассказал про новые книги; так он, схватив книгу, тотчас в печь

кинул да и проклял всю новизну: зело у него до Христа вера горяча была! Не на баснях проходил подвиг — не как я, окаянный!

Такие суровые личности представляет этот век раскола русской земли! Мрачная эпоха и породила мрак, который и доселе не может быть побежден светом,— слишком мало этого света.

Юродивый молился, когда Аввакум воротился домой от Морозовой. Он также помолился и лег. Но сон его был беспокоен. Ему представилось во сне, что он все еще в селе Лопатицах, на Волге, где он был когда-то молодым попом. В село приходят медведятники с двумя медведями и «козами» в «харях», играют на бубнах и пляшут. И возгорается сердце Аввакумово ревностью по Христе, и налетает он яростно на медведятников и на плясовых медведей, бьет, и трощит их бубны, «хари» и домры, и отнимает медведей — бьет их и гонит в поле. А тут откуда ни возьмись боярин Шереметьев, Василий Петрович, воевода казанский — плывет Волгой на судне богатом и велит привести к себе попа-бойца: «За что-де, сякой-такой попишка, медведей прогнал и медведятников побил?» — «За Христа-де ревновал...» Боярин хвать попа-ревнителя в ухо, в другое! «Ой! За что?» — «Вот тебе в третье ухо!» Бац! «Благослови-де сына моего, Матвея-болярича».— «Не благословлю-де брадобрица, рыло скобленое: грех-де благословлять блудоносный образ...» И боярин велит столкнуть попа в Волгу,— и, много томя, столкнули... Но не утоп протопоп — Богородица вынесла на берег — с бороды каплет вода, с волос каплет... И вдруг приходит девица лепообразная исповедаться у попа, и он, треокаянный, распалился на красоту девичью... И взял поп три свещи, прилепил их к налою и возложил руку правую на пламя и держал, дондеже не угасло в нем злое плотское разжжение: и — оле окаянства мерзкаго! — то была не девица, а лепообразная боярыня Морозова.

Аввакум в ужасе проснулся и уже всю остальную ночь клал поклоны и плакал. Рядом с ним молился и плакал юродивый. Когда уже рассветало, они оба упали в изнеможении на пол. Пот с них лил ручьями...

— А все не до кровавого поту — ох! — стонал Аввакум и колотил себя в грудь.

VI. ИЗ-ЗА АЛЛИЛУИИ

Морозова проснулась поздно, но пробуждение это было какое-то радостное, светлое, точно в эту самую ночь она нашла, наконец, то, чего так долго и напрасно искала. Она припоминала и переживала опять весь вчерашний день и в особенности вечер, проведенный с Аввакумом. Мысли ее уже не витали в далекой Даурии, но воротились к Москве, ко всему, что ее окружало до сих пор,— и во всем этом она находила теперь смысл, которого прежде понять не могла. Пустота, в которой она томилась, теперь казалась заполненной чем-то,— чем — она сама не знала; но ей было светло и радостно. Ей тотчас же захотелось видеть людей, родных и близких. Ей казалось, что и с ними ей теперь будет легче,— они стали как бы еще ближе к ней.

Сделав все распоряжения по дому, поиграв со своим Ванюшкой, который со вчерашнего вечера стал для нее еще милее и дороже, она велела заложить карету, чтобы ехать к Ртищевым[18], с которыми находилась в родстве и дом которых был оживленнее всех других боярских домов в Москве. У Ртищевых сходились и никонианцы, приверженцы западных новшеств, и сами западники — черкасские хохлы, вроде Симеона Полоцкого и Епифания Славинецкого, и, наконец, приверженцы аза — сторонники Аввакума и его товарищей по двуперстному сложению, а вместе с тем по гонениям и ссылкам. Ртищевы и им подобные, которые как бы начали самозарождаться в Москве, конечно, не без влияния Запада, были первые сеятели, бросившие в русскую почву зерно, из которого выросла гигантская личность Петра. Ртищевы вызвали в Москву первую партию ученых «хохлов», заводчиков всех будущих новшеств. Но Ртищевы в то же время любили и свою родную старину. В них была какая-то мягкость, терпимость, которая старалась сблизить между собой людей двух враждебных лагерей, и оттого и «хохлы», и аввакумовцы, и никоновцы находили радушный прием в их доме, а сами хозяева — и старый Ртищев, Михайло, и молодой, Федор,— готовы были ночи просиживать в беседах и спорах с людьми обеих партий: сюда и Аввакум приходил «браниться с отступниками» и «кричать» о сугубой аллилуии, и Симеон Полоцкий — потолковать о «космографионе», о «комидийных действиях» и о «планидах».

Хотя весь обиход жизни в доме Ртищевых покоился на старине, но новшества нет-нет да и проглядывали то в том, то в другом углу — в одеянии хозяев, в их словах, в их обхождении с людьми. Даже молодая Анна Ртищева не боялась рассуждать об «опресноках» и о «кентре» вселенной.

К этим-то Ртищевым и собралась ехать Морозова. Когда карета была подана, сенные девушки надели на свою молодую боярыню бархатную, опушенную горностаями шубку, а на голову ей — такую же горностаевую шапочку.— «Уж и что у нас за красавица, боярынька наша — лазоревый цвет!» — ахали они, когда боярынька их, помолившись на иконы, проходила между рядов челяди — сенных девушек, разных благочестивых черничек и беличек, приживалок, разных странниц, карлиц, дурок и юродивых. При этом старая няня повесила ей на руку шитую золотом калиту, наполненную мелочью для раздачи милостыни.

Когда она появилась на крыльце, выходившем на обширный двор, то весь двор и вся улица перед домом были уже наполнены народом: на дворе — это ее «слуги, рабы и рабыни», которые дорогой должны были «оберегать честь и здоровье» своей госпожи, а на улице — нищие, ждавшие подачек, и любопытствующие, желавшие поглазеть, как поедет пышная Морозиха. На запятках кареты и на длинных подножках у окошек ее стояли уже разряженные холопы. Тут же у самой кареты, на последней ступеньке крыльца сидел знакомый уже нам Федор-юродивый и заливался горькими слезами. Обыкновенно оборванный, без шапки, часто босиком и в одной рубахе, он теперь был одет в новенькую однорядку и в плисовые штаны; на ногах у него были новые козловые сапоги, на руках зеленые меховые рукавички, а на голове — лисья шапка с красным верхом. Это его приказала нарядить сама Морозова, когда утром он явился к ней и держал что-то крепко зажатое обеими руками, которые он при трескучем морозе не разжимал во все время пути от подворья Новодевичья, где он ночевал, до дома Морозовой. Оказалось, что это у него крепко зажато было в руках благословение, посланное через него Аввакумом молодой боярыне. Обыкновенно, когда у юродивого бывала шапка, то, подходя под благословение к какому-либо уважаемому им попу, вроде Аввакума или Никиты Пустосвята [19], он снимал шапку, принимал в эту шапку благословение, зажимал его в шапке,

как нечто осязательное, и носился так с шапкой целый день, и когда случайно, в забывчивости или с умыслом, надевал шапку, то начинал плакать, что «потерял благословение», что «обронил духа свята», что «улетел-де дух свят» и т. п.

— Ты что, Федюша, плачешь? — ласково обратилась к нему Морозова, положив руку на плечо.

— О-о! Как же мне не плакать! Шапку на меня красну надели, что на дурака,— плакался юродивый, мотая своей нечесаной бородой с проседью.

— Ничего, Федюша-свет, как же без шапки-то? — морозно гораздо.

— Лучше морозно здесь, чем жарко там, в аду.

— Ну-ну, добро, милый.

И Морозова, сняв с него шапку, бросила в нее из своей калиты несколько горстей денег.

— На, милый, раздавай бедненьким.

Затем взяла его за руку и вместе с собой посадила в карету. И на дворе, и на улице народ приветствовал такой поступок боярыни громким одобрением: «Ай свет наша матушка, Федосья Прокопьевна! Буди здорова на многие лета! О-о».

Седобородый, в высокой шапке с голубым верхом, кучер крикнул «гис!». Постромки всех шести пар белых лошадей, запряженных цугом, быстро натянулись. Двенадцать молоденьких вершников, в шапках с голубыми же верхами, сидевших на каждой упряжной лошади, приосанились, тронули, прокричали тоже «гис!». Загремели «чепи» и дорогая упряжь, завизжали по снегу полозья — и карета двинулась. Она ехала шагом. По обеим сторонам ее рядами шли «рабы и рабыни», но так, что всякий из нищих, желавший подойти к окну кареты, мог свободно пройти между рядами челяди. И впереди, и по бокам валили толпы народа, тискаясь ближе к карете, к окнам ее. А из этих окон постоянно высовывались — то белая, как комочек снега, пухлая ручка боярыни и опускала в протянутые руки нищих либо алтын, либо денежку, то — из другого окна — корявая и жилистая, словно витая из ремней, рука юродивого и тоже звякала медью по протянутым ладоням нищих.

Шествие было очень продолжительно. И белая ручка, успевшая покраснеть от мороза, и корявая рука, которую не брал никакой мороз, продолжали мель-

кать то из одного, то из другого окна кареты и звякать медью. Но, наконец, одно окно отворилось, и оттуда, бормоча что-то и мотая головой, быстро вылез юродивый. Он остановился на боковом отводе кареты, продолжая мотать головой и комкать в руках шапку. Все ждали, что он намерен делать. А он, увидав стоявшего в стороне у забора нищего, у которого, за неимением шапки, седая, почти безволосая голова была повязана тряпицею, бросил ему свою шапку, закричал: «Лови, дедушко!» Нищий поймал шапку и начал креститься. Народ криками выразил свое одобрение. Потом юродивый, распоясавшись и увидав бабу с сумой, бросил ей пояс. Затем он снял с себя свою новую однорядку и также бросил в толпу, говоря: «Подуваньте, братцы!» Восторженным крикам не было конца. Наконец, он снял с себя и сапоги, и онучи — и остался босиком и в одной рубахе... «Го-го-го! — стонала толпа. — Федюшке жарко! Божий человек».

Скоро карета Морозовой въехала во двор к Ртищевым. Двор был обширный. За домом начинался сад. Высокие, вековые деревья были окутаны инеем. Звон «чепей», которыми особенно щеголяла упряжь Морозихи, был так пронзителен, что вороны, сидевшие на деревьях, испуганно послетали с них и стряхнули целые облака инея.

На крыльцо выбежали стаи холопов и холопок встречать знатную, богатую боярыню. Оглянувшись, Морозова увидела, что юродивый уже роздал всю свою одежду и, в одной рубахе и босиком, играл с ртищевскими дворовыми собаками, с которыми он был, по-видимому, в самых приятельских отношениях. Она только покачала головой и, сопровождаемая своей и ртищевской челядью, вошла в дом. Навстречу ей вышла молодая Ртищева, боярыня Аннушка, та, что уже интересовалась новшествами и «кентром» вселенной, и поцеловалась с гостьей.

— Ах, сестрица-голубушка! У нас тут такая война идет, словно Литва Москву громит, — сказала она, улыбаясь.

— Какая война, сестрица миленькая? — спросила гостья.

— А протопоп Аввакум ратоборствует.

При слове Аввакум Морозова зарделась.

— С кем это он, сестрица?

— А со всеми, и с Симеоном Ситиановичем, и с батюшкой, и с братцем Федором.

Действительно, из другой комнаты доносились голоса спорщиков, и всех покрывал голос Аввакума. Морозова остановилась было в нерешительности, как вдруг на пороге той комнаты, где происходили споры, показалась седая голова.

— Ба-ба-ба! Слыхом не слыхано, видом не видано! Матушка, Федосья Прокопьевна! — приветливо заговорил высокий, с орлиным носом старик.

Вошедшему было лет под семьдесят, но смотрел он еще довольно молодцевато. Лицо его, несколько румяное, опушенное белой бородой, которая спадала на грудь косицами, карие, живые и смеющиеся глаза и улыбка выражали приветливость и добродушие.

Это и был глава дома, боярин Михайло Алексеевич Ртищев — москвич, одной ногой стоявший в древней Руси, а другую занесший уже в Русь новую.

— Добро пожаловать, дорогая гостья,— говорил старик и взял Морозову за обе руки.— Что тебя давно не видать у нас?

— Да недосужилось, дядюшка! На Верху* в мастерских палатах делов было много,— отвечала молодая женщина.

— Знаю, знаю... Матушка-царица, поди, горы с вами наготовила к святкам всякого одеяния: всю нищую братию приоденете и приобуете.

— Да, точно, дядюшка: государыня-царица наготовила-таки милостыни немало.

— О, подлинно! Она у нас, матушка, великая радетельница... Пошли ей Господи... Что ж мы тут-то стоим? Иди, Прокопьевна, к нашим гостям.

— Да как же это, дядюшка? — затруднилась было молодая боярыня.

— Ничего — все свои люди — не мужчины, а попы... Иди, иди — посмотришь наши словесные кулачки, как Аввакум протопоп с Симеоном Полоцким на кулачки дерутся из-за аллилуии.

Морозова вошла в следующую комнату. Посредине стоял Аввакум в позе гладиатора и, подняв вверх правую руку, запальчиво кричал:

— На, смотри! Когда Мелетий, патриарх антиохийский, ругался с проклятыми арианами насчет

---

* Т. е. во дворце *(Примеч. автора.)*

перстного сложения[20], то, подъя руку и показа им три перста, щепотью, как вот вы, никонианцы и табашники, показываете и креститесь,— и тогда не бысть ничтоже. А как он, святитель, сложил два перста вот (и Аввакум вытянул вверх сложенные вместе указательный и средний пальцы) и сей перст пригнул вот так — и тогда бысть знамение: огнь изыде... На — смотри!

И Аввакум с азартом подносил пальцы к сухощавому, еще нестарому монаху, с крючковатым носом, большими еврейскими губами и еврейски умными, лукавыми глазами. Это был Симеон Полоцкий, недавно приглашенный царем из Малороссии для книжного дела. Ему было не более тридцати пяти лет, он был худ. Бледное, бесцветное лицо изобличало, что его больше освещала лампада, чем солнце, и что глаза его больше глядели на пергамент да на бумагу, чем на зелень и на весь божий мир.

— Ты, протопоп, ложно толкуешь Мелетия,— мягко отвечал Полоцкий,— он сложил вот так два перста и к оным, а не просто пригнул большой палец — и вышло знамение от троеперстия, а не двуперстия!

Аввакум даже подпрыгнул было как ужаленный, но, увидав Морозову, так и остановился с открытым ртом, собравшимся было энергически выругаться.

Низко наклонив голову, Морозова подошла к нему под благословение. Аввакум с чувством благословил ее. Потом она в пояс поклонилась Симеону Полоцкому и поцеловалась с молодым Ртищевым, с Федором.

— Вот, сестрица,— сказал, улыбаясь, Федор,— отец протопоп поражает нас, словно Мамая.

— Да вы злее Мамая! — по-прежнему горячо заговорил задетый Аввакум.— Все вы — двуперстники! А не в ваших ли еретических книгах (снова обратился он к Полоцкому) написано, будто жиды пригвоздили Христа до креста? А?

— Что ж, коли написано? — спокойно отвечал Полоцкий.

— Как что ж! Али крест — живой человек! Вот ежели бы до тебя пригвоздили жиды разбойника, так оно было бы так; а то на: Христа — до креста!

— А не все ли равно — до креста или ко кресту?

— Это для вас, хохлов, все равно, а не для нас... О!

Да я в огонь пойду за наше ко — оно истинное, и за него я умру!

Аввакум говорил горячо, страстно. Присутствие слушателей, и в особенности Морозовой, подмывало его еще более, придавало ему крылья. Он был оратор и пропагандист по призванию. Он «кричал слово божие» везде, где только были слушатели, и чем больше была его аудитория, его паства, тем он охотнее выкрикивал слово божие. В Сибири ему не перед кем было развернуться. А Москва — о! Это великая аудитория для оратора. В Москве Аввакум не сходил с своего боевого коня.

— А не вы ли, новщики, разлучили Господа с Исусом! — напал он с другой стороны на Полоцкого.

— Как разлучили? — спросил тот, улыбаясь своими еврейскими глазами.

— Так и разлучили — разрезали Господа нашего Исуса Христа надвое.

— Я не разумею тебя,— отвечал Полоцкий.

— Да не вы ли на литургии возглашаете: «Свят, свят, един Господь и Исус Христос!»? Для чего вы прибавили и, иже? Это все едино, что «протопоп и Аввакум»: точно, протопоп особо, а Аввакум особо.

— А! — со злой улыбкой протянул Симеон.— Мы не говорим — «Господь и Исус Христос», а возглашаем — «Господь Иисус Христос».

— Для чего тут и? Новшество для чего?

— Это не новшество.

— Как не новшество!

— Не горячись, протопоп, выслушай меня... Ты не знаешь по-еллински и оттого споришь...

— И знать не хочу! Вить святители московские, Петр, Алексей, Иона и Филипп, не по-еллински молились, и в их книгах значится — «Господь Исус Христос», а не «Господь и Исус Христос»...

— Да постой, потерпи, протопоп! — уговаривал его Полоцкий,— по-еллински не Исус пишется, а Иисус.

— Знать ничего не хочу! Нам еллины не указ!

— Как не указ,— вмешался было старик Ртищев.— Мы от еллин веру взяли...

— А теперь ее хотим испортить,— огрызнулся Аввакум.

— Да как же это так! — удивился Ртищев.

— А вот как, миленькой,— ласково обратился он к старому боярину,— мы из начала веку пели на Пасху:

«Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи»... А они как поют! Срам и говорить то!

— Как срам?

— Да вот как: «смертью смерть поправ»... А! Не срамота ли сие! Точно смерть порты али рубахи прала... «Поправ»! ишь выдумали! «Прать» — «прать» и есть, сиречь «мыть».

— А попирать ногами? — вступился было Полоцкий.

— Да что ты смыслишь, с своим хохлацким языком! — снова накинулся на него неудержимый протопоп.— Суйся с своим еллинским языком куда там знаешь, а в наш российский язык с хохлацким не суйся! Ишь выдумочка какая: смерть сделали прачкой, портомоей... «поправ»... эко словечко! Да вы разрежьте меня на кусочки, а я по-вашему петь не стану — срамота одна!

— Ну, и крепок же ты, протопоп,— задумчиво сказал молодой Ртищев.

— Крепонек Божиею помощью.

Морозова и Аннушка Ртищева сидели в стороне и слушали молча. Аввакум, чувствуя себя победителем, с торжествующим видом обратился к ним.

— Так-то, Михайловна,— сказал он с снисходительной улыбкой Аннушке,— слушаете нас, буесловов? — Слушаете — хлебец словесный кушаете... Не о хлебе едином...

— А что, отец протопоп,— разнствует хлеб с опресноком? — перебила его Аннушка.

— Вижу, Михайловна, и ты — половина ляховки,— строго заметил протопоп.

Аннушка покраснела и закрыла лицо рукавом. Морозова также вспыхнула — ей стыдно стало за свою приятельницу: ей казалось, что та сделала ужасный, непростительный еретический промах.

— А еще царских детей учат, чу,— укоризненно обратился неугомонный протопоп к старику Ртищеву, намекая на Полоцкого.

Полоцкий был задет за живое и побледнел. До сих пор он говорил тихо, голоса не возвышал, а отвечал с улыбкой, мягко, чувствуя свое превосходство и сознавая, что с ним состязается мужик, не знающий даже русской грамматики. Что же с него и спрашивать! Но последние слова Аввакума показались для него злой выходкой. Полоцкий действительно учил царских де-

тей, и Алексей Михайлович был им доволен, даже сам его расспрашивал о его «планидах» да о разных «комидийных действах».

— Так не тебе ли с Никитою Пустосвятом да с Лазарем поручить обучение детей пресветлого царского величества? — сказал он, сверкнув глазами.

— А хоть бы и нам — ересям бы не научили,— огрызнулся Аввакум.

— Да вы, невежды, запятой от ковыки не отличите, «ерок» примете за «оксию», «ису» за «варию»...

— За то смерть портомоей-прачкой не сделаем, как вы, вежды, делаете-то! Сидели бы в своей хохлатчине да вареники с галушками ели! — снова оборвал протопоп.— А то, на! Лазарь крепок в вере, он истинный учитель[21].

— Лазарь ругатель, а не учитель.

— Нет, учитель! Лазарь — истинный вертоградарь церковный, а не суется царских детей портить... Вот что!

Симеон Полоцкий не вытерпел. Как он ни был сдержан, но и его, наконец, взорвало. Он вскочил и, задыхаясь, сказал:

— Да какие вы вертоградари! Вы свиньи, кои весь церковный вертоград своими пятачками изрыли...

Оба Ртищева невольно засмеялись. Старик так и покатился, даже за бока ухватился.

— Ха-ха-ха! Ну, отец протопоп, наскочил же ты на тихоню!.. Ха-ха! пятачками весь вертоград изрыли... Нну, сказал! — говорил он, не будучи в состоянии удержаться от смеху.

Морозова и молодая Ртищева скромно потупились.

Аввакум не сразу нашелся что отвечать, так неожиданно было нападение со стороны «тихони» Полоцкого, и притом нападение в духе самого Аввакума.

— Что ж! — бормотал он, озадаченный нечаянностью,— ругатели-то не мы с Лазарем, а он, пес лающий, ему же подобает уста заградить жезлом...

— Ну, и ты, отец протопоп, скор на ответ,— засмеялся молодой Ртищев,— невестке в отместку...

— Не бойся, миленькой, в карман за словом не полезу: в кармане-то пусто, так на языке густо,— самодовольно проговорил несколько опомнившийся протопоп.

— Я не с ветру говорю,— начал в свою очередь

Симеон Полоцкий, подходя к старику Ртищеву.— Вон его друг, Лазарь, подал царю челобитную, и в ней гнилостными словесы говорит, якобы в церкви, на ектениях, поминаючи пресветлое царское величество тишайшим и кротчайшим, сим якобы ругаются ему, а «о всей палате и воинстве» он, Лазарь, в челобитной своей гнилословит, якобы здесь говорится не о здравии и спасении царя, его бояр и воинства, а о неких каменных палатах...

— А как же! Палата — палата и есть! — снова накинулся на него Аввакум.— Палата всегда и бывает каменная!

— О, невежда протопоп! — невольно воскликнул Полоцкий,— «палата» означает всех бояр и близких к царскому величеству особ: се есть образ грамматический и риторический, именуемый синекдоха, еже различные образы бывает, егда едино из другого коимлибо обычаем познавается.

— Толкуй! — знаем мы ваши синекдохи...

И потом, неожиданно обратясь к Морозовой, которая не спускала глаз со спорящих и даже побледнела от волнения, Аввакум сказал:

— Видишь, Федосья Прокопьевна: они молятся какими-то синекдохами, а я молюсь моему Господу поклонами да кровавыми слезами — и мне с ними кое общение? — яко свету со тьмою, Христу с Велиаром! [22]

Морозова потупилась, и краска вновь разлилась по ее нежному лицу.

— Ах, Дунюшка, милая! — говорила она потом вечером своей сестре Урусовой,— как страшно они спорили! И разошлись яко пьяни...

VII. ВЪЕЗД БРЮХОВЕЦКОГО В МОСКВУ

Последняя неудачная попытка Никона воротить себе им же самим брошенный высокий пост патриарха и утраченную любовь царя, а вместе с нею полную, почти автократическую власть над ним, над его боярами и над всей Россией — шибко надломила этого гранитного человека, но, однако, не сломила окончательно. Как голодный тигр, который сквозь неплотно притворенную дверь своей железной клетки, просунув лапу за добычей и получив по ней удар раскален-

ной железной полосы, глухо рычит, забившись в дальний угол своей тюрьмы, силится расшатать ее связи, так и Никон, изгнанный из Успенского монастыря, как оглашенный, как простой поп, затесавшийся не на свое место, лишенный даже посоха, чувствуя, что он получил удар от раскаленного царского скипетра прямо в сердце, силился не только расшатать основы им же самим созданной для себя тюрьмы, но тряхнуть и всею русской землей.

— Я тряхну ими, тряхну этими бояришками так, что они рассыплются у меня, яко лист желтый с осеннего древа,— часто бормотал он, ходя по пустым кельям своих монастырских покоев.

По целым дням сидел он иногда, запершись в своей молельне, которая служила ему и библиотекой, и постоянно роясь в книгах, писал по целым часам, глухо бормоча кому-то угрозы или обрывки из текстов Священного писания. Часто исписывал он целые кучи бумаги, откидывая в сторону лист за листом, но потом, на другой день, перечитывая исписанные листы, сердито тряс головой, рвал написанное и бросал в печку.

— Не то, не то,— шептал он, глядя на чернеющие и испепеляющие листы.— Кому озеро Лач, а мне горький плач... Али и я не исподобился острова Патмоса?..[23] Нет, не хочу! Не быть тому!

И он снова ходил по кельям, стуча посохом и поглядывая в окна, словно бы он кого-то ждал. Иногда он останавливался перед образами, беззвучно шепча молитвы, иногда со стоном повергаясь на пол и колотясь об пол головою. Но потом он снова вскакивал и начинал писать до утомления.

Дни шли за днями однообразно, мучительно медленно; но когда он начинал оглядываться назад, то невольно шептал с ужасом: «Годы прошли яко дни... жизнь прошла яко миг... О, Владыко Всемилостиве!..»

Ежедневно посещал он службу, почти не вмешиваясь в ход богослужения, только иногда разве загремит с своего возвышения: «Не торопись! Читай внятно!» — и снова опирается на посох, и снова задумывается.

Так прошло несколько месяцев. Прежде он наблюдал за всеми работами как в монастыре, так и вне его стен, а теперь, когда и весна пришла, зазеленел лес, покрылись зеленым бархатом молодых всходов поля, запели птицы, зажужжали пчелы монастырских бор-

тей, безумно кричали грачи в монастырской роще,— он все оставался в кельях и, по-видимому, не находил себе места... Он ждал — вся жизнь его, сон, бодрствование, молитва — все для него превратилось в ожидание — ожидание острое, саднящее, горькое. Лицо его из бледного стало бледно-восковым.

Часто в город ездили его монахи и, по возвращении оттуда, непременно обязаны были заходить к нему, чтобы доложить о том, что там видели и слышали. А он, слушая эти доклады, молчал и только иногда переспрашивал или требовал пояснения того, что казалось ему неясным.

Потом снова начинал рыться в книгах, читал, делал отметки и писал по целым часам. В это время он не впускал к себе никого, и даже любимец его Иванушка Шушера, его крестоноситель, входил к нему не иначе как по зову — когда слышал стук костыля в стену соседней кельи, в которой Шушера помещался. Если с наступлением весны могло что-либо нарушить однообразие его отшельнической жизни, так это — ласточка, свившая гнездо в одной из ниш на внешних переходах его келий. Раз как-то, в хороший весенний день, сидел он на этих переходах, переносясь мыслью в бурное прошлое своей необыкновенной жизни, вспоминая свое детство, когда мальчиком он жил в монастыре Макария Желтоводского и когда кудесник предсказал ему, что он будет «великим государем над царством российским», припоминая и последующее затем житие его в Анзерском ските, с его суровой, почти могильной обстановкой, и пустынножительство свое в Кожеозерском ските, и потом славную и светлую жизнь в Москве, в Новгороде, перенос в Москву мощей митрополита Филиппа[24], свое могучее патриаршество. Ласточка, озабоченно попискивая, летала мимо него и в углублении невысокой стены лепила свое маленькое гнездышко. Сначала он хотел было костылем своим уничтожить всю многодневную работу птички, но потом почему-то на мысль ему пришло сравнение, что и он подобен этой жалкой ласточке, что и у него все его труды, все начинания целой жизни разметал по ветру чей-то костыль,— и он пощадил ласточкину работу. Когда затем гнездо было свито, он каждый день выходил на переходы, смотрел, как из гнездышка робко высовывалась блестящая черная головка птички с маленькими черными

глазками, и ему как бы становилось легче. В глубине души он чувствовал, что это было первое существо, которое он первый раз в жизни пощадил, не растоптал ногами, не раздавил своим посохом... А он так много жертв раздавил на своем веку, так много проходило в памяти его сурового прошлого растоптанных, сосланных, замученных, так много слез людских пролито по его непреклонной, безжалостной воле... Когда в гнезде вывелись дети, он выходил смотреть, как мать кормила их от зари до зари, таская то червяков, то мушек, и долго сидел неподвижно, наблюдая за этой страдой маленькой матери... И — странное, невиданное дело! — монахи иногда замечали издали с глубоким удивлением, как суровый патриарх в отсутствие ласточки выносил из своей кельи мух в горсти и кормил ими птенцов... Даже Иванушка Шушера заметил, что в это время патриарх стал как будто несколько добрее, мягче, смотрел менее мрачно. Затем, когда ласточки оперились и улетели из гнезда, Шушера видел, что патриарх стал скучать, по целым часам безмолвно сидел на переходах или забирался в свою келью и шуршал бумагою.

Особенную озабоченность стал проявлять Никон в конце лета, когда получил из Москвы какое-то известие. Он несколько дней писал и уже не рвал и не жег написанное, а прятал за образ Богородицы — «Утоли мои печали», перенесенный им из церкви в свою домашнюю божницу. В это время Шушера иногда слышал, как патриарх разговаривал сам с собой: «Одиннадцатое сентемврия... память преподобной Феодоры и Димитрия мученика... одиннадцатое, одиннадцатое... подожду одиннадцатого...»

Что же такое могло быть 11-го сентября и почему Никон рассчитывал на этот день?..

А 11-го сентября 1665 года и вся Москва ждала чего-то. С раннего утра от Серпуховских ворот вдоль земляного города до самой заставы и далее по серпуховской дороге толпились москвичи, ожидая чего-то необыкновенного. Сидельцы разных торговых рядов и линий, Охотный и Юхотный ряд, Лоскутный и Сундучный, мясники и ножевщики, шапочники и картузники, резники и свежерыбники, уличные разносчики и торговцы, суконные фабричники и зипунники всевозможных черных работ — все это валма валило за город, шурша зипунами и сермягами, толкаясь и бра-

нясь, спотыкаясь и падая. По всему этому пространству, где валили серые волны двуногой Москвы, гул стоял невообразимый, особенно же когда к Серпуховской заставе проследовало несколько сотен нарядных стрельцов с своими головами и полуголовами, а также несколько взводов детей боярских и за ними царские конюхи, которые вели под уздцы царского коня — серого, немецкого, в серебряном вызолоченном наряде с изумрудами и бирюзою, чепрак турецкий, шит золотом, волоченный по серебряной земле, седло — бархат золотный, ушми прядет по аеру. Скоро туда же проследовали на нарядных конях царский ясельничий Иван Желябужский и дьяк Григорий Богданов, а за ними дворовые люди и подьячие из приказов, а также конюхи — несколько сот человек.

Толпы москвичей особенно кучились за земляным городом на расстоянии перестрела. Там, по обеим сторонам дороги, чисто выметенной и подровненной, шпалерами выстроились стрельцы, отливая на солнце пурпуром своих кафтанов и блестя вычищенными бердышами. Народ напирал на это место колышующеюся стеной, но стена эта местами прорывалась и как бы падала назад, когда, бодрясь на коне, покрикивая: «Назад! осади назад, черти!» — проезжал какой-либо окольничий или сын боярский и колотил палкой по головам, по плечам и по лицу выдававшихся вперед, или просто топтал лошадью, бросая в воздух крепкие, узловатые московские словца, словно бы у него за зубами был их целый склад. В толпе при этом слышались крики и стоны, а рядом — взрывы хохота тех, кому еще не досталось по лбу или досталось раньше, да зажило, забылось.

Когда к этому месту подъехали Желябужский и Богданов с подьячими, конюхами и нарядным царским конем, вдали, по дороге от Серпухова, показались двигающиеся толпы всадников, огромный обоз из карет и повозок, множество конных и пеших, а в хвосте, страшно поднимая пыль, медленно двигались кучи рослых, красивых волов, каких на Москве не видано.

Выждав сближение этой встречной толпы, Желябужский приосанился на седле и махнул шитой ширинкой. Толпа остановилась, а к ней от Желябужского поскакал вершник с белой перевязью через плечо. Здешняя толпа понаперла так, что дрогнули было шпалеры стрельцов, но Желябужский сыпанул

на обе стороны, грузно поворачиваясь на седле, такие крупные, как кнут плетенные из междометий слова, что толпа, словно поражаемая картечью, шарахнулась назад.

Встречная толпа подъезжала все ближе и ближе. Впереди, на вороном, рослом и широкогрудом аргамаке, гремя серебряным убором, ехал статный, дородный мужчина уже немолодых лет, с черными висячими книзу усами и в шапочке с пером, унизанным каменьями, которые горели как жар. Южный татарковатый тип лица и лоснившаяся из-под богатой шапочки гладко подбритая голова, кунтуш с расшитой золотом грудью и пурпуровыми отворотами, в руке серебряная палочка с огромным на конце золотым яблоком, утыканным дорогими камнями и острыми серебряными шипами, словно зубья огромной щуки,— вот что прежде всего бросилось в глаза народу, за ним — три в ряд, потом два, далее четыре и несколько других рядов на конях — в таких же, как передний, но в менее богатых кунтушах, в шапках с разноцветными верхами, с саблями и перначами в руках — все с усами, а иные с длинными хохлами, закинутыми за ухо. Далее коляска с попом и монахом. А там — толпы пеших и конных, на возах и при возах, и в заключение — волы с рогами, перевитыми разноцветными лентами.

Народ замер на месте, дивясь на невиданных людей и на волов в лентах.

Когда самый передний, что с булавой в руке, приблизился к Желябужскому, плотный и румяный с русой бородой окольничий медленно сошел с своего коня, снял шапку и крикнул:

— Есть до тебя войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича с старшиною речь от великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великие и Малые и Белые России самодержца, и вы бы с лошадей ссели и шапки сняли,— произнес Желябужский по наказу, медленно, громко, внятно, как на ектенье в церкви.

Все сошли с лошадей и сняли шапки. Поп и монах вышли из коляски и прошли вперед. Народ также обнажил головы.

— Божиею милостию,— продолжал Желябужский тем же церковным тоном,— великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великие и Малые и Белые России самодержец и многих госу-

дарств и земель восточных и западных и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, жалуя тебя, подданного своего, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого[25] с старшиною, велел встретить и о здоровье спросить: здорово ли есте дорогою ехали? Бей челом о земь,— тихо подсказал он.

Брюховецкий поклонился до земли. За ним припала головой к земле вся его огромная свита.

— Божиим произволением здоровы есмы,— отвечал Брюховецкий, подымаясь с колен и встряхивая чубом, который перевесился было на лицо. Поднялись с земли и встряхнули чубами все остальные.

— Кланяйся вдругорядь и благодари! — подшепнул Желябужский.

Брюховецкий поклонился вторично до земли. За ним поклонилась вся старшина: слышно было, как более тучные из них сопели — непривычно им было это московское кланянье — «вот земелька»!

— За спрос о здоровье благодарим премного его пресветлое царское величество,— снова сказал Брюховецкий, вставая на ноги.

— Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович,— снова наладил Желябужский, входя окончательно в роль,— всея Великие и Малые и Белые России самодержец, и многих государств и земель восточных и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, его царское пресветлое величество, жалуя тебя, подданного своего, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого, изволил к тебе прислать с своей царского величества конюшни коня, на коем тебе ехать на подворье.

По знаку дьяка стремянной конюх подвел серого немецкого коня. Конь было заартачился, когда к нему подступил Брюховецкий, фыркнул и поднялся на дыбы; но гетман сразу осадил его и очутился на седле, словно прикованный к нему.

Совершив встречную церемонию, поезд Брюховецкого двинулся в город. По правую руку гетмана ехал Желябужский, по левую — Богданов, все трое в ряд, только конь гетмана выступал вперед на полголовы. Впереди, топча копытами и разгоняя палками толпу, словно неприятеля, пролагали путь, иногда по трупам москвичей, окольничие и дети

боярские со стрельцами. За гетманом следовали, кроме переяславского протопопа и гетманского духовника, атаман гетманского куреня, генеральный обозный, генеральный судья, два генеральных писаря, пять писарей канцелярских, атаман писарского куреня, два генеральных есаула и посланцы разных полков, с прислугой 313 человек. Под всеми ими и под обозом было 670 лошадей — целый огромный табунище. Тут же особо везли в дар царю пушку полковую медную, взятую у казаков изменников, вели дорогого арабского жеребца, покрытого дорогой попоной, и гнали 40 волов чабанских, красоты неописанной, с развевающимися лентами на рогах. Толпы москвичей особенно теснились там, где ехал сам гетман, и в хвосте — где, поднимая облака пыли и меланхолически пережевывая жвачку, «ремегая», шли красивые волы, словно «девчата», украшенные «стречками». Поезд также замыкали стрельцы, дивясь на волов и оттесняя толпы. Знакомый уже нам стрелец со шрамом во всю щеку только руками о полы бился, любуясь волами.

— Уж и волы же, братцы, знатные, степные, словно сами хохлы,— говорил он товарищам.

— Что и говорить! и они, хохлы-те, как есть волами смотрят — ишь, увальни черномазые! Ну, народец! — подтверждали другие.

В таком порядке и сопутствуемый москвичами, толпы которых прибывали, как морские волны в бурю, поезд последовал на посольский двор, который и был оцеплен стрелецкими караулами. Несмотря на то что любопытных не только не впускали никого на двор, но даже гнали и колотили на улице, москвичи, за неимением в то время других общественных зрелищ, кроме крестных ходов и кулачных боев, не отходили от посольского двора, стараясь заглянуть в ворота, в окна или просто глазея на крыши, а иногда — что удавалось не всем — на усатую и хохлатую фигуру, показывавшуюся у которого-либо из окон посольского дома.

А в посольском доме и на посольском дворе шла необыкновенная возня с размещением гостей, их прислуги, пожитков, экипажей, лошадей и скота.

Не успели они разобраться, как Желябужский, успевший побывать во дворце, явился оттуда с целой стаей дворской челяди, которая притащила из дворца от государева стола целые горы судков и блюд с «ествою

и питьем государевыми». Войдя в главную палату, куда вышел гетман с старшиною, Желябужский поклонился и начал заученную речь:

— Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великие и Малые и Белые России самодержец, и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич, и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, тебя, подданного своего, войска запорожского сее стороны Днепра, гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, жалуя, прислал к вам от своего государского стола ествy и питье.

Гетман и старшина низко поклонились и благодарили, а дворская челядь тотчас же поставила стол, накрыла его скатертью и стала ставить на стол яствы и питье по росписи. Золото и серебро так и ломило огромный дубовый стол.

Желябужский, подойдя к столу, налил большой серебряный ковш заморским вином и обратился к гетману и старшине, держа перед собой ковш, как словно сосуд с Дарами.

— Чаша великого государя — царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великие и Малые и Белые России самодержца, и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчича, и дедича, и наследника, и государя, и обладателя! Дай, Господи, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великие и Малые и Белые России самодержец, и многих государств, и земель восточных, и западных, и северных отчич, и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, здрав был на многие лета! — провозгласил он и выпил ковш.

Гетман и старшина, повторив «многие лета», также пили из рук Желябужского и потом сели за стол. А Желябужский, сев особо и вынув из-за пазухи бумагу, развернул ее и, подав стоявшему около него дьяку, сказал: «Вычти вслух!»

— Великий государь — царь и великий князь Алексей Михайлович,— начал дьяк все с того же утомительного титула,— всея Великие и Малые и Белые России самодержец, и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич, и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, жалуя подданного своего, сее стороны Днепра войска запорожского гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, изволил

указать поденного корму и питья к выдаче, против посольского, с надбавкою: гетману по хлебу грошевому да по два калача грошевых на день. А старшине по хлебу грошевому, да по три калача двухденежных. А людям их по хлебу грошевому да по калачу трехденежному человеку на день. Да гетману ж и старшине — по три гуся живых, по семи гусей битых, по трое утят живых, по семи утят же битых, по десяти зайцев, по десяти тетеревей, по пятидесяти куров живых на день.

Гетман и старшины ели, молча переглядывались и серьезно слушали. Только нет-нет да и дернется у иного ус от сдержанной улыбки.

— Да им же с людьми,— продолжал дьяк,— по яловице живой, по пяти яловиц да по четыре стяга битых, по пяти баранов живых, да по двудесяти пяти баранов тушами, по два полтя ветчины на день, по три ведра без полутрети сметаны, по триста пятьдесят штук яиц, по пуду без полутрети масла коровья, по четыре ведра уксусу, по два пуда соли, по чети круп гречневых, по чети гороху, по осмине муки пшеничной, а буде мало — давать по чети; по три ведра молока пресного; на всякую мелочь по четыре гривны на день, а буде мало — ино давать по полтине. А питья давать им указано...

При слове питья генеральный судья Петр Забела, черный, коренастый мужчина, многозначенательно переглянулся с сидевшим против него переяславским протопопом Григорием Бутовичем и моргнул усом и левым глазом по направлению к генеральному писарю Захару Шийкевичу, красномордому, с выпуклыми, красными же глазами субъекту. Протопоп лукаво улыбнулся. Шийкевич заметил эту улыбку и насупился.

— А питья давать им указано,— продолжал дьяк,— по шести чарок вина двойного на день, да гетману же вопче: по десяти кружек меду паточного, да по ведру меду сладкого, да по ведру меду крепкого, да по ведру пива доброго на день. А старшине по пяти чарок пива доброго, по две кружки меду сладкого, по две кружки меду крепкого, по четыре кружки пива доброго человеку на день. А людям их — по три чарки вина человеку, а лучшим людям — по две кружки меду да по две кружки пива человеку, а достальным по две кружки пива человеку на день.

Дьяк остановился. Все думали, что он уже кончил, а он только передохнул, высморкался и продолжал:

— А в постные дни рыбные ества указано: гетману вопче — по щуке живой на пар, по одному лещу, по одному язю на пар, по одной щуке колодке, по щуке ушной спячей, по полузвену осетрины, по полузвену белужины, по шти гривенок икры на день и с старшиною. Старшине же — по лещику, по невеликому, по две щуки в ухи, по два звена осетрины, по два звена белужины человеку на день. Людям же их: на триста блюд рыбы всякие свежие, щук, окуней, язей, плотиц, по два человека на блюдо...

В это время в палату, где кушали гетман с старшиною, вошел седой, высокий боярин, а за ним степенные ключники внесли что-то на огромном, серебряном подносе, покрытое тафтою.

— Есть до тебя, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, речь от великой государыни — царицы и великой княгини Марьи Ильинишны, и вы б с местов встали,— провозгласил седой боярин.

Все встали. Все невольно с любопытством косились на это что-то, покрытое тафтою.

— Великая государыня — царица и великая княгиня Марья Ильинишна, ее царское пресветлое величество,— продолжал седой боярин, возвышая голос и поднимая голову,— жалуя тебя, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, изволила прислать вам от своего государского стола сладкого — лебедя сахар леденец, и вы б того лебедя рушили и на здоровье кушали.

И по мановению его ключники сняли тафту с подноса. На подносе оказался белый сахарный лебедь, грациозно изогнувший свою длинную шею. Лебедя поставили перед гетманом.

Церемонии с обедом тянулись очень долго, потому что кушаньев было необыкновенное количество. Когда, наконец, украинцы встали из-за стола, генеральный судья Забела, вообще большой охотник до «жарт», показывая переяславскому протопопу на свой почтенный живот, сделал такой жест руками, что, дескать, теперь у меня после московского угощенья хоть железо на брюхе куй.

На это протопоп отвечал из Писания: «Не о хлебе едином жив будет человек»,— и перекрестил свой рот, памятуя другое писание, что «не сквернит во уста, сквернит из уст».

VIII. СВАТОВСТВО ГЕТМАНА

Через день после приезда гетмана с старшиной в Москву был назначен прием их у великого государя. Прием был большой, почетный — посольский: это — небывалая честь для подданных.

Когда украинцы шли от благовещенской паперти к Грановитой палате, то перед сенями Грановитой, по Красному крыльцу, уступами по обе стороны, стояли жильцы в терликах бархатных и объеринных, человек с шестьдесят. А когда они подошли к самым сеням Грановитой палаты, под шатер, то в сенных дверях их встретили наряженные к тому стольник и дьяк.

Государь принимал своих чубатых гостей в Грановитой палате, сидя на своем «царском большом месте», на возвышении, Алексей Михайлович был в царском венце, в диадеме и со скипетром в руке. По бокам его стояли рынды, юные, свежие лица которых, не затемненные даже юношеским пушком на подбородках и над верхними губами, представляли что-то смягчающее, приветливое среди собрания седобородых и просто бородатых бояр, окольничих и думных людей, сидевших на длинных скамьях неподвижно, угрюмо, словно истуканы, в своих золотных ферезях.

Гости были спрошены про здоровье с теми же церемониями, как и при встрече, но еще с большей торжественностью.

— Здорово ли есте живете? — прогремело после царского титула так, что некоторые из украинцев вздрогнули, а веселый и жартливый Забела, если б его лично спросили, здоров ли он в этот момент, едва ли бы не сказал, что он нездоров — так что-то стало ему не по себе от этой пышной, подавляющей обстановки.

Затем повели их к целованию руки. Неровно, неуверенно двигались по ковру, словно бы ступали по горячим угольям, казацкие ноги в красных, голубых и желтых «саньянцах», подходя к «большому месту»; одна за другой, припадая на колено, нагибались бритые, отливавшие синевой и сивизной, головы с хохлами и робко, пересохшими губами, прикладывались к лежавшей на бархатной подушке белой, мягкой и пухлой руке, на которой незаметно было даже жил. Забела, прикладываясь и боясь уколоть эту нежную руку своими щетинистыми усами, которыми он когда-то безжалостно колол розовые губки своей Гали, одно заметил на этой нежной руке — чернильное пятнышко

сбоку правого сустава среднего пальца... «Это следы нового закона либо смертного приговора»,— промелькнуло в бритой голове генерального судьи.

Потом являли гетманские поминки — представляли привезенные царю подарки: пушку полковую медную, отбитую у изменников казаков, булаву серебряную изменника наказного гетмана Яненка, жеребца арабского и сорок волов чабанских в лентах.

А потом откланивались, проходили по рядам новых бородачей, спускались с лестниц среди каких-то живых статуй — и только тогда попомнились, когда на площади ярко блеснуло солнце и показалась синяя даль, тянувшаяся на юг, туда, где цветет красная Украйна...

В это время мимо них проезжала богатая карета, запряженная шестеркою цугом. Окна кареты были завешены пунцовой тафтой. Когда карета поравнялась с гетманом, тафта немножко отодвинулась с краю, и из-за нее выглянуло женское личико с розовыми щеками и вздернутым носиком. Черные глаза гетмана встретились с глазами — не то серыми, не то черными, смотревшими из-за тафты, но такими глазами, что гетман невольно попятился...

— Ах, матыньки! — ахнуло это что-то за тафтой и спряталось.

Гетману весь день потом мерещились эти глаза и слышалось это «ах, матыньки». Мерещились и на другой день, и на третий, несмотря на то, что дела у него было по горло, так что, наконец, Желябужский, состоявший в приставах при украинских гостях, заметил задумчивость гетмана и спросил о ее причинах. Они были наедине.

— Надумал я бить челом великому государю,— только б кто мое челобитье государю донес? — нерешительно отвечал Брюховецкий, не глядя в глаза своему собеседнику.

— А о чем твое челобитье? — спросил Желябужский.

— Пожаловал бы меня великий государь — велел жениться на московской девке... пожаловал бы государь — не отпускал меня, не женя,— отвечал гетман, потупясь.

У Желябужского дрогнули углы губ, и голубые глаза его прищурились, чтобы скрыть ненужный и излишний блеск.

— А есть ли у тебя на примете невеста? — спросил он.

Гетман вскинул на него глазами, хотел было отвечать, но как бы не решался, потому что в это время у него так и пропело в ушах: «ах, матыньки».

— Так нет на примете? — переспросил пристав.

— На примете у меня невесты нет,— отвечал, наконец, застенчивый жених, глядя в окно.

— А какую невесту тебе надобно — девку или вдову?

— На вдове у меня мысли нет жениться... Пожаловал бы меня великий государь — указал, где жениться на девке.

Гетман замолчал. Ему, по-видимому, хотелось что-то высказать, но не хватало решительности, а Желябужский упорно молчал.

— Видел я одну, не знаю — девка, не знаю — мужняя жена, когда выходил намедни из дворца,— начал, наконец, Брюховецкий.— Из кареты глядела...

— А! Занавес лазоревая тафта? — спросил пристав.

— Лазоревая.

— Знаю. То ехала сенная царицына девка, князя Димитрия Алексеевича Долгорукова дочка... Глазаста гораздо?..

— Точно — глазаста.

— Так она. Что ж — девка хорошая и роду честного. Али приглянулась? — улыбнулся хитрый москаль.

— Приглянулась — лицом бела и румяна,— говорил гетман застенчиво.

— Что ж, доложусь великому государю: попытка не пытка, а спрос не кнут.

«Эка! — подумал гетман: — и пословицы-то у них, у москалей, страшные какие — кнут да пытка».

— А женясь,— продолжал он вслух,— стану я бить челом великому государю, чтоб пожаловал меня на прокормление вечными вотчинами поближе к Московскому государству, чтоб тут жене моей жить и по смерти бы моей эти вотчины жене и детям моим были прочны.

Желябужский обещал доложить.

— А ты почем знаешь, что то была Долгорукова дочка? — спросил гетман.

— А наверху у царицы сказывали: испужалась, говорит.

— А чего нас пужаться? (Брюховецкий старался подлаживаться под московскую речь.)

— Уж такое ихнее девичье дело: коли девка испужалась добра молодца, ахнула — это знак, что он ей приглянулся: вот схватит-де да унесет,— улыбался пристав.

Гетману, видимо, нравились эти слова, и он с удовольствием крутил свой черный ус, сожалея только, что в нем пробивалась проклятая седина.

Но у Желябужского в уме было еще и другое.

Он не знал только, как приступить к тому, зачем пришел и о чем хотел выпытать у Брюховецкого. Дело в том, что сегодня утром в малороссийский приказ привели одного человека, взятого караульными стрельцами в то самое время, когда он старался тайком уйти из посольского двора, где помещался гетман с своей огромной свитой. В то время в Москве из политической предосторожности наистрожайше было соблюдаемо, чтобы в бытность послов или других иноземных гостей на Москве никто из москвичей не ходил на посольский двор, кроме приставленных к тому приставов. Это делалось, конечно, из ложного страха, что эти посетители могут выболтать иноземцам какие-нибудь государственные тайны, или же, скорее, нагородить всякого вздору, или, в свою очередь, могут наслушаться от иноземцев какого-нибудь «дурна», а то и будут подкуплены ими для каких-либо интриг и всякой «неподобной вещи». Для этого в наказах приставам весьма пространно объяснялось, как они должны были вести себя с иноземцами, что делать, что отвечать на все их вопросы. И Желябужскому вменено было, между прочим, в обязанность:

«А буде гетман и старшина учнут тебя, Ивана, спрашивать: как-де, ноне, великий государь с цесарем римским, и с турским салтаном, и с шахом персицким, и с крымским ханом, и с аглицким, и со французским, и с дацким, и со свейским короли, и с галанскими владетели? И тебе, Ивану, говорити: цесарь-де римской, и турецкой салтан, и персицкой шах с царским величеством в ссылке, послы-де и посланники меж ими великими государи ходят. А с крымским-де ханом ныне царское величество в миру ж и в ссылке; только бусурмане-де николи в своей правде не стоят.

А буде спросят: есть ли, де, у царского величества ссылка с папою римским? И тебе, Ивану, говорить: с папою-де римским у царского величества ссылки не было и ссылатца-де с ним не о чем.

А буде учнут спрашивать о иных каких делех, чего в наказе не написано, и тебе, Ивану, ответ держати, смотря по делу, и говорить остерегательно, чтоб государеву имени было к чести и к повышению, а в большие речи с ними не входить».

О всех приходящих на посольский двор Желябужскому было наказано: «А того беречь тебе, Ивану, накрепко, с большим остереганием: буде которые боярские люди или чьи-нибудь, русские, или полоненники, или немцы, или кто из русских людей придут к посольскому двору и похотят идти на посольский двор, или кто с гетманом или его людьми тайно учнет о чем говорить, и тебе, тех людей подождав, как от двора пойдут, велеть поймать тайно и присылать в малороссийский приказ».

На этом основании утром и взят был один человек, который приходил за чем-то на посольский двор, и отведен в малороссийский приказ для допроса. В приказе он, по-видимому, показал не все, а говорил, что просился у гетмана, чтоб гетман взял его с собой в Малороссию, что оттуда он хочет пройти к святым местам, но что гетман без царского указа взять его с собой не решается. Задержанный тем более показался подозрительной личностью, что называл себя патриаршим человеком и, в качестве родственника Никона, жил у него в монастыре в числе других детей боярских. Вообще дело это казалось слишком серьезным — делом большой государственной важности, чтоб не обратить на него внимания.

Вот это-то обстоятельство и нужно было выяснить Желябужскому. Своим полицейским нюхом он угадывал, что тут крылся подвох, тайна, что тут была подсылка со стороны страшного Никона, а для чего — этого от задержанного человека не могли добиться. В руки властей попалась ниточка от какого-то большого клубка, и все убеждены были, что клубок этот — там, за стенами Воскресенского монастыря, и прикрыт патриаршим клобуком; но ниточка обрывалась в самом начале, и до клубка по ней никак нельзя было добраться; обрывалась эта ниточка на посольском дворе, в палате самого гетмана.

И вот Желябужский пришел ловить у гетмана кончик проклятой нитки.

— А не докучают ли тебе, Иван Мартынович, московские люди? — заговорил он издалека.

— Чем они мне докучать могут? — с удивлением посмотрел гетман.

— А вон все глазеют на вас, черкасских людей.

— А нехай их глазеют, — равнодушно отвечал Брюховецкий, глядя в окно на улицу, на которой действительно толкались москвичи и, несмотря на то, что стрельцы колотили их то кулаками, то прямо алебардами, пялили глаза на посольские окна.

— А то и к вам на двор лезут, — дальше закидывал пристав.

— Нехай лезут.

— А коли что своруют?

— Нет, мои хлопцы не дадут.

— Где не дать! Вон ноне взяли одного; сказывает — патриарший человек к тебе-де, гетману, приходил... А кто его ведает, с чем он приходил.

— Это точно, приходил один: сказывал, что у святейшего патриарха живет, и просился со мной; а я ему сказал, что без указу великого государя того мне сделать немочно.

— И то ты, гетман Иван Мартынович, учинил хорошо, остерегательно, и за то тебя великий государь похвалит, — сказал Желябужский одобрительно. — А за каким делом он просился с тобой?

— Сказывал, на Афон-гору похотел идти молиться, да в Царь-град, да к гробу Господню.

— А не сказывал, что от патриарха?

— Не сказывал.

— Воровское он затеял дело, — сказал, помолчав, Желябужский, — не своей он волей пришел, а патриарх его подослал под тебя.

— А для чего? На что я ему?

— Бог его ведает: у великого государя с патриархом остуда учинилась, и патриарх с Москвы сшел самовольно, и того делать ему не довелось.

Гетман задумался. Он тоже сообразил, что Никон подсылал к нему своего родственника недаром; но с какой целью — он решительно не мог понять. Желябужский понимал более: он видел, что не в гетмане нуждался Никон, что главная цель патриархова посланца — выбраться под покровом гетмана из Мо-

сквы; следовательно, у патриарха составился какой-то план, осуществление которого возможно было вне пределов Московского государства. Желябужский, таким образом, нападал на след, и по этому следу он надеялся, рано ли, поздно ли, найти то, чего он искал: это-то и должно было совершиться посредством разматывания клубка, который всех беспокоил.

— Так испужал девку? — улыбаясь, спросил он, докончив нить своих размышлений.

— Испужалась, точно, так и ахнула,— отвечал гетман, тоже улыбаясь.

В тот же вечер во дворце, на царицыной половине, говорили, что гетман сватается за Оленушку, княжну Долгорукую, дочь князя Дмитрия Алексеевича. Сватовство это произвело необыкновенный переполох на женской половине. Видано ли, чтобы московская боярышня выходила замуж за черкашенина! Да этого не бывало, как и свет стоит. Между тем слышно, что сам царь был сватом и что отец невесты дал свое согласие.

— А что она, голубушка? — спрашивала Морозова, ученица и поклонница Аввакума, находившаяся в то время в своей мастерской палате вместе с неразлучной своей сестрой, княгиней Урусовой.— Что Оленушка? — волновалась хорошенькая боярыня, обращаясь к уткоподобной Авдеевне, мамушке царевны Софьи.

— Поплакала маленько, родная, нельзя же,— отвечала мамушка.

В это время вошла в палату, где работала Морозова с сестрой, та самая хорошенькая рожица, что во время шествия гетмана с старшиной из дворца выглядывала в окно кареты из-за пунцовой тафты. Рожица казалась заплаканной. Большие, светлые, не то совсем черные, не то серые глаза несколько поприпухли. Морозова бросилась к ней и обняла ее.

— Здравствуй, моя глазунья дорогая! — нежно сказала она.— Чтой-то они у тебя, камни-то самоцветы, кажись, заплаканы? — спрашивала она, целуя в глаза пришедшую.— Асиньки?

Пришедшая снова заплакала, уткнувшись носом в плечо Морозовой.

— Ну, полно же, полно, светик! — утешала она.—

Мы слыхали судьбу твою. Что ж суженой! А ты только, Оленушка, Богу молись...

— Стерпится — слюбится... На то хмель, чтоб по дубу виться,— философствовала мамушка,— на то дуб, чтоб хмелинушку держать.

Заплаканная девушка, утерев рукавом белой сорочки слезы, улыбнулась.

— Да ты-то его, Оленушка, видела? — спросила Урусова, подходя к ней.

— Видела, сестрица,— отвечала та.

— Ой ли! Где? Когда?

— Онамедни... ехала я от батюшки сюда,— начала было девушка и остановилась, потому что на глазах ее опять показались слезы.

— Ну, ехала? — подсказывала ей Морозова.

— Ехала это я... а они идут... от великого государя шли... руку целовали... А я ехала...

Оленушка опять остановилась.

— Да сказывай же, глазунья! — настаивала Морозова.— Ехала да ехала!

— Ехала я, а они идут...

— Слыхали уж это!

— А я выглянула... а он на меня...

— Ох, батюшки! — испуганно шептала Урусова.

— Ну-ну! Не мешай ты, Дуня! — волновалась Морозова.

— Он и увидал меня.

— А ты ево?

— И я ево.

— Ну, какой же он из себя?

— Я со страху и не разглядела... черный, бритый... глаза...

— А сказывают, он в своей земле, у черкас, все одно что царь,— заметила Урусова.

— И батюшка сказывал,— подтвердила Оленушка.

— А каким крестом он крестится, милая? — спросила серьезно Морозова.

— Батюшка сказывал, что по-нашему,— отвечала невеста.

— Ой ли, светик! — усомнилась Морозова.— Вон протопоп Аввакум сказывал, что они, черкасы-то, щепотью крестятся.

— А как же у них, в Киеве, угодники-то печерские почивают? — усомнилась, со своей стороны, Урусо-

ва. —Коли бы они были не нашей веры, у них бы угоднички не почивали.

— Так и батюшка сказывал,—подтвердила Оленушка.

Видно, что «батюшка» для нее был авторитет неоспоримый: что сказал отец, то свято и верно, притом же и само сердце подсказывало ей, что не в щепоти дело. Оно билось и страхом чего-то неведомого, и какой-то тайной радостью. Да и то сказать: гетман был и не страшен, как сразу ей показалось; она ахнула от нечаянности и стыда: шутка ли, мужчина, да еще черкашенин, увидел девку на улице! И девка глазела на него—срам, да и только! А она успела заметить, что этот черкашенин молодцом смотрит—такие усы, да и бороды нет; а то все бояре, которых она видела,— все бородатые, и все на батюшку похожие... Только одно страшно—сторона далекая, незнакомая...

И в голове Оленушки само собой заныла горькая мелодия свадебного причитанья по русой косе:

Уж вставайте-ко, мои подруженьки,
Уж вставайте-ко, мои лебедушки,
Заплетите-ко мне русу косыньку,
Русу косыньку, мелку-трубчату,
Не во сто мне прядей и не в тысячу,
Заплетите мелку-трубчату,
Уж впервые ли и в остаточки...

И Оленушка снова заплакала, закрыв лицо белым рукавом.

В комнату вбежала маленькая царевна и бросилась к Морозовой.

— А я все уроки выучила, и больше выучила, как Симеон Ситианович мне задал,—радостно говорила она.—Завтрее он меня похвалит.

— Вот и хорошо, государыня царевна,—отвечала Морозова, лаская бойкую девочку.

— Ну, так теперь и пастилы можно дать?

— Можно, можно.

Увидав заплаканные глаза у Оленушки, царевна бросилась к ней.

— Ты о чем, Оленушка, плакала?—спросила девочка.

Оленушка не отвечала, а только смущенно опустила голову. Маленькая царевна вопросительно посмотрела на свою мамушку.

— Это ты ее?—спросила она.

— Чтой-то, царевнушка! Все я да я! — защищалась толстуха.— Оленушку замуж отдают.

— Замуж! За кого?

— Вон за того гетмана, что онамедни у батюшки царя ручку целовал.

— А! Я его видела с переходов — точно лях.

И девочка с участием подошла к Оленушке. «Не плачь, Оленушка,— сказала она,— вон Симеон Ситианович сказывает — у них, у черкасов, говорит, лучше жить — веселее...»

В это время кто-то торопливо говорил у дверей: «Государыня-царица, государыня-царица идет...»

IX. СМУТА В СОЛОВКАХ

Таким образом, ни 11-е сентября, ни последующие затем дни, на которые Никон возлагал тайные надежды, не оправдали этих надежд. Подосланный им к гетману верный человек, Федотка Марисов, двоюродный племянник патриарха, воротился ни с чем. Федотка не только не убедил гетмана взять его с собою, но своим появлением на посольском дворе возбудил серьезные подозрения властей, и хотя ничего лишнего не сказал на допросе в малороссийском приказе, однако накинул сильную тень на само поведение патриарха. При всем том Никон не падал духом и не терял надежды. Природа наделила его слишком большой живучестью — живучестью мощного духа, а железная воля закалилась с детства, крепчая год от году с того самого момента, когда его, голодного, холодного и босого ребенка, злая мачеха столкнула в погреб и когда он, наэлектризованный фанатической проповедью желтоводского старца, наложил на себя обет сурового подвижничества. Дойдя потом на своих собственных ногах до высочайшей ступени человеческой власти, он сам уверовал в провиденциальность своей судьбы над русской землей и глубоко веровал, что не люди, а только Бог, возведший его на эту превысочайшую степень, и может свести его оттуда своей десницей или возвести еще выше. Он ждал только указания свыше — и указанием этим он считал перст Божий, который прошлую зиму в виде звезды хвостатой грозился на кого-то с неба. Но на кого? Никон глубоко верил, что не на него, а на его врагов.

Поэтому и неудача у гетмана не отняла у него

надежды. Он понял только, что Провидение повелевает ему ждать. И он ждал, но ждал не пассивно, что было не в его натуре. День за днем, при посредстве своих монахов и тайных друзей, он следил за всем, что делалось в Москве. Он видел, что там ждали чего-то и в ожидании занимались текущими делами. Гетман все оставался в Москве, сватался, а потом собрался жениться. Следовательно, раньше следующего года или раньше святок нельзя было и думать о его выезде в Малороссию.

Дни тянулись за днями, как те тяжелые, свинцовые и холодные тучи, которые ползли на востоке и которые созерцал патриарх, ходя по переходам своих келий и поглядывая иногда на пустое ласточкино гнездо. «Придет снова весна, и оно будет не пустое»,— думалось ему, и при этом само собой это черненькое птичье гнездышко сопоставлялось с покинутым в Москве патриаршим престолом, который теперь тоже пуст, но для которого, как и для гнезда ласточки, снова наступит весна, и он не будет сиротствовать.

Неприятно волновали его другие вести, приходившие из Москвы. По этим вестям можно было думать, что там опять начинают поднимать голову те силы, которые Никон считал давно сломленными его мощной рукой, далеко рассеянными и присыпанными морозной пылью далекой Сибири: поднимали голову эти Аввакумы, Лазари, эти Никиты-пустосвяты, которые плевали на труды целой жизни Никона, отрепьями старины забрасывали работу рук его, кричали на всю Москву о возврате к старому. И Москва, по-видимому, возвращалась к старому, отворачиваясь от дела Никона и от него самого. За Аввакумом же ходили толпы народа, жадно слушая его неистовые кричанья и лай на Никона. Голос Аввакума доходил до палат боярских. Боярские и княжеские жены шли за Аввакумом, как за пророком: Морозова и Урусова — царицыны любимицы — стали духовными дочерьми Аввакума. А Никон забывается...

И не одна Москва с голоса Аввакума лает на Никона и на его работу: во всей русской земле завелись свои Аввакумы. Аввакумы проникли и в Соловки: и там не хотят принимать новых книг, напечатанных Никоном. А Соловки — это вечевой колокол всей старой Руси.

Возвращавшиеся из Соловок богомольцы сказывали, что соловецкие старцы в один голос кричат:

— По святой Руси ходит ересь пестрозвериная:

опестрил той ересью Никона Арсентий грек[26], а Никон опестрил ересью все книги, всю русскую землю. Он-де сам в Успенском соборе каялся народу: окоростовел-де я коростою ереси, и та короста от меня паде на вас, и вы все окоростовели от меня.

Действительно, в Соловках было далеко не спокойно. Волнения начались там еще в 1657 году, когда Никон был на патриаршестве. В Соловки присланы были новые богослужебные книги никоновского издания. Слухи о присылке «новых» книг произвели такое смятение в стенах монастыря и по всем его усольям, как будто бы на святую обитель напала орда и хочет монастырь разрушить до камня, а братию истребить до последней ноги. В виду такого страшного дела архимандрит созвал «черный собор». У всех на лицах выражались ожидание и страх.

Вынесли книги, положили на стол.

— Смотрите, отцы и братия, каковы книги,— взывал архимандрит,— а я уже стар и слеп — может, чего недогляжу.

Заскрипели и защелкали медные застежки книг под грубыми ладонями иноков, более привыкших рыбу солить да дрова рубить, чем книги перелистывать. Зашуршала новая толстая бумага под непривычными пальцами. Роются старцы усердно, до поту роются — и литеры-то новые, без загогулин и завитков, и титлы-то кривобоки, и заставки-то с киноварью не те, и все не на своем как будто месте — не знаешь, где его и искать, как и читать: то «Отче наш» не на своем месте, то в «Богородице» буки не с такой заставкой, то «Помилуй мя Боже» не отыщешь — застряло где-то. Беда, да и только! В старых книгах знаешь, где что искать,— листы сами открываются там, где захочешь: нужно тебе «Блажен-мужа» — он тут как тут, понадобилось «Вскую шаташася» — и оно под рукой. А тут ищи его, а коли найдешь, так не прочтешь — литеры не те, новые, и ижица не та, и фита с какими-то лапками.

— Отцы и братия! — кричит один инок.— В символе веры, чу, аз выкинули!

— Этого нельзя! Эти книги не годятся, латынские оне! — кричит другой.

Черный собор заволновался. Выступили ученые старцы, попы и дьякона.

— Отцы и братия! Стойте на старых книгах — по

ним мы учены и к ним привыкли, а к новым поздно привыкать.

— Поздно! Поздно! Мы, старики слепые, и по старым книгам очередей своих недельных держать не сможем, а по новым-то на старости лет учиться не можем, да и некогда: что учено было, и того мало видим, а по новым книгам нам, чернецам косным, непереимчивым и грамоте ненавычным, сколько ни учиться, не навыкнуть.

— Долой новые книги! — кричала братия.

— В огонь их, в море!

— Помолчите, отцы и братия! — завопил новый оратор, выступая из толпы.— Дайте слово сказать. Послушайте вы меня, старого: коли попы станут читать и петь по новым книгам, и мы от них причащаться не будем — помрем и так, а вере не изменим. А коли на отца нашего, на архимандрита, придет какая кручина либо жестокое повеление, и нам всею братию бить за него челом своими головами, стоять всем заодно до смерти.

— Ладно! Стоять до смерти! — заревел черный собор.— Не выдавать архимандрита!

Архимандрит стоял у стола, положив дрожащую руку на книгу новой печати. По впалым и сморщенным щекам его катились слезы.

— Братия и все православные христиане! — говорил он дрожащим голосом.— Видите, братия, последнее время: встали новые учители и от веры православной, и отеческого предания нас отвращают и велят нам служить на ляцких крыжах по новым служебникам. Помолитесь, братия, чтоб нас Бог сподобил в православной вере умереть, как и отцы наши! А я на то и пошел — умру за святой аз.

Черный собор заревел почти в один голос:

— Нам латынской службы и еретицкого чина не надо! Не принимаем! Причащаться от еретицкой службы не хотим и тебя, отца нашего, не выдадим!

Два-три голоса возвысились было в пользу новых книг.

— А! — застонал черный собор.— Хотите латынскую еретицкую службу служить! Живых из трапезы не выпустим!

Новые книги так и не были приняты. В 1666 году, когда Никон, сидя в Воскресенском монастыре, томился ожиданием и неизвестностью, из Москвы

послан был в Соловки Спасского ярославского монастыря архимандрит Сергий с царским указом, грамотами и наказом архиерейского собора — привести соловецкую братию к повиновению. Сергий собрал черный собор, предъявил указ и грамоты. Невообразимый шум и крики заглушили его слабый голос.

— Указу великого государя мы послушны и во всем ему повинуемся! — выделились отдельные голоса из толпы,— а повеления о символе веры, о сложении перстов, о аллилуии и новоизданных печатных книг не приемлем.

На скамью встает сам архимандрит соловецкий, старый Никанор. Его поддерживают чернецы, чтобы он не упал. Никанор поднимает руку высоко над своей головой, складывает три первые пальца и кричит неистово:

— Смотрите! Это учение и предание латынское, предание антихристово! За два перста я готов пострадать! Ведите меня на муку! Да у вас теперь и главы нет — патриарха, и без него вы не крепки! Горе вам! Последние времена пришли!

Голос его оборвался. Он задрожал и с трудом был снят со скамьи. Он дико озирался по сторонам, как пьяный, бормоча: «Умру за два перста... умру за святой а з...»

Сергий, ошеломленный воплем старого фанатика, обращается к собору и просит выбрать кого-нибудь одного.

— Со всеми разом говорить нельзя; меня закричат.

— Геронтий! Геронтий! — раздалось со всех сторон.

Выступил Геронтий, высокий, сухой чернец. Глаза его искрились, в широких скулах и в прикушенной бороде виделось что-то упрямое, задорное. Выступал он с таким угрожающим лицом и с такими жестами, словно бы шел на кулачки.

— Зачем вы у нас Сына Божия отняли! — сразу накинулся он на Сергия.

Сергий испуганно отступил назад, не понимая, о чем его спрашивают.

— Зачем вы в молитве «Господи Исусе» отъемлете «Сына Божия»? — продолжал оратор, наступая на оторопевшего посланца царского.— Зачем вы...

Но толпа не дала оратору продолжать: она одно

поняла — что с ними делают что-то страшное, «Сына Божия» отнимают...

— Ох! Ох! Горе нам! — послышался страшный вопль дикарей.— Ох, горе! Отымают у нас «Сына Божия»!.. Где вы девали «Сына Божия»?

Когда крики несколько утихли, Сергий хотел было подойти к Геронтию, но тот неистово закричал:

— Не подходи!.. Покажи прежде, каким крестом крестишься, и тогда уж и учи нас!.. Допреж сего от соловецкой обители вся русская земля всяким благочестием светилась, и ни под каким зазором Соловецкий монастырь допреж сего не бывывал, но яко столп, и утверждение, и светило сиял. А вы теперь от греков новой вере учитесь, а греческих архиереев самих к нам в монастырь под начал присылают: они и креститься-то не умеют,— мы их самих учим, как креститься.

По собору пронесся гул одобрения. Сергий видел, что почва под ним колеблется, что не сломить ему сурового противника, и он прибег к страшному средству, после которого должны уже были заговорить пушки, а не люд.

— Великий государь царь Алексей Михайлович благоверен ли, благочестив ли, и православен ли, и христианский ли царь? — спросил он.

В свою очередь Геронтий перед этими страшными словами отшатнулся было назад, но, увидев устремленный на него взгляд старого Никанора, выпрямился и тряхнул волосами.

— Великий государь царь Алексей Михайлович благоверен, благочестив и православен,— отвечал он, обводя собрание глазами.

— А повеления его, которые к вам присланы, православны ли? — настаивал неумолимый посланец.

Даже Геронтий на эти страшные слова не знал, что отвечать: как волк, прижатый к стене, он растерянно оглядывался, ища взгляда Никанора. Но Никанор смотрел в землю и упорно мотал головой.

— Освященный собор православен ли? — продолжал пытать Сергий.

— Допреж сего патриархи были православны, а ныне Бог весть, потому живут в неволе, а российские архиреи православны,— с трудом отвечал Геронтий.

— А которое к вам прислано соборное повеление — и оно православно ли?

— Повеления соборного не хулим, а новой веры

и учения не приемлем, держимся предания святых чудотворцев и за их предания хотим все умереть,— был последний ответ старцев.

Сергий вышел из собора, окруженный монастырским караулом, словно арестант. Ему не позволяли даже в монастыре ночевать, а вместе с прибывшими с ним из Москвы посланцами вывели на остров и посадили под стражу. Когда его выводили из монастырских ворот, то собравшиеся там из окрестных усольев и поселков мужики громко говорили:

— Которые московские стрельцы теперь здесь в монастыре, и тем мы свой указ учиним — перебьем и перетопим, и которые за монастырем в ладьях, и тех перетопим, будто морем разбило... Всех побьем каменьем — потому посланы они от антихриста прельщать нас.

На соборе между тем, в трапезе, готовилось челобитье к царю. Когда оно было кончено, Геронтий встал на скамью и начал громко читать:

— Бьют челом богомольцы твои государевы: Соловецкого монастыря келарь Азарий, бывший Саввина монастыря архимандрит Никанор, казначей Ворсонофей, священники, дьяконы, все соборные чернецы и вся братия рядовая и больнишная, и служки и трудники все. Прислан из Москвы к нам архимандрит Сергий с товарищи учить нас церковному преданию по новым книгам, и во всем велят последовать и творить по новому преданию, и предание великих святых апостолов и святых отец седми вселенских соборов, в коем прародители твои государевы и начальники преподобные отцы Зосима и Савватей и Герман[27], и преосвященный Филипп митрополит пребывали, ныне нам держаться и последовать возбраняют. И мы, худые богомольцы твои и холопишки, чрез предания святых апостолов и святых отец священные уставы и церковные чины пременять не смеем, понеже в новых книгах выходу Никона патриарха, по которым нас учат новому преданию, вместо Исуса нашего с приложением лишней литеры Иисус, чего страшно нам грешным не точию приложити, но и помыслити...

— Ох! — послышалось в толпе,— иже приложили ко Исусу... Ох, страшно...

— Ох! Ижем Христа прободали в ребра: иже есть копие! — провозгласил Никанор.

— Милосердный государь! — продолжал, воодушевляясь и потрясая в воздухе челобитною, Геронтий.—

Помилуй нас, нищих своих богомольцев и холопишек,—не вели архимандриту Сергию прародителей твоих и начальников наших, преподобных Зосимы, Савватея, Германа и Филиппа, предания нарушать и вели, государь, нам в том же предании быть, чтоб нам врозь не разбрестись и твоему богомолию украйному и порубежному месту от безлюдства не запустеть.

— Припиши,—кричал Никанор,—за предание-де великих чудотворцев готовы мы с радостью наглую смерть принять, и многие-де старцы, готовясь на тот вечный путь, посхимились...

— Припиши! Припиши!—подтвердили десятки голосов.

— Еще припиши,—настаивал упрямый Никанор,— вели-де, государь, на нас свой царский меч прислать и от сего мятежного жития преселити нас на оное безмятежное и вечное житие!

В таком положении стояли дела на далеком севере, когда Никон, которого считали виновником всех этих небывалых и неслыханных дотоле церковных смут, охвативших не только соловецкое поморье, но и Москву, где народ, торговые люди и бояре почти все отшатнулись от духовных властей своих, а Аввакум до ослепления разжигал народные страсти своей жгучей проповедью,—когда Никон вдруг узнал, что в Москву прибыли гости, которых он всего более боялся. Это были вселенские патриархи—Макарий антиохийский и Паисий александрийский, он же и «судия вселенной».

Наступил суд над Никоном.

X. СУД НАД НИКОНОМ

Первого декабря 1666 года, едва лишь багровое солнце сквозь искристую морозную мглу осветило островерхие крыши кремлевского дворца и брызнуло золотом по маковкам церквей и по разрисованному морозом стеклу дворцовых окон и стеклянных переходов, как уже во дворце, в столовой избе, собрался небывалый дотоле и после того в России вселенский собор— царь, два патриарха, митрополиты, архиереи и весь синклит духовных и светских властей. Алексей Михайлович сидел на своем государевом месте, на неболь-

шом возвышении, под сенью золотого двуглавого орла, на крыльях которого играло пробившееся сквозь льдистые кристаллы окна утреннее солнышко, золотя в то же время левый, уже посеребренный редкой седью висок и часть заиндевевшей той же назойливой седью русой, мягкой, как шемахинский шелк, бороды. Тишайший царь сидел задумчиво, глубоко сосредоточенно и так неподвижно, что его можно было принять за иконописное изображение, если б тихое, равномерное поднятие и опускание висевшего на его груди большого золотого креста не изобличало, что эта грудь дышит. Подле него, по левую руку, в глубоких с высокими резными спинками креслах сидели патриархи. У ближайшего к царю, высокого, худого и согбенного годами, темно-пергаментное лицо смотрело из-под надвинутого до бровей клобука не как лицо, а как лик на старом полотне, выцветший от времени, тронутый непогодью и копотью от свечей и ладана. Неровные пряди волос желтоватой седины и белая борода, освещенные косыми лучами солнца, несколько дрожали на черном фоне клобука и панагии, производя странное впечатление — как будто бы волосы эти дрожали на мертвом теле от постороннего дыхания, тем более что и глаза сидящего, глубоко опущенные, казались закрытыми тонкой, синеватой кожицей век, с которых, казалось, только что сняты были медные гроши,— принадлежность новопреставленного. Это был Паисий, патриарх Александрии и всего Египта — некогда земли фараонов. Рядом с ним в таком же кресле восседал антиохийский патриарх Макарий. Черные, курчавые, перевитые седыми прорезями, как серебряной тонкой нитью, волосы, черная, курчавая, как давно не стриженная баранья шерсть, с проседью борода, большие синеватые белки черных, подвижных глаз с длиннейшими ресницами, темно-оливковый цвет лица — все изобличало в нем восточного человека, которого как-то странно было видеть не на берегу Иордана где-нибудь или Мертвого моря, а на берегах Яузы, среди чисто московских лиц и в этой типичной обстановке.

С правой стороны царя, на застланных сукнами скамьях, сидели митрополиты, архиереи и весь освященный собор. Черные клобуки, надвинутые на худые и строгие лица, черные рясы, кресты и четки — все это смотрело мрачно и внушительно, как картина Страшного суда. Тут и Сергий спасо-ярославский, которого

мы недавно видели на черном соборе в Соловках, и Павел суздальский, и Павел сарский, и Питирим новгородский.

По левую сторону от царя, на скамьях же, бояре, окольничие и думные люди — все, что заправляло московской землей от Пскова до Албазина на Амуре, от Соловок до южного рубежа русской, все шире и шире разлегавшейся территории. Тут были лица, большей частью хорошо упитанные, гладкие, бородатые.

За особым столом — дьяк Алмаз Иванов. Горы бумаг, книг и потемневших от времени свитков почти всего его закрывают собой. И лицо его — такое же желтое, как эти свитки,— смотрит спокойно, только изредка щурятся его усталые глаза, перечитавшие все эти горы бумаг и перенесшие в его глубокую, как бездонная пропасть, память тысячи мельчайших подробностей дел, статей разных уложений, указов, отписок, справок, памятей. Худыми, привычными пальцами он держит белое, как снег, гусиное перо и неслышно водит им по бумаге.

Тихо в избе. Собор ждет кого-то. Кого же больше ждать, как не того, кого собрались судить вселенне! В полночь он въехал в Москву и проследовал в Кремль Никольскими воротами, которые тотчас же за ним и заперли, поставив сильную стражу и разобрав даже мост, соединявший эти ворота с городом. Так вот какого страшного подсудимого ждет вселенский собор!

Скоро за дверями столовой избы послышались чьи-то ровные, сильные шаги. Звякнули алебарды стрельцов, стоявших у входа. Какое-то невольное движение, словно дрожь, прошло по собору, как будто бы в тихий ясный день по безоблачному небу пронеслось облачко и провело бегучую тень по высокой траве. Глаза всего собора обратились к входным дверям — обратились с каким-то страхом, полные ожидания. И глаза царя блеснули неуловимым светом, и закрытые веками глаза Паисия патриарха открылись, словно бы икона глянула с темного полотна человеческими глазами, и глаза дьяка Алмаза Иванова поднялись от бумаги.

Двери распахнулись широко, на обе половинки, чтобы пропустить что-то большое. Это было распятие, несомое перед патриархом. За распятием вошел и тот, кого звали на суд. Невольная дрожь прошла по собору, когда увидали того, кто вошел. Это был все тот же прямой, суровый на вид, массивный человек, которого

так часто когда-то, около десяти лет назад, видела Москва на всех торжественных служениях, в церковных ходах и в царской думе и перед взором которого все склонялось и трепетало; тот же повелительный вид, те же повелевающие глаза — только по всему этому прошло что-то разрушительное, пригибающее к земле, вытравляющее живой цвет лица, задувающее огонь глаз, обесцветившее до седины вороненый волос головы и бороды.

В добрых глазах царя блеснула жалость — веки задрожали... Это ли его бывший «собинный» друг, его любовь и гордость!..

При виде распятия и вошедшего за ним подсудимого весь собор стал на ноги.

— Владыко Господи Боже наш! Благослови вход раба Твоего и отверзи уста его, да возвестят хвалу Твою — всегда, ныне и присно и во веки веков! — громко возгласил вошедший.

Потом, оборотясь лицом к царю, он поклонился ему до земли. Царь испустил глубокий вздох, увидав, как у поклонившегося ему разметались по полу поседевшие волосы. Поклонившийся встал и, откинув назад упавшие ему на лицо волосы, вторично припал клобуком к царскому подножию. Царь крепко стиснул челюсти, чтобы не заплакать. Поклонившийся, приподнявшись вторично от полу, в третий раз поклонился.

Сделав полуоборот к патриархам, он и им поклонился до земли дважды. За всеми его движениями жадно следили глаза всего собора, а узкие серые глазки Питирима, митрополита новгородского, каждый поклон Никона сопровождали злорадным блеском[28].

Когда Никон поднялся, наконец, от полу, расправляя волосы, на лицо его, бледное и бесцветное, как у арестанта, набежала краска. Патриархи в свою очередь глубоко нагнули головы, а потом глазами указали на лавку, по правую сторону государева места.

Глянув в ту сторону, Никон сразу понял, что его приравнивают к простым архиереям, что особого места для него не приготовили. Зловещая искра блеснула в его глазах.

— Я места себе, где сесть, с собою не принес... Разве сесть мне тут, где стою,— сказал он хрипло, с дрожью в голосе, и оперся на свой посох, глядя прямо в глаза государю.

И добрые глаза последнего блеснули: та искра, что

зажглась в глазах у Никона, зажглась и у царя. Питирим незаметно толкнул локтем соседа своего, Павла, митрополита сарского, и указал глазами на то, что происходило впереди. Перо дьяка Алмаза Иванова заскрипело по бумаге, спеша запечатлеть чернилами навеки этот исторический момент.

— Пришел я узнать, для чего вселенские патриархи меня звали? — продолжал подсудимый тоном допрашивающего, тоном судьи, и снова вопрошающе посмотрел на государя.

Алексей Михайлович порывисто сошел с своего места, путаясь ногами в своем длинном одеянии, и стал перед патриархами, как бы ища укрыться под их святынею.

— Святая и пречестная двоице! Великие вселенстии патриарси,— заговорил царь дрожащим голосом, нервно, торопливо.— От начала Московского государства соборной и апостольской церкви такого бесчестья не бывало, как учинил сей бывший патриарх Никон: для своих прихотей, самовольно, без нашего повеления и без соборного совета церковь оставил, патриаршества отрекся, никем не гоним, и от этого его ухода многие смуты и мятежи учинились, церковь вдовствует без пастыря девятый год... Допросите бывшего патриарха Никона — для чего он престол оставил и ушел в Воскресенский монастырь?

Царь стоял, как подсудимый, и ждал ответа. Пока патриархи через переводчика хотели только было обратиться к Никону за этим ответом, как он оборвал их.

— А есть ли у вас совет и согласие с константинопольским и ерусалимским патриархами, что меня судить? А без их совета я вам отвечать не буду, потому — хиротонисан я от константинопольского патриарха.

Из-за груды бумаг выдвинулась тощая фигура дьяка Алмаза Иванова и неслышными шагами приблизилась к патриархам. В руках у Алмаза было два свитка, перевитые черными лентами, как две погребальные свечи.

— Вот полномочие остальных вселенских патриархов,— сказал Макарий, дотронувшись до одного из свитков.

Тогда Никон попятился назад и в первый раз оглянул судилище, подобно тому как застигнутый врас-

плох ищет, куда ему скрыться. Глаза его остановились на Питириме новгородском и на его соседе Павле сарском: глаза последних смотрели с вызывающим торжеством... Никон задрожал...

— Великий государь и святейшие патриархи! — быстро повернулся он.— Бью челом: пожалуйте меня и вышлите из собора недругов моих Питирима и Павла; они мыслили зло на меня, хотели меня отравить либо удавить и для того с чаровством прислали чернеца Федоса.

— И то он говорит ложь безлепично,— возразил Питирим, вставая разом с Павлом,— у великого государя о чернеце Федосе есть дело.

И опять из-за бумаг выделяется фигура дьяка Алмаза Иванова. Он подносит к государю дело и с глубоким поклоном подает его. Царь показывает это дело патриархам.

— Ответствуй,— повторили патриархи,— для чего ты отрекся от патриаршества?

— Я не отрекся, а сшел с престола своею волею, не стерпя обид: царев слуга Хитрово бил моего человека без вины, и того ему, Хитрово, делать не довелось — то мне бесчестье, потому — человека своего я послал по делу, для строения церковных вещей. А когда я просил у великого государя обороны — и великий государь обороны мне не дал,— защищался подсудимый, все более и более возвышая голос.

— Никон писал ко мне и просил обороны от Хитрово не вовремя: в ту пору обедал у меня грузинский царь, и в ту пору разыскивать и оборону давать было некогда,— был ответ царя.

Странный, небывалый вид представляли эти судебные прения. Высшая власть в государстве — царь и патриарх — стояли среди многочисленного собора, разделяемые распятием и крестоносителем, а весь собор сидел, безмолвно следя за словами и движениями царя и подсудимого: последний был бледен как полотно, у первого — краска не то стыда, не то негодования заливала щеки.

Царь чувствовал, что ответ его слаб.

— Никон патриарх говорит,— поспешил он поправиться,— будто человека своего прислал для строения церковных вещей, ино в ту пору на Красном крыльце церковных вещей строить было нечего, и Хитрово зашиб его человека за невежество, что пришел не вовремя и учинил смятение, и то бесчестье к Никону

патриарху не относится, и та обида ему не в обиду. А что не было моего выходу в праздники, и то учинилось так за многими государственными делами. А когда он сшел с престола, и я посылал к нему боярина князя Трубецкого и Родиона Стрешнева, чтоб он на свой патриарший стол возвратился, ино он от патриаршества отрекался — сказывал: как-де его на патриаршество обирали, и он-де на себя клятву положил — быть-де на патриаршестве токмо три года. А что посылал я князя Юрия Ромодановского, чтоб он напредки великим государем не писался, и то я учинил для того, что прежние патриархи так не писывались, ино того к нему не приказывал, что на него гневен.

Услыхав свое имя, Ромодановский, тучный и красный как кумач боярин, торопливо поднялся с лавки и, не спуская глаз с царя, быстро выпалил: «Это точно — о государевом гневе я не говаривал».

Никон в полуоборот глянул на него, но ничего не сказал.

— Говорил ты про обиды: какие обиды тебе от великого государя были? — продолжал допрашивать Макарий, тогда как Паисий безмолвно перебирал свои четки.— Какие обиды?

— Никаких обид не бывало: но когда он (и Никон спохватился и тотчас же поправился) — когда великий государь начал гневаться и в церковь ходить перестал, в ту пору я патриаршество и оставил.

Царь нетерпеливо пожал плечами, не глядя на подсудимого.

— Он писал ко мне по уходе,— начал он снова,— «будешь-де ты, великий государь, один, а я-де, Никон, как один от простых».

— Я так не писывал,— был отрывистый ответ.

Тогда Макарий, обратясь к архиереям, спросил: «Какие обиды были Никону от великого государя?»

— Никаких обид не было,— отвечал Питирим за всех.

— Я не об обидах говорю! — огрызнулся на него Никон, медленно, как волк, полуоборачивая свою негнущуюся, как у волка же, шею.— Я говорю о государевом гневе! И прежние патриархи от гнева царского бегали — Афанасей александрийской и Григорий Богослов [29].

— Другие патриархи,— перебил его Макарий,— оставляли престол, ино не так, как ты: ты отрекся, что

впредь не быть тебе патриархом: если-де будешь патриархом, то анафема будешь.

— Я так не говаривал,— защищался подсудимый,— а говорил я, что за недостоинство свое иду; а коли б я отрекся от патриаршества с клятвою, и я не взял бы с собою святительской одежды.

— Когда ставят в священный чин, то говорят «достоин». А ты, как святительскую одежду снимал, то говорил: «недостоин»,— настаивал Макарий.

— Это на меня выдумали,— был ответ.

— Никон писал в грамотах своих к святейшим патриархам на меня многие бесчестья и укоризны, а я на него ни малого бесчестья и укоризны не писывал,— продолжал царь,— допросите его — все ли он истину, без всякого прилога, писал? За церковные ли догматы он стоял? Иосифа патриарха святейшим и братом себе почитает ли, и церковные движимые и недвижимые вещи продавал ли?

— Что я в грамотах писал — то писал! — нетерпеливо отвечал подсудимый.— А стоял я за церковные догматы... Иосифа патриарха почитаю за патриарха, а свят ли он — того не ведаю; а церковные вещи продавал я по государеву указу.

Царь обвел взором все собрание и остановился на Алмазе Иванове.

— Поставь пред собор колодника,— сказал он тихо, но так, что весь собор слышал его слова.

Алмаз Иванов поднялся и неслышными шагами вышел в сени. Все смотрели ему вслед в немом ожидании и страхе. Никон ближе подвинулся к распятию и поднял на него глаза. Питирим что-то шептал своему соседу, показывая глазами на подсудимого.

В сенях послышались шаги, сопровождаемые глухим звяканьем кандалов. Все в недоумении переглядывались.

Скоро дверь растворилась, и в соборную избу вошел кто-то, закованный в железо по рукам и по ногам. Лицо его носило следы тяжкого изнурения. Увидав Никона и распятие, он упал ниц, зазвенев кандалами. Никон вздрогнул и пошатнулся: он узнал колодника.

То был племянник его — Федот Марисов.

XI. «МАМАЙ В РЯСЕ»

Когда гетман Брюховецкий отказался взять Марисова с собой в Малороссию, откуда этот тайный посланец Никона должен был пробираться в Константинополь к тамошнему патриарху Дионисию, с грамотой Никона и с воззванием ко всем патриархам о разборе его распри с царем, любимец Никонов и его ставрофор Ивашко Шушера подкупил одного казака за 50 рублей и за пятьдесят золотых — взять с собой Марисова в число прочей свиты гетмана, якобы своего родственника, взятого москалями в плен во время похода воеводы Бутурлина на Львов[30]. Марисов, никем не узнанный, в январе 1666 года выехал из Москвы вместе с Брюховецким и благополучно достиг Малороссии; но в Москве скоро проведали об этом тайном агенте Никона, и к Брюховецкому послан был гонец с наказом — схватить Марисова. Марисов был схвачен и переслан под караулом в Москву, вместе с грамотами Никона.

Все это сделано было в глубочайшей тайне, и Никон ничего не знал, какая судьба постигла его посланца и его грамоты. А в грамотах этих он не поскупился на сильные выражения, на серьезные обвинения, падавшие лично на царя и на его управление.

Вот почему появление Марисова в соборной избе так поразило Никона. Ему казалось, что он видит перед собой призрак. Да, Марисов, изнуренный заключением, пытками и душевными страданиями, и смотрел призраком.

Царь сделал знак Алмазу Иванову. Тот подошел и подал какие-то бумаги.

— Твои это грамоты? — спросил царь, показывая их Никону.

— Мои,— мрачно отвечал тот.

Марисов поднялся с полу и, снова припав к земле, поцеловал край одежды Никона.

— Грамоты ты эти от Никона получил? — спросил царь Марисова. Тот молчал.— Говори! — повторил царь.

— Прикажи меня казнить, великий государь, а на святейшего патриарха я свидетельствовать не стану,— сказал Марисов с силой.— Отсохни мой язык!

— Скажи одно: кто тебе дал эти грамоты? — настаивал царь.— Скажи, я тебя помилую.

— Не скажу! Загради, Господи, уста мои! — как-то выкрикнул упрямец.— Сокруши гортань мою!

Никон широко перекрестил его и снова оперся на посох. Царь сделал нетерпеливое движение.

— Уведите его! — сказал он, ни на кого не глядя.

Марисова увели. Царь передал бумаги Алмазу Иванову, который, сев на свое место, снова заскрипел пером.

— Чти Никоновы писания! — громко сказал Алексей Михайлович.

Алмаз Иванов, заткнув перо за ухо, стал читать. Трудно было ожидать, чтобы в таком тщедушном теле сидел такой здоровый голос. Он читал грамоту Никона к константинопольскому патриарху. В грамоте подробно описывалось, как его, Никона, силой избрали на патриаршество, как насильно привели в собор, как царь, вместе с московским народом, кланяясь до земли и слезно плача, умолял его, Никона, принять патриаршество, как он, наконец, решился принять посох Петра митрополита с условием, чтобы все его слушались, как начальника и пастыря, как царь сначала был благоговеен и милостив и во всем заповедей божьих искатель, а потом начал гордиться и выситься.

Собор безмолвствовал. Гремел только ровный, звучный голос Алмаза Иванова. Царь стоял потупившись, а Никон держал голову прямо, не спуская глаз с распятия. По лицу Питирима, как змейка, пробегала злая усмешка.

— Послан я,— звучал голос Алмаза Иванова,— в Соловецкий монастырь за мощами Филиппа митрополита, которого мучил царь Иван неправедно...

— Постой! — перебил чтение государь.

Алмаз Иванов умолк. Все взоры обратились на царя.

— Для чего он,— обратился последний к патриархам,— для чего он такое бесчестие и укоризну царю Ивану Васильевичу написал, а о себе утаил, как он низверг, без собора, Павла, епископа коломенского, ободрал с него святительские одежды и сослал в Хутынский монастырь, где его не стало безвестно...[31] Допросите его, по каким правилам он это сделал!

— По каким правилам я его низверг и сослал — того не помню, и где он пропал — того не ведаю... Есть о нем на патриаршем дворе дело,— поторопился подсудимый.

— На патриаршем дворе дела нет и не бывало — отлучен епископом Павел без собора,— с своей стороны поторопился Павел, митрополит сарский.

Никон ничего не возражал. Он только сильнее налег на посох, как бы желая им пронзить помост соборной избы.

А Алмаз Иванов продолжал вычитывать, как по покойнике... «и учал царь вступаться в архиерейские дела»...

— Допросите — в какие архиерейские дела я вступался? — снова прервал чтение Алексей Михайлович, обращаясь к патриархам.

— Что я писал — того не помню,— отвечал Никон.

— «Оставил патриаршество, не стерпя гнева и обиды»,— вычитывал дьяк Алмаз.

— Допросите: какой гнев и обиды? — прервал царь.

— На Хитрово не дал обороны, в церковь ходить перестал... Государев гнев объявлен небу и земле,— уже начинал кричать подсудимый.

Патриархи остановили его движением.

— Хотя б Хитрово человека твоего и зашиб, и тебе то терпеть бы и последовать Иоанну Милостивому, как он от раба терпел,— наставительно сказал Макарий (Паисий все молчал и изредка взглядывал то на царя, то на Никона).— А если б государев гнев на тебя и был, и тебе бы о том с архиереями посоветоваться следовало, и к великому государю посылать — бить челом о прощении, а не сердиться.

Раздался чей-то голос с дальней скамьи. Все оглянулись и увидели рыжую голову, которая усиленно моргала.

— В ту пору я царский чин исполнял,— говорила, заикаясь, рыжая голова (это был Хитрово), и в ту пору пришел патриархов человек и учинил мятеж, и я его зашиб не знаючи, я в том у Никона патриарха просил прощения, и он меня простил.

За Хитрово осмелились и другие. Разом послышалось несколько голосов со всех сторон.

— От великого государя Никону патриарху обиды никакой не бывало, пошел он не от обиды — с сердца! — кричали с боярской стороны.

— Когда он снимал панагию и ризы, то говорил: «Аще помыслю в патриархи, анафема да буду!» Панагею и посох оставил, взял клюку, а про государев гнев ничего не говорил! — кричала архиерейская сторона.

Все кричали, все усердствовали. Никон, как затравленный волк, только озирался. Но не в его характере было молчать, когда кричали другие.

— Я вас перекричу! — раздался вдруг его резкий, как удар хлыста, голос.

Паисий, сидевший с опущенными глазами, быстро вскинул ими на подсудимого и тихо сказал: «Никон!» — Никон опомнился.

— «Написана книга Уложение,— продолжал вычитывать Алмаз Иванов из письма Никона к константинопольскому патриарху,— книга святому евангелию, правилам святых апостолов, святых отец и законам греческих царей во всем противная... всех беззаконий, написанных в этой книге, не могу описать — так их много! Много раз говорил я царскому величеству об этой проклятой книге, чтоб ее искоренить, но, окроме уничижения, ничего не получил, и меня же хотели убить...»

— Постой! — остановил чтеца Алексей Михайлович.— К сей книге,— обратился он потом к Никону,— приложили руки патриарх Иосиф и весь освященный собор, и твоя рука приложена...

— Я руку приложил поневоле,— огрызнулся подсудимый.

— «Боярин Семен Лукьянович Стрешнев,— читал Алмаз,— научил собаку сидеть и передними лапами благословлять, ругаясь благословению Божию, и называл собаку Никоном патриархом: мы, услыхав о таком бесчинии, клятве Семена предали...»

Тонкая улыбка скользнула по губам Макария.

— И того тебе, Никон, делать не довелось,— сказал он.— Если б мышь сгрызла освященный хлеб, нельзя сказать, что она причастилась: так и благословение собаки не есть благословение... Шутить святыми делами не подобает, но в малых делах недостойно проклятие, понеже считают его за ничто.

Когда Алмаз Иванов дочел до того места, где говорилось о приезде к Никону князя Одоевского и Паисия Лигарида, царь остановил чтение.

— Митрополит и князь,— сказал он,— посланы были выговаривать ему его неправды, что писал ко мне со многим бесчестием и с клятвою, мои грамоты клал под евангелие, позорил газского митрополита, а тот свидетельствован отцом духовным, и ставленная грамота у него есть.

— Я за обидящегося молился, а не клял,— отвечал

Никон.— Газскому митрополиту, по правилам, служить не следует потому — он епархию свою оставил и живет в Москве долгое время... Слышал я, что он ерусалимским патриархом отлучен и проклят — у меня много таких мужиков шляется...[32] Мне говорил боярин князь Никита Иванович Одоевский государевым словом, что меня зарежут...

При этих словах Одоевский вскочил с места.

— Таких речей я не говаривал! — протестовал он.— А Никон мне говорил: «Коли-де хотите меня зарезать — то режьте»,— и грудь обнажал.

Вмешался в спор и Алмаз Иванов, но осторожно.

— Когда Никон, по вестям о неприятеле, приезжал в Москву, то мне говорил, что от престола своего отрекся.

— Никогда не говорил! — огрызнулся на него Никон.

Алмаз Иванов опять уткнулся в бумагу и читал из письма Никона, будто царь посылал к патриархам многие дары.

— Я никаких даров не посылывал,— прервал его царь,— писал, чтобы пришли в Москву для усмирения церкви; а ты (это к Никону) посылал к ним с грамотами племянника своего и дал черкашенину много золотых.

— Я черкашенину не давал, а дал племяннику на дорогу.

По знаку царя Алмаз Иванов опять начал читать. Дочел до того места, где Никон говорит о своем неудачном ночном приезде в Москву и о высылке его из Успенского собора.

— Никон приходил в Москву никем не званный,— пояснил царь,— и из соборной церкви увез было Петра митрополита посох, а ребята его отрясали прах от ног своих: и то он какое добро учинил? И ребята его какие учители, что так учинили?

— Ребята прах от ног своих как отрясали — того я не видал; а как приезжали за посохом в Чернево, то меня томили, а иных хотели побить до смерти.

— До смерти побивать никого не было велено, и не биты,— защищался царь.

И снова возобновлялось утомительное чтение Алмаза Иванова. А царь и Никон все стояли — царь, видимо, был утомлен. Патриарх Паисий по временам как бы задремывал, и только сухие пальцы

его, тихо водившие по четкам, изобличали, что он не спит.

— «...которые люди за меня доброе слово молвят или какие письма объявят,— читал Алмаз,— и те в заточение посланы и мукам преданы: поддьякон Никита умер в оковах, поп Сысой погублен, строитель Аарон сослан в Соловецкий монастырь...»

— Никита,— оправдывался царь,— ездил от Никона к Зюзину с ссорными письмами, сидел за караулом и умер своею смертью от болезни. Сысой — ведомый вор и ссорщик и сослан за многие плутовства... Аарон говорил про меня непристойные слова и за то сослан... Допросите — кто был мучен?

— Мне о том сказывали.

— Ссорным речам верить было не надобно и ко вселенским патриархам ложно не писать.

Никон смолчал. Дьяк Алмаз продолжал:

— «...архиереи по епархиям поставлены мимо правил святых отцов, воспрещающих переводить из епархии в епархию...»

— Когда Никон был на патриаршестве,— опять прервал царь,— то перевел из Твери архиепископа Лаврентия в Казань и других многих от места к месту переводил.

— Я то делал не по правилам — по неведению.

— Ты и сам на новгородскую митрополию возведен на место живого митрополита Авфония,— некстати вмешался Питирим.

— Авфоний был без ума... чтоб и тебе так же обезуметь! — громыхнул его Никон, как бы наотмашь.

Многие так и подпрыгнули на скамьях от этого окрика. Паисий глянул строго и зачастил четками. Питирим, как ошпаренный, не нашелся что отвечать и только бормотал: «Это кабан бешеный... Мамай в рясе... Господи!..» Царь покраснел, и краска все более и более заливала его щеки, по мере того как Алмаз Иванов читал далее. А он читал:

— «От сего беззаконного собора престало на Руси соединение с восточными церквами, и от благословения вашего отлучились, от римских костелов начаток прияли волями своими...»

— Стой! Стой! Погоди! — порывисто заговорил царь, повелительно поднимая руку.— Никон нас от благочестивой веры и от благословения святейших патриархов отчел, и к католицкой вере причел, и назвал

всех еретиками! Что ж это такое?! Только бы его, Никоново, письмо до святейших вселенских патриархов дошло, и нам бы всем православным христианам быть под клятвою, и за то его ложное и затейное письмо надобно всем стоять и умирать, и от того очиститься.

Голос царя сорвался. Сам он дрожал. Весь собор заколыхался сдержанным, глухим ропотом. Многие испуганно крестились, словно бы перед ударом страшного грома после молнии. Даже у Паисия, все время сидевшего неподвижно, статуйно, ходенем заходила седая голова под высоким клобуком.

— Чем Русь от соборной церкви отлучилась?— спросил он строго.

— Тем,— закричал подсудимый запальчиво,— что Паисий газский перевел Питирима из одной митрополии в другую и на его место поставил другого митрополита! И других архиереев с места на место переводил же! А ему то делать не довелось, понеже он от ерусалимского патриарха отлучен и проклят... Да хотя б он и не еретик был, а ему на Москве долго быть не для чего: я его митрополитом не почитаю, у него и ставленной грамоты нет... Всякий мужик наденет на себя монатью — так он и митрополит! Я писал все о нем, а не о православных христианах.

Он сам чувствовал, что слишком далеко зашел,— это был конь, закусивший удила... Он спохватился было, хотел увильнуть, но было уже поздно: вырвавшиеся из уст сильные выражения — обвинение в еретичестве всей страны — нельзя было поймать и воротить назад — они потрясли весь собор и погубили неосторожного.

Последовал всеобщий взрыв негодования. Москвичи точно забыли о присутствии царя и патриархов; они одно помнили — что все они оскорблены и опозорены, что им, самому православному под солнцем народу, бросили в глаза укор в неправославии, в еретичестве, в латынстве!.. Это ли не обиды?! Да за один намек на похлебство и на потачку со стороны Лжедимитрия ляцкой вере, латынству — Москва сама себя вверх дном опрокинула, в золу обратила этого Лжедимитрия и золою выстрелила на ветер, перетрясла потом, как запыленные онучи, всю русскую землю — и из-за одного только слова «латынство»... А тут вся земля и церковь якобы облатынилась? Да после этого жить нельзя! Москву осрамили перед всем светом!..

Все повскакали с своих мест, замахали руками. Послышались крики.

— Он отчел всю Россею! Всех нас! Этого нельзя.

— Он назвал еретиками всех нас, православные! Что ж это будет!

— Указ учинить! Али мы собаки латынские!

Никон стоял, ошеломленный общим взрывом, и только оглядывался по сторонам. Царь молчал — он едва держался на ногах от усталости и волнения.

С трудом патриархам удалось утишить бурю; но дальнейшее чтение грамоты Никона — этого полично-го — шло уже вяло. Все утомились. Даже у привычного Алмаза Иванова пересохло в горле.

Наконец грамота кончена. Алмаз Иванов умолк и поклонился. Наступила тишина.

— Бог тебя судит! — горько сказал Никон, обращаясь к царю.— Я узнал еще на избрании своем, что ты будешь ко мне добр шесть лет, а потом буду я возненавиден и мучен.

Слова эти передернули царя.

— Святые отцы! Допросите его, как он узнал это на избрании своем?

Никон не отвечал, а только вздыхал, глядя на распятие.

— Он же, Никон, сказывал, что видел метлу звездою, и от того будет Московскому государству погибель: пусть скажет, от какого духа он то уведал? — заговорил один архиерей.

— И в прежнем законе такие знамения бывали — на Москве это и сбудется,— мрачно отвечал подсудимый; — Господь пророчествовал на горе Елеонской о разорении Ерусалима за четыреста лет.

Паисий встал: он видел, что царь не в силах больше стоять, и потому, благословив его, указал рукою на его место. Никону же показал знаком, чтоб он уходил.

Поклонившись до земли и проговорив глухим, упавшим голосом: «Простите меня, православные!» — подсудимый вышел вслед за распятием, глубоко поникнув головою.

XII. МОРОЗОВА У АВВАКУМА

В это утро, когда в Москве начался суд над Никоном, враг его, непримиримейший из всех врагов, Аввакум, сидел на охапке соломы, брошенной на земля-

ном полу в углу арестантской келейки подмосковного монастыря Николы на Угреше, и, положив на правое колено измятый клочок синей бумаги, писал что-то деревянной палочкой, макая в стоявший на полу глиняный черепочек.

И Аввакум многое пережил в эти последние два года. Он сидел в заточении то в том, то в другом монастыре, мужественно отгрызаясь от всех своих врагов, вымучился полтора года в тягчайшей ссылке на Мезени, терпя холод, голод и побои, был расстрижен и теперь перевезен в Москву тоже на суд вселенских патриархов.

Тюрьма, в которой он теперь томился, представляла кубическую каменную коробку в сажень длины и ширины, с узеньким оконцем за железной решеткой с острыми зубьями. В этой каменной коробке ничего не было — ни стола, ни скамьи, ни кровати; вместо всего этого в угол брошена была охапка соломы, на которой и сидел расколоучитель. По сырым стенам виднелась позеленевшая плесень, местами прохваченная морозом и заиндевевшая; оконце тоже промерзало так, что если б в него и солнце заглянуло, то оно не в силах было бы пробить своими лучами эту сплошную льдину, в которую превратилось стекло. На одной из стен каменной коробки, в переднем углу, виднелось подобие большого осьмиконечного креста и грубое изображение руки с двуперстным сложением: эти символы Аввакум выцарапал в каменной стене своими когтями, которые отросли у него, как у собаки.

Аввакум много, почти неузнаваемо, изменился с тех пор, как мы видели его у Морозовой, а потом у Ртищевых вместе с Симеоном Полоцким. Седые, длинные и курчавые волосы его были острижены, как у арестанта: это была уже не поповская, не иконная голова, а простая колодницкая. Но тем рельефнее теперь выступала ее угловатость и ширококостность; в этой ширококостности темени и затылка и в этой сдавленности и вогнутости лобной кости сказывалось железное упрямство мономана, фанатически преданного мрачному, суровому идеалу непоколебимой выносливости. Он был одет в дырявый нагольный тулуп, из-под которого виднелись ноги, обутые в лапти и пестрые онучи, перевитые мочалками. По временам он задумывался, клал палочку, заменявшую ему перо, на черепок и согревал дыханием закоче-

невшие от мороза пальцы. Но это, по-видимому, не помогало: по холодной тюрьме распространялся только пар от дыхания, но теплее не делалось.

— Господи! Дунь на руце мои дыханием Твоим! — страстно обращался он к кресту, выцарапанному им в стене.— Ты печь огненную охладил некогда в Вавилоне дуновением Твоим: согрей ныне дыханием Твоим божественным персты моя, да прославлю имя Твое многомилостиве!

И он снова нагибался и чертил палочкой по бумаге, разложенной на правом колене. А потом начал бормотать про себя вслух написанное:

«Анисьюшка! Чадо мое духовное! Аз есмь измождал от грех моих и от холоду в темнице моей и не могу о себе молитвы чисты со благоговеинством приносити. Ей! Не притворяяся говорю, чадо! Не молюся, а кричу ко Господу, скучу, что собачка-песик на морозе. Пальцы мои в льдины обращаются, все развалилося во мне, душа перемерзла моя, на сердце снег, на устах иней. Поддержи мою дряхлость ты, младая отроковица, стягни плетью духовною душу мою, любезная моя! Утверди малодушие мое, Богом избранная — вздохни и прослезися о мне!»

Он помолчал и снова стал дышать в застывшие ладони. По щекам его текли слезы...

— Дунь, Господи! Согрей меня! Вить солнце и огнь пекельный в Твоих руках! — опять закричал он страстно, глядя на крест.

Потом опять нагнулся к бумаге и стал читать: «Слушай-ка, Анисья! О племени своем не больно пекись: комуждо и без тебя промышленник Бог, и мне, мерзлой псице. Забудь, что ты боярышня, знатного роду; а умеешь ли ты молоть муку? Мели рожь в жерновах, да на сестер хлебы пеки или в пекарни шти вари, да сестрам и больным разноси. Да имей послушание к матери Мелании, не рассуждай о величестве сана своего, яко боярышня, богачка и сановница — отрицайся мысли сея и оплюй ее! Плюй на все, что не от Бога!..»

Он положил бумагу в сторону, поднялся с соломы и упал на колени...

— Вергни ко мне солнце сюда. Тебе все, все возможно! Дуни летом в темницу мою! — молился он.

За окошком тюрьмы послышался скрип саней, бубенчики и звяканье упряжи...

— Ох! Ужли это она! — вскочил он в волнении.— Она! Ее чепи гремят...

Сани проехали на монастырский двор. Аввакум встал и шагал из угла в угол по своей каменной коробке, то и дело поднимая глаза к выцарапанному в углу кресту.

Через несколько минут за дверью послышался шорох и скрип отмыкаемого ржавого замка. Аввакум лихорадочно прислушивался к этим звукам и крестился. Скоро дверь завизжала на петлях и тяжело раскрылась.

— Входите, матушка-благодетельница,— послышался голос за дверью.

— Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй нас! — зазвучал серебряный голосок, от которого Аввакум вздрогнул.

— Аминь! Аминь! Трикраты аминь! — крикнул он восторженно.

В дверях показалось белое, зарумянившееся от мороза личико. Оно выглядывало из-под черного платка, которым повязана была голова, и казалось личиком молоденькой чернички. Боярыня Морозова — это была она — робко, со страхом и с каким-то благоговением переступила через порог и, стремительно подвинувшись вперед, с тихим стоном упала ниц перед Аввакумом и, всплеснув руками, припала лицом к лаптям, прикрывавшим его ноги.

— Ох, свет мой! Ох, батюшка! Мученик Христов! — страстно лепетала она, обнимая онучи своего учителя.

А он, дрожа всем телом, силился приподнять ее, тоже бормоча бессвязно: «Встань — подымись, мой светик, дочушка моя! Дай взглянуть на тебя, благословить тебя, чадо мое богоданное! Сам Бог послал тебя... Вон я, смрадный пес, молился Ему, Свету, выл до него: «Вергни-де в темницу мою солнце, дуни на мя, окоченелого»,— и он послал ко мне солнушко теплое — тебя, светик мой! Встань же, прогляни, солнушко Божье!» И приподняв ее, он крестил ее лицо, глаза, голову, плечи, повторяя восторженно: «Буди благословенна — буди благословенно лицо твое, очи твои, глава твоя — буди вся благословенна и преблагословенна!» А она ловила его обе руки, целовала их, целовала его плечи, овчину, которой он был прикрыт, и страстно шептала: «Батюшка!

батюшка! святой, не чаяла я тебя видеть! Касатик мой!»

За Морозовой, медленно, осторожно переступая через порог, как бы ощупывая ногами землю и пытливо высматривая из-под черного клобука, надвинутого до бровей, маленькими рысьими глазками, вошла в келью старая монашенка с большим узлом на левой руке. Она, гремя четками, сделала несколько широких крестов в угол и, низко поклонившись Аввакуму, коснувшись двумя пальцами земли, протянула руку под благословение. Аввакум перекрестил ее, положил свою горсть на ее горсть, как бы вкладывая в эту горсть нечто очень ценное, а монашенка поцеловала его руку.

— Здравствуй, матушка Меланья! Здравствуй, звезда незаходимая благочестия! — все так же восторженно проговорил Аввакум.

Старица Меланья — эта «звезда незаходимая благочестия» — была действительно самым крупным светилом своего века и своего общества: умная, энергическая, с необыкновенным запасом воли и самообладания, неутомимая в преследовании своих идеалов, но в то же время осторожная, замкнутая в себе, когда того требовали обстоятельства, сильная словом, когда она, так сказать, обнажала свой язык, острый, как бритва, и ядовитый, как зубы медянки, смелая и решительная, когда требовался натиск, чтобы сломить препятствия, знавшая все, что делалось в Москве, проникавшая всюду, как воздух, и, как воздух, неуловимая,— старица Мелания была всесильным и невидимым центром «древляго благочестия»: это был воевода в юбке, воевода невидимых ратей, которые, однако, держали в руках, хотя тайно, всю Москву и далекие окраины. Старица Мелания была сильнее Никона, которому у нее следовало поучиться борьбе с сильными противниками и умению побеждать и держать их в повиновении. Она была могущественнее самого Алексея Михайловича, который, сломив Никона, не мог сломить старого дерева — «древляго благочестия», главою которого и игемоном была матушка Мелания. Все тайные приверженцы старины — а такими почти поголовно были все московские люди, начиная от стоявших у престола и кончая стоявшими у корыта монастырской пекарни, все московские женщины, начиная от царицы Марьи Ильиничны и ее ближних боярынь и боярышень и кончая молоденькими черничо

ками,— все находились в негласном «послушании» у матушки Мелании, были ее слепыми орудиями, которые «свою грешную волю вконец отсекли, как червивый хвост у собаки». Строгая, фанатичная до изуверства, руководившая всеми, помыкавшая даже такими личностями, как Аввакум, она, однако, не пошла бы с ними проповедовать на площадь, а, как полководец, посылала их в огонь, на виселицы, на костры, а сама оставалась в стороне. И они же, эти безумцы, умирая в страшных мучениях, благословляли матушку Меланию; они же просили палачей или кого-либо из присутствовавших при истязании их и при казни так или иначе довести до сведения «матушки», что они умерли твердо, мученически, не поступившись ни одним перстом, ни одною «аллилуиею», ни священным азом.

Матушка Мелания была уже очень стара; но живучесть и энергия светились, как фосфор, в ее рысьих глазках, которые ни на кого прямо не смотрели, хотя видели каждого насквозь, будучи, по-видимому, обращены молитвенно горе или сокрушенно долу. Лба ее также никто не видал за клобуком, а брови смотрели каким-то навесом над глазами, под которыми эти последние прятались от постороннего взора, как воробьи под крышей от дождя.

После первых приветствий Аввакум усадил своих гостей на соломе, а сам опустился против них на колени. Морозова с ужасом и дрожью осматривала страшное помещение. Матушка же Мелания одобрительно оглядывала промерзшие стены, шепча как бы про себя: «Радуюсь, радуюсь за Аввакумушку — экой благодати сподобился, счастливчик».

— Ну, что у вас в городе слышно, миленькие? — спросил Аввакум.

— Патриархи вселенские приехали, ноне Никона судят,— сказала Морозова.

— Греческие волки приехали нашего медведя судить,— пояснила матушка Мелания.

— Добро! А как они сами, судьи-то, крестются? — спросил Аввакум.

— Щепотью, сама видела,— отвечала матушка Мелания.

— Еретики! Звери пестрообразные! — Аввакум так и вскочил.

— А у царицы государыни сказывали,— робко на-

чала Морозова,— что и тебя, света, патриархи судить будут.

— Добро! Я их научу креститься! — восторженно произнес фанатик, сверкая глазами.— Для того и с Мезени меня привезли сюда — травить греческими собаками. Мало того, что бороду у меня отрезали и власы остригли, как у непотребной девки... вон всего оборвали, что собаки,— один хохол оставили, как у поляка, на лбу... Да добро! Мне же на руку: меня возят по градам и селам, а я кричу везде, обличаю их, пестрообразных зверей, а люди Божии слушают меня да поучаются, да плачут... Еще не то будет, когда удавить меня повелят, либо сжечи тело мое похотят: крикну я тогда на весь свет, и голос мой до трубы архангела не умолкнет. Я что! — земля, грязь; пущай их тело мое жгут, жилы вытягивают — больненько-таки, да за то венец мученический получу, а деткам своим православным крикну: «Смотрите-де, детушки, вон с каким крестом до Бога иду! И вы-де за мной, не ленитесь!» Что ж! Они думают меня морозом напужать — вон в какую баньку посадили, мало не скостенел: а как взвыл к Батюшке Свету: «Дунь на меня теплом — пошли солнышко»,— Он, Милосердый, и послал, да не одно, а два солнышка — это вас-то, миленькие мои... И тепло мне стало, ох, как тепло!

Фанатик действительно разгорелся внутренним огнем и забыл холод, от которого он за несколько минут перед этим буквально костенел.

— А мы тебе, Аввакумушко, и в самом деле тепленького привезли,— сказала мать Мелания, указывая на узел,— государыня царица, да вот дочушка твоя духовная, Федосеюшка (она указала на Морозову) наготовили тебе приданого, что невесте: и сапожки тепленьки, и чулочки, рукавички с варежками из козья пуху, да шубеечку лисью мяконьку.

— Спасибо матушке царице — добра она, миленькая, добра, что ангел Божий! Да и тебе исполать, дочушка моя! — кланялся он Морозовой.— А я на собор хочу вот так пойти, да и ко Господу в светлу горенку постучусь в сем же одеянии: Он, Батюшка Свет, и нищих примет.

Морозова благоговейно смотрела на него. Влияние этого человека окончательно преобразило ее: она стала вся — самоотвержение. Богатый дом свой она обратила в общественную богадельню: странники, нищие, юроди-

вые, больные не выходили из ее дома. Она ухаживала за больными и гнойными, сама своими нежными руками обмывала их ужасные язвы, сама кормила их. Нежное, пухлое боярское тело она облекла власяницею, до того колючею, что тело ее горело и болело, как от огня.

— Нету, Аввакумушко, еще раненько тебе ко Господу идти,— заметила мать Мелания,— поживи еще с детками своими, поучи их да порадуйся ими. Вон и Федосеюшка наша надела на себя брачные одежды.— Она взглянула на Морозову.

Молодая боярыня вспыхнула.

— Что ты говоришь, матушка? — удивленно спросил Аввакум.

— Говорю: Федосеюшка-боярыня к венцу нарядилась,— повторила старуха.

Аввакум оглянул Морозову, которая сидела вся пунцовая, готовая расплакаться от стыда.

— Что ты, матушка! — защищалась она.— К чему это?

— К тому, что твой батюшка духовный все должен знать... Федосеюшка-боярыня власяницу надела,— обратилась старуха к Аввакуму,— да думает и ангельский образ прияти.

Глаза Аввакума засветились радостью. «Слава Тебе Господи, Создателю наш! — говорил он восторженно.— Не одна Анисьюшка боярышня на боярство свое наплевала, к нищей братии пристала и ангельскому чину приобщилась... Что боярство перед ангелы! А вот и дочушка моя Федосеюшка туда же возревновала, золотая моя! Иди, иди ко ангелам — благо ти будет в том веце... А я Анисье тут многонько-таки настрочил: снеси ей, матушка,— пускай не забывает меня».

И Аввакум, достав из-под соломы исписанный листок, подал его матери Мелании.

Дверь кельи неожиданно отворилась, и на пороге показалась рослая фигура мужчины в собольей шубе и высокой шапке. Открытое лицо с русой бородой и серыми глазами смотрело приветливо. При виде его и молодая боярыня, и старая черница встали с своих соломенных сидений.

— Здравствуй, Аввакум! — сказал вошедший.— Здравствуй, матушка боярыня Федосья Прокопьевна! Здравствуй, мать Меланья!

Все отвечали поклонами на приветствие пришедшего, который был не кто иной, как Артамон Серге-

евич Матвеев, входивший в то время в силу и известный своим пристрастием ко всему новому и иноземному [33].

— Я к тебе от великого государя,— обратился Матвеев к Аввакуму.— Великий государь указал сказать тебе, Аввакуму, что ноне у нас на Москве вселенские патриархи: святители-де прибыли к нам ради Никонова неистовства и установления церкви — и ты бы, де, Аввакум, соединился с святителями во всем.

— Не соединюсь я с ними ни в чем! — резко отвечал фанатик.— Ни в перстном сложении, ни в азе. Умру, а не соединюсь с отступниками.

— Да какие же они отступники? В чем и от кого отступились? — спросил Матвеев.

— Ах, Артемон, Артемон! — по обыкновению страстно заговорил фанатик.— Знаю я, тебе все равно, как ни молись: ты и в костел пойдешь, и крыж ляцкой поцелуешь...

— Для чего его не поцеловать? Не его целую, а Христа.

— Добро! Тебе все одно — что святая Библия, что твой «Василиологион», что Евангелие, что «Мусы» еллинские. Ишь, напечатал на соблазн людям! А люди оттого гибнут: вон сколько уж замучили наших-то! Али так ко Христу приводят, как вы приводите — кнутом, да виселицей, да огнем! Чудно мне! Как в познание не хотят прийти: огнем, да кнутом, да виселицей веру утвердить хотят! Где это видано? Токмо у язычников. А апостолы разве так учили? Мой Христос не приказал апостолам так учить, еже бы огнем, да кнутом, да виселицею в веру приводить. Господь сказал ученикам: «Шедше проповедите языком — иже веру иметь и креститься, спасен будет». Видишь! Волею зовет Христос, а не приказал огнем жечь да на виселице вешать. Чудно, право! Ослепли, что ли, все, что ничего не видят? Эки Диоклетианы новые явились [34], словно мы в Риме при Нероне живем, либо в Персиде. Да что много говорить! Значит, так надо у Господа: аще бы не были борцы, не бы даны были венцы. Ну, давайте нам венцы, венчайте нас. Кому охота венчаться мученическим венцом, не почто ходить далеко, в Персиду либо в Рим, к Неронам да Диоклетианам: у нас и дома, на Сретенке, свой Рим, свой Вавилон. А! Ну-тко, правоверные! Стань на Красной площади, либо в Кремле, нарцы имя Христово,

подыми руку да перекрестися знамением Спасителя нашего двумя персты, яко же прияхом от святых отец — вот тебе и мученический венец, царство небесное дома родилось — не почто за ним ходить в Персиду к Диоклетиану мучителю. Ишь умники! Ученыеста! Христу палачей в ученики дали, да приставов немилостивых, да стрельцов: учите-де кнутом да тюрьмой! Эх, не глядел бы! Так уж вы и евангелие перемените, благо крест переменили: «иже-де веру имать и креститься щепотью — спасен будет, а не крестится никонианскою щепотью — ино того засеку, повешу, изжарю»... Так бы следовало Христу сказать. Эх! А я вот неучен человек, гораздо несмыслен, да то знаю, что все, что церкви от святых отец предано есть, свято есть и неприкосновенно: не тронь и аза, а тронешь аз, за ним и все трогать станут, на то люди — люди. И вот я, яко же прияx, держу до смерти и аз удержу, хоть меня повесьте. До нас оно положено, так и лежи оно так вечно, во веки веков! А то на, переучивать кнутом стали, эки апостолы! А люди погибают, а кровь неповинная льется, а церкви пустуют, христиане прячутся по вертепам да по пропастем земным, как в оно время, при мучителях римских... Эко времечко, Господи Боже!

Аввакум даже всплеснул руками. Морозова стояла бледная, не спуская глаз с своего учителя и с ужасом иногда взглядывая на Матвеева. Мать Мелания, с потупленными глазами и с наклоненной головой, казалось, застыла от страху. И Матвеев стоял изумленный, будучи не в силах остановить страстной речи фанатика.

— Так что же мне доложить великому государю? — удалось ему, наконец, вставить свое слово.— Соединишься с вселенскими патриархами?

— Не соединюсь вовеки! — отвечал изувер.— Доложи великому государю, что мы сами за него, батюшку, умолим Господа, и за него, света, и за царицу, и за его царство. А им, грекам, какое до нас и до него дело? Своего царя проторговали туркам[35] и нашего проглотить сюды приволоклися? Так и доложи великому государю: я, протопоп Аввакум, не сведу с высоты небесные рук, дондеже Бог не отдаст нам нашего царя, благочестивейшего и тишайшего Алексея Михайловича всея Руси.

— Напрасно упрямствуешь,— сказал Матвеев.

Аввакум вспылил.

— Упрямствую и буду упрямствовать! Слышишь,

я хочу венца, я соскучился об венце! Вот уж сколько лет ищу его, а вы мне не даете, дайте скорей! Рубите голову, надевайте на нее венец нетленный, а греховное и мерзкое туловище долой! Будет, потаскал я его: хочу один венец носить без туловища... А вы оставайтесь с туловищами да в шапках из звериной шкуры... Так и доложи, ни слова не выкидай, ни аза!

Матвеев безнадежно махнул рукой и вышел, бормоча: «Пустосвяты!»

XIII. «ГЛАЗА АНГЕЛА»

Через день было второе заседание вселенского собора.

Никон вошел в столовую избу медленно, едва передвигая ноги и тяжело опираясь на посох. Он казался угнетенным, подавленным. За день голова его посеребрилась еще более, и ему, видимо, тяжело было держать ее на плечах.

Когда он кланялся царю и патриархам, то с трудом поднимался от полу.

Царь снова встал с своего места и остановился против патриархов. Он был бледен.

— Святая и пречестная двоице! Вселенстии патриарси! — начал он дрожащим голосом.— Бранясь с митрополитом газским, писал Никон в грамоте константинопольскому патриарху, якобы все православное христианство от восточной церкви отложилось к западному костелу, и то он писал ложно: святая соборная восточная церковь имеет Спасителя нашего Бога многоцелебную ризу и многих святых московских чудотворцев мощи, и никакого отлучения не бывало: держим и веруем по преданию святых апостолов и святых отец истинно.

Он остановился и оглянул весь собор. Затем, возвыся голос, с особенной силой выкрикнул:

— Бьем челом, чтоб патриархи от такого поношения православных христиан очистили!

И царь поклонился до земли. Буря пронеслась по собору, застонала столовая изба. Все упали ниц со стоном: «Смилуйтесь! Очистите, святейшие патриархи! Снимите позор со всей российской православной земли!»

Сотни голов лежали на земле и молились, как в церкви, громко, со стоном, с криком. Это бы-

ла потрясающая картина, и Никон не выдержал, зашатался: это все стонало против него, искало его погибели.

И в этот самый момент капризная память его словно волшебством нарисовала перед ним другую картину. На полу, при слабом освещении лампады, бьется молодая женщина, хватая и целуя его ноги. Она умоляет его остаться с ней, не бросать ее, не уходить в неведомый путь, где ждет его неведомая доля. А он не внемлет мольбам и рыданиям женщины: его манит этот неведомый путь, эта неведомая доля, и он уходит, оставив на полу плачущую женщину. Это была его жена... Теперь он изведал эту неведомую долю: высоко, ох, как высоко она поставила его и вон до чего довела... А не лучше ли бы было в той, прежней, скромной доле?.. Да уж теперь не воротить ее: между той долей и этой стоят тридцать лет и три года...

— Это дело великое,— громко произнес чей-то голос, и Никон очнулся: это говорил Макарий, патриарх антиохийский.— Это дело великое; за него надобно стоять крепко. Когда Никон всех православных христиан еретиками назвал, то он и нас также назвал еретиками, будто мы пришли еретиков рассуждать... А мы в Московском государстве видим православных христиан. Мы станем за это Никона патриарха судить и православных христиан оборонять по правилам.

Алексей Михайлович взглянул на дьяка Алмаза, и тот на цыпочках преподнес царю какие-то бумаги.

— Вот три письма,— сказал царь,— в них Никон сам отрекся от патриаршества, называет себя бывшим патриархом.

Патриархи взяли письмо. Никон молчал, не поднимая головы.

— В законах написано,— громко произнес Макарий,— кто уличится во лжи трижды, тому впредь верить ни в чем не должно. Никон патриарх объявился во многих лжах, и ему ни в чем верить не подобает. Кто кого оклеветал, подвергается той же казни, какая присуждена обвиненному им неправедно. Кто на кого возведет еретичество и не докажет, тот достоин: священник низвержения, а мирской человек проклятия.

А Никон все молчал. Перед ним все валялась отвергнутая им женщина, ломая руки: «Микитушка! Лучше ли тебе будет там, без меня? Найдешь ли там свое

счастье и спасенье?» «Ох, нашел, нашел больше, чем искал, нашел целое царство и потерял его, а теперь не найду и того, что было тогда, давно...»

Царь тихо подошел к Макарию антиохийскому и подал развернутый лист и другой — перевод его на греческий язык.

— Письмо Никона о постановлении нового патриарха на его место,— сказал он, кланяясь.

Макарий взглянул на лист — он раньше читал его и хорошо помнил — и передал Паисию александрийскому. Тот взял, поднял свои мертвые, синеватые веки на лист, потом на Никона и снова опустил глаза.

Никон стоял по-прежнему безмолвно, ни на кого не глядя, и тихо качал головой, как бы отрицая все, что вокруг него происходило, или как бы созерцая никому невидимые образы.

— Когда Теймураз-царевич был у царского стола,— снова начал неугомонный Макарий,— то Никон прислал человека своего, чтоб смуту учинить. А в законах написано: а кто между царем учинит смуту, и тот достоин смерти.

— Смерти,— глухо раздалось по собору.

А Никон все качал головою, как бы ничего не слыша, да он и не слышал: он был не здесь, его смущенная мысль бродила в прошлом, среди дорогих видений молодости.

— А кто Никонова человека ударил, и того Бог простит, потому что подобает так быть.

Это все говорил Макарий. При последних словах он повел своими восточными, молочно-синеватыми белками по собору и остановил их на полном лице Хитрово. Хитрово вспыхнул. Макарий встал и осенил его крестом, а потом снова перенес свои белки на царя, стоявшего рядом с Никоном в положении подсудимого.

— Архиепископа сербского Гавриила били Никоновы крестьяне в селе Пушкине, и Никон обороны не дал [36],— продолжал свое обвинение Макарий.— Да он же, Никон, в соборной церкви, в алтаре, во время литургии, с некоторого архиерея снял шапку и бранил всячески за то, что не так кадило держал. Да он же, Никон, на ердань ходил в навечерии Богоявления, а не в самый праздник, и то ему, Никону, вина!

Никон не слушал падавших на его голову обвинений. Он прислушивался к чему-то другому... «Микитушка! Ох! Суженый мой, не покидай меня, младе-

шеньку, горькою вдовицей... Микитушка! Вспомни, как спознались мы с тобой, вспомни совыканье наше, как ты резвы ноженьки мои целовал... не покидай меня, сокол ясный, у нас еще будут детушки...» И белокурая голова колотится об пол, хрустят тонкие пальцы на ломаемых руках... «Будут дети...» А ему мало этих детей, ему нужны миллионы детей, и бояр, и князей, и царей, чтобы все были его детьми... И они были, всею Русью верховодил он... И вдруг сорвалось.

Он зашатался и упал бы, если б не поддержал его оторопевший царь вместе с крестоносителем.

— Ох, Господи! Помилуй нас!

— Божий суд... Господь дунул на него гневом своим,— пронесся ропот по собору.

Бледного, шатающегося Никона вывели... Собор был прерван.

По Москве пошли зловещие слухи. Говорили, что во время собора, в трескучий морозный день, слышен был гром с небеси, и земля зашаталась. Бояре видели, как Господь Бог дунул на Никона, и Никон упал замертво. Разгневанный Господь продолжал дуть на Москву, и оттого стал такой мороз, какого не бывало, как и Русь стоит: птицы не могли летать по аеру, падали и замерзали: с колокольни Ивана Великого метлами сметали замерзших воробьев, голубей и галок; из лесу в Москву забегали волки и забирались от морозу в сени, в дома, в церковные сторожки. На небе стояло три багровых солнца, и ни одно не грело от холодного дуновения Божия, задул Господь теплоту их. Москва-река треснула поперек, и в трещину из-подо льда выплывала мертвая, убитая морозом рыба. Когда люди выходили из Успенского собора, то видели, как на паперти стоял босиком юродивый и плакал, и слезы тотчас же замерзали и падали на помост, стуча как горох либо крупный жемчуг. Все это не к добру, все это за грехи... Стрелецкому сотнику, что с прочими стрельцами поставлен у Никитских ворот к помещению Никона, упал на шапку мертвый белый волохатый голубь... Говорили, что и Никон, после того как на него божьим гневом дунуло, лежит при смерти, без языка...

Но слухи были неверны, как в том скоро и убедились бояре и архиереи: не отнялся еще язык у Никона, не задуло гневом божьим его мощного духа: он прислал к царю сказать, что готов вновь стать с ним

рядом на суд не только патриархов, но и самого Всемогущего Бога, у которого в руках тысячи лет яко день един, а престолы и царства, яко прах и паутина.

Царь опять созвал собор. По собору мгновенно прошел гул и ропот: бояре и архиереи шепотом передавали друг другу, что «чадушко»-то еще «неистовее» стал, так и рвет и мечет.

Действительно, патриарх явился на собор еще более заряженным. «Так от него и пышет полымя»,— рассказывали стрельцы, стоявшие у него у ворот на карауле. Проходя мимо стрелецкого сотника, того, что был напуган падением на шапку мертвого голубя, он так на него глянул, что сотник, и без того ожидавший худа, задрожал и упал ниц перед крестом, головою о мерзлую землю, а стрельцы со страху шептали — кто: «свят-свят», а кто: «чур-чур меня! Сгинь, исчезни!»

И царь, видимо, с тревогой ожидал последнего отчаянного боя. Он обводил смущенным взором то правые, то левые скамьи собрания, то останавливал его на патриархах, и особенно на Паисии. «Мертвец мертвецом»,— думали, казалось, выразительные глаза царя: «мощи сущие, а судия вселенной». Когда по звяканью на дворе прикладов стрелецких ружей и сабель можно было догадаться, что ведут Никона, царь тревожно обратился к патриархам:

— Никон приехал в Москву,— торопливо заговорил он,— и на меня налагает судьбы Божии за то, что собор приговорил и велел ему в Москву приехать не с большими людьми. Когда он ехал в Москву, то по моему указу у него взят малый, Ивашка Шушера, за то, что он в девятилетнее время к Никону носил всякие вести и чинил многую ссору. Никон за этого малого меня поносит и бесчестит; говорит: царь-де и меня мучит, велел-де отнять малого из-под креста... Если Никон на соборе станет об этом говорить, то вы, святейшие патриархи, ведайте; да и про то ведайте, что Никон перед поездкою ныне в Москву исповедовался, приобщался и маслом освящался.

«Патриархи подивились гораздо»,— говорит об этом Алмаз Иванов, который вел протокол соборный; но в этот момент за дверью послышался шум и гневный голос Никона.

— А ты крест-от неси высоко, чинно, истово! Это тебе не лопата! — кричал он на ставрофора, которым был не любимец его Иванушка Шушера, сидевший под

караулом, за приставы, а новый, приставленный царскими слугами соглядатай.— На нем Христа распяли и меня ищут распяти!

Многие вздрогнули от этого голоса... «Неистов, буен, аки меск»,— шептались на скамьях.

Никон вступил в столовую избу шумно, высоко подняв голову и шибко стуча посохом, словно старшина на сходке перед заартачившимися мужиками. Он не глянул, а сыпанул искрами по собору, не поклонился, а метнул поклоны, не крякнул, а рыкнул, встряхнув гривою по-львиному. Все ждали бури.

Паисий медленно приподнял свои мертвые веки, и губы его зажевали беззвучно. Макарий повел по собору огромными белками, как бы успокаивая робких.

— Никон! — послышался тихий, дрожащий голос Паисия.— Ты отрекся от патриарша престола с клятвою и ушел без законной причины.

Голова и руки говорившего дрожали. Никон посмотрел на него, как смотрят на маленького ребенка.

— Я не отрекался с клятвою,— сказал он отрывисто,— я засвидетельствовался небом и землею и ушел от государева гнева... И теперь иду, куда великий государь изволит, благое по нужде не будет.

— Многие слышали, как ты отрекся от патриаршества с клятвою,— настаивал Паисий, между тем как Макарий молчал, уставившись своими большими глазами на подсудимого.

— Это на меня затеяли,— отрицал подсудимый.— А коли я не годен, то куда царское величество изволит, туда и пойду.

— Кто тебе велел писаться патриархом Нового Иерусалима? — ввязался Макарий.

— Не писывал и не говаривал! — обрезал Никон, метнув в полуоборот глазами на вопрошавшего.

Сидевший недалеко один архиерей заторопился, покраснел и зашуршал бумагой, вынимая ее из-под мантии.

— Вот тут написано, твоя рука,— робко заговорил архиерей, поднося Никону бумагу.

— Моя рука? Разве описался,— несколько смущенно отвечал последний.

Но тут же, чувствуя себя как бы пойманным несколько, уличенным, он заупрямился еще более и, стукнув посохом, полуоборотился к царю.

— Слышал я от греков, что на александрийском и антиохийском престолах иные патриархи сидят,—

сказал он раздраженно,— чтоб государь приказал свидетельствовать, пусть патриархи положат Евангелие.

Восточные глаза Макария метнули искры, и он выпрямился на месте.

— Мы патриархи истинные, не изверженные и не отрекались от престолов своих! — сказал он резко.— Разве турки без нас что сделали... Но если кто дерзнул на наши престолы беззаконно, по принуждению султана, тот не патриарх, прелюбодей! А святому Евангелию быть не для чего, архиереям не подобает Евангелием клятися.

И Никон вспылил, подзадоренный словами Макария и в особенности его невыносимыми глазами.

— От сего часа свидетельствуюсь Богом, что не буду перед патриархами говорить, пока константинопольский и Иерусалимский сюда не будут! — закричал он, отступая назад.

— Как ты не боишься суда Божия! — невольно воскликнул тот архиерей, что сейчас уличил его подписью, это был Илларион рязанский[37].— И вселенских-то патриархов бесчестишь!

Заволновался и весь собор. Лица казались возбужденнее, гневные взгляды и возгласы учащались. Поднялся Макарий и окинул весь собор блестящим взором.

— Скажите правду про отрицание Никоново с клятвой! — воскликнул он.

— Никон клялся, говорил: коли-де буду патриарх, то анафема-де буду! Клялся истинно! — закричало несколько голосов.

Но упрямец все еще не корился: он, по-видимому, вызывал всех на бой.

— Я назад не поворачиваюсь и не говорю, что мне быть на престоле патриаршеском,— настаивал он,— а кто по мне будет патриарх, тот будет анафема! Так я и писал к государю, что без моего совета не поставлять другого патриарха. Я теперь о престоле ничего не говорю, как изволит великий государь и вселенские патриархи.

А великий государь все стоял неподвижно. Лицо его поминутно то вспыхивало, то бледнело, отражая на себе и в глазах все перипетии борьбы, которая велась на его глазах и в которой принимало участие все его существо, вся душа, взволнованная и потрясенная. Он чувствовал, что бой на исходе, но тем больше

сжималось его сердце, в предчувствии, что последует что-то недоброе, слишком тягостное... Но надо стоять до конца на этой угнетающей душу вселенской литургии, на которой отпевалась его сокрушенная обстоятельствами горькая дружба с его некогда «собинным» другом.

Да, исход борьбы... Патриархи велят читать правила поместных соборов.

— «Кто покинет престол волею, без наветов,— возглашал Илларион рязанский,— тому впредь не быть на престоле».

— Эти правила не апостольские! — прерывает его Никон; он неутомим в борьбе.— Эти правила и не вселенских соборов, и не поместных; я этих правил не принимаю и не внимаю!

— Эти правила приняла церковь,— возражают ему.

— Их в российской кормчей нет! — кричит Никон.— А греческие правила не прямые, их патриархи от себя написали, и печатали их еретики...[38] А я не отрекался от престола, это на меня затеяли!

— Наши греческие правила прямые! — не выдержали оба патриарха.

— Когда он отрекался с клятвою от патриарша престола, то мы его молили, чтоб не покидал престола,— вмешался еще один архиерей, тверской,— но он говорил, что раз отрекся и больше не будет патриархом, а коли-де ворочусь, то буду анафема.

— Неправда! Затея!

— Никон говорил, что обещал быть на патриаршестве только три года,— возвысил голос Родион Стрешнев, вставая и встряхивая молодецки русыми кудрями.

— Затея! Ложь!

— Не затея.

— Затея!.. Я не возвращаюсь на престол... Волен великий государь.

— Никон писал великому государю, что ему не подобает возвратиться на престол, яко псу на свои блевотины! — долбанул тщедушный дьяк Алмаз своим здоровым голосом, подымаясь над кипами бумаг и харатейных свитков.

— Затею говорит дьяк! — огрызнулся подсудимый в сторону Алмаза Иванова.— Не токма меня, и Златоуста изгнали неправедно[39].

— Эко-ста Златоуст! — послышалось среди бояр.— Не Златоуст, а буеуст!

Никона это окончательно взорвало. Он, казалось, позеленел.

— Ты, царское величество,— грубо обратился он влево,— ты девять лет вразумлял и учил предстоящих тебе в сем сонмище, а они все-таки не умеют ничего сказать. Вели им лучше бросить на меня камни, это они сумеют! А учить их будешь хоть еще девять лет, ничего от них не добьешься!.. Когда на Москве учинился бунт, то и ты, царское величество, сам неправду свидетельствовал, а я, испугавшись, пошел от твоего гнева.

Эти речи и тишайшего взорвали. Он вспыхнул.

— Непристойные речи, бесчестя меня, говоришь! На меня бунтом никто не прихаживал, а что приходили земские люди, и то не на меня, приходили бить челом мне об обидах.

Голос царя сорвался. Собор превратился в бурю, когда Алексей Михайлович, тяжело дыша, как бы просил защиты у собора. Со всех сторон заревели голоса и застучали посохи.

— Как ты не боишься Бога! Непристойные речи говоришь и великого государя бесчестишь!

— В сруб его, злодея!

— Медвежиной обшить его да псами затравить!

— Вот я его, долгогривого!

Макарий повел по взволнованному собранию своими огромными белками, и крики смолкли.

— Для чего ты клобук черный с херувимами носишь и две панагии? — спросил он подсудимого.

— Ношу черный клобук по примеру греческих патриархов... Херувимов ношу по примеру московских патриархов, которые носили их на белом клобуке... С одною панагиею с патриаршества сшел, а другая — крест, в помощь себе ношу.

Он говорил задыхаясь. Он чувствовал, что для него все кончается, почва уходит из-под ног и потолок и небо рушатся на него. Архиереи что-то разом говорили, но он их не слушал, а махал головою, как бы отмахиваясь от мух.

— Знаешь ли ты, что александрийский патриарх есть судия вселенной? — снова обратился к нему Макарий.

— Там себе и суди! — с досадой, небрежно отвечал подсудимый: ему, по-видимому, все надоело, он устал... скорей бы лишь все кончилось.— В Александ-

рии и Антиохии ныне нет патриархов: Александрийский живет в Египте, антиохийский в Дамаске.

— А когда благословили вселенские патриархи Иова, митрополита московского, на патриаршество, в то время где они жили?

— Я в то время не велик был,— неохотно отвечал подсудимый.

— Слушай правила святые.

— Греческие правила не прямые, печатали их еретики!

— Хотя я и судия вселенной, но буду судить по Номоканону... Подайте Номоканон![40] — неожиданно сказал Паисий, но так громко, что все посмотрели на него с удивлением.

Макарий взял со стола книгу и высоко поднял ее над головою, как в церкви..

— Вот греческий Номоканон.

Потом, поцеловав ее, передал Паисию, который также поцеловал ее и обратился к собору с вопросом:

— Принимаете ли вы эту книгу яко праведную и нелестную?

— Принимаем! Принимаем! — раздались голоса.

— Приложи руку, что наш Номоканон еретический, и скажи именно, какие в нем ереси? — настаивал Макарий.

— Не хочу!

— Подайте российский Номоканон! — продолжал Макарий своим сильным, звучным голосом.

Алмаз Иванов, торопливо шагая, принес требуемую книгу.

— Он неисправно издан при патриархе Иосифе! — огрызнулся Никон, жестом отстраняя книгу.

— Скажи, сколько епископов судят епископа и сколько патриарха? — добивал его Макарий.

— Епископа судят двенадцать епископов, а патриарха вся вселенная!

— Ты один Павла епископа изверг не по правилам.

Тут вступился царь, желая скорее кончить этот томительный спор.

— Веришь ли ты всем вселенским патриархам? — спросил он кротко.— Они подписались своими руками, что антиохийский и александрийский пришли по их согласию в Москву.

Никон сурово посмотрел на бумагу, поданную ему царем, заглянул на подписи.

— Рук их не знаю,— пробурчал он.

— Истинные то руки патриаршеские! — окатил его Макарий своим поглядом, которого Никон не мог выносить.

— Широк ты здесь! — зарычал он.— Как-то ты ответ дашь пред константинопольским патриархом! Широк-ста!

Опять сорвались голоса со всех сторон: «Как ты Бога не боишься!.. Великого государя бесчестишь, а вселенских патриархов и всю истину во лжу ставишь!.. Повесить тебя мало!»

Развязка близилась.

— Возьмите от него крест! — обратился Макарий к архиереям.

Никон бросился было за крестом, который всегда перед ним носили, схватив за руку ставрофора; но в это время порывисто встало несколько бояр с видом угрозы, и крест очутился в руках Иллариона рязанского. У Никона опустились руки. Снова выступил Макарий:

— Писано бо есть: по нужде и диавол исповедует истину, а Никон истины не исповедует.

— Аминь! Аминь! — послышалось в рядах.

Никон стоял, опустив голову. Голова эта тряслась. Для него все кончилось.

— Чего достоин Никон? — раздался среди наставшей тишины голос Паисия.

— Да будет отлучен и лишен священнодействия,— отвечали в один голос греческие архиереи.

— Чего достоин Никон? — повторили вопрос русским архиереям.

— Да будет отлучен и лишен священнодействия,— отвечали и русские.

Встали оба патриарха. Встал и весь собор. Настала тишина, слышно было только, как за окнами воркивали голуби. Потухшие глаза Паисия блеснули и упали на Никона.

— Отселе, Никон, не будеши патриарх, и священная да не действуеши, но будеши яко простой монах,— возгласил он громко, отчетливо.

— Аминь! — загудело по собору.

. . . .

Через несколько минут Никон, в сопровождении нескольких монахов Воскресенского монастыря, проходил соборной площадью, направляясь к Архангель-

скому подворью. Сзади шел взвод стрельцов. На отлученном патриархе все еще было патриаршее одеяние, но впереди уже не было ставрофора с крестом. Никон ступал медленно, тяжело опираясь на посох и опустив голову. Казалось, что в несколько часов он одряхлел и осунулся. Голова продолжала трястись: в этой трясучей голове, казалось, постоянно гвоздила мозг неотвязчивая, как муха, мысль: «Нет, нет, не патриарх!..»

Толпившийся на площади народ стал было подходить к нему под благословение; но Никоновы монахи знаками показывали, чтобы не подходили, а сам он подтверждал то же страшной головою, которая продолжала, казалось, говорить: «Нет, нет, нет!..»

В ближайшей группе послышался слабый стон: то плакала какая-то женщина. Никон взглянул в ту сторону, и его глаза встретились с плачущими глазами женщины. Глаза эти, большие и серые, с поволокой от слез, отененные монашеским клобуком, смотрели на Никона с молитвенной любовью и благоговением, смотрели с такой нежностью и скорбью, что Никон затрепетал: склонный верить в чудесное и непостижимое, посещенный неоднократно в сониях, как ему верилось, видениями и знамениями, он принял и эти глаза за видение... Это были глаза ангела, представшего ему в образе своего же чина, ангельского, мнишеского и посланного ему милосердным небом в подкрепление и утешение. Но где он прежде видел эти глаза? А он их видел, это несомненно; он их знает давно... В моменты величайшего торжества его жизни, во время торжественных служений в Архангельском и Успенском соборах, на больших царских выходах, во время крестных ходов, во время иорданского водосвятия, наконец, в неделю ваий, когда он, бывало, сопровождаемый всей Москвою, шествовал на жребяти осле, ведомом царскою рукою, эти глаза,— он помнит это,— постоянно смотрели на него из толпы, и если даже он не видел их, не смотрел в ту сторону, то все-таки невольно чувствовал, что эти глаза смотрели на него, следили за ним. Чьи это были глаза, он не знал и не мог узнать, потому что они так же неожиданно исчезали в толпе, как неожиданно и появлялись среди тысяч других глаз и голов, обращенных к нему... Он и тогда, в годы своего могущества и славы, думал, что это

глаза его ангела-хранителя, и подчас трепетал их и любил в то же время... Потом он долго, очень долго не видал этих глаз: лет девять они ему не показывались, с того самого момента, как он сошел с патриаршества и удалился в Воскресенский монастырь. И он думал уже, что ангел-хранитель покинул его, отошел, и он все ждал, что вот-вот как его опять призовут всей Москвою на патриарший престол, умолять его слезами и коленопреклонением, когда и царь всенародно покается пред ним в обиде и огорчении, эти глаза опять явятся ему... И вдруг они явились теперь! Они явились в момент самого глубокого его унижения, в момент позорного извержения его из сонма святителей церкви, они явились ему, поруганному и оплеванному, ему, выведенному из претории Пилата на всенародное позорище!.. Они явились подкрепить его... Он снова глянул туда, где явились плачущие глаза ангела; но плачущих глаз уже не было там: он увидел только спину высокой черницы, которая припала лицом к ладоням и плакала... видно было, как от рыданий тряслись ее плечи...

И его голова еще более заходила ходенем. «Нет, нет, нет,— тряслась она,— нет, нет...»

В этот момент он увидел нескольких вооруженных стрельцов, которые вели в Кремль какого-то человека. По наружности и одеянию его сразу можно было признать за грека. Он был мертвенно-бледен и с ужасом оглядывался по сторонам. Увидев Никона, он невольно остановился и растерянно взглянул ему в глаза. «Нет, нет, нет»,— казалось, отвечала на это трясущаяся голова Никона... Грек моментально вынул что-то из-под полы. Блеснул длинный нож в воздухе.

— За тебя умираю, великий патриарх! — застонал он, и не успели стрельцы кинуться к нему, как он всадил нож себе в сердце по самую рукоятку, захрипел и упал навзничь с торчащей из бока рукояткой ножа, раскинув широко руки, на которых еще трепетали в судорогах пальцы.

— Батюшки! — послышалось в толпе.— Зарезался! За Никона зарезался грек!

«Нет, нет, нет,— с ужасом тряслась голова Никона, как бы отрицая обвинение толпы,— нет! нет!»

XIV. АВВАКУМ ПЕРЕД ВСЕЛЕНСКИМИ ПАТРИАРХАМИ

На следующий день Москве опять предстояло тешиться зрелищем. Зрелища идут непрерывно одно за другим с самого лета. В сентябре прошлого года Москва встречала гетмана Брюховецкого, глазела на невиданных хохлатых черкас, на их рогатых волов, украшенных лентами, и потом, до самой весны почти, москвичи видели этих усатых хохлов почти каждый день, бегали глядеть на них, как на медведей, иногда укали на них, как на зверей, не со злости, а добродушно, любя и тешась по-московски. А там встречали вселенских патриархов, что приехали из самой турской земли, народ все черномаз, волосат и зело свиреп, с вот этакими глазищами и вот этакими белыми бельмами: все греки да арапы из самой Арапии,—и молодцы из Охотного да Обжорного рядов опять бегали за ними, словно весной за Ярилой, да улюлюкали от радости, словно на волков. А тут привезли Никона, и за ним бегали, несмотря даже на то, что бояре велели сломать мост у Никольских ворот, где остановился Никон, потому что у Никольских ворот не было ни проходу, ни проезду от серых чапанов, нагольных тулупов да однорядок.

А тут новые зрелища: «двуперстников» да «сугубоаллилуйцев» стали возить в Чудов из разных монастырей да острогов. Есть на что поглядеть! Одни юродивые каких колен не выкидывают Христа ради во время этих процессий! Один Федя, Божий человек, чего стоит! А Афанасьюшко слезоточивый и слезонеиссякаемый кладезь божественный?!

Сегодня прошел слух, что Аввакума протопопа, великого учителя веры, повезут на собор вселенских патриархов. Москва заволновалась. С утра народ валил к Кремлю: и молодцы рядские, и черная сошка, и посадские малые людишки, и почтенные бородачи гостиной статьи, любившие потолковать о двуперстном и ином, богомерзком, сложении, и о треклятой «трегубой аллилуии», и о «хождении посолонь», и о «метании поклонов», именно все о таких высоких предметах, на которых мир стоит, все это толкалось и гудело по Красной да по Соборной кремлевской площадям. «Осрамит их Аввакумушко-свет, осрамит всех!»—слышались голоса. «Где не осрамить! Осрамит! Куда им, арапам, этакую святость-то понять,

алилую-то нашу матушку, либо персты-те! В едином, чу, персте спасение, в двух перстах, чу, этому спасенью и сметы нету, а в трех, чу, перстах пагуба, ад кромешной».— «Что и говорить! А хуть бы насчет этого самого аза, что они, еретики, у Христа отняли! И как их громом не убило! Шутка ли! Сказано: «Сына Божия, рожденна, а не сотворенна»; а они, злодеи, этот аз-от у Христа украли: говорят — «рожденна, не сотворенна»... А? Не злодеи ли!» — «Братцы! — слышится между молодцами из рядов.— Христа обокрали!» — «Что ты!» — «Пра! Аз у ево украли!» — «Батюшки! Где украли? Али церковь подломали?» — «Подломали, у Спаса на Куличках...»

— Везут! Везут! — закричали дальнейшие группы.

Рядские молодцы, забыв свой испуг насчет того, что, как вот сейчас сказывали сами хозяева, старые купцы, что Христа-де обокрал кто-то, аз у ево, Батюшки, злодеи уворовали, а что это за аз такой, молодцы не знали, не то риза золота, не то венчик, с камнями самоцветными, как вон на Иверской Матушке, молодцы, забыв про этот неведомый аз, со всех ног метнулись туда, где кричали: «Везут! везут!»

Действительно, из-за головы толпы показалась дуга, перевитая красным кумачным поясом, а в просвете под дугой, выше лошадиной головы, проглядывала седая человеческая голова, не покрытая шапкой, постоянно кланявшаяся направо и налево. Это везли Аввакума. Он ехал стоя на санях, опираясь левой рукой на плечо стрельца, сидевшего за кучера, а правую подняв высоко над головой с вытянутыми указательным и средним пальцами. Вокруг саней, запряженных в одну лошадь, шли стрельцы с ружьями и с испугом и благоговением смотрели на конвоируемого ими арестанта. Лицо Аввакума дышало фанатической энергией. Седые, остриженные под чуб волосы, стоявшие стоймя, казалось, кричали вместе с широко раскрытым ртом, из которого в морозный воздух вместе с выкрикиваниями вылетал пар клубами. Неровно выстриженная седая борода делала это странное лицо еще более изуверским.

— Православные! — слышалась издали неистовая проповедь фанатика.— Не покоряйтесь троеперстному сложению!.. Троеперстное сложение еретицкое: его выдумали хохлы с турскими наемниками да арапа-

ми!.. Троеперстное сложение — антихристова печать, геенна огненная, огнь неугасимый, плач и скрежет зубов!.. Креститеся вот как, православные! Вот как, истово.

И рука с двумя вытянутыми пальцами поднималась еще выше и торчала в воздухе, как знамя. В толпе так же поднимались и размахивались руки с протянутыми двумя пальцами и ожесточенно колотили по лбам, животам и по плечам гостиных людей и рядских молодцов. Головы так же неистово встряхивались, и ропот одобрения и благоговения все более и более усиливался. Все толпились взглянуть на великое светило старой, истинной веры.

Когда толпа несколько пораздвинулась по мере движения саней, то впереди показалась фигура пляшущего мужика. Без шапки, с полуседою, всклоченною головой, с растрепанной бородой с проседью, в одной длинной, как у татарина, синей канифасной рубахе, без пояса, без штанов, мужик босыми ногами мял снег, выплясывая по замерзлой земле. Несмотря на мороз и не по сезону легкий костюм пляшущего, с лица его катился пот градом. Лицо его выражало смесь дикости и наивного добродушия.

— Веселыми ногами скакаша, играша, людии Божии святии! — приговаривал пляшущий.— Веселись, православные! Ноне у нас праздник, свадьба, веселие! Аввакумушко, светик наш, ноне венчается! Берет он себе невесту прекрасную, жену богатую, свет-матушку Аллилуию Сугубую... А венец-то он берет краше венца царского, венец мученический... Веселись, православные! Веселыми ногами скакаша, играша, эх, ну!

— Господи! Ишь его, как веселится Федя — божий человек...

— Святая душа, и мороз его не берет, без портов и босиком радуется.

— Федя — божий человек! А Федя! — обращается к пляшущему купчина.— Ты что без порток?

— Так надоть! — отвечал юродивый, дико глядя на купчину.— Христос без порток ходил...

— Ай-ай-ай! И отрезал же! — дивились гостиные люди,— оно и точно, Христос штанов не носил, как малые дети, ангелы невинные, так и они, святые люди... нну!

А Аввакум, медленно двигаясь на своих дровнях,

как на триумфаторской колеснице, продолжал выкрикивать благим матом: «Вот так крестись, православный народ, вот так! А еретикам не покоряйся, аллилуию не трегубь! Дионисий Ареопагит говорит: «Со ангелы славословим тако: «Аллилуия, аллилуия, слава тебе, Боже!» А не трегубо лаем, что псы по римскому распутству... не покоряйся еретикам!»

Народ испуганно и благоговейно смотрел на фанатика. А юродивый продолжал отплясывать, от скоков и круженья переходя в присядку.

— Што ты — где ты! Што ты — где ты! Не обуты, не одеты!

Вдруг он остановился, закрыл лицо руками и заплакал.

— О-о-о-о! Спаси и помилуй, Господи, великого государя, царя и великого князя Лексей Михайлыча всея Руси! О! Спаси его от троеперстного сложения, помилуй его от трегубой аллилуи! О! о! — причитал он жалобно.

— Спаси, Господи, раба Своего, великого государя, и отврати лицо его от погибельной пестрозвериной ереси Никонишки окаянного, сатанина внука! — возглашал с своей стороны и Аввакум.— Молитесь, православные, за великого государя!

В это время впереди послышался звон цепей и визг по снегу полозьев. Показались вершники на конях и в высоких шапках. На морозном солнце блеснул высокий, чистый, как зеркало, кузов кареты. Солнце заиграло на позолоте кареты, на стеклах и на серебре лошадиной сбруи.

— Боярыня Морозова едет во дворец,— послышалось в толпе.

Морозова ехала с обыкновенной своей пышностью шестеркою богатых коней, окруженная сотней челяди. У окон кареты, на боковых крыльях, стояло по юродивому. В руках у них были мешки с деньгами, которые они тут же и раздавали народу.

Поравнявшись с санями Аввакума, карета Морозовой остановилась, шибко зазвенев цепями, которыми украшена была богатая наборная упряжь из кованого серебра. Остановились и сани. Из окна кареты, из-за уголка приподнятой зеленой тафты, выглянуло хорошенькое личико боярыни.

— Здравствуй, матушка, Федосья Прокопьевна, дочушка моя духовная! — закричал протопоп.— Вен-

чаться еду во дворец, благослови жениха, светик мой, будь посаженой матерью.

Он хотел было вылезть из саней, чтобы подойти к окну кареты, но стрельцы не пустили его.

— Нельзя, святой отец, не приказано,— почтительно останавливали его.

— Ну, ладно, детушки, Бог с вами: вы под началом ходите, творите волю пославшего вас,— сказал Аввакум покорно.— Эй, Федюшка! Подь сюда! — крикнул он юродивому.

Юродивый подбежал к саням.

— Давай пригорошню.

Юродивый подставил пригорошню. Аввакум перекрестил ее: «Во имя Отца и Сына... неси боярыне...»

Юродивый крепко сжал пригорошню, как бы боясь упустить что-либо, точно там у него сидел воробей.

— Не просыплю, не просыплю благодать Божию,— бормотал он и понес сжатую пригорошню к карете Морозовой.

Та подняла окно. Пригорошня юродивого всунулась в карету, разжалась там, и жаркие, влажные губы молоденькой боярыни поцеловали корявые ладони юродивого, от которых несло навозом.

Народ, рядские молодцы и почтенное купечество дивовались и умилялись, разинув рты и помавая головами, созерцая такое святое дело.

Сани двинулись дальше, к Кремлю. Карета последовала за ними.

В Кремле, у дворцовых ворот, сани остановились. Навстречу им вышел стрелецкий полуголова и принял Аввакума из саней. Он был в том же одеянии, в каком мы в последний раз видели его в монастырской келье, в заточении. На прощанье юродивый поцеловал его в руку и как-то пытливо глянул ему в глаза, которые по-прежнему светились энергией.

— Мотри же, женишок, крепко люби свою невесту, Аллилуию-свет Сугубовну... а венец-то будет у-у какой! Лучше царсково.

— Добро... только покажи мне венец-от, я за ним на край света потопчусь!

Полуголова и стрельцы повели его к столовой избе. Собор был уже на месте. Патриархи восседали на своих сидениях рядом с царем, а царь высился и блистал золотом, камнями и золотным платьем на своем государевом месте. В ласковых глазах его блеснуло что-то

вроде слезы и жалости, когда он увидал худого, оборванного и обезображенного стрижкой Аввакума, смело переступившего порог избы, где собрался собор. На лицах патриархов и прочих греков выразилось глубокое изумление. Бояре также смотрели ласково и жалостливо: только архиереи глядели хмуро и неприветливо.

Вступив в палату, Аввакум прежде всего глянул в передний угол. Увидав там несколько образов нового письма и шестиконечный крест, он сурово отвернулся и, глядя на потолок, трижды перекрестился истово, двуперстно, широко, от упрямого лба до самого подбородка. Потом, повернувшись к царю, три раза поклонился ему до земли. Ни патриархов, ни весь остальной собор он не удостоил даже кивком.

— Аввакум! Поклонись святейшим вселенским патриархам! — ласково сказал царь.

Аввакум глянул на царя и, заметив доброе выражение его глаз, отвечал:

— По слову и указу великого государя земно кланяюсь,— и поклонился до земли.

— Поклонись и всему освященному вселенскому собору,— снова сказал царь.

— По указу великого государя кланяюсь,— опять отвечал упрямец и поклонился на обе стороны в пояс.

Настала тишина. Дьяк Алмаз Иванов, по обыкновению, шуршал бумагой, нагибая свое пергаментное лицо то к той, то к другой харатье. Макарий антиохийский перенес свои белки на Аввакума.

— Аввакум! — громко сказал он.— Покоряешься ли последнему поместному московскому соборному решению о новоисправленных книгах?

— Не покорюсь! — резко отвечал Аввакум.

— А те исправления истинные: для чего не покоряешься?

— Истинные! — крикнул фанатик, и глаза его метнули искры.— В том ли истина, что Никон все переменил? И крест на церкви и на просфорах переменил, в латынский крыж обратил... И внутри алтаря молитвы иерейские откинули, и ектении переменили, в ектении невесть чего напихали, и в крещении духу лукавому молиться велят: «Да не снидет-де со крещающимся, молимся тебе, Господи, дух лукавый...» А я духу лукавому в глаза плюю... И около купели против солнца, а не посолонь лукавый их водит, и церкви ставят против солнца и при венчании против солнца же водят,

это ли истина?! А в крещении не отрицаются сатаны: дети они его, что ли, коли сатаны не отрицаются? Али это истина!

— Да этого в новых книгах нет, что ты плетешь,— вмешался Питирим, тот, что и Никона злил.

— Плетешь ты, а не я! — пуще прежнего крикнул фанатик.— Никонишко, адов пес, наблевал, а вы блевотину его едите, щепотью креститесь...

Макарий остановил его горячность.

— Постой, Аввакум,— сказал он,— ты это не истинно говоришь: вся наша Палестина, и серби, и албансы, и волохи, и римляне, и ляхи, все тремя персты крестятся; один ты стоишь на своем упорстве и крестишься двемя персты, так не подобает.

Аввакум, услыхав, что патриарх его не задирает, как задрал было Питирим, несколько успокоился. Взглянув на царя, он увидал, что тот смотрит на него ласково по-прежнему. Паисий тоже поглядел на него с старческим добродушием, это охладило фанатика.

— Вселенстии учителие! — начал он спокойнее.— Рим давно упал и лежит невосклонно, и ляхи с ним же погибли: до конца враги быша христианом, на черкасах-казаках, что на волах, ездили, церкви Божии жидам в аренду отдали, оле проклятого адского безумия!.. И у вас, в турской земле, и в Палестине, и в Египте православие пестро: от насилия турского Магмета немощни есте стали... А вы сами впредь приезжайте-ка к нам на Москву учиться: у нас Божиею благодатью самодержавство (и он взглянул на Алексея Михайловича, тот ему милостиво улыбнулся), никакого Магметки мы не боимся, плевать на него и на римского папежа!.. У нас на Руси, до Никона-отступника, у благочестивых князей и царей православие было чисто и непорочно, аки девство, и церковь не мятежна и не растленна. Никон волк с братом своим Фармагеем бесом, и с отцом своим Люцифером, и с дедом сатаною велели тремя персты креститься, а первые наши пастыри крестились двемя персты, и московские святители так же, и казанские Гурие и Варсонофие, все молились двемя персты.

Он остановился, чтобы перевести дух. На некоторых из старых бояр, видимо, подействовали его слова: ведь все они воспитались на двуперстии, всех их манила старина, и Аввакум чувствовал, что за плечами его стоят миллионные рати, начиная от князей и бояр

и кончая последним смердом, у которого и вера-то вся в двух пальцах.

Этим перерывом воспользовался Питирим.

— Что ты о святителях плетешь?—сказал он презрительно.—Они и с двуперстием, и с троеперстием были бы святы... Только они были люди неученые, грамоте не умели...

Аввакума опять взорвало.

— Ты вот учен, грамотник!—огрызнулся он.—Кочергой тебя бабы учили...

— Они греческого языка не разумели, как и ты, мужик...

— Ты, баба, много разумеешь по-еллински, разве сморкаться только тремя персты... Мне с тобой и говорить-то зазорно.

Он было повернулся, чтобы уйти, но остановился, заметив, что архиереи смотрели на него с нескрываемым презреньем.

— Чист аз есмь!—крикнул все более и более раздражавшийся фанатик, которого самолюбие шибко было задето.—И чистым ухожу, и прах от ног своих отрясаю, по писанному: лучше един творяй волю Божию, нежели тьмы беззаконных... А вы все беззаконники!

Архиереи возмутились этими последними словами. Многие вскочили с мест. Пристав подвинулся к упрямцу, чтоб остановить его.

— Возьми! Возьми его!—забывшись, закричали некоторые.—Он всех нас обесчестил.

Пристав схватил его за руку. Питирим и Илларион приблизились к нему с угрожающими жестами.

— Постойте: не бейте!—закричал фанатик.—Апостол Павел пишет: таков нам подобаше архиерей, преподобен, незлобив... А вы, убившие человека, как литоргисать станете?

Это напоминание заставило опомниться взволнованных архиереев. Они сели. Аввакум стоял посреди собора и тяжело дышал. Капли пота катились по его лицу. Ноги его, видимо, дрожали, тут сказывалось и душевное волнение, и следы многолетних ссылок, тюремной истомы и голода, надломивших эту железную натуру.

Оглянувшись затем кругом и не видя, на чем бы ему можно было сесть, он попятился к дверям и повалился на бок.

— Посидите вы, а я полежу, по-апостольски,— сказал он задорно.

Бояре засмеялись.

— Дурак-мужлан, и святейших патриархов не почитает, и великого государя срамит,— заметил Питирим.

— Вы великого государя срамите на весь мир, а не мы,— огрызался, лежа, упрямец,— мы уроди Христа ради, а вы славны, яко солнце в луже: вы в чести и виссоне, мы же бесчестны и в сермяге; вы сильны стрельцами, мы же немощны со Христом, да сугубою аллилуею.

— Для чего сугубая, а не трегубая, яко подобает Святой Троице?— спросил Макарий.

— Для чего? Али вы забыли Дионисия Ареопатита? У него прямо сказано, как славословят Господа небесные силы: по алфавиту, глаголет, едино аль Отцу, другое аль Сыну, третье аль Духу Святому... До Василия Великого в церкви пели тако ангельское славословие: «Аллилуия, аллилуия, аллилуия!» А Василий велел петь две ангельские славы, а третью человеческую сице: «Аллилуия, аллилуия, слава тебе, Боже!» Мерзко Богу трегубое аллилуия.

Со скамьи среди монахов и архиереев поднялся высокий черный клобук с несколько семитическим типом лица и приблизился к Аввакуму. В руках он держал книгу в белом, пожелтевшем от времени переплете. Это был знакомый уже нам ученый украинец, Симеон Полоцкий, учитель маленькой царевны Софьи Алексеевны.

— Вот древний харатейный служебник,— сказал он, раскрывая книгу и поднося ее к лицу Аввакума,— тут аллилуия поется трижды.

— Что ты мне тычешь в глаза свою хохлацкую книгу!— вскинулся на него фанатик.— Мало ли как у вас, у хохлов, поют, да нам, московским людям, ваше хохлацкое пенье не указ... Охочи вы, хохлы, соваться не в свое дело: сидели бы у себя дома, а у нас бы не мутили верой... От вас, от каждого, папежским воняет...

— Не говори так, Аввакум,— спокойно заметил Полоцкий.— А наши Киевские Печерские угодники?

— То не ваши, а наши...

Симеон Полоцкий пожал плечами и возвратился на свое место.

— То-то ловки вы!— продолжал Аввакум.— И как вас великий государь терпит? После сам увидит цар-

ское величество, что пустил козлов в российский вертоград, да будет уже поздно... Вон и ноне пресветлую царевну Софию Алексеевну разным планидам да «кентрам» научают замест перстного сложения, и Бог весть, что из царевны выйдет...

В столовую избу, тихо, чуть слышно ступая мягкими козловыми сапогами, вошел низенький, лысый, с большой седой бородой боярин. Он прежде всего перекрестился в передний угол, и Аввакум, зорко следивший за его рукою, заметил, что пришедший боярин крестился двуперстно: глаза у Аввакума блеснули, потом боярин низко поклонился царю, патриархам и всему собору.

— Ты что, Прокопий?—тревожно спросил его царь.

— От великой государыни царицы и великой княгини Марии Ильинишны с грамотой к вашему царскому пресветлому величеству,— почтительно отвечал с присвистом беззубый боярин.

— Подай.

Боярин прошуршал козловыми сапогами, снова поклонился и подал царю свиточек, перевязанный голубой ленточкой. Царь развернул свиточек, пробежал его, щурясь и улыбаясь, раза два, поглядел на Аввакума, снова улыбнулся и спрятал свиточек в карман.

— Ох, уж эти бабы,— тихо, продолжая улыбаться, прошептал он про себя, а потом, обращаясь к старому боярину, громко сказал: —Хорошо, Прокопий, ступай: доложи царице, что великий-де государь милостив...

Боярин, шурша мягким козлом, вышел. Царь, окинув собрание приветливым взором, остановился на Аввакуме.

— Аввакум!—сказал он с едва заметной улыбкой.

Аввакум вскочил с полу и быстро приблизился к царю.

— Что изволит приказать великий государь рабу своему?

— Вот что, Аввакум: ты ноне недомогаешь, я вижу... Поди, отдохни, да подумай о том, что тебе ноне святейшие патриархи сказывали, а после поговорим... А то и мне ноне недосуг за государскими делами...

— Что мне, великий государь, думать? —смиренно отвечал он.— Шестьдесят лет думаю об одном, о венце мученическом... За ним пришел сюда и без него не уйду.

По лицу царя пробежала тень. Он строго посмотрел на упрямца.

— Я не Диоклетиан,— сказал он недовольным голосом.

— И я не Юлиан Отступник[41], не отступлюсь от двуперстия! — отвечал фанатик.

— Добро... Ино ступай пока...

— Не уйду, пока венца не дашь!

Добрые глаза царя сверкнули. Он глянул на бояр.

— Уведите его!

Бояре кинулись к Аввакуму. Тот не давался. Его взяли под руки и увели силой.

— Венца хочу! Венец дайте! — доносился из сеней голос фанатика.

XV. НИЗВЕРЖЕНИЕ НИКОНА

Два главные действующие лица в нашем повествовании, Никон и Аввакум, невольно напрашиваются на сравнение.

И тот и другой — борцы сильные, с железной волей. Одному почти всю жизнь везло счастье, да такое, какое редко кому выпадает на долю в истории, и только под конец жизни сорвалось, потому что это самое счастье, слепое, как его называют, ослепило и своего любимца. Другого всю жизнь колотили, буквально колотили, сначала свои прихожане за его страстную, безумную ревность к вере и ее буквальной и внешней обрядности, били так, что он по целым часам лежал бездыханно, а лишь только приходил в память, опять лез на стену с своими страстными обличениями; потом его били воеводы, отгрызали у него пальцы, секли плетьми; потом бил его боярин Шереметев и топил в Волге; целых семь лет колотил его воевода Пашков, волоча по снегам Сибири и Даурии, и все за ревность и неподатливость в своих правилах. Никон несколько лет самовластно правил всей Россией, жил в царской роскоши, считался «собинным» другом царя. Аввакум почти всю жизнь был нищим, как апостол. В то время, когда у Никона находилась в руках власть, он казался человеком с гранитной волей; но едва власть ускользнула из рук, он раскис и измельчал: он то и дело, находясь в изгнании, клянчил у царя съестного: то просит он «рыбки и икорки», «малины да вишенки», то жалуется, что кирилловские монахи присылают ему на

еду грибов «таких скаредных и с мухоморами, что и свиньи их не станут есть», то опять плачется, что рыбу ему прислали «сухую», «только голова да хвост», «стяги говяжьи и полти свиные — на смех»; что платьем и обувью он обносился, а «портной-швечишко неумеющий»; то, наконец, надоедает царю, что кирилловские монахи «смеются и поругаются мне, будто я у них в монастыре все коровы приел», и т. п. Аввакум выдержал себя до конца, до мученического костра, на который он всходил, крестясь двумя перстами, а когда охвачен был пламенем и уже задыхался, то и из пламени поднимал руку с двуперстным сложением и кричал свой последний смертный наказ, чтоб крестились так...

Что особенно поражает в Аввакуме, это необыкновенная цельность характера, источником которой была такая глубина веры, что она действительно могла ворочать горами. И оттого, когда Никона в несчастии покинули все, исключая одного Иванушки Шушеры, за Аввакумом шли тысячи, и не только шли за ним, чтобы послушать его страстной проповеди, а шли на костры, на виселицы, на удавление, на самосожжение, на вырезывание языков, или медленно умирали в острогах, подземных ямах и срубах, не поступясь ни на иоту из того, что им завещал Аввакум. Личный характер первых учителей раскола объясняет нам и его историческую живучесть. Все нелепости, какие он рассказывает в своем житии, и рассказывает с глубокой верой в то, что они были, все эти изгнания бесов, все эти чудеса, как его ангел в темнице щами кормил, как саженный лед на Байкале расступался, чтобы напоить его, как Богородица в руках беса мяла и отдала его Аввакумову духовнику, как отрезанные языки у его учеников вырастали за ночь, весь этот сумбур он поднял до высоты раскольнического евангелия, окрасив его, как яркой киноварью, своею собственной кровью и скрепив ужасной смертью Гуса на костре. А эти-то люди и оставляют по себе глубокий след в истории.

Не таков был Никон.

Через неделю после осуждения его на соборе его, по повелению царя, призвали в крестовую церковь, что находилась на воротах Чудова монастыря. Проходя Кремлем, по площади, он упорно смотрел в землю, как бы ища чего-то потерянного и не глядя на толпы москвичей, далеко снявших шапки при виде некогда

грозного патриарха. Он и теперь еще патриарх: патриарший клобук и богатая панагия так и плачут на солнце бриллиантовыми слезами. Никон думал о том, что его ждет, и, казалось, не слыхал сдержанного рокотанья голосов, говоривших о нем, жалевших его... Перед ним уже не несли креста, и он не благословлял народ, как было прежде...

— Микитушка, ох! О-о-ох! — послышалось ему в толпе, и он невольно вздрогнул, продолжая упорно глядеть в землю и трясти головой.

«Нет, нет, нет,— казалось, твердила упрямая расшатанная буйная головушка.— Это мне приверзилось... Кому звать меня Микитушкой?..»

— Микитушка-светик! — послышалось опять, явственнее, ближе.

Он глянул... Опять из толпы глядят те глаза, глаза ангела... «Всемилостивый! Что ж это такое!.. Нет, нет, нет!..»

Почти ничего не видя, он вступил в сени крестовой. В ушах его раздавалось: «Микитушка-светик...» Дверь отворилась, и он вместе с клубами морозного воздуха очутился в церкви. Свечи ярко горят, слепят глаза. Он перекрестился... Опять те же глаза... нет, это глаза Богородицы, но такие строгие, не милующие... За что же!..

Он огляделся. Патриархи и архиереи стояли в саккосах. Он искал глазами царя, но царя не было в церкви. Желтелось одно пергаментное лицо, лицо Алмаза Иванова не в саккосе.

Никон дважды поклонился в пояс патриархам и стал по левую сторону западных дверей... Послышался дребезжащий голос Паисия, который что-то благословлял. Затем началось чтение, выписка из соборного деяния, такая длинная... Слух Никона ловил сначала один лишь гул голоса чтеца, который отдавался в сводах церкви, словно колотился о них, желая вырваться на волю, улететь высоко, до неба... Потом Никон стал вслушиваться в слова: все это он давно-давно слышал, много раз слышал...

«Микитушка-светик...» Да, это приверзилось ему. Кто мог называть его так? И кто знал, что он «Микитушка», Никита? Все знали только, что он Никон... Только она знала и звала его так — «Микитушка», жена... Но она, поди, давно умерла: больше тридцати лет прошло, как они, он и она, постриглись и разошлись навеки... А как она плакала, валялась в ногах,

не пускала его... Да, у нее такие были глаза, как у этого неведомого ангела... Как он любил когда-то эти светлые, детские глаза, как любил целовать их... А она, бывало, закроет их и улыбается: «Тютю,— говорит,— село твое солнышко, Микитушка, тютю, бай-бай...» А он их целует... «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко, твои детки плачут...» А она и глянет, брызнет светом... то-то молодость, глупость!..

«Проклинал российских архиереев в неделю православия мимо всякого стязания и суда»,— возглашал Макарий вины Никона.

«Покинутием престола заставил церковь вдовствовать восемь лет и шесть месяцев».

«Ругаяся двоим архиереям, одного называл Анною, другого Каиафою».

«Из двоих бояр одного назвал Иродом, другого Пилатом».

«Когда был призван на собор по обычаю церковному, то пришел не смиренным обычаем и не переставал порицать патриархов, говоря, что они не владеют древними престолами, но скитаются все своих епархий, суд их уничтожил и все правила средних и поместных соборов, бывших по седьмом вселенском, всячески отверг».

«Номоканон назвал книгою еретическою, для того, что напечатан в странех западных».

«В письмах к патриархам православнейшаго государя обвинил в латинстве, называл мучителем неправедным, уподоблял его Иеровоаму и Оссии, говорил, что синклит и вся российская церковь преклонились к латинским догматам; но порицающий стадо, ему врученное, не пастырь, а наемник».

«Архиерея один сам собою низверг».

«По низложении, с Павла, епископа коломенского, мантию снял и предал на лютое биение, архиерей оный сошел с ума и погиб безвестно, зверями ли заеден, или в воде утонул, или другим каким неведомым образом погиб».

«Отца своего духовного повелел без милости бить, и мы, патриархи, сами язвы его видели».

«Живя в монастыре Воскресенском, многих людей, иноков и бельцев наказывал не духовно, не кротостию за преступления, но мучил мирскими казнями, кнутом, палицами, иных на пытке жег...»

Никон, по-видимому, не слушал, что ему чи-

тали. Не все ли уж равно! Он только качал головой; но это качанье было непроизвольное: оно осталось у него до самой смерти, как бы постоянно служа ответом на гвоздившую его мысль: «Нет, нет, зачем жизнь? Для чего она была? Разве это жизнь? Нет, нет!..»

— Подойди сюда, Никон! — проскрипел голос Паисия.

Никон машинально подошел к царским вратам, где стояли оба патриарха.

Макарий дрожащими руками снял с осужденного клобук и панагию.

— Отселе не будешь патриархом...

— Знаю! Слышал! — оборвал его Никон, к которому, казалось, теперь только воротилось сознание.

— Живи тихо, безмятежно...

— Знаю и без вашего поучения, как жить...

Глаза его упали на клобук, что сейчас сняли с него, а потом перенеслись на синеватые белки Макария и сверкнули гневом.

— А жемчуг-от с клобука и с панагии, что с меня сняли, по себе разделите, достанется вам жемчугу золотников по пяти пошти, да золотых по десяти,— сказал он с горькой иронией.— Вы султанские невольники, бродяги, бродите всюду за милостынею, чтоб было чем заплатить дань султану...

Он остановился. Грудь его тяжело дышала. Голова затряслась еще больше, все смущенно ждали последнего взрыва...

— Эко-на! Откуда взяли вы эти законы? Зачем действуете здесь тайно, что воры, в монастырской церкви, без царя, без думы, без народа! — заговорил он хрипло: судороги давили его горло.— Меня упросили принять патриаршество при всем народе... Я согласился, видя слезы народа, слыша страшные клятвы царя... Поставлен я в патриархи в соборной церкви, пред всенародным множеством... А если теперь захотелось вам осудить нас и низвергнуть, то пойдем в ту же церковь, где я принял пастырский жезл, и если окажусь достойным низвержения, то подвергните меня чему хотите...

Он не мог дальше говорить, ему перехватило горло. Он только безнадежно вскинул глазами на верх царских врат, где на цепочке висел и колебался золотой голубок... Ему казалось, что колебалась вся церковь, и стены, и пол...

— Там ли, здесь ли, все равно,— едва слышно сказал Паисий.— А что нет здесь его царского величества, на то его воля.

И старик молча подозвал к себе греческого монаха, стоявшего неподалеку. Тот подошел и низко наклонил голову. Паисий снял с него клобук и, поднявшись на цыпочки при помощи этого же монаха, надел его на опущенную голову Никона: как эта голова, так и руки Паисия одинаково дрожали. На лицах архиереев и архимандритов, присутствовавших в церкви, отражались то жалость, то стыд, то нескрываемое злорадство. Алмаз Иванов усиленно моргал своими чернильными пятнышками на харатейном лице.

Дольше тянуть эту тягостную сцену было невозможно. Макарий антиохийский своими выразительными глазами показал, что пора увести его. Два воскресенские монаха приблизились и тихо взяли под руки своего низверженного владыку. Он глянул на них, как бы ничего не сознавая, и тихо побрел с амвона, оступаясь на ступеньках его и не поднимая головы.

Его вывели на крыльцо. Охваченный морозным воздухом, он разом пришел в себя и поднял голову. Народ, столпившийся у саней и разгоняемый стрельцами, снял шапки... «У него не взяли патриаршаго посоха»,— слышался шепот. «И монатья патриарша на ем, значит, он патриарх».— «Толкуй!» — «Что толкуй? Али повылазило тебе!»

Вышли и два архимандрита, из которых один был тот, которого мы видели в Соловках, Сергий.

У саней Никон остановился и обвел толпу глазами.

— Никон! Никон! — сказал он громко.— С чего это все приключилось тебе? Не говори правды, не теряй дружбы... Коли бы ты давал богатые обеды и вечерял с ними, не случилось бы этого с тобою.

Он сел в сани и перекрестился. Сани двинулись. За санями шел Сергий; за ним стрельцы и народ.

— Далек путь до Господа,— сказал как бы про себя низверженный патриарх.

— Молчи, молчи, Никон,— закричал ему Сергий.

Никон оглянулся. Рядом с санями шел его эконом.

— Скажи Сергию, что коли он имеет власть, то пусть придет и зажмет мне рот,— сказал он эконому.

Эконом приблизился к Сергию и, глядя ему в глаза, сказал громко:

— Коли тебе дана власть, поди и зажми рот святейшему патриарху.

— Как ты смеешь называть патриархом простого чернеца! — закричал на него Сергий.

В толпе послышался ропот. Раздались негодующие голоса.

— Что ты кричишь! — особенно резко выдался один голос.— Имя патриаршее дано ему свыше, а не от тебя, гордого.

Стрельцы тотчас же схватили этого смельчака.

— Блаженни изгнании правды ради! — вздохнул Никон.

— Микитушка! Микитушка, о-о-ох! — послышался стон в толпе.

Никон глянул по тому направлению, откуда вырвался стон, и задрожал. Те глаза, которые он считал глазами ангела, были близко и смотрели на него с невыразимой тоской и любовью. Только это были глаза не ангела, а просто монахини, уже пожилой, высокой и несколько сгорбившейся. Лицо ее было необыкновенно бело и нежно, несмотря на резкие морщины, как бы паутиной заткавшие это белое лицо, а черный монашеский клобук еще ярче оттенял его белизну.

— Микитушка! Касатик мой! Благослови меня!

Никон узнал монахиню. Это была его жена, та прекрасная подруга его молодых лет, с которой он разлучился назад тому три десятилетия... От нее остались только глаза, да и те, казалось, смотрели из могилы...

XVI. УБИЙСТВО БРЮХОВЕЦКОГО

Из хмурой, холодной Москвы, где птица на лету замерзала, а волки от стужи укрывались в человеческое жилье, перенесемся на теплый юг в благодатную Украйну.

Весна, усыпав землю опавшими лепестками роз, шиповника, горицвета, желтого дрока и пахучей липы, уже уступала место жаркому лету, предшествуемому «зелеными святами», «русальными игрищами», «клечальными ходами» и отпевающими свой положенный природой термин соловьями и кукушками. Вместо цвета желтого дрока и горицвета зеленые рощи, возлески и садочки горят «червонными чеботками» черноклена, пунцовыми с черным крапом глазами бруслины,

пышными лепестками маку, чернобровцев и гвоздики. Неумолчные ночные трели соловьев и тугнявые покукиванья кукушек заменялись неумолчными «русальными» песнями звонкоголосых «дивчат». Молодежь, в ожидании рабочей поры, дни и ночи проводит на улице, либо у реки, либо в поле за цветами, за выискиванием утиных и перепелиных яиц, либо рассыпается по лесу. Старые бабы бродят по лугам и полям, рвут добрые и недобрые травы: от порчи и дурного глаза, травы чаровницкие и всякое полезное и вредное зелье.

Шла «русальная» неделя. Слышались россказни о том, что Пилип, возвращаясь из лесу лунной ночью, видел, как русалка качалась на гибких ветвях вербы и манила к себе Пилипа; но Пилип сказал: «Цур тоби, проклятая мавка, вот тебе дуля»,—и благополучно дошел домой; или как Харько, переезжая на чевне через Псел вечером, тоже видел, как на берегу, в высокой осоке, какая-то дивчина чесала косу, а когда он вынул из шапки горсть полыни и показал ее дивчине, она захохотала не своим голосом и бултыхнулась в воду. Говорили также, что на Остапа Прудкого напало разом пять русалок и стали его щекотать, а он был немножко выпивши, да и ну их всех «мацать» куда попало, так они, аспидские, простоволосые девки, все и разбежались от него с визгом, а он, Остап, ничего-то он не боится, да за ними, да все кричит: «Улю-лю-лю! улю-лю-лю!» После парубки говорили, что это были не русалки, а свои же гадячские дивчата, которые хотели испугать пьяненького Остапа; так не на таковского наскочили: он их всех полапал-таки порядком. А Явдоха Танцюрчиха, так та застала ночью русалку у себя на огороде: русалка рвала молодой бут, так Явдоха как кинет на проклятую русалку пучок «любисту»; а она как перекинется козою, да как закричит: «ме-ке-ке-ке!» — да как махнет через плетень, только ее и духу было.

Вот уже третью такую «русальную» неделю, третью весну, проводит в Гадяче молодая пани гетманова, боярыня Брюховецкая, которую мы видели еще княжною Долгорукою в кремлевском дворце, в мастерских царицыных палатах, вместе с боярыней Морозовой, княгиней Урусовой и маленькой царевной Софьюшкой. Третье лето боярыня Брюховецкая живет на Украйне, слышит и веселые, и тоскливые украинские песни, видит и приветливые, и сумрачные лица этих черкасов и черкашенок, эти черные чубы и усы, эти

чернявые, увитые лентами и цветами красивые головки и все тоскует по своей родной сторонушке, по хмурой, но дорогой ей Москве белокаменной.

Недавно муженек ее, гетман Иванушко, «с великим поспешением» выступил в поход с казаками, а куда, против кого, она не ведает: не то против татар, не то против поляков, не то против Дорошонка. Уж этот ей Петрушка Дорошонок-вор! Почему-то она давно не любит его и боится. Должно быть, он недоброе что затевает против матушки Москвы и супротив его царского пресветлого величества... А что-то на Москве делается? Говорят, что был там собор, и на нем патриарха Никона с престола низложили, а черкасские люди на Москву за это серчают: сказывают, что его низложили неправедно, по злобе бояр. И за то черкасские люди серчают, что с Москвы приехали писчики, перепись делать на Украйне да всех в московское тягло записывать.

— А ты, матушка боярыня, все по муженьку, по боярину Иван Мартыновичу убиваешься? Полно, родная, погляди, как вон люди веселятся,— говорила старая няня Аксентьевна, которая не хотела расстаться с своей боярышней и вместе с нею оставила родную Москву для этой постылой черкасской сторонки.— Такое уж его ратное дело, матушка... А побьет, погромит этих татар да поляков и к тебе, голубушке, воротится.

— Да я, няня, по Москве соскучилась,— отвечала молодая гетманша-боярыня.— Легко сказать, третий год не вижу родной стороны... Хоть бы собачка с родимой сторонушки прибежала.

— И-и, родная! Что об Москве-то убиваться! Что там?— утешала ее старуха, а у самой тоже сердце щемило.— Одне смуты теперево на Москве и по всей московской земле стоят... Гонцы вон сказывают, и не приведи Бог!.. Никона патриарха посхимили, протопопа Аввакума заслали, сказывают, туда, куда ворон костей не занашивал... И стала на Москве шатость; не знают люди, как и молиться, как и метания в церкви творить... И просвиры, матушка, сказывают, уже не те ноне пекут, все по-новому, по-хохлацкому, сказывают... А на Дону, сказывают, и по Волге воровские казаки царским воеводам дурно чинят: проявился у них, сказывают, воровской атаман, по прозванию Стенька Разин; так его, мать моя, и пуля не берет:

в ево это стреляют, а он пули рукой хватает да назад пущает. А коли ему нужно через воду плыть, так он, собачий сын, расстелет это зипун, сядет на ем и поплыл по морю, словно бы на корабле.

— А все же на Москве, няня, лучше, чем тут,— не унималась молодая боярыня.

— И-и, родная! А ты-ко послушай, как оне, черкашенки-то, песни свои играют, ишь голосищи какие! И в Москве таких не сыскать... А вон как оне кружатся-то, плетень что ли заплетают, вона короводы как водят, девчата да парубки, видный народ... Смотри-тко, смотри, матушка: а вон и наши парни, стрельцы молодые, туда же в коровод затесались, то-то дело молодое, веселое...

Дом гетмана Брюховецкого в Гадяче, гетманской временной резиденции, расположен был на возвышенности, недалеко от берега Псела и фасом выходил на эту небольшую, но живописно текущую среди зелени речку. К большому деревянному гетманскому дому, осененному стройными тополями, примыкал сад, тянувшийся по скату и густо заросший ветвистыми с серебряной листвой тополями, дубом и липами. В густой листве искрились золотом на солнце и высвистывали золотистые иволги. Иногда, как бы нечаянно или ошибкой, начинала тугнеть кукушка, но тотчас же срывалась с голоса и кончала крикливым и хриплым говорком. Звонко кикали над вершинами копчики, гоняя от всех гнезд сорок и галок. Пустельга пряла в высокой, прозрачной синеве своими подвижными крыльями и разом срывалась в траву, завидя добычу. Пчелы усердно работали и гудели в ветвях развесистой липы.

Под одной из таких лип, у ствола которой разостлан был богатый персидский ковер, на деревянном резном кресле сидела молодая гетманша и вышивала золотым бисером и мелким жемчугом кисет для своего мужа; а старая нянька, повязанная платком, сидела на ковре и вязала свивальник: ее молодая боярынька была если еще не на сносе, то все-таки уж с заметным спереди округлением. Внизу, перед глазами у них, по берегу Псела, двигались или неподвижно сидели на траве живописные группы гадячской молодежи. Шли «русальные» игры под звонкий смех и пение десятков молодых женских голосов, которым иногда вторили, передразнивая их, голоса мужские.

Проводили русалочки, проводили,
Щоб вони до нас не ходили,
Да нашего житечка не ломили,
Да наших дивочок не ловили.

Свежие, чистые, сильные голоса разом обрывались, потому что выходило какое-то замешательство. Молодой с русыми кудрями стрелец погнался было за кругл олицей, утыканной цветами дивчиною, настиг было ее, звонко хохочущую и звонко звенящую монистами, у самого хоровода, но та его разом оборвала.

— Геть, москалю! Одчепись! — протестовала она, защищаясь кокетливо, когда стрелец хотел дать волю своим московским рукам.— Жартуй с своею московкою.

Последовал дружный хохот. Все девчата, перестав петь, вооружились против стрельца, швыряя в него травой и цветами.

— Женихайся с своими товстопузыми московками! — смеясь, кричали ему.

— Да московки, девыньки, далече, где ж их взять! — оправдывался стрелец.

— Геть, геть, поганый!

Стрелец, почесывая затылок, удалился, тем более что ближайшие парубки поглядывали на него не особенно дружелюбно.

Солнце, спускавшееся к западу, играя на раскрасневшихся лицах дивчат и на целых горстях цветов, украшавших их головы, кидало длинные двигавшиеся тени на воду. Хохлята, роясь у воды в песке, оглашали воздух своим пением:

Савка-булавка
Покотив булку,
Та вбив курку,
Положив на столи:
Дивитеся, москали.

— Явдохо! Явдохо! Чи не тая русалка у тебе на городи бут поила? — кричал Остап Прудкий, указывая на гетманского козла, которого дразнили дети, а он становился на задние ноги и тряс бородою.

— А то ж вона: може, и тебе таки русалки лоскотали, а ты их, пьяненький, мацав,— отрезала Явдоха Тантюрчиха.

Опять взрыв хохота, который прекратился только тогда, когда к берегу Псела потянулась из города процессия старух и молодиц с ковшами и черепками в руках. В ковшах и черепках было молоко. Старухи

и молодицы, макая в молоко пучками полыни, кропили вокруг себя дорогу, по которой шли. Это они задабривали молоком русалок: когда по тем местам, которые в русальную неделю окроплены молоком, будут ходить коровы, то русалки не станут ни портить их, ни доить.

— Ох, матушки! Никак, нам Бог гостей посылает,— радостно сказала старая няня гетманши, отеняя ладонью глаза и вглядываясь в приближавшуюся группу прохожих с котомками за плечами.

— Где-где, няня? — встрепенулась молодая боярыня, бросая работу и мгновенно покрываясь румянцем.

— Да вон идут к нашему двору.

Действительно, берегом, по которому мимо гетманского двора пролегала большая дорога, двигалась группа богомольцев. Их можно было сразу узнать по длинным палкам в руках, по буракам и тыквенным кубышкам у пояса и по котомкам за плечами. В группе виднелись старики и молодые парни, а больше всего бабы и девушки. Все они смотрели загорелыми, запыленными и усталыми. Ноги, обутые в лапти, с трудом передвигались.

— Беги, нянечка, голубушка, заверни их к нам,— видимо волновалась боярыня,— это наши московские страннички, я вижу.

Старуха торопливо пошла навстречу прохожим. Она издали замахала им рукой и кланялась.

— У-у! Москали в лаптях! — кричали хохлята с берегу, завидя прохожих.

Брюховецкая торопливо, насколько позволяла ей это ее «непраздность», пошла к дому, чтобы встретить странничков, и притом странничков с родной стороны. Стрельцы, стоявшие у ворот гетманского дома и издали любовавшиеся «русальными» играми хорошеньких «хохлаток», также радостно приветствовали своих запыленных земляков и землячек. «Давно ли с Москвы? Что там делается, в Расеюшке-матушке, все ли здорово? Как крестятся? Не тремя ли персты? Как схимили Никона патриарха?» — слышались вопросы. Страннички наскоро отвечали, что «с Москвы давно, как реки прошли», что теперь идут «от угодничков, из Киева», а насчет креста и Никона — «и-и! и не приведи Бог!»...

А с берега широким потоком лилась чуждая московскому уху мелодия:

Перед воротьми долина,
А в той долини калина,
Ой там Ганочка гуляла,
Жемчуг-намисто бирвала...

Богомолки и богомольцы, ведомые старой нянею, у которой от удовольствия даже морщины сгладились и щеки покраснели, гуськом взошли на галерею с навесом, примыкавшую к гетманскому дому, и низко кланялись гетманше, которая встречала их со слезами радости на глазах.

— Вот, матушка боярыня, ты говорила, что хуть бы собачка с родной сторонки прибежала, ан вон на, Бог послал своих странничков,— тараторила няня, разводя руками.

— Как-то, матушка-боярынюшка, поживаете на чужой сторонушке? А мы вам святости от святых угодничков принесли,— говорила передняя странница в костюме чернички.— О-ох! Давно-давно не видали мы на Москве твоих ясных очушек, матушка, не слыхали твоего голосу медового... А частенько-таки про твою милость вспоминали с матушкой боярыней Федосьей Прокопьевной да сестрицей ее милости, княгинюшкой Авдотьей Прокопьевной: что-то-де, говорим, наша гетманша золотая на чужой черкасской сторонке? Далеко-де, высоко-де, говорим, залетела наша пташечка сизокрылая...

А с берега неслись надрывающие душу «черкасские» голоса:

Ой, туда приехав миленький,
Став с коника слизати,
Став с коника слизати,
Став намиста сбирати:
Сбирай, миленький, сбирай,
С тобою я гуляла,
Дороги намисты порвала...

Брюховецкая, томимая этой мелодией и разбереженная словами старой странницы, закрыв лицо ладонями, плакала.

Старуха няня между тем рассаживала гостей по лавкам, тянувшимся вдоль всей галереи. Сошлась и челядь гетманская, бабы и пахолята. Разом нанесли жбаны квасов, медов и тут же на галерее стали накрывать стол, чтобы угощать дорогих гостей.

После неожиданного взрыва слез Брюховецкая успокоилась. Она подходила ко всем и со всеми здоровалась. Странницу-черничку, как особу, по-видимому,

бывалую, она расспрашивала о своих бесчисленных родных, Долгоруких, Ртищевых, Морозовой и Урусовой, об Аввакуме и о том, что делалось «на верху», при дворе. В то время, когда правильной почты не существовало, когда гонцы с грамотами и отписками посылались в два-три месяца, а иногда и в полгода раз, когда ни телеграфов, ни газет не существовало, известия из одного края в другой передавались устно, через странников и торговых людей, и человек, заброшенный куда-либо вдаль от родного места, чувствовал, что он действительно «на чужой дальней стороне», а чужа дальня сторона горем горожена, слезами поливана, тоскою-кручиною изнасеяна...

— А уж Морозову-боярыню, Федосеюшку свет Прокопьевну, и узнать нельзя, таково свято житие ее стало,— говорила словоохотливая черница, которую звали сестрою Акинфеею (она была из богатого дворянского рода Даниловых; но поэтическая натура увела ее из родительского дому, и она сделалась странницей).— Уж она ноне, отай от всех и от царицы, на теле своем власяницу носит, а дом-от ее полон людей божиих, нищих, пустынничков, юродивых, странничков, бездомных; всем-то она своими руками служит, гнойные их язвы омывает, сама их кормит и ест из одной с ними чаши,— не брезгует матушка... Утром, чуть свет, помолясь истово, она уже на ногах: то суд творит своим домочадцам да вотчинным деревенским людям, да все по-божьему, милостиво, то поучает их от Писания, а там, родная моя, за прялку сядет, сама прядет и сама рубахи да порты шьет, и вечером, соймя платье цветное, боярское, взденет на себя рубище, да и пошла бродить по Москве, по дальним закоулочкам, где бедность, матушка, гнездо свила, да по темным темницам, и всех-то жалует: кому рубаху, кому деньги, кому и иное одеяние, а то и рубь, и десять рублев, а то и мешок сотный при случае. Узнает ли кого на правеже, с правежу выкупает, на кого падет гнев царский, из опалы того выручает, святая душа... И отец Аввакум, бывало, не нахвалится ею: «Такой у меня дочери и не бывало: единое,— говорит,— красное солнышко на небе, единое красное солнышко и на Москве Федосеюшка свет Прокопьевна».

Сестра Акинфея, увлекшись рассказом, совсем преобразилась. Запыленное и загорелое лицо похорошело, живые серые глаза почернели как-то и были

прекрасны. Какой-то дебелый молодой парень, босой, с потрескавшимися от солнца и пыли ногами, с длинными, никогда не чесанными, рыжими волосами, с корявым веснушчатым лицом и добрыми детскими глазами, подошел к ней, сел у ее ног на пол и не спускал с нее глаз. Акинфея улыбнулась своими красивыми глазами:

— Ты что, Агапушка?— спросила она.

— Сказочку хочу послушать,— отвечал тот, глупо улыбаясь.

— Какую тебе сказочку?

— Вон ту, что ты ей (он указал пальцем на Брюховецкую) сказывала, святенькую сказочку... А меня Никон посохом побил за двуперстное сложение, «вот тебе,— говорит,— вот тебе!».— И юродивый парень расхохотался идиотским смехом.

Сидит зайчик пид липкою — очи тре:
Похваляются козаченьки бить мене...—

доносится с берега. Юродивый парень изумленно вслушивается.

— Ишь, какая хохлацкая служба, водосвятие,— бормочет он,— без попа поют.

Между тем молоденькие пахолята таскали на стол белые хлебы, кувшины с цветными питьями, ковши, солоницы; нанесли горы зеленых свежих огурцов, вяленой рыбы, пирогов.

Мимо двора, по дороге, гурьбой бежали хохлята. Они радостно подпрыгивали, размахивали руками.

— Казаки йдут! Татар везут!— слышались их звонкие голоса.

— Гетман! Гетман иде!

Брюховецкая встрепенулась и испуганно поглядела вдоль большой, тянувшейся в гору дороги. Она не ожидала так скоро своего мужа, и эта неожиданная весть, что он идет, и радовала, и пугала ее. Неужели поход кончен? Не может быть; он не надеялся так скоро вернуться. Притом же она замечала в последнее время, что он часто и долго о чем-то тайно совещался с своими полковниками, рассылал во все концы гонцов и, видимо, что-то таил от нее. Но она и не старалась проникнуть в его деловые тайны: на то он гетман, у него на плечах государево великое дело, так ей, бабе, не след соваться в него. Иногда у него как бы нечаянно стали прорываться сердитые замечания насчет Моск-

вы, насчет бояр и воевод... «А! Забирается бисова Москва, мов голодни вовки, в нашу отару!» — срывалось у него иногда с языка. Но жена не придавала этому большого значения: «Осерчал что-то Иванушка на бедную Москву... только, Бог даст, не надолго, отойдет его сердечко...»

Действительно, скоро показались толпы конных и пеших. Они поднимали невообразимую пыль по дороге. Слышались громкие голоса, смех, иногда выкрикивалось начало песни, которая тотчас же и обрывалась. Что-то недоброе слышалось в этих звуках: такой сумятицы при гетмане никогда не было слышно... Это не гетман едет... Нестройная толпа приближалась к гетманскому дому. Русальные песни замолкли, и толпы гулявшего народа, бабы с черепками и ковшами, дивчата в цветах и парубки с ветками любистка в руках или с люльками в зубах сыпнули навстречу двигавшейся толпе. Заходившее солнце освещало всю эту пеструю картину косыми лучами и кидало длинные тени впереди толпы.

Виднее всех выдавался казак в багряном, словно кровь, кармазине. Он размахивал саблей и кричал:

— Шкода москалям верховидити! Годи вже! Попогодували мы их своим тилом? Час им до дому!..

У Брюховецкой и руки, и ноги похолонули. Странники поднялись и смотрели то на яркий кармазин, то друг на дружку с недоумением и страхом.

В багряном кармазине Брюховецкая узнала Василька Многогришного, родного брата генерального асаула Демки Многогришного. Ни того ни другого она не любила за их пьяную необузданность и подслуживание, когда они трезвы.

— А! Пани боярыня! — злорадно воскликнул Василько, увидав Брюховецкую.— Идить, вельможно боярыня, стричати своего мужа, пана гетьмана боярина! Он вин пьяный лежит на вози, упився казацькою та мищанською кровью и головы не зведе...

Брюховецкая стояла, дрожа от ужаса. В толпе между тем раздавались и пьяные голоса, и испуганные крики, и отчаянный вопль. «От так голота! Повен виз бурякив наклала!» — «Ох, матинко! О-о! Ивашечку мий, о-о-о!» — «Гуляй, голота, поки штанив чертма!» — «Ой-ой! Ой лишечко! Кровь мертви забити!»

Показалась телега, запряженная волами. Чем ближе подъезжала телега, тем очевиднее становилось, что она

наполнена доверху мертвыми человеческими телами. Ярко и страшно кричали глазу черные пятна крови...

— Приймайте, пани боярыня, вашего мужа! Разбудить его, крепко заснув! Поцилуйте его кари очи, та черни брови, зараз прокинеться!— раздался пьяный, злой голос Василька.

Брюховецкая ринулась к телеге, протягивая вперед руки, как безумная. Телега остановилась. Брюховецкая, добежав до телеги, ухватилась рукой за высокую перегородку и, казалось, застыла. На телеге, поверх обезображенных трупов — то была побитая голотою, по подстрекательству Дорошенка, левобережная старшина — лежал, откинувшись навзничь, гетман Брюховецкий. Он был в одной только окровавленной и исполосованной в клочки рубашке: голота раздела его донага... На широкой, поросшей черными волосами груди блестел обрызганный кровью золотой крест... Виднелись голые подошвы мертвых ног, перебитые дубьем колени, пробитые бока и обезображенное лицо, с выскочившим из орбиты и висевшим на щеке левым глазом... И брови, и усы остались целы...

Эти-то брови и усы и увидела несчастная жена его и, казалось, внимательно рассматривала их... В одно мгновенье безумная, пораженная ужасом мысль ее перенеслась в Москву, в Кремль, и она увидела, как тогда, в первый раз из-за тафты каретного окна, и эти длинные усы, и эти черные дугой брови... но только тогда под бровями были глаза... а теперь их нет... вон один висит на щеке... Москва... Кремль...

Из груди ее вылетел глухой стон как бы сквозь крепко сжатые зубы, и несчастная женщина грохнулась наземь, взмахнув руками, как крыльями...

— О, Господи! О-ох! — кто-то крикнул сзади.

— У-у! Та и гаспидськи ж нижки! От ноги! Мов у дитинки таки маленьки, ув одну жменю заберешь! — дивился пьяный голос маленьким ножкам, выглядывавшим из-под юбки упавшей на землю боярыни...

XVII. КАЗНЬ СТЕНЬКИ РАЗИНА

Прошло три года. Многое из того, что было три года назад, было забыто или вспоминалось с меньшей остротой памяти и чувства: острые боли утраты или разбитых надежд заменились тихой грустью воспоминаний; радость замела собой старые

следы горя; новое горе потемнило некогда яркую, светлую радость, смерть заменила жизнь; новая жизнь стала на то место, где еще недавно стояла смерть со всеми ее ужасами. А в общем, мир божий был все тот же: все то же было небо голубое, так же светило солнышко, так же зеленела зелень, пели птицы, колосилась рожь, как и тогда, когда молодая боярыня Брюховецкая ждала из похода своего Иванушку. И Москва осталась все та же, как и весь остальной божий мир. Вон она, и старое, и малое, сапог и лапоть, кафтан и сермяга, стремится куда-то за город, за Рогожскую заставу. Вероятно, встречать кого-нибудь? Уж не Никона ли? Нет, его надо было бы ждать не с полудня, а с полуночи: он где-то там в заточении, у Бела-озера. Не Аввакума ли? Нет, он еще полуночнее. А может, нового гетмана на место убитого? Нет, говорят, что донские казаки везут воровского атамана, самого́ страшного Стеньку Разина. Москве радость — новое зрелище.

Выступил за Рогожскую заставу и отряд стрельцов. Впереди отряда шел стрелецкий сотник, тот самый, к которому пять лет назад, во время свирепых морозов, в день суда над Никоном, упал на шапку мертвый голубь: это был ражий мужчина со шрамом через всю щеку, полученным им от литовской сабли, вязьмитин Ондрейко Поджабрин. Стрельцы должны были встретить ужасного гостя, имя которого прошло трепетом через всю русскую землю. За стрельцами громыхала коваными колесами и звенела цепями необыкновенная телега, вся выкрашенная черной краской, с возвышавшейся на месте сиденья высокой черной виселицей. Далеко из-за народа виднелась эта подвижная молодецкая «изба не мшоная и не вершоная», и далеко слышно было резкое погромыхивание цепей, ввинченных в столбы виселицы и в ее толстую перекладину. По бокам телеги шло шестеро палачей с блестящими широкими топорами на плечах, по три палача с каждой стороны. Рукава красных рубах их были засучены на мускулистых, словно из плетеных жил, руках, вверх за локти.

Когда стрельцы расчистили впереди телеги скучившиеся вдоль дороги толпы народа, то невдалеке показался отряд всадников в высоких с вылетами из красного сукна курпейчатых шапках, с пиками в руках

и винтовками и стрелами за плечами. И они также конвоировали телегу; только их телега была не пустая: в ней сидели рядом два человека, скованные по рукам и по ногам и, сверх того, прикованные толстыми цепями к краям телеги. Они были похожи друг на друга, как два родные брата, только у старшего, более плечистого и в окладистой бороде с яркой проседью, глаза были невиданные: они, казалось, не были ни свирепы, ни дерзки, но необыкновенно спокойны, а между тем, когда они глядели на человека, то человек невольно пятился от них, а собаки от взгляда этих глаз визжали, как от неожиданного удара палкой. На нем было богатое с золотым шитьем платье, хотя прообтертое цепями, а местами запачканное и разорванное. Другой был одет проще.

Обе телеги остановились одна против другой. Стрелецкий сотник подошел к сопровождавшему вторую телегу богато одетому казацкому атаману и проговорил:

— По указу великого государя, вору, злодею и изменнику Стеньке прислана позорная колесница, на чем ему, вору Стеньке, в Москву въехать.

Он глянул на сидевших в телеге арестантов и с дрожью попятился назад. Он узнал ужасные глаза: это были те глаза, глаза неведомого казака, которого он, Ондрейко Поджабрин, шесть или семь лет тому назад видел выходившим из кельи Никона патриарха в Воскресенском монастыре, «буркалы», еще и тогда необыкновенно поразившие Ондрейку. Как будто огонь прошел по нем и холод разом, и волосы под шапкой зашевелились. «Так вот кто это был у Никона... вот с кем этот еретик водился... так вот откуда и три персты!» Эти мысли ожгли Ондрейку, он растерялся.

Между тем палачи при помощи казаков расковали железа, которыми прикованы были к телеге Стенька с братом Фролкою, сорвали с них цветное золотное платье и надели на них гуньки кабацкие, оборванные и грязные. Стенька своими спокойными глазищами оглядывал толпу, которая со страхом пятилась назад, давя друг дружку и открещиваясь: «Чур-чур! С нами крестная сила». Фролка смотрел потерянно и грустно своими добрыми глазами.

— Эй, Фролка! Не будь бабою! — ободрял его Стенька.— Вон как нас почестно встречают: самые большие бояре вышли посмотреть на нас.

Толпа, действительно, была разнообразная, словно на водосвятии. Виднелись и богатые одежды на зрителях. На лицах их было что-то непередаваемое: то выражение, какое придает лицу человека ужас, смешанный с удивлением. Где-то закричал ребенок: это он встретился со взглядом Разина. Стенька свободно и быстро взошел на московскую телегу и, стоя на ней и увидав пролетевшую с испугом ворону, закричал так, что все дрогнули:

— Эй, божья птичка! Прилети ужо ко мне в гости, моего мясца поесть... А я боярского мясца поел гораздо.

Палачи обвили вокруг его воловьей шеи огорлие цепи, спускавшейся с перекладины виселицы, и замкнули это огорлие огромным висячим замком. Стенька потешался над этой ужасной церемонией.

— Эко честь какая: золоту гривну мне на шею повесили,— говорил он, потрясая замком.

Руки и ноги его палачи приковали особыми цепями к краям телеги и к столбам виселицы, так что он стоял как бы распятый. Стенька чихнул...

— Будь здоров! — послышалось в толпе несколько приветствий.

Стенька улыбнулся и повел глазами по толпе.

— Утри нос! — сказал он палачу.

Палач повиновался и рукавом рубахи утер нос страшному арестанту. На шею Фролки также надели цепь с огорлием и замком и приковали к боку телеги.

— Али он собака? — сердито спросил Стенька, а потом, оборотясь к брату, прибавил: — То-то, Фролушко, я говорил тебе, надо было больше делать, чтобы быть в чести, как я вот.

Московская телега, звеня цепями, поворотилась передом к Москве и тронулась. Фролка шел, низко опустив голову, как бы считая последние шаги, которые он должен сделать на этой земле, далеко от своего родимого Дона. Он казался необыкновенно жалким с его кротким, убитым видом. Многие бабы, глядя на него, утирали слезы рукавами и тихонько молились за него. Черничка Акинфея, шедшая тут же в толпе, глядя на энергичное лицо Разина, почему-то вспомнила своего света Аввакумушку и прониклась сама страстным желанием «пострадать», перенести всевозможные муки, вот так, как переносит этот распятый цепями под виселицею. И она, глубоко впечатлительная и страстная, молилась за него.

По бокам телеги шли стрельцы. Что-то большее, чем покорность службе, было написано на их лицах. А Ондрейко Поджабрин тревожно думал что-то и по временам встряхивал головой, как бы силясь отрясти с своих густых волос неотвязчивую мысль. За стрельцами следовали казаки, дивуясь на златоглавые маковки церквей.

— Здравствуй, матушка Москва — золотые маковки! — неожиданно крикнул Стенька.— Не так я думал вступить в тебя, так не пришлось... эх!

Чем дальше эта необыкновенная телега следовала по улицам Москвы, тем больше высыпало на улицы народу, которому издали виднелась высившаяся между двух столбов виселицы фигура страшного человека.

Телега проезжала мимо богатого дома Морозовой. Стенька глянул на окна, и глаза его встретились с чьими-то прекрасными и светлыми, как у ребенка, глазами... Ему показалось, что это глядит на него та его первая полюбовница, персидская княжна, красавица дочь астрабадского хана Менды, которую он в припадке бешеного безумия утопил в Волге. Сердце Стеньки первый раз в жизни заныло жгучей тоской по той, которую он любил и с которой одной он находил счастье, вообще ему неизвестное в жизни; что-то вроде слез блеснуло в его глазах... Он снова глянул на окна: белая рука крестила его, а светлые детские глаза плакали от страстного умиления... Это была Морозова; ее возбужденная страстью душа умилялась видом страданий и мучений, к которым она тайно подготовляла себя, к подвигу, к венцу своей жизни...

Стенька долго оглядывался на ее дом... Сердце его колотилось и точно таяло под теплыми лучами солнца: ему разом стало жаль погубленную жизнь. Брошенный на него взгляд доброты, слезы сожаления неведомой женщины, крестящая его белая рука, образ той, которую он одну любил в жизни и сам же погубил, пробудили в нем желание жизни, счастья, добра... Поздно! Он угрюмо поник головою.

Но с этой минуты он замолчал, крепко стиснув свои мощные, как у волка, челюсти.

Когда его подвезли к земскому приказу и сняли с телеги, он молчал. Ввели в приказ, поставили перед боярами и дьяками — молчит. Алмаз Иванов стал его допрашивать — молчит, глянул только на Алмаза своими странными глазами, которые показались Алмазу

добрыми и грустными... «Это не он,— шевельнулось в душе Алмаза Иванова,— на него наклепали, это честные, добрые глаза, не чета Никоновым...» В этот момент Разин действительно был и добр, и честен: могущество доброты той, которая из окна перекрестила его буйную, кровавую душу, переродило эту душу в такую, какой она была когда-то, когда Стенька в Соловках молился о страждущих, голодных, обиженных...

Что ни спрашивали у него, молчит... Он думал о той, которая крестила его.

Повели в застенок, к пыткам. Что же делать, когда он молчит?

Стеньке сыромятным ремнем связали назад руки; палачи страшно скрутили их. Потом таким же ремнем связали ноги. Рубаха была сорвана с него. Подвесили за руки к крюку, вбитому в невысокий потолок свода застенка. Один палач тянул за ремень, которым были связаны ноги, а другой бил по спине толстой, жесткой, как железо, с острыми краями ременной полосой в пять локтей... Кнут стегал по голой спине медленно, с полного размаху; руки в плечах выскочили из суставов, хряснули, вздулись под мышками... Каждый удар оставлял на спине багровую полосу. С следующими ударами кожа трескалась, отставала от тела, лохмоты ее приставали к кнуту, отлетали к потолку, падали на цветное платье бояр, на бумагу, которую держал в дрожащих руках Алмаз Иванов, и кровавили собою все... Бояре и дьяк пятились, с ужасом переглядываясь и видя, как багровели от натуги лица палачей, как со спины повешенного струилась на пол застенка кровь... А он все молчит! Хоть бы стон!

Долго полосовал кнут живое мясо. Первый десяток ударов отсчитал дьяк и записал — молчит. Второй десяток отсчитал и записал дрожащей рукою — молчит... Третий, четвертый, пятый, рука отказывается служить, перо не попадает в чернильницу... Еще десяток, еще... Хоть бы звук, только зубы скрипнули... Восьмой десяток, девятый... Фу-ты, дьявол! — не выдерживают бояре...

— Винись! Сказывай вины свои! — кричит Алмаз Иванов, дрожа всем телом.

Молчит, ни звука.

Принесли саженную чугунную плиту, на которой пламенели от перебегающего по ним огонька раскаленные дубовые уголья, и положили под вис-

кой. Стеньку спустили с крюка, как кровавое паникадило, с которого, вместо тающего воска, капала багровая кровь, и положили животом прямо на уголья. Зашкварчала кровь, падая со спины на уголья, зачадило жареным мясом, зашипели притухающие от крови угли... чад кругом, в глазах у бояр зеленеет. А его все жарят, как барана на вертеле, экой шашлык!

— Винись, дьявол! — падает в изнеможении на скамью Алмаз Иванов.

Нет, молчит!.. Пытающих бояр треплет лихорадка... С палачей пот градом катится... Фролка, упав наземь, стучит лбом об пол, молится... А Стенька все молчит... Перед ним мелькает крестящая его из окна белая рука...

— Полосу! — кричат палачи.— А то заживо изжарим, не пикнет дьявол...

Внесли раскаленную добела шину с железными на конце пальцами, от которых отделялись красные искры. Железной раскаленной пятерней стали водить по избитым и изожженным членам... Шкварчит запекающееся, как оладье на сковородке, почерневшее, поджарившееся тело... А он все молчит!

— Будет! — невольно крикнул Алмаз Иванов, очнувшийся от обморока.— Это не человек, сатана!

Стеньку сняли с жаровни, развязали ремни на руках и на ногах. Он встал, выпрямился во весь рост, потянулся, глянул на палачей и на бояр, тряхнул своими могучими плечами, и вывихнутые в плечах руки сами вправились в свои суставы.

Потянули Фролку на дыбу. Тот не вынес мучений. Раздались вопли.

— Экая ты баба! — в первый раз проговорил Стенька.— Вспомни-ко наше прежнее житье... Проживали мы со славою, повелевали тысячами людей, надо же и теперь вынести... Али это больно! Эх, словно баба иглой колет.

Зазвенели ножницы! Стригут Стеньку, не стригут, а рвут с телом. А там стали брить макушку тупой бритвой. Стенька тешится, глядя на палачей, у которых дрожат руки и ноги.

— Вона как! Слыхали мы, что ученых людей в попы постригают, а мы с тобою, брат, неучи, простяки, ан и нас постригают...

Но когда стали капать на темя из ковша со льдом холодной водой, Стенька опять смолк. Мучительно

долго капали. Этой адской муки никто в мире не выносил, не выносит: от этой муки здоровые с ума сходят, к бешеным возвращается разум... А Стенька вытерпел и это. Он только так стиснул челюсти, что хряснуло во рту, не выдержали здоровые, как у лошадей, зубы, и он выплюнул их на пол с пеной и кровью...

— Не понадобятся уж больше, к черту зубы!

Даже палачи ахнули... Вся вода вышла, всю вылили на бритое темя: а он как ни в чем, смеется...

Нет, и сатана этого не вынесет, убеждаются бояре. Осталось у Стеньки одно место целое, не избитое и неизожженное — подошвы. Стали бить по ногам палками.

— Куйте, дьяволы, крепче! — кричит Стенька.— Далекая мне дорога выпала, на тот свет... Куй крепче! Подковывай!

Его бросили.

. . . .

Ночь. Южный, теплый, но порывистый ветер шумит вершинами лип, густо и широко разросшихся в прилегающем к земскому приказу, с тыльной стороны, давно запущенном саду. В ночном, обманчивом полусвете, каким отличаются северные июльские ночи, деревья кажутся какими-то великанами, которые машут множеством рук и пугают робкое воображение. Несмотря на ветер, в воздухе марит, как перед грозой, и сонную Москву только изредка оглашает то пение петуха, то ленивый лай собаки.

— Славен город Москва! — проносится в воздухе оклик часового.

— Славен город Новгород! — отвечает ему другой оклик с другого конца.

Вдоль стен земского приказа двигаются человеческие тени. Очертания их неясны, как и все в эту полумрачную, полуясную ночь; но можно различить, что две тени женские, а одна мужская.

— Я сама видела, Ондреюшко, что на нем нет креста,— тихо говорил женский нежный голос,— так мы вот с сестрой Акинфеюшкой и принесли ему святой крестец, да сорочечку чистенькую, да порты... Да мы же, друг Ондреюшка, по заповеди отца нашего духовного, блаженного протопопа Аввакума, хотим ему, узничку-то, утешение духовное преподать, по слову Христа Спасителя: «Заключенных посетите...»

— Ох, матушка боярыня, и Богом бы рад пустить

вас к нему, потому как мы сами отца Аввакума заповедь блюдем о двух перстах неуклонно, только, ей-же-Богу, к этому-то самому колоднику я вас пустить не смею, видит Бог, не могу никоими меры, потому сам крест целовал под тяжкою клятвою, и ломать крестное целованье сохрани меня Бог!

Это отвечал мужской голос. Он, видимо, хотел убедить просительниц в невозможности исполнения того, о чем они просят.

— Христом Богом заклинаю тебя, Ондреюшко, друг! — еще настойчивее умолял женский голос.— Пропусти нас на малый часок... Сам с нами поди, голубчик, тебе это можно.

— Матушка! Богом прошу, не смущай меня! — отчаянно защищался мужской голос.— Ты сама ведаешь, золотая моя боярыня, что, коли можно было, я тебя везде пущал, и к отцу Аввакуму, когда он был в тюрьме, и к Феде юродивому... А к этому не могу, Богом клянусь, не могу!.. Я сам утречком передам ему все, что ты принесла, а пустить к нему — ни Боже мой!

В это время из нижнего окна приказа, из-за железной с острыми зубьями решетки, послышалось тихое пение. Мелодия этой неожиданной песни и голос ночного певца в мрачной темнице душу пронизывали болью и жалостью. Шедшие у стены остановились как вкопанные. Сильный грудной голос пел, сливаясь с порывами ветра, бушевавшего на вершинах столетних лип:

Не шуми ты, мати, зеленя дубравушка,
Не мешай мне, добру молодцу, думу думати...

Невидимый певец пел протяжно, заунывно, делая продолжительные голосовые роздыхи на антистрофах, как бы вдумываясь во внушительный смысл того, что пелось. В иных местах голос плакал, и впечатление выходило потрясающее.

— Славен город Синбирской! — издали доносился сонный окрик.

— Славен город Кострома! — отвечали издали еще слабее.

А песня невидимого певца все больше и больше плакала под завыванья ветра.

— Это он поет,— опять слышится тихий мужской голос.

— Он!.. Ох, силы святые! — стонет женский го-

лос.— Пусти нас, Ондреюшко! Кровью Господа заклинаю тебя! Ему молитва нужна, а не песня.

А песня все плакала: выплакивались последние слова.

— О-о-ох! Господи всесильный! Спаси его! — вскрикнула Морозова (это была она в одежде чернички) и, бросившись к окну с решеткой, упала на колени, поднимая руки к небу.

Песня мгновенно оборвалась. В окно выглянуло бледное лицо, это было лицо Разина.

Морозова рыдала, глядя на доброе, как ей казалось, грустное лицо Стеньки.

. . . .

Утро. Ветер утих. Висевшие всю ночь над Москвою тучи отогнало на запад, и они стояли там неподвижно, сплошной стеною, резко отделяясь от земли всхолмленною линией горизонта. Они казались еще сумрачнее оттого, что из-за восточного горизонта давно выплыло солнце и лило растопленным червонным золотом и на вершины ближнего леса, и на золотые маковки церквей, и на восточные откосы Воробьевых гор.

Москва рано проснулась, чтоб не проспать зрелища, которое ей предстояло. Накануне на всех базарах было оповещено, что наутро будут четвертовать воровского атамана Степана Тимофеича Разина с его братом родным, с Фролкою. Как же не взглянуть и не полюбоваться таким редким зрелищем, как четвертование! Иной отродясь не видал такого дива. Много раз видывали, как и вешали людей, как и головы их рубят, как и на срубе жгут. Да это что! Это очень просто, и ничего занятного тут нет: вздернут на веревке кверху, подрягал он маленько ногами, и готово; али хватят топором по шее, голова прочь, кровь как из вола, лупанул раза два глазами, и баст; ну, и на срубе тоже не находка, за огнем да дымом почти ничего не видать, пустое! Какая это казнь! То ли дело четвертовать молодца! Любо-дорого... Сначала это топориком по левой рученьке тюк! Рука прочь. А там братцы, по правой ноженьке топориком хвать, нога прочь! По левой, шалишь! И левой нету; правая одна осталась: «Крестись-де, раб божий, правой рукой в последний раз, да крестись истово, двумя персты!» Крестится... Тяп! И последняя отскочила... А уж там буйну голову... Вот это, братцы, так казния, разлюбезное дело!

Так рассуждали молодцы из Охотного ряда, лавой привалившие на Красную площадь.

Красная площадь была залита народом, по которому как бы перекатывались волны говора и ропота. Говорили о предстоящей казни. Особенно поразила москвичей весть, облетевшая Москву вслед за привозом Разина, весть о том, что воровской атаман Стенька, погромивший всю Волгу, Астрахань, Царицын, Саратов и Симбирск, громивший и берега Хвалынского моря, и саму персидскую землю, что этот Стенька находился в сношениях с Никоном патриархом. Весть эта как громом поразила Москву. Стрелецкий сотник Ондрейка Поджабрин божился и образ со стены снимал в том, что он сам, своими глазами, видел этого Стеньку лет шесть-семь тому назад в Воскресенском монастыре, в образной келье самого Никона, и Никон благословлял его, называл своим «сыном». Ондрейке потому это особенно осталось памятным, что он поражен был необыкновенными глазами Стеньки, такие глаза, какие он видел на Страшном суде у Андронья, у эфиопов рисуют: белки с голубиное яйцо. Еще тогда Ондрейко не вытерпел и сказал: «Эки буркалищи!»

— Так вон он каков, Никонишко-т! Вот откедова троеперстное-то сложение: эфиопское оно дело: воровское! Прав был Аввакум, помоги ему Бог и спаси его,— говорил Охотный ряд.

— Чего не прав! Вон он у меня, у снохи Афимьи, беса крестом двуперстным выгнал... Бил ее бес гораздо, кои годы мучил ее: ударит это ее о земь, омертвеет вся, яко камень станет: руки, ноги размечет ей, и лежит она яко мертва. Так вот, братец ты мой, Аввакум возьми да и проговори над ней «О всепетую», да кадилом это, да крест-от и сотвори ей на голове двумя персты; голова-то и свободна стала; глянула баба, а вся мертва. Он дале: по рукам перстами провел, руки свободны стали; по животу провел, Афимья села; чудо, да и только; а ноги еще каменные у ней... Он и ноги ей, икры и голяшки, перстами погладил; вся Афимья встала! Мы так и ахнули! А она показывает на окно. «Бес,— говорит,— во образе мухи на окошке сидит и лапками перебирает». Он к окну, бес на печку, жужжит, что муха. Аввакум за ним, он в окошко, дьяволов сын, и исчезе яко дым.

— Везут! Везут!

Из-за сплошной массы голов показалось что-то

длинное, высокое, качающееся. Это был громадный черный покой, гигантская буква церковнославянской азбуки, изображавшая виселицу. Под виселицей, в средине этой страшной деревянной буквы, виднелась стриженая голова и лицо с эфиопскими белками в голубиное яйцо. От шеи тянулась цепь к перекладине виселицы, к вершине покоя. Скоро показался и весь человек, стоявший на черной телеге и прикованный к вделанной в телегу виселице. Это был Разин. Фролка, как и прежде, словно корова, был прикован к боку телеги и шел, понуря голову. Стенька, напротив, смотрел на толпу своими эфиопскими, как казалось сотнику Ондрейке, глазами. На нем была чистая белая рубаха, подарок Морозовой. На груди блестел большой золотой крест на голубой ленте: лента эта была в девичьей косе Морозовой в то время, когда ее в последний раз чесали к венцу девушки-подруженьки и пели, надрываясь от слез, вместе с невестой:

Не трубынька трубила рано на зоре —
Федосеюшка плакала слезно по косе:
Свет ты, моя косынька, мелко-трубчата, узорчата.
Вечор мою косыньку девушки плели...

Большие глаза Стеньки, видимо, искали кого-то в толпе, и это-то искание наводило ужас на близстоящих: все, как овцы, шарахались от волка и жались, стараясь спрятать свои глаза от страшных глаз атамана. А они были совсем не страшны, напротив, сам он был бледен и задумчив, а глаза смотрели грустно, напрасно ища кого-то в сплошной массе голов. Толпа дышала усиленно, как одна грудь.

Черная телега, окруженная стрельцами, дрогнула и остановилась у самого Лобного места. Зазвенели цепи и смолкли. Сотник Ондрейко сделал знак, и стрельцы вместе с палачами расковали арестантов и Стеньку свели с телеги. Он молчал. Сотник задрожал, когда, пропуская мимо себя Разина к Лобному месту, встретился с его глазами. Впереди Стеньки шел главный кат, низенький, с маленькой головой, но необыкновенно коренастый мужчина, с широкими, почти без выгибов плечами, несколько с сутуловатой, с широчайшими лопатками спиной и с толстыми, как сучковатые бревна, руками. Корявые, с ногтями крепости лошади-

ных копыт, пальцы, казалось, совсем не сгибались по своей жесткости. Рукава красной рубахи были засучены выше локтей и обнаруживали нечеловеческие мускулы. На плече у него блестел широкий с дугообразным основанием треугольник: то был роковой топор. Рядом со Стенькой и Фролкой всходили на Лобное место пять других палачей, сподручников главного московского ката. Стрельцы стали вокруг Лобного места сплошной цепью, между которой и местом казни оставалась свободная площадь с вбитыми в разных местах островерхими кольями и игравшими на ней собаками, которые вместе с палачами всегда бегали из острога на места казни, в ожидании добычи. Стрельцы не отгоняли собак, это были казенные псы, принадлежащие острогу.

На Лобном месте уже находились власти, думный дьяк Алмаз Иванов и дьяк разбойного приказа. У последнего дьяка в руках дрожала бумага.

Стенька стал прямо, снова повел глазами по толпе и как бы с досадой тряхнул головой.

Дьяк дрожащим голосом стал вычитывать «несказанные и несостижимые вины» Стеньки. Стенька слушал, и по временам лицо его говорило: «Не то, не то... Эх, кабы все они знали!..» На лоб к нему села муха, он ее согнал досадливо и как-то странно улыбнулся.

Все «вины» вычитаны... Дьяк отошел... Подошел главный кат...

Стенька повернулся лицом к востоку и стал молиться... По толпе прошел ропот радостного удивления.

— Он истово крестится, двумя персты... О-о! У-у-у!

Сотник Ондрейко глядел недоумевающими глазами.

Помолившись, Стенька кланялся на все четыре стороны... Выбритая маковка зловеще белела...

— Простите, православные, в чем согрубил вам. Простите!

— Бог простит! Бог простит!

Палачи обступили Стеньку, намереваясь брать его. Главный кат не двигался, сверкая только лезвием широкого топора. Стенька движением глаз остановил палачей и сделал шаг к главному кату.

— Побратаемся, добрый человек,— глухо сказал он.— Прими меня за брата перед смертью: поменяемся крестами.

И он, сняв с себя золотой крест, подал его кату. Последний оторопел было, отшатнулся назад,

но скоро пришел в себя, перенес топор в левую руку и на левое плечо, поцеловал его, снял с своей воловьей шеи медный крестик, подал его Стеньке, а вместо своего надел Стенькин. Стенька сделал то же, перекрестился, поцеловал крестик и надел на себя. Все смотрели на эту сцену с глубоким изумлением. Многие крестились... «Господи! Что ж это!..»

— Поцелуемся теперь, брат, простимся.

Они поцеловались, обхватив друг друга жилистыми руками. Топор блеснул над головой Стеньки, многие ахнули, думали — конец... Нет, Стенька обратился к брату Фролке и также обнял его. Фролка плакал и испуганно крестился.

Стенька огляделся кругом. К правому краю Лобного места примощен был толстый дощатый помост, род кровати. Стенька догадался, что это его смертная кровать. Он сам подошел к ней, влез на доски, расстегнул ворот рубахи и лег плашмя так, что бородой опирался на край этого ужасного ложа. Глаза его опять глянули на толпу; по толпе прошел трепет от этого взгляда. Между тем палачи подняли толстую дубовую доску, положили ее на спину Стеньке, поперек спины, так что и широкие плечи его были видны, и руки и ноги оставались свободны, а сами сели на концы доски, по два палача на тот и другой конец. Лицо Стеньки, до того бледное, побагровело. Глаза налились кровью.

— Руби левую руку! — хрипло сказал Алмаз Иванов главному кату.

Тот не двигался, безмолвно шевеля побледневшими губами.

— Руби! — повторил Алмаз.

— Не буду рубить! Он мой брат! — мрачно отвечал кат и бросил топор.

Лязг топора заставил вздрогнуть и толпу, и палачей. Алмаз Иванов растерялся было, но тотчас же опомнился.

— Возьми ты топор, руби! — еще более хрипло сказал он подручному палачу.

Тот нагнулся, поднял топор, обхватил конец топорища обеими руками, предварительно поплевав на ладони, широко расставил ноги, как бы собираясь рубить толстое бревно, и занес топор высоко за голову.

— Гись! — проревел он, и левая рука Стеньки от-

летела, стукнулась об пол, сжала пальцы, снова разжала их и застыла.

Со стороны Стеньки хоть бы стон, хоть бы движение лицевых мускулов, ничего не бывало! Глаза продолжали смотреть на толпу, ища кого-то.

Палач зашел с другой стороны, нацелился, натужился... «Руби!»

— Гись! — и правая нога отлетела.

А глаза все смотрят на толпу; только губы, захватив клок бороды, крепко сжались... В толпе мертвая тишина. Не вынес этого вида Фролка...

— Я знаю слово и дело государево! — болезненно, истерически выкрикнул он.

— Молчи, собака,— остановил его Стенька, выпустив из сжатых губ клок бороды.

Но вдруг глаза его вспыхнули, и лицо преобразилось счастьем. В толпе он увидел ее, то светлое видение, которое крестило его из окна в день въезда в Москву, а ночью приходило под окно его тюрьмы с крестом и белой сорочкой. Она глядела на него, осеняя крестом, и плакала... Сам он уже не мог перекреститься, нечем было...

— Прощайте, православные! — крикнул он на всю площадь; и дрогнула площадь.— Прощай, святая душа! Я еще приду к вам, помните меня, я...

Он не договорил. Голова его отскочила от туловища и глухо стукнулась лбом о помост. Гул прошел по площади. Руки поднимались вверх и торопливо крестились...

— О, Боже, Всесильный и Вечный! Сподоби мя таковых же мучений Тебя ради,— страстно шептала Морозова, стоя в толпе, рядом с сестрою Акинфеею, в одежде черницы.

А там палач рубит мертвое тело Стеньки на куски, как в мясницкой рубят воловью тушу, а подручники втыкали эти кровавые куски на колья... Голова взоткнута была на самый высокий кол и продолжала смотреть на площадь своими эфиопскими глазами...

XVIII. МОРОЗОВА ВСТУПАЕТ В БОРЬБУ

Возвращаясь домой от Лобного места, Морозова, казалось, ничего не помнила, ничего не видела, кроме этих больших, добрых глаз, которые глянули на нее

с эшафота и так и залили, казалось, всю ее теплом и радостной, благодарной лаской... И этих глаз уже нет! Они закрылись навеки под тенью пасмурных бровей и спадавших на мертвый лоб клочков волос, оставшихся необритыми... Она видела на колу эту голову с выражением глубокой думы на лице, какое всегда покоится на лице мертвеца, словно бы он вдумывается в то, что свершилось, и созерцает глубокую тайну смерти; но глаз его она уже не видала... О! Зачем они закрыли эти глаза, в которых уже начинали теплиться искры добра и веры? Зачем они убили его? Зачем сделали ту же ошибку, какие и он делал в своей жизни? Разве Христос велел убивать?

— Вон она туда полетела... Ох! — бормотала она бессвязно, идя рядом с Акинфеюшкою.

— Кто полетел, сестрица?

— Ворона.

— Ох! Чтой-то ты!

— Она полетела его клевать... И глаза те выклюет... Ох!

— Полно-ка, сестрица!

— И мое тело клевать будет... да, склюет...

— Ох, и что с тобой! Спаси Бог, что верзится тебе!

— А не все ли равно, черви сгложут?

И то, что она сейчас с содроганием созерцала на Красной площади, вместо ужаса стало возбуждать в ней как бы соревнование... «Вон Аввакумушко радуется, в земляной темнице сидя, узами железными словно бы гривною золотою на шее позвякивает... А я-то! На лебяжьем пуху тело свое все холила...»

И в душе ее, как в мрачной туче, память молнией прорезала прошлое и нарисовала светлую картину девичества. Лебеди на пруду в рязанской вотчине... Она их кормит, а над головой кукует кукушка, и солнце, Боже мой! какое яркое да ласковое... А за лесом слышится охотничий рог и звонкое отбивание косарями притупившихся о высокую рожь кос... Федосьюшка идет на охотничий рог, думая, что это батюшка с поля возвращается, и вдруг на опушке не батюшка!.. Зарделась вся Федосьюшка... Это не батюшка, а тот молодой княжич... Ах, срам какой! Увидал ее... Срам! А на душе так светло... Не стало этого княжича: где-то в далекой Литве сложил свою буйную головушку... И его вороны склевали... А там замужество и терем, терем без конца...

— А вон Ванюшка змия пущает.
— Что ты, Акинфеюшка! Какова змия?
— А вон погляди-тко: высоко реет.
Морозова опомнилась. Оглядевшись кругом, она увидала, что она с Акинфеюшкой уже у ворот дома Морозовых. На одном из переходов, вверху, держась за балясины, стоял белокурый кудрявый мальчик в шелковой палевой рубашке с косым воротом и пускал большого бумажного змея на тонкой, длинной бечевке. Около него, задрав к небу лохматую голову, стоял Федя юродивый и веселыми глазами следил за полетом змея.
— Ах, мама! — закричал сверху мальчик, узнав Морозову, несмотря на ее одеяние чернички.— Мы Никона пущаем, гляди, как высоко.
— Какова Никона, дитятко? — удивилась Морозова.
— А змия-патриарха...
— Что ты мелешь, сынок?
— Правда, мама... Федя написал на змие Никона с тремя перстами, и мы его пущаем.
Морозова горько улыбнулась... Она снова увидела глаза с большими белками, глянувшие на нее с эшафота... и вздрогнула: ей виделось, как ворона выклевывает эти глаза, сидит на темени, нагибается ко лбу и клюет, клюет... И это были уже не его глаза, не Разина, а Аввакумовы... или это глаза княжича, что лежит на литовской земле и глядит на чужое небо мертвыми глазами, а ворона их долбит кровавым клювом...
— Ба-ба-ба, Прокопьевна! Али-су ноне святки? — раздался вдруг чей-то веселый голос.
Морозова снова вздрогнула и оглянулась: на двор въезжала богатая каптана, везомая прекрасными серыми конями, и из-за полога каптаны, отдернутого в сторону, выглядывало розовое полное лицо, опушенное белой бородой косицами и оживляемое маленькими карими глазами.
— Вот и черничкой обрядилась, а я тебя спознал,— продолжал улыбаться старик.
— Ах, дядюшка, добро пожаловать! — зарделась Морозова.
— Пожалую, пожалую... Ишь зарделась... А что хари не надела, по-святочному-то! А то без хари всякий тебя спознает.
Это был старик Ртищев. Он вышел из каптаны,

когда она остановилась у крыльца, и высадил из громоздкого экипажа свою дочь Аннушку. Челядь Морозовой запружала уже весь двор и крыльцо. Чернички, приживалки и разные божьи паразиты бросились целовать руки «свет боярыньки благодетельницы», как ни старалась эта последняя увернуться от божьих коровок и их лобзаний. Ртищеву, тоже своему «милостивцу», божьи козявки отвешивали не менее низкие поклоны, хотя не без некоего «сумленьица», боясь его издевочек.

— Что, бесприданницы Христовы, гораздо ли за нас грешних свово жениха-света молите? — шутил старик.

— Молимся, батюшка боярин,— бормотали чернички.

— А протопопу Аввакуму онучки вяжете?

— Где нам, батюшка боярин!

— А! И ты здесь, Акинфеюшка! — ласково заговорил старик, увидав приятельницу Морозовой.— А я чаю, ты уж в Ерусалим успела кукушечкой слетать.

— И то правда, батюшка Михайло Алексеевич, как есть сичас с Голгофы,— загадочно отвечала Акинфеюшка.

— Ой-ли-су! — удивился Ртищев.

— С самого Лобного места...

— А! Так видели злодея?

— Видели... Только злодей ноне уж не он живет! — снова был загадочный ответ.

Аннушка Ртищева ласково поздоровалась и расцеловалась и с Морозовой, и с Акинфеюшкой. Хозяйка ввела гостей в хоромы. Прибежал и юный Морозов, Ванюшка, в своей новенькой палевой рубашке и малиновых остроконечных сапожках золот-сафьян.

— Ах, дедушка! Как мой Никон высоко летает,— бросился он к старику Ртищеву, который очень баловал мальчика, единственного наследника богатого дома Морозовой.

— Никон? Какой Никон, колокольчик? — удивился старик.

— А патриарх, что тремя перстами молится,— прозвенел мальчик.

— Что ты, какую безлепицу звонишь, колокольчик? Где Никон патриарх летает? — еще более дивился старик.

— А на змие... Федюшка юродивый написал ево на змие, и мы ево пущаем... Так и гудит, у-у-у!

Ртищев сделал серьезное лицо и взглянул на Морозову. Та вспыхнула и поспешила уйти, пробор-

мотав: «Не осудите, гости дорогие, побегу, переоденусь...»

Ртищев немножко отстранил от себя мальчика, который смело гладил его серебряную бороду, и старался нахмурить свое улыбающееся лицо.

— Ну, колокольчик, тебе бы за Никона-то надо уши надрать, да добро, я с матушкой поговорю,— сказал старик.

Мальчик с улыбкой недоверия посмотрел на него. В лучистых глазах так и светилась избалованность.

— За уши, дедушка? Ну, нет, я не дамся...

Морозова все еще не выходила, и Ртищев, погрозив мальчику пальцем, обратился к Акинфее.

— Так вы точно ходили смотреть, как злодея Стеньку сказнили?

— Смотрели, батюшка Михайло Алексеевич,— был ответ.

— И вы не испужались?

— Чего пужаться? Ноне такие времена настали, что загодя научиться надо, как помирать... Мы и ходили учиться.

Старик посмотрел на нее недоумевающе и покачал головой. Молодая Ртищева, Аннушка, к которой подошел юный Морозов, играя волосами мальчика, обратилась к Акинфее.

— А какой он собой, этот Стенька, милая, страховит?

— Может, и был страховит, да не теперь,— отвечала Акинфея задумчиво.— Ноне не такие люди страшны... нет, не эти страшны.

— А какие же, по-твоему?— спросил старый Ртищев.

— А новые...

— Какие ж это такие новые, мать моя?

— А те, что новым богам молятся да на старую крепкую веру новые заплаты кладут... Эти, точно, страховиты: новые-те заплаты сдерутся скоро, да и старую крепкую веру, что поняву ветхую, продерут... Попомните мое слово!

— Охо-хо-хо! Да ты из горяченьких!— улыбнулся старик.— Вы все Аввакумами стали...

Вошла Морозова, по-прежнему смущенная и бледная. Сынишка бросился к ней и повис на шее.

— А мне дедушка хотел уши надрать,— говорил он, ласкаясь.

— За дело, чаю? — улыбнулась она нехотя, бросив мимолетный взгляд на старика.

Старик встал, подошел к молодой боярыне и ласково взял ее за подбородок. Он пристально посмотрел ей в смущенные, но оттого еще более прекрасные глаза.

— Послушай, Прокопьевна,— сказал он серьезно, но ласково,— мы к тебе не в гости, а по делу... Сядем рядком да поговорим ладком.

Он сел. Молодая хозяйка тоже села, но молчала, как бы обдумывая что-то... Нет, ей в ушах отдавалась какая-то печальная мелодия, звучал голос, который она слышала ныне ночью под окнами земской тюрьмы.

Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка...

Этот голос не умолк для нее, слова доселе не замерли, те, что она слышала. «Душу прободоша словеса оные»,— ныло у нее в мозгу...

— Вот что, мой друг,— сказал Ртищев медленно,— об тебе наверху речь была недавно...

Морозова вскинула на него свои глаза и тотчас же опустила, как бы испугавшись, что они слишком многое скажут.

— Царю ведома твоя жизнь,— продолжал старик.

Морозова молчала, нервно теребя рукою тонкую шитую ширинку... «Что им до меня! — думалось ей.— Что им душа моя и мои помыслы?» И ей вспомнились те дни из ее девичества, когда из Литвы пришли вести, что чернокудрый княжич, которого она встретила за лебединым прудом, не найден на ратном поле и что только конь его прибежал в стан, весь покрытый кровью и гремя порожним седлом и стременами, ржал всю ночь... И тогда ее спрашивали «что с тобой?», как и теперь нудят над ее душою... «Прободоша душу, прободоша»,— что-то говорило внутри ее...

Молча Ртищев взял ее за руку.

— Ты слушаешь меня? — спросил он.

Она встрепенулась, силясь отогнать от себя грезы наяву.

— Слушаю, дядюшка,— прошептала молодая женщина.

— Царь гневен на тебя... Дай токмо Господь здравия царице Марье Ильишне: она твоя заступница.

Окно на галерею было открыто, и в него видно было, как юродивый силился намотать на рогульку

бечевку, на которой взвивался бумажный змей, и несвязно бормотал: «Ишь Никонишко еретик! Не любо тебе на привязи-те быть... То-то! А нас с Аввакумушкой на цепи гноил!»

Юный Морозов через окно тоже вылез на галерею и присоединился к своему другу. Аннушка Ртищева, с улыбкой качая головой, шептала: «Вот дети!»

— Их же есть царствие Божие,— так же тихо подсказала ей Акинфеюшка, стоя у окна.

— А я тебе, Прокопьевна, по душе скажу, любя тебя как родную,— продолжал Ртищев,— не упрямствуй, не буди жестоковыйна, отстань от прелести Аввакумовой и последуй тому, что насадил в церкви нашей Никон... Хотя он и обнажен сана, токмо дело его осталося: Никоновы новые книги всею землею русскою приняты... Никон великий и премудрый учитель; так-то, Прокопьевна!

Старик снова взял ее за руку. Молодая боярыня, не поднимая головы, тихо качала ею.

— Поистине, дядюшка, вы прельщены, а не я,— задумчиво ответила она наконец,— хвалите такого врага Божия, отступника, и ублажаете книги его, насеянные римскими и всякими другими ересями. Нам, православным, следует отвращаться его книг и всех его нововведенных богомерзких преданий.

На галерее между тем к юному Морозову присоединился еще такой же мальчик, почти его ровесник, княжич Урусов. Ветерком на небо, дотоле ясное, нанесло облачко, и солнце спряталось за ним, согнав золотистые переливы с соседних кленовых и липовых кустов. С галереи уже доносились звонкие детские голоса:

Солнушко-солнушко!
Выглянь-ка в оконушко,
Твои детки плачут,
Пить-есть хочут...

Рядом с детскими голосами, совсем не в лад, дребезжал голос юродивого: «Твои детки плачут...»

— Выглянуло! Выглянуло! — снова зазвенели колокольчиками детские голоса.

— Ах, колокольчики! Колокольчики! — не вытерпел старик Ртищев.

А Морозовой не то слышалось. Из-за детских голосов до нее, казалось, доносилось что-то протяжное, душу надрывающее.

А дети не унимались — звенели:

Первенчики-другенчики,
Тринцы-волынцы,
Пята-мята,
Родивон — поди вон!

— Родивон! Родивон! — И они цеплялись за юродивого.

— Ах, Прокопьевна! Миленькая моя! — с чувством продолжал Ртищев, показывая на детей,— посмотри на виноград сей! Только бы нам радоваться, глядючи на них, да ликовать с тобою... Ан нет! Отлучилась ты от нас; рассечение между нами стало... раскол... раскололось надвое... Молю тебя: послушай меня, старого... Через мою старую голову, чу, их сколько, мыслей, прокатилося! Все перемешала и перемерила она в душе моей и в сердце и избрала истинное. Молю тебя, остави распрю: перекрестись тремя персты и не прекословь ни в чем великому государю и всем архиереям...

Морозова молчала, перебирая ширинку, Ртищеву казалось, что убеждения его действуют на непокорную.

Аннушка, видимо, находилась в страшном волнении; лицо ее горело пунцовыми пятнами, и она нетерпеливо переносила свои, готовые заплакать глаза то на Морозову, то на мелькавшие за окном детские головки, то на неподвижно сидевшую Акинфею.

— Что ж ты, миленькая, молчишь? Прокопьевна? А? — не отставал старик.— Знаю-су, прельстил и погубил тебя злейший враг, Аввакумишко... Ох уж мне имечко это! Гнушаюсь ноне и вспомнить его, так оно теперь ненавистно мне стало...

— Не так, дядюшка, не так! — горько улыбнулась Морозова.

— Как-су не так! — вскипятился старик.

— Не право твое увещание,— отвечала упрямица, обдав собеседника лучистом светом прекрасных глаз,— сладкое называешь горьким, а горькое сладким. Отец Аввакум есть истинный ученик Христов: не продал свою веру за блага мира сего. Тяжкими муками мучат его, а он ни на волос не уступил ничего из души своей. Тот токмо истинно верит, кто умирает за веру!.. О! Сподоби мя, Господи, умереть за мою веру!

Последние слова она произнесла страстно, почти выкрикнула их, так что дети на галерее захлопали

в ладоши от радости, а юродивый, словно кошка, вскочил в окно, упал на пол и поцеловал подол сарафана молодой боярыни...

— Ай да Федосеюшка! Слышишь, ангелы плещут тебе руками,— бормотал он.

И Ртищев, и его дочь вскочили со своих мест.

— Как! Опомнись, безумная! — воскликнул старик, покраснев до корней волос.— Ты умереть хочешь? И за чье ученье-то? Аввакумки-неуча, проклятого архиереями!

Дочь ласково остановила отца за руку...

— Батюшка, погоди мало, дай мне...

И она нежно обняла Морозову. Та не противилась, а, напротив, стала задумчиво гладить ее волосы.

— А! Шутка сказать, умереть! Да, было бы из-за чего, а то на, тьфу! — горячился старик.— Ево же, старого пса, Аввакумку, прокляли, анафемствовали и ево, пса, и ево сорочий хвост с двуперстием, и за него же хотят умирать! И кто же! Именитая боярыня, красавица на всю Москву, царева сродница... Да это все едино, что у самово сатаны-те на гнюсном хвосте повеситься...

— Погоди, погоди, батюшка! — продолжала Аннушка, ласкаясь к Морозовой и глядя на отца.— Не брани Аввакума, не гнюсный он... Вы, мужчины-те, совсем нашего женского естества не знаете: коли вы браните и хулите того, кто нам по мысли, тем мы паче прилепляемся к нему... Ей-ей, так, батюшка!.. Ты вот с сердцов мещешь в Аввакума камением словесным, а она, голубушка (и Аннушка еще жарче обняла Морозову), сердцем своим закрывает своего учителя: мещи-де камение в мое сердце, а не в него... Так ли я говорю, сестрица?

Морозова не отвечала, а только продолжала как бы машинально гладить голову своей другини. Ртищев с досадой барабанил пальцами в стекло, не глядя ни на кого, а юродивый, сидя на полу, плакал. Акинфеюшка, опершись на стол, тревожно следила за лицом молодой боярыни.

В это время в комнату с шумом вбежал Ванюшка, а за ним сверстник его, княжич Дюрдя Урусов, татарковатый мальчик с бледным личиком и узкими черными глазами. Первый держал в руках молодого галчонка, пойманного на переходах. В окна с переходов доносились тревожные галичьи крики.

— Мама! Смотри, какой галич... Я его буду кормить; ах, какой! — радостно говорил юный Морозов, показывая свою добычу матери.

Та тихо улыбнулась и задумчиво погладила курчавые волосы сына. Ей, по-видимому, было не до него... Из-за светлых глаз сына она видела другие глаза, те, что глянули на нее с эшафота.

— А у нас скворец какой! Он Никона проклинает! — радовался Дюрдя Урусов, тоже обращаясь к Морозовой.

— А я, мама, галича научу проклинать его! Вот хорошо будет! У Стрешневых собака, так та передними лапками по-никоновски благословляет,— пояснил Ванюшка.

Морозова все молчала.

— Голубушка сестрица! — с жаром заговорила молодая Ртищева.— Я не виню Аввакума, он терпел многие гонения. А я виню стариц этих дармоедок: старицы съели тебя, проглотили твою душу, отлучили тебя, что этого птенца, от нас... вон как кричат они там, и мы кричим, отдайте нам нашу галочку!

А галки, точно понимая, что об них идет речь, еще отчаяннее кричали и метались по переходам, как бы жалуясь кому-то на жестоких людей.

— Голубушка! — продолжала молодая Ртищева.— Опамятуйся! Ты не токмо, что нас презрела, но и об единородном своем сыночке не радишь (и она указала на детей, которые сели около юродивого и показывали ему свою добычу)... Одно у тебя чадо милое, и от того твое сердце отстудили. Да еще чадо-то какое! Кто не дивится красоте его? Когда он спит, следовало бы тебе поставить над ним свечу чистейшего воску или зажечь невем каковую лампаду и зреть на доброту лица его и веселиться, что даровал тебе Бог такое дорогое чадо. А ты во что его полагаешь... Ах, сестрица, сестрица! Пойми, великому государю ты не повинуешься, экое страшное дело! Вить если как-нибудь придет на тебя за твое прекословие огнепальная ярость царева, и повелит он разграбить дом твой, тогда и сама испытаешь многие скорби, и сына своего сделаешь нищим по своему немилосердию... Погляди на него.

Дети вскрикнули в один голос: молодой галчонок, которого юный Морозов показывал юродивому, вырвался из его рук, взлетел на окно и исчез на переходах. Дети и юродивый все втроем бросились за окно.

— Ну, что ж, Прокопьевна, что ты на ее слова молвишь? — спросил старый Ртищев, когда дочь его кончила.— Любишь ты сыночка?

Морозова выпрямилась. Ласковые, отчасти робкие и застенчивые глаза ее сверкнули. Сверкнули и глаза Акинфеи.

— Ах, дядюшка! — как бы с досадой воскликнула первая.— Люблю ли я сына? Видит Бог, люблю и радею о том, что полезно телу и душе его. А чтобы мне из любви к сыну повредить душу свою или, сына своего жалеючи, отступить благочестия — сохрани меня Сын Божий от такого напрасного милования!

И она истово, широко перекрестилась.

— Безумная! — пробормотал старый Ртищев.

— Не безумная, дядюшка! — страстно возразила молодая боярыня.— Не хочу, щадя сына своего, погубить себя. Если вы замышляете сыном отвлечь меня от Христова пути, то я скажу вам: слушайте, выведите, коли хотите, сына моего, Ивана, на позор, отдайте его, дабы устрашить меня, псам на растерзание... О! Коли даже увижу красоту его, терзаемую псами, и тогда не помыслю отступить от веры и благочестия. До конца пребуду в вере Христовой, и если сподоблюсь вкусить за нее смерть, то никто не может исхитить сына из рук моих!

Говоря это, Морозова преобразилась: ее никто не узнавал... куда девались ее кроткость, мягкость, застенчивость! Грудь ее высоко поднималась из-под фаты, голос звучал силой, страстностью... Аннушка Ртищева стояла бледная, с дрожащими губами...

— Взбесилась, чисто взбесилась,— бормотал старик,— это сущий Стенька Разин...

— Дядюшка! — как бы опомнившись, сказала тихо Морозова.— Стенька правды искал... он бедных не обижал... Никон хуже Стеньки...

Ртищева точно что ударило: он даже отшатнулся от этих слов...

— Светы мои!..

В дверях показалась рыжая метлой борода и испуганное веснушчатое лицо...

— Ты что, Иванушко? — встрепенулась Морозова.

— Волки идут, боярыня,— торопливо отвечала рыжая борода,— охте нам!

— Али посылка?

— Посылка, боярыня... Сичас Степанида Гневная

прибежала от царицыных сенных девушек: отай наказывала царица, посылка-де к тебе будет...

— А кто в посылке? — спокойно и даже гордо спросила боярыня.

— Акимко, архимандритко чудовской, да Петрушка ключарь...

— Вот тебе и дождалась! О Господи,— отчаянно взмахнул руками Ртищев, хватаясь за свою седую голову.— Дождалась!

Молодая боярыня выпрямилась... Все стихло: только слышно было, как за галереею ветер шумел в верхушках лип, и Морозовой чудились в шелесте листьев слова, слышанные ночью:

Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка...

На крыльце послышались шаги и сморканье, по правилам «Домостроя»: то шли «волки»...

XIX. АВВАКУМ В ПУСТОЗЕРСКЕ

Морозова вступила, наконец, в открытую борьбу с царем Алексеем Михайловичем.

— Тяжко ей бороться со мною... один кто из нас одолеет,— сказал царь глухо, когда ему доложили, что молодая боярыня осталась непреклонна.

Где же был тот, во имя которого русская женщина затеяла борьбу с силою, могущество которой не могли сокрушить ни татары, ни поляки? Где был учитель, вослед которого пошла русская женщина, доселе безмолвно покорная «закону», от кого бы он ни исходил: в семье — от мужа и отца: «грозен свекор-батюшка», в государстве — от предлежащей власти?..

Он был далеко, на глубоком, почти недосягаемом севере русской земли: он был в ссылке...

Вся жизнь этого необыкновенного человека была ссылка, земляная тюрьма или сруб, кандалы и истязания, и везде при этом проповедь, проповедь дерзкая, неустанная проповедь...

— Не почивая, аз, грешный, прилежа в церквах и в домех, и на распутиях, по градам и селам, еще же и в царствующем граде, и во стране сибирской проповедуя и уча слову Божию годов с полтретьядцать,— рассказывал он о себе впоследствии.

А вот скорбный лист его истязаний, когда он был

еще молодым попом, когда еще не попал в Москву в «справщики», то есть в число редакторов новоиздаваемых церковных книг:

— У вдовы начальник отнял дочерь,— рассказывает он об этих истязаниях «правды ради»,— и аз молил его, да сиротинку возвратить к матери. И он, презрев моление наше, и воздвиг на мя бурю — у церкви пришед сонмом, до смерти меня задавили. И аз, лежа мертв полчаса и больше, и паки оживе Божиим мановением, и он устрашися, отступился мне девицы. Потом научил его диавол: пришед в церковь, бил и волочил меня за ноги по земле в ризах, а я молитву в то время говорю...

Каково времечко!..

— Также ин начальник в ино время на мя рассвирепел. Прибежал ко мне в дом, бил меня и у руки отгрыз персты, яко пес, зубами. И егда наполнилась гортань его крови, тогда руку мою испустил из зубов своих и, покиня меня, пошел в дом свой. Аз же, поблагодаря Бога, завертев руку платом, пошел к вечерни. И когда шел путем, наскочил на меня он же паки с двемя малыми пищалями и, близ меня быв, запалил из пистоли, и Божиею волею порох на полке пыхнул, а пищаль не стрелила. Он же бросил ее на землю, и из-за другие паки запалил также, и божия воля учинила также: и та пищаль не стрелила. Аз, прилежно идучи, молюсь Богу, единою рукою осенил его и поклонился ему. Он меня лает, а ему рек: «благодать во устнех твоих: Иван Родионович, да будет!» Посем двор у меня отнял и меня выбил, все ограбя, и на дорогу хлеба не дал. В то же время родился сын мой Прокопий, который сидит с матерью в земле закопан (в земляной тюрьме). Аз же, взяв клюшку, а мати — некрещеного младенца, побрели, аможе Бог наставит, и на пути крестили, яко же Филипп каженика древле...

Каковы люди! Воеводы, отгрызающие пальцы у попов!

— Таже ин начальник на мя рассвирепел: приехал с людьми ко двору моему, стрелял из луков и из пищалей с приступом. И аз в то время молился с воплем ко Владыке: «Господи! Укроти его и примири ими же веси судьбами». И побежал от двора, гоним святым духом. Тоже в нощь ту прибежали от него и зовут меня со многими слезами: «Батюшко! Евфимий Степанович

при кончине и кричит неудобно, бьет себя и охает, и сам говорит: дайте мне батьку Аввакума, за него Бог меня наказует». И я чаял, меня обманывают... Ужасеся дух мой во мне, и се помолил Бога сице: «Ты, Господи, изведый мя из чрева матери моея и от небытия в бытие устроил; аще меня задушат, и ты причти мя с Филиппом, митрополитом московским; аще зарежут, и ты причти мя с Захариею пророком; аще в воду посадят, и ты яко Стефана пермского паки освободиши мя!»

«Задушат»... «зарежут»... «в воду посадят»...

— По мале паки инии изгнаша мя от места того в другоредь. Аз же совлекся к Москве, и божиею волею государь меня велел в протопопы поставить в Юрьевце-Повольском. И тут пожил немного, только восемь недель. Диавол научил попов, и мужиков, и баб: пришли к патриархову приказу, где я дела духовные делал, и вытащили меня из приказа, собранием человек с тысячу и полторы их было, среди улицы били батожьем и топтали, и бабы били с рычагами. Грех ради моих замертво убили и бросили под избной уголь. Воевода с пушкарями прибежали и, ухватя меня, на лошади умчали в мой дворишко; а пушкарей воевода около двора поставил. Людие же ко двору пристают и по граду молва велика, наипаче же попы и бабы, которых я унимал от блудни, вопят: «Убить вора, б...а сына, да и тело собакам в ров кинем!»

Каковы иллюстрации людей и порядков!

А истязания, которым его подвергли в Москве, в Сибири, в Даурии, в Мезени!

И между тем, чем больше его мучили, чем больше надругались над ним, тем шире росла его слава и тем более увеличивалось число его последователей. Да оно и понятно.

В то время государственные люди еще не дошли до той простой, но глубоко философской истины (да и откуда им было, при тогдашнем повальном невежестве, набраться этой государственной мудрости?), что система репрессалий, система жестоких наказаний, преследований, запрещений и угроз, приводит всегда к результатам, совершенно противоположным тем, которых этой системой думают достигнуть: на место одного жестоко наказанного встают сотни и тысячи озлобленных, которые кончают тем же и увлекают за собой сотни тысяч; за преследуемыми, по их стопам, идут тысячи последователей, и эти увлекают за собой

массы; запрещения изощряют ум и изворотливость опрокинуть запретную стену, разорвать связывающие их путы... Публичные казни, вместо того чтобы устрашить зрителей, становятся аудиториями, деморализующими университетами страны...

При Алексее Михайловиче не понимали этих простых истин и создали государству такие затруднения, которые оно не в силах побороть вот уже третье столетие.

Единомышленников Аввакума жгли в срубах и на кострах, публично вешали, задавливали в темницах, жарили в печах, как инока Авраамия, о котором Аввакум говорит: «...яко хлеб сладок принесеся святой Троице». Другим, чтобы не проповедовали, отрезали языки, как дьякону Федору и попу Лазарю, и они, с гугнявыми языками и немые, казались народу еще могущественнее в своем немом красноречии...

И что же вышло, наконец? Русская баба, самое безответное, самое покорное в мире животное, немая раба мужа и попа, и та в первый раз заговорила при Алексее Михайловиче, пошла на казнь и увлекла за собой пол русской земли...

А Аввакум хорошо знал, как велика сила бабы. В Даурии он однажды попал в руки «иноземных орд». Орда ожидала русских, чтобы напасть и разграбить их. «А я,— говорит Аввакум,— не ведаючи, и приехал к ним и, приехав, к берегу пристал. Они с луками и обскочили нас, а я-су, вышед, и ну обниматься с ними, что с чернцами, а сам говорю: «Христос со мною и с вами той же!» И они до меня добры стали и жены своя к моей жене привели. Жена моя также с ними лицемерится, как в мире лесть совершается, и бабы удобрилися. А мы то уже знаем: как бабы бывают добры, так и все о Христе бывает добро. Спрятали мужики луки и стрелы своя».

В то время, как русская баба, в лице Морозовой, в первый раз возвысила голос против системы насилий, Аввакум уже шестой год томился в земляной тюрьме на самом дальном севере, в Пустозерске.

В последний раз мы видели его на суде, пред лицом вселенского собора.

В пять лет он еще постарел, но ни телом, ни духом не упал, не сломился и не зачах в той преждевременной могиле, в которую его заживо похоронили: то же сухое, жилистое и упругое, как у юноши, тело; те же

живые, молодые глаза, которые, казалось, стали еще добрее; волосы и борода, уродливо обстриженные в Москве, снова отросли и вились белыми курчавыми прядями. Только матовая бледность лица выдавала его: видно было, что в своей подземной жизни он в течение пяти лет почти не видал солнца и живительные лучи его не окрашивали ни цветом здорового загара, ни краскою крови его впалых щек и белого как мрамор лба.

Темница, в которой он сидел, представляла собой обширный, если можно так выразиться, колодезь без воды; в земле была вырыта просторная квадратная яма, около сажени глубиной: в яму врыт был деревянный сруб, который выходил из земли четверти на две; в одной стороне сруба прорублена была дверка, в которую сверху вели земляные ступени с положенными на них досками; в другой стороне прорублены были два маленьких оконца, которые пропускали слабый свет в мрачный колодезь, а зимой, вместо стекол, обтягивались пузырями. В одном углу подземелья складена была из необтесанных камней печка, которая топилась «по-черному»: дым, за неимением трубы, выходил в само подземелье, а из подземелья медленно вытягивался дверью, а летом — и оконцами. Сверху сруб был заложен хворостом и соломой и засыпан кругом землей... Снаружи, таким образом, темница представляла подобие могилы, и подобие это было тем более поразительно, что над этой земляной насыпью торчал восьмиконечный деревянный крест, сколоченный стрельцами-тюремщиками по просьбе Аввакума. Перед непогодью на вершину креста обыкновенно садилась ворона и каркала, а Аввакум всякий раз, когда слышал это, по справедливому народному воззрению, зловещее карканье, с задумчивой улыбкой всегда говорил:

— Что, воронушка, мясца мово ждешь? Да полносу надрываться: не клевать тебе мово мясца грешново... не для тебя оно... Я-су баран у Господа Бога: моя баранинка припасена на всесожжение... Каркай — не каркай, миленькая, а тебе мово мясца не едать...

В подземелье хранилось и все хозяйство и богатство Аввакума: два горшка для варки пищи, сковородка, кадка с водою, глиняная миска, такая же кружка, деревянная ложка, солоница, нож; в переднем углу, как святыня, сохранились: образки медные, складные, не-

сколько богослужебных книг старого изводу, деревянное масло, ладан, крест и жалкие, ветхие принадлежности богослужения. Тяжелые четки из сибирских камней, подаренные ему «добренькою бабою», женой воеводы и мучителя Пашкова, всегда были намотаны у него на руку.

Рядом с этой могилой-тюрьмой находились еще три таких же насыпи, под которыми в земляных же срубах заключены были согласники Аввакумовы — поп Лазарь, дьякон Федор и инок Епифаний. Каждая из этих темниц обнесена была снаружи особым срубом, а вокруг всех высилась общая ограда с четырьмя замками. У каждой темничной двери помещалась стража...

— Осыпали нас землею,— говорил Аввакум в рукописной исповеди своей иноку Епифанию,— сруб в земле, и паки около земли другой сруб, и паки около всех общая ограда за четырьмя замками. Стражие же пред дверьми стрежаху темницы... Таковы-те наши земные царства, живые могилки: живи-су, не тужи да чепьми погромыхивай, что пес... Патмос, воистину, Патмос!

Цепи на них были ножные с железными поворозками, с железным же поясом на случай приковыванья к стене или к колоде...

. . . .

В Аввакумово подземелье, в тюремное оконце глянуло летнее солнышко... Аввакум молился, стоя на коленях перед распятием... Солнечные лучи упали на распятие... дрогнули веки узника, и лицо осветилось детской радостью...

— Глянул ко мне Господь, глянул, Всевидец,— бормочут губы узника, и умиленное лицо его обращается к солнцу.— Гляди, гляди, милое, дай и мне на тебя поглядеть...

Узник крестится и кланяется солнцу до земли...

— Ишь ты, такое ж ласковое, как и в те поры бывало, в молодые-те годы, и там, на Волге, и на Москве, и в Даурах, и на Байкале... А поди, и с Москвы глядят на него, как я вот ноне гляжу, и царь глядит, и Никонко пес... И детки мои глядят, и Федосьюшка свет Морозова... Ох, миленькая моя дочушка!..

Он задумчиво опускает голову. Косые лучи серебрят его седину... Голова вновь подымается...

— Что ж я молчу? Сем-ко погутарю сам с собой,

не с кем-су, а то ин разучусь говорить в темнице-то... Пятый год вить гласу человеческого не слышу, о-о-хо-хо!.. Вот дни божьи уж не различаю, счет потерял им; не вем среда, не вем суббота, не вем пост, не знай розговенье... Э-эх!.. А уж о праздничках божьих и не загадывай, ни Спас, ни Петров день...

Что-то припискнуло за оконцем. Узник радостно улыбнулся.

— А! Прилетел, милый... Ну, поклюй, поклюй... Ах, воробушек, воробушек миленькой! По миру, по воле летаешь, и нет-нет и меня навестишь во узах... Добро! Бог и тебе зачтет это... А что,миленькой врабышек, все так же ли зелень зелена на миру, как и бывало? А? И ласточки в зеленом бору разговаривают? И травка с травкой шепотком переговаривается?.. Ах, мир, мир Божий! Колико красен ты и грешен! Да полно!

Воробей на оконце опять чирикнул. К нему подсели другие, махая крылышками...

— А, милой! Деток привел... Ах, они махоньки! Естушки просят, крылышками трепыхаются... Ах, детки, детки!.. А мои-то где? Живы ли, полно? А может, и их повесили, либо так удавили, либо сожгли... Ох, люди зверие, люди аспиды и василиски! А еще зверя зверем называете! Вы озверели пуще льва и пардуса, окаменели сердца ваши, озлобнели помыслы ваши... Ох, да что я! Али проклинаю! Нет! Господи благослови их и умягчи, открой очеса их... А! Улетели врабяточки мои, поклевали крох узника, ну, и Господь с вами...

В углу, в соломе, что-то зашуршало. Аввакум глянул в угол.

— А! И ты, соузник мой, пришел?.. Ах, ты дикой, дикой.

Из-под соломы выюркнул мышонок и, поводя усиками, испуганно глядел на старика своими черненькими глазками.

— Что, дикой, а? Все боишься меня? Бойся, миленькой, бойся человека... о! Он страшнее кошки... Кошка тело токмо съест, а человек и душу выпьет, аки паук головку мухи... Ну-ну, дурачок! Ступай, ступай, не бойся, там крошки я тебе припас...

Мышонок заскрипел зубками о сухарь...

Аввакум приподнялся с земли. Цепи загремели на нем. Мышонок вздрогнул всем своим маленьким тельцем и юркнул под солому.

— А, испужался, дурачок! Ах, дикой, дикой!

Он направился к переднему углу, гремя кандалами...

— Вот и это железцо весело гремит... все же разговоры оно говорит со мной, железцо-то, дружок мой неразлучный... Ну, звени, звени, говори со мной... Спасибо вам, Пилаты, мучители мои, что друга со мной посадили в темницу, узы мои драгия, многоценные... Благо, есть с кем погуторить...

И он нагнулся, приподнял железный поворозок кандалов и поцеловал его...

— А ржаветь, друже, начал, да и не диво: скоро пять годков, обнявшись, спим... Да что ты, железцо, милое! И душа моя ржаветь стала, и сердце сдается, проржавело... о-о-хо-хо!

Он взял в переднем уголку своей мрачной кельи книгу и вынул из нее тетрадку...

— А сем-кос погутарю еще сам с собою... Прочту маленько, что я написал нонс в своей душевной грамотке...

И он развернул тетрадку, поднес ее к светлой полосе против оконца, покачал над ней головой, говоря: «По смерти моей прочтут детки»,—сел на землю и приготовился читать.

— От сих мест... протопопа Аввакума чтение...

Он улыбнулся и снова покачал головой.

— В те же поры,—начал он медленно,—и сынов моих родных двоих, Ивана и Прокопия, велено же повесить; да они бедные оплошали и не догадались венцов победных ухватити: испугався смерти, повинились, так их и с матерью троих в землю живых закопали. Вот вам и без смерти-те смерть! Кайтеся, сидя, дондеже диавол иное что умыслит. Страшна смерть, не дивно! Некогда и друг ближний Петр отрекся и, исшед вон, плакася горько, и слез ради прощен бысть. А на робят и дивить нечего: моего ради согрешения попущено им изнеможение. Да уж добро! Быть тому так. Силен Христос всех нас спасти и помиловати... Ох, детки, детки!

Он остановился, по лицу его текли слезы и стучали, разбиваясь брызгами о тетрадку.

— Не вижу-су, слезы застилают... Эки хляби-те слезные!.. Плачь, плачь, душа моя! Ох!.. Плачь: слезы пуще мыла моют душу грешную...

Выплакавшись, он перекрестился и продолжал чтение.

— По сем той же полуголова Иван Елагин был и у нас в Пустозерье, приехав с Мезени, и взял у нас сказку, сице речено: год и месяц, и паки: «мы святых отец предания держим неотменно, а палестинского патриарха с товарищи еретическое соборище проклинаем», и иное там говорено многонько, и Никону, заводчику ересем, досталось небольшое место. По сем привели нас к плахе и, прочет, назад меня отвели, не казня, в темницу. Чли в законе: «Аввакума посадить в землю в сруб и давать ему воды и хлеба». И я супротив того плюнул и умереть хотел, не ядше, и не ел дней со осмь и больше.

Он остановился и что-то наблюдал, тихонько позвякивая кольцом от кандалов...

— Ишь ты, лядин сын,—заговорил он, поднимая глаза кверху, на просвет,—а! Любишь, дурачок, всякую мусикию... на-на, слушай, немец ты эдакий!

Это он говорил к пауку, который на тонкой нити своей спускался с потолка темницы на просвет. Сидя пятый год в одиночном заключении и боясь разучиться говорить, забыть свой собственный голос, Аввакум постоянно разговаривал сам с собой или обращал речи к воробью, прилетавшему к нему на оконце, к вороне, каркавшей на кресте, к приученному и прикормленному им мышонку и даже к пауку, которого привычки он изучил в совершенстве.

— А? Любишь мусикию, шельмец!.. Тоже соузник мой, паучок, только мушек ловить горазд, что твой Павел краснощекой, митрополит крутицкой. Да добро!

За дверью темницы кто-то тяжело вздохнул, словно застонал.

— А, Кириллушко, тюремщик мой, по деткам да по жене тоскует... тоже невольный человек...

Стон повторился. Аввакум горько махнул рукой и опять нагнулся к тетрадке.

— По сем Лазаря священника взяли,—продолжалось тихое чтение,—и язык весь вырезали из горла. Мало пошло крови, да и перестала. Он же и паки говорит без языка. Таже, положа правую руку на плаху, по запястье отсекли, и рука отсеченная, на земли лежа, сложила сама персты по преданию и долго лежала так пред народы, исповедала, бедная, и по смерти знамение Спасителево неизменно. Мне-су и самому сие

чудно! Бездушная одушевленных обличает. Я на третий день у него во рте рукою моею щупал и гладил: гладко все, без языка, и не болит. Дал Бог, по временне часе исцелело. На Москве у него резали, тогда осталось языка малость, а ныне весь без остатку резан. А говорил два года чисто, яко и с языком. Егда исполнилися два года — иное чудо: в три дня у него язык вырос совершенной, лишь маленько тупенек, паки и говорит беспрестанно, хваля Бога и отступников порицая.

За темничной дверью что-то звякнуло, и словно собака зарычала. Аввакум прислушался...

— Ноли пес? Откуда бы собаке быть?

За дверью снова тихо. Где-то, должно быть, на насыпи или на кресте, чирикали воробьи. Мышонок усердно грыз свой сухарь.

— Ох, могилка, могилка моя тихая! — вздохнул узник и опять начал читать.

— По сем взяли священника-пустынника, инока-схимника, Епифания-старца, и язык вырезали весь же. У руки отсекли четыре перста. И сперва говорил гугниво: по сем молил Пречистую Богоматерь, и показаны ему оба языка, московский, что на Москве резали, и здешний, на воздухе. Он же, один взяв, положил в рот свой и с тех мест стал говорить чисто и ясно, а язык совершен обретеся во рте. Дивна дела Господня и неизреченны судьбы Владыки! И казнить попускает, и паки целит и милует! Да что много говорить! Бог старый чудотворец, от небытия в бытие приводит, вовсе ведь в день последний всю плоть человеку в мгновение ока воскресит. Да кто о том рассудити может? Бог бо то есть: новое творит и старое поновляет. Слава Ему о всем.

Аввакум широко размахнул рукою, перекрестился и поклонился в землю.

— По сем взяли диакона Феодора, — продолжал он, — язык вырезали весь же, оставили кусочек небольшой во рте, в горле накос резан. Тогда на той мере и зажил, и после и опять со старой вырос, из-за губы выходит, притуп маленько. У него же отсекли руку поперек ладони, и все, дал Бог, стало здорово, и говорит ясно и чисто против прежнего. Таже осыпали нас землею, струб в земле, и паки около земли другой струб, и паки около всех общая ограда за четырьмя замками; стражие же перед дверьми стрежаху темни-

цы. Мы же здесь и везде, сидящие в темницах, поем перед Владыкою Христом, Сыном Божиим, песнями, их же Соломон воспе, зря на матерь Вирсавию.

И Аввакум, подняв голову и руки, словно в алтаре пред жертвенником, запел старческим, дрожащим голосом:

«Се еси добра, прекрасная моя! Се еси добра, любимая моя! Очи твоя горят яко пламень огня! Зубы твои белы паче млека! Зрак лица твоего паче солнечных луч и вся в красоте сияешь, яко день в силе своей»...

Вдруг быстро заскрипел засов тюремной двери. Кто-то страшно зарычал, не то зверь, не то человек. Дверь с шумом распахнулась... На пороге стояло что-то страшное... Аввакум испуганно попятился назад, осеняя себя крестным знамением...

XX. БЕСНОВАТЫЙ СТРЕЛЕЦ

То, что стояло на пороге темницы, действительно могло поразить ужасом всякого, даже Аввакума, который, кажется, ничего еще не боялся в жизни, а напротив, и искал ужасов и смерти самой мучительной.

На пороге стоял человек — не человек, с выражением на искаженном лице такого безумия, которое, казалось, согнало с этого лица все человеческое. Сбившиеся в войлок, беспорядочные пасмы волос падали на лоб и на виски, и из-за этих прядей безумием и бешенством горели глубоко запавшие глаза. Искаженное лицо было бледно-зеленоватого цвета с налетом загара и пыли. Из-под усов белелись широкие зубы и щелкали, как у огрызающейся собаки. Он и рычал по-собачьи...

— Кириллушка! что с тобой? — едва опомнился Аввакум.

— Гам! Гам! Гам! Гррр! — залаял и зарычал бешеный человек, подступая к Аввакуму тихими шагами, понурив голову.

— Господи Исусе! Господи Исусе! — бормотал, крестясь, Аввакум.— Кириллушко!

— Я Полкан, не Кириллушко! Гам-гам-гам! — залаял вновь бешеный.

Аввакум торопливо схватил лежавшее в переднем углу распятие и замахал им перед собой.

— Свят-свят-свят Господь Саваоф! Изыди душе лукавый! Именем Распятого запрещаю ти!

Бешеный попятился от креста. Аввакум продолжал его крестить.

— Перекрестись, раб Божий Кирилл! — закричал он.

Бесноватый замотал головой...

— Крестись, Кириллушко! — настаивал Аввакум.

— Я Полкашка-пес... Я человечью кровь лизал, человечину ел, у черкас еще лизал кровь,— бормотал безумный.

— Опамятуйся! Ты бредишь...

— Хохлы убили етмана Ивашку Брюховецкого... ребра перебиты, торчат с-под рубахи... глаз выскочил, на ниточке висит... кровь, кровь, а я лижу кровь... а етманша волосы на себе рвет... у! Косищи какие! Пасмами рвет... а я лаю на нее... В Чигирин повезли ее... «Московка! Московка!» — кричат ребятишки... а я на них лаю, гам-гам-гам!.. И в меня каменьем бросали... «Москаль!» — кричат... Трава высокая, высокая, а на ней кровь, и в Днепре кровь, и Петрушко Дорошонок весь в крови!..

Аввакум приблизился к несчастному и, продолжая держать перед ним крест, шептал участливо:

— Господь с тобой, Кириллушко! Перекрестись, прогони беса, одержащего тя...

Безумный смотрел растерянно, озираясь по сторонам...

— А у Никона голова трясется, земля ево, проклятово, не держит...

— Воистину проклят есть,— подтверждал Аввакум.

— А она, баба черная, черница, как заголосит: «Микитушка!», а я и на нее лаял, и на Никонку...

Несчастный весь дрожал и едва держался на ногах.

— Присядь, сынок, присядь, Кириллушка,— успокаивал его Аввакум.

— Хрясть! Руку отсекли... хрясть! Ноги упали с плахи... А он, Стенька, как глянет на меня... глаза воловьи... Гуп! И глаза закрылись, и голова об помост бу-бух!

— Господи! — шептал Аввакум, крестясь.— Спаси нас!..

— Голову взоткнули на кол... не глядит уж, не видит меня... Нутры бросили на земь... я нутры ево ел... «Ешь ево, ешь ево! — говорят.— Возьми, Полкашка!» И я зубами вот так рвал...

И безумный показал, как он будто бы зубами рвал внутренности казненного Стеньки.

— Владыко! Он совсем обезумел, миленькой...

— У Лазаря попа язык отрезали...

— Отрезали, отрезали, миленькой.

— Язык махонькой... бросили на земь... я его хам-хам, съел...

Аввакум испуганно перекрестился. Безумный продолжал бормотать:

— Сруб высокий, и на срубе Исай стоит, крестится... поломя на него пышет, а он руку к небу, два пальца... не видать за дымом... говядиной жареной запахло...

— Ох, Господи! Ох, милостивый,— стонал Аввакум.

— И послали нас в Пустозерье... жена и детки бегут сзади, плачут... и я заплакал, пес заплакал, глядючи на махоньких деток... А они ручки подымают, «не уходи, батя», и тот ручками тянется, что у жены на руках... О-о! И как мне нейтить? Я стрелец... о-о!

И несчастный, обхватив голову руками, глухо рыдал...

— Ох, миленькой, миленькой! — плакал и Аввакум, усаживая больного на солому.— Да эдак, не диви, что с ума сойдешь; вся Русь бедная обеснуется при страстях-те да гонениях эких... Господи! Не погуби землю православную!..

Больной продолжал плакать, качаясь из стороны в сторону.

— Наташа... Наташечка... Наталенька моя! — повторял он чье-то имя.

— Поплачь, поплачь, родной! — успокаивал его Аввакум.— Слезами-те горе истечет малость... Плачь, слезы-те росой-темьяном подымаются ко Господу...

— Ай, батюшка! Где Кирилко? Не истерял бы себя,— слышались тревожные голоса за дверью темницы.

— Ох-те нам! Совсем рехнулся малый...

— Да он, поди, туточка, у Аввакума дверь-ту отворена...

В дверях показались стрельцы, сторожившие пустозерскую тюрьму.

— Потише-потише, Бога-для, ребятки! — преду-

преждал их Аввакум, показывая на больного.— Не испужайте его, миленькие.

Стрельцы осторожно вошли в подземелье и испуганно искали в темноте товарища.

— Где он? Что с ним? — шептали они.

— Тутотка вон... бьет его...

— Ой ли! Кто бьет?

— Ноли не видите?

Стрельцы испуганно топтались на месте, боясь отойти от двери. Больной лежал на соломе и бился, как в злейшей лихорадке.

— Али беспятой в ем? — тихо спросил один стрелец.

— Какой беспятой?

— А что пяток-ту нету...

— Рогатой?

— Он... фу, ево! Наше место свято!

— Недаром он по Москве тосковал, про деток да про жену вспоминал...

— Не от тово ему, не с кручины... на кручину он нейдет.

— А с чево ж ему?

— Може, выпил ево, без креста пил, рот не перекрестил... Вот с чего!

— С водой, чу, выпил? Ноли он с муху?

— И помене живет, в игольно-чу ушко, в проран махонькой входит.

— Ай-ай-ай! Помилуй, Микола угодник!

Когда стрельцы шептались, с боязнью поглядывая на корчи больного, Аввакум стоял на коленях и молился, усиленно бормоча какие-то молитвы и отплевываясь.

— Отчитыват старик.

— Старик дока на это: что ни на есть отчитает.

— О! На это он дюжой!

— Одно слово, старик книжной: захочет, на ковресамолете от нас улетит; захочет, в шапке-невидимке из-под замков уйдет.

— Так-так... и лови потом... а мы ж в ответе будем...

Аввакум встал с колен, достал из угла небольшую кружку, вынул из-за образа кропило из пучка травы и приблизился к больному. Тот лежал навзничь, закрыв глаза; казалось, он впал в беспамятство.

Взяв в одну руку крест, а кропило обмакнув в круж-

ку, Аввакум нагнулся к больному и произнес медленно и торжественно, тряся бородой:

— Аз ти о имени Господни повелеваю, душе немый и глухий! Изыди от создания сего и к тому не вниди в него, но иди на место пусто, идеже человек не живет, но токмо Бог прозирает...

Стрельцы попятились к двери и с ужасом глядели, что будет.

— Изыде от создания сего, бес лукавый, изыде!

Больной лежал не шевелясь. Грудь его тяжело дышала.

— Именем Господним, изыди! — крикнул в третий раз Аввакум и брызнул в лицо больного кропилом.

Последний с криком вскочил с соломы...

Стрельцы в ужасе бежали из подземелья...

Несколько недель провалялся больной между жизнью и смертью. Аввакум не отходил от него, да и отойти было некуда: тюрьма оставалась тюрьмой, а место больного тюремщика заступил другой, такой же немой исполнитель чужой воли, как и тот, что теперь лежал в тяжком недуге.

Физический, а в особенности нравственный недуг больного, по понятиям того времени, приписан был, конечно, бесу. Чему же иному! Как, с одной стороны, везде и во всем — Бог, так, с другой, во всем виноват и бес. Что в наше время приписали бы меланхолии, тоске по родине или просто нервам, то в доброе старое время исключительно относили к бесу: той бе искони враг роду человеческому, старый завистник, подстрекатель и соблазнитель. Зевнул человек, не перекрестил рта, бес уж и вскочил в рот, а оттуда в брюхо. Рыгнул человек и не перекрестился, опять бес тут как тут. В ухе зазвенело, это бес хочет дурно человеку учинить через ухо: ну, и крести его, беспятого, гони знамением Распятого, что твоей метлой... Увидал в тонце сне бабу леповидну, либо плясавицу, это уж верно, что бес фарматей хочет пакость велию сотворити... Куда ни кинь, везде бес!

Так и Кириллушко-стрелец, тюремщик Аввакумов, был тоже бесом одержим: это через Кириллушку бес хотел пакость учинить самому отцу Аввакуму. Но не на таковского наскочил! Аввакум хорошо знал все бесовские уловки, и черт остался посрамлен гораздо.

— Я и не с такими бесами, дал Бог, расправу чинил,— говорил Аввакум другому стрельцу-тюремщику, приставленному к нему вместо Кириллы и принесшему ему утром положенное: хлеб и воду.— Был у меня на Москве бешеный, Филиппом звали: как я из Сибири приехал, в избе в углу прикован был к стене, понеже в нем бес был суров и жесток, гораздо бился и дрался, и не могли с ним домочадцы ладить. Егда же аз грешный со крестом и с водою прииду, повинен бывал и яко мертв падал пред крестом Христовым и ничего не смел надо мною делать, и молитвами святых отец сила Божия отгнала от него беса, но токмо ум несовершен был!

— Ишь оно! Ах ты!—удивлялся стрелец и даже растопырил руки.— А и больно дрался бес-от?

— Где не больно!

— Ай-ай! Чем же он бил, окаянный?

— А вот чем, слушай с молитвою.

Стрелец набожно перекрестился и даже рот разинул от излишнего усердия.

— Микола, Ягорий, Матушка Предотеча,— шептал стрелец.

— Однова,— начал Аввакум,— пришел я от Федора Ртищева зело печален, понеже в дому у него с еретиками шумел много о вере и о законе; а в моем дому в то время учинилося неустройство: протопопица моя со вдовою домочадцею Фетиньею между собою побранились, диавол ссорил их ни за что.

— Это у баб плевое дело, зараз за косы,— пояснил стрелец.

— Ну... Так я пришел, бил их обеих и оскорбил гораздо, опечалил, согрешил пред Богом и пред ими.

— Это за что ж? Бабу учить Бог велел,— успокаивал стрелец.

— А ты слушай, дурачок,— осадил его Аввакум.

— Слушаю-ста, прости.

— Ну, бес и вздивьячился в Филиппе: и начал чепь ломать, бесясь, и кричать неудобно, и на всех домашних нападе ужас, и зело голка бысть велика. Аз же без исправления, без молитвы, приступил к нему, хотел его укротить; но не бысть по-прежнему: ухватил меня бес и учал бить и драть, и всяко меня, яко паучину, терзает, а сам говорит: «Попал ты мне в руки!» Я только молитву говорю, да без дел молитва не действует. Домашние не могут отнять, а я и сам ему отдался,

вижу, согрешил: пускай меня бьет! Но чуден Господь: бьет, и ничто не болит!

— Ай-ай!

— Потом бросил меня от себя и сам говорит: «Не боюсь я тебя...» Мне в те поры горько стало: «Бес,— реку,— надо мною волю взял...» Полежал я маленько, с совестию собрался... Восстав же, жену свою сыскал и перед нею стал прощаться со слезами, а сам ей, в землю кланяяся, говорю: «Согрешил, Настасья Марковна! Прости меня грешного!»

— Ну, это лишнее; бабу добру учил...

— Ну, и она мне также кланяется. По сем и с Фетиньей тем же образом простился, да лег среди горницы и велел всякому человеку бить себя плетью по пяти ударов по окаянной спине...

— Ай, Ягорий, Предотеча! Н-ну,— дивился стрелец.

— Человек двадцать было в горнице... Ну, и жена, и дети, и все, плачучи, стегали меня. А я говорю: «Аще кто бить меня не станет, да не имать со мною части в царствии небеснем...» И они, нехотя, бьют и плачут, а я ко всякому удару по молитве. Егда же все отбили, и я, восставши, сотворил пред ними прощение. Бес же, видев неминуемую беду, опять вышел вон из Филиппа, и я крестом его благословил... И он, по-прежнему, хорош стал...

Больной, который лежал на соломе с закрытыми глазами, тяжело вздохнул и открыл глаза. Он был страшнее мертвеца. Глаза смотрели несколько более осмысленно, чем прежде.

— Где я, братцы?— тихо спросил он, взглянув на стрельца.

Стрелец быстро перекрестился и торопливо, с испугом, кинулся из подземелья.

— У меня, миленькой,— ласково отвечал Аввакум, подходя к больному и осеняя его крестным знамением.— Легче тебе?

— Легко... я выспался... в Москве у жены был...

— Господь с тобой, Кириллушко, это в сонии было... А перекрестись истово.

Больной перекрестился.

— Ну, добро, Бог тебя спас,— радостно сказал Аввакум,— скоро Владыка и на ноги тебя поставит...

Но это Аввакуму только казалось так. Правда, больной начал понемногу вставать, иногда просил

есть; но так как он иногда просил «без правила», то есть без молитвы, то Аввакум не давал ему ничего и, подозревая, что это все еще шутки беса просить есть «без правила», по целым часам морил несчастного на молитвах, на стояниях и совсем измучил его. Когда же больной, утомленный стоянием, падал в изнеможении, то Аввакум, подозревая опять-таки, что все это «диавол сон ему наводит», безжалостно «стегал» несчастного своими массивными каменными четками, будучи вполне уверен, что «стегает» самого беса, а не изможденное тело страдальца.

«Егда бывало стряпаю,— откровенно признается в своем «Житии» ослепленный своею мрачной верой старик,— в то время он, Кириллушко, ясть просит и украсть тщится до времени обеда, а егда пред обедом Отче наш проговорю и благословлю, так того брашна и не яст, просит наблагословленного, я ему силою в рот напихаю, а он и плача глотает...»

«Он же преставился, миленькой, скоро...»

Еще бы!.. За то, перед смертью «отрадило» ему от беса... Как «не отрадить»!..

И вот он лежит на соломе, холодный, окоченелый... Солнце через тюремное оконце бросило на мертвое лицо последние лучи... Незакрывшийся правый глаз из-под длинных ресниц косится на молящегося перед распятием Аввакума, и синие раскрытые губы словно бы шепчут под русыми усами: «Ах, что я тебе сделал? За что ты четками стегал меня, безумный старик?..»

На окне, как и прежде, чирикал воробей, ища крошек...

Мышонок, выюркнув из-под соломы, на которой лежал мертвец, грыз сухарь, не доеденный мертвым... А на Москве жена и дети покойника просят Морозову написать в Пустозерье грамотку к их Кириллушке... В углу так жалобно жужжит пойманная пауком муха... Бедная муха... Бедные люди!..

«Лежал у меня мертвый сутки, и я, ночью встав, помоля Бога, благословляя его мертвого и с ним поцеловался, опять подле него спать лягу (говорит Аввакум в «Житии»): товарищ мой миленький был. Слава Богу о сем! Ныне он, а завтра я так же умру!» *

---

* Все это — не измышления автора, а взято из «Жития» Аввакума. *(Примеч. автора.)*

Часть вторая

I. НИКОН В ФЕРАПОНТОВЕ

Северное, необыкновенно прозрачное летнее утро только что начинается. Розовая заря давно уже залила бледным пурпуром весь восточный и северо-восточный край неба, и из-за продолговатого, всего окрашенного зарею облачка вот-вот брызнут первые лучи солнца. На зеркальной поверхности Белого озера отразилась и эта розовая заря, и это окрашенное ею продолговатое облачко.

В одном из окон «патриарших келий» Ферапонтова монастыря виднеется большая голова с седой бородою и, по-видимому, задумчиво созерцает расстилающуюся перед ее глазами картину, розовый восток с бледно-пурпуровым облачком, гладкую, тоже розоватую поверхность Белого озера, кое-где как бы дымящуюся утренним паром, большекрылую и белогрудую птицу, летающую над озером и ударяющую иногда красными ножками об ее зеркальную поверхность... Там, где птица касается воды, поверхность озера искрится, словно бы на нее рассыпали жемчуг... Ласточки, точно черненькие мушки, со своими игольчатыми крылышками, и юркие, пискливые стрижи, словно пули, режут утренний воздух по всем направлениям. Голуби, проголодавшиеся за ночь, усердно снуют от надоконных наличников и карнизов монастырских зданий то к воде, то к сеновальням и конюшням, около которых всегда имеется зерно и всякая бросовая снедь. Неугомонные воробьи взапуски, точно на заказ, стараются перетрещать один другого, гоняясь за мухой и за всякой живой мелочью. У правого, приглубого берега, над остроконечными темными елями носятся вороны, оглашая воздух неистовым карканьем из-за выведенного яйца, брошенного на навоз монастырским поварком Ларкою.

Голова с седой бородою смотрит из окна на все это и трясется на плечах, как бы говоря: «Нет, нет, не надо, не надо этого... из-за чего они мечутся!.. Нет, не надо...»

На востоке из-за розового облачка брызжут золотые лучи, отражаясь и на летающей птице, и на седой

бороде стоящего у окна и трясением головы как бы отрицающего все, что он видит и слышит: «Нет, нет, не надо, не надо...»

Из-за угла «патриарших келий» показывается согбенная фигура высокого чернеца, который, поравнявшись с стоявшим у окна, низко кланяется, а стоящий у окна грозит ему суковатой палкой и судорожно шепчет: «Кирилловский лодыжник...»

Свет все ярче и ярче заливает картину, открывающуюся глазам стоящего у окна; а он, по-видимому, все больше и больше сердится и все упрямее трясет головой...

— Забыли, все забыли патриарха Никона — патриарха божиею милостию,— шепчет он угрюмо, отворачиваясь от окошка.— Так я же вас!..

И он с сердцем стучит клюкой об пол...

В просторной келье, уставленной в переднем углу иконами и обнесенной по стенам широкими лавками, на деревянном со скатертью столе две горящие свечи как-то странно мигают, бледнея перед льющимся в окна утренним светом...

— Я вас, темники и баскаки! — еще шибче стучит старик клюкой, подходя к столу.

Дверь тихо отворяется, и на пороге кельи показывается испуганное, заспанное лицо молодого служки с голым подбородком. Вошедший низко кланяется.

— Тебе чево? — озадачивает его старик.

— Звать изволил, святейший патриарх? — робко вопрошает вошедший.

— Кто тебя звал? Пошел вон! — сердится старик, стуча клюкой.

Служка лукаво улыбается глазами и исчезает за дверью.

— Ишь темники! Чертей напустили, спать не дают... Вот я царю обо всем повествую, увидите у меня! — ворчит старик и, подойдя к столу, берет исписанный лист бумаги.— Вот тут написано...

Он надевает очки и, подставив бумагу под свет, сначала про себя шевелит губами и бородой, а потом сердито читает вслух:

«Иже жив сый привмененный с нисходящими в ров, седяй во тьме и сени смертней (он покосился на окна и на врывавшийся в них свет утра), окован нищетою паче железа, богомолец твой, великого государя, худой и смиренный нищей Никонишко, милостию Божией

коростовый патриаршишко. Не вели, государь, кирилловскому архимандриту с братьею в мою кельишку чертей напускать. Дворецкий Кириллова монастыря говорил про меня: «Что он с Кирилловым монастырем заедается? Кому он хоромы строит? Чертям что ли в них жить?» И вот вечор же, государь, птица, неведомо откуда взявшись, яко вран черна, пролетела сквозь кельи во все двери и исчезла, неведомо куда, и во всю ночь демоны не дали мне уснуть, одеялишко с меня дважды сволочили долой и беды всякие неподобные многие творили, да и по многие дни великие беды бесы творили, являясь овогда служками кирилловскими, овогда старцами, грозяся всякими злобами, и в окна теперь пакостят, овогда зверьми страшными являются, грозяся овогда птицами нечистыми...»

Он остановился и сердито посмотрел на окна.

— Я вам докажу, темники! — бормотал он.— А то на! Чернил и бумаги не давать Никону... то-то!

И он снова глянул на свою бумагу.

«...Да они же, государь, кирилловские монахи, говорили моим ферапонтовским старцам: «Кушает-де ваш батька нас». И я, государь, благодатию божьею не человекоядец...»

При последнем слове он, казалось, что-то вспомнил и, потушив свечи, подошел к стоявшему в правом углу аналою, взял лежащие на нем четки, надел клобук и пошел к дверям, шурша ногами, обутыми в плисовые на меху из белки сапоги, подбитые мягкой кожею.

В сенцах повстречался тот же с голым подбородком служка и подошел под благословение. Старик мотнул в воздухе ладонью и как-то сердито ткнул в губы служке.

На крыльце он остановился и прищурился. На дворе начиналась дневная суета. То там, то здесь показывалась черная скуфья или клобук, и, увидев старика, торопливо проходили, потупив головы, или низко кланялись. С коровьего двора слышалось, как там усердно доили коров, и часто слышались возгласы: «Стой, стой, буренка!» — или мычание коров и голодных телят. На дровянике стучал топор. В соседней избе, сквозь открытые окна, сердито гудела струна монастырского шерстобита. Два стрельца шли с берега и расчесывали мокрые волосы роговыми гребенками. На заднем дворе ржал скучающий по матери жеребенок, и в ответ ему слышалось: «тпру-сеньки-тпруси...»

Все это, казалось, еще более сердило старика... Да и неудивительно: то ли это, что на Москве когда-то бывало, когда загудут, бывало, разом все сорок сороков, провозвещая славу Господу Вседержителю да святейшему патриарху Никону! Эко времечко-то было... И все прахом пошло...

На решетчатых переходах, ведущих в старые кельи, показался средних лет мужчина в мирской одежде, в голубом легком камзоле, сафьянных сапогах со скрипом и в пуховой шляпе. Небольшая бородка на полном скуластом лице, черные с узким разрезом глаза и стоячие уши отдавали татарковатостью. Пришедший издали снял шляпу и почтительно подошел под благословение к старику. Старик и у этого мотнул ладонью перед посом и ткнул в губы тыльюправой руки.

— Буди здрав, святой отец,— сказал пришедший.

— Спасибо, князь Самойло,— брюзгливо отвечал старик.

— Хорошо ли есте почивал, святой отец?

— Како почивал! Всее ночь не спал! — сердился старик.

— Ну, годы-то твои, святой отец, не маленьки: сон-ат и нейдет.

— Каки еще мои годы-ста! — пуще прежнего рассердился старик.— Аще в силах, осьмдесят... а мне и семидесяти-ту нет! А то на! Годы-ста!

Князь Самойло Шайсупов, он приставлен был смотреть за Никоном, незаметно улыбнулся своими узкими татарковатыми глазами и потупился.

— Черти мне спать не давали, вот кто! — продолжал сердиться старик.

Пристав поднял на него удивленные глаза.

— Кирилловский архимандритишко с своими иночишками ко мне в келью чертей напустил!

— Как чертей напустил, святой отец? — изумился Шайсупов.

— А так! Дворецкий их говорил про меня: «Кому он хоромы строит? Чертям что ли в них жить!» Вот что, слышишь? Чертям жить.

— Так что ж из того, что дурень мелет?

— То-то мелет... А вечор, в ночь, не ведаю какая птица, яко вран черна, пролетела сквозь все кельи и исчезла неведомо куда...

— Да то, может, и была ворона.

— Толкуй, дурачок! Ворона в келью не залетит.

— Так, надоть думать, ластушка.

— Ласточки все спали давно.

— А я тебе скажу, святой отец, кто это летал: нетопырь, мышь летуча...

Старик окончательно рассердился.

— Да ты что меня учишь! Учен гораздо!.. А ты б попробовал сам уснуть в моей келье: ноне ночью демоны двожды с меня одеяло сволочили долой...

— Ай-ай? С нами крест! — притворно изумлялся пристав.

— Зверьми страшными скакали, старцы кирилловские, языки на меня извеся, что псы лаяли...

— Ай-ай-ай! Эки страхи!

— Я ноне о сем великому государю отписал... И Аввакума протопопа в тонце сне видел: у нево на двух перстах бесик, бес махонький сидел и на сопели играл...

— Те-те-те... вон они дела-те, н-ну!

Из дровяника вышел молодой служка в фартуке и с вязанкою дров. Никон издали остановил его, замахав клюкою. Сложив дрова наземь, служка торопливо подошел к старику, тщательно вытирая руки о фартук и поправляя свою белокурую, туго заплетенную косичку. Подойдя под благословение, он добродушно глядел своими большими серыми глазами и ожидал приказаний.

— Что поздно печь затопляешь? — по-прежнему сердито спросил старик.

— Затопил, — был короткий ответ.

— А что ноне стряпать мне будешь?

— Что поволишь.

— Ушицы мне свари из стерлядок, да окуньков туда прикинь, да ершиков, да налимью печеночку приметни. Да чтоб лучку и перчику впору, поболе вкинь, да сольцы не забудь... А?

— Добро-ста, — снова был короткий ответ.

Ответ этот так и вскипятил старика. Голова его затряслась еще более, губы и борода задвигались, щеки покраснели, и клюка так и заходила в руке.

— Ты опять меня идолом зовешь! А! — закричал он со старческой запальчивостью. — Я тебе приказывал не называть меня идолом, а!

Служка — это был Никонов поварок, Ларка, большой искусник стряпать, отряженный к особе бывшего

патриарха из Кирилловского монастыря; поварок безмолвно переминался на месте и добродушно глядел то на сердящегося старика, то на недоумевающего пристава. Князь Шайсупов, действительно, даже рот разинул от изумления... «Какой идол? Кто его называл идолом?»

— А! Приказывал я тебе? Приказывал? А?—горячился старик.—Говори, приказывал?

— Приказывал-ста.

— Так напредки не смей обзывать меня идолом... я христианин...

Поварок молчит, а пристав, уставившись в землю, улыбается себе татарковатыми глазами. Старик начинает понемногу успокаиваться.

— Ну, так уху свари мне, да поядренее, слышишь? А?

— Слышу-ста.

— Да биточек из щучки сколоти, с лучком же, да чтоб без костей... да масла доброго орехового, да подрумянь, да не пересуши... понял? А?

— Понял-ста.

— Да на сковородке-те и подай, чтоб шипело... Слышишь?

— Слышу-ста, не впервой.

— Да теши межукосной... нет, теши не надоть... Осетринки доброй изжарь, да посочнее, чтобы мягко было, что пух, и лимонцу ломтиками нарежь, ровненько... Да огурчиков в уксусе, да рыжиков подашь, клюковки там моченой, яблочков в патоке, а?

— Добро-ста.

И опять этот ответ, это несчастное «добро-ста» взбеленило старика. Он даже отшатнулся назад.

В это время по двору проходил тот высокий согбенный монах, который кланялся в окно Никону и которому этот последний погрозил клюкой.

— Отец строитель, отец Исаия, подь сюда!—закричал ему Никон.

Длинный, сухой монах, с строгими глазами и с тонкой бородою развилками, приблизился и подошел под благословение. Никон повертел у него перед глазами рукою с четками и еще более насупился.

— Кто у вас научил его называть меня идолом сидонским?—ткнул он на Ларку.

— Идолом сидонским?—изумился длинный монах.

— Да, Астартом, его же невегласи за бога почитали.

— Не вем, святой отец,— пожал плечами длинный монах.

— Как не ведаешь-ста! Ноне ночью ко мне в келью чертей напустили, а этот меня Астартом, идолом сидонским, сейчас дважды назвал. А!

Длинный монах не знал, что отвечать. Серые моргающие глаза его быстро скользнули по глазам Шайсупова, и по лицу обоих пробежала мимолетная, лукавая улыбка.

— Ты слыхал, князь Самойло, как он называл меня Астартом?— обратился старик к Шайсупову.— А? Слыхал?

— Не знаю...

— Как не знаешь! Ты тут стоял...

— Стоял, стоял, святой отец, да, кажись, не слыхал такова мудреного слова... Да я его, признаться, и не выговорю.

Всем было неловко. Несчастный поварок только хлопал своими невинными глазами.

— А Ларке такое слово как выговорить, не вем,— изумлялся инок Исаия.

— То-то не вем! А он так и сказал: «добр Астарт»... А в древнем писании идол был некий, сидонский, Астарт, и которые его за бога почитали, приглашали: «добр Астарт»,— пояснял Никон все с той же горячностью,— а я не идол, не Астарт, а христианин.

Исаия только пожимал плечами, а Шайсупов кусал губы, чтоб не засмеяться.

— А ну-кось, Ларивон, скажи-тко оное слово,— обратился он к несчастному Ларке.

Тот молчал.

— Сказывай, говорят тебе!

— Како слово?— спросил Ларка.

— Да что отец-ат святой сказывал.

— Не знаю такова слова.

Шайсупов вскинул на Никона своими лукавыми глазами, которые казались совсем добрыми, простодушно-наивными.

— Прости его, Бога-для, святой отец,— заговорил он ласково,— прости на сей раз ради завтрева, ради праздничка божия... Може, что он и сказал своею дуростию, так прости для Бога.

— Не вмени ему во грех, святой отец,— просил и Исаия,— может, бес попутал.

— А поди, сам бес-ат и словцо оное шепнул, а не Ларка,— пояснил Шайсупов.

— Я ему питимью за это наложу нарочитую,— прибавил Исаия.

— Ну, ин быть по сему! — смягчился, наконец, старый упрямец.— Только, смотри у меня, осетринку не перепарь... да чтоб лучку и перчику и сольцы в меру...

— Добро-ста,— обрадовался Ларка и даже мотнул головой.

Но не тут-то было! Никон даже привскочил своими больными ногами, его опять чем-то ошпарили, и голова ходенем заходила...

— Слышите, слышите! Опять Астарт! — кричал он и стучал клюкой.— Что ж это будет? Я ноне же великому государю напишу. Я буду бить челом, чтобы великий государь велел розыск учинить над Кирилловым и Ферапонтовым монастырем, откуда оное повелось, чтоб в святые обители бесов напущать да православных христиан сидонскими идолами именовать... Великий государь велит сыскать...

Розыск — это было страшное в то время слово: тогда «искали» не глазами, не расспросами, а «пыткой», плетьми, кнутом, дыбой да огнем... «Допрос», «испытание», «пытка»,— это одного корня слова: кнут да жаровня чинили допрос...

И инок Исаия, и пристав князь Шайсупов испугались угроз Никона... Он накличет на них неминуемую беду: все без вины будут виноваты. Надо чем-нибудь умилостивить рассвирепевшего старика...

— Отец святой! Смилуйся! Вели смирить парня! — взмолился Исаия.

— Смири его, как поволишь, и я стрельцов дам,— предлагал свои услуги пристав, желая защититься чужою спиной.

— Накажи его, отец святой, поучи.

— Поучи Бога-для... он перестанет дуровать.

А тот, кого советовали «поучить», «смирить», попрежнему смотрел недоумевающе... «Блажь-де нашла на старика... не впервой его клюке гулять по моей спине, что ж!»

— Так велишь смирить, святой отец? — умолял Исаия.

— Что мне смирять! Я старец смиренный... смиряйте вы, а я великому государю отпишу,— не унимался упрямец.

Пристав и Исаия переглянулись.

— Что ж, князь Самойло, вели давать плетей,— сказал последний.

Шейсупов свистнул, как Соловей-разбойник. На свист из-за угла стрелецкой избы вышли два стрельца.

— Плетей давай! — крикнул Шайсупов.

Бедный поварок упал на колени и тянулся к ногам Никона, чтобы хоть ухватить и поцеловать полу его подрясника.

— Прости... не буду...

— Не трошь, не трогай ног! У меня ноги больные! — кричал упрямый старик, отстраняясь.

— Не буду идолом звать, о-о!

Подошли четыре стрельца и молча глядели на эту сцену. У двоих из них в руках было по плети, узловатые московские чудовища младшие сестрички кнута-батюшки: «плеть не кнут, даст вздохнуть; а батюшка-кнут не даст и икнуть»...

— Ну-ну, сымай рубаху, не нежься, сымай! — поощрял пристав.— Сымай-ка рубашечку.

— И порки,— пояснил Никон.

Стрельцы стали раздевать поварка, развязали и сняли фартук, расстегнули и сняли подрясничек, рубаху...

— Ишь ты, почет какой, ризы сымают,— шутил пристав,— кубыть патриарха.

Никон сердито глянул на шутника.

— Мотри, Самойло... и в дыры муха падает,— проворчал он.

Поварок стоял совсем голый и сжался. Только нижняя часть худого, белого, как у женщины, тела не была обнажена.

— Порки долой! — не унимался развоевавшийся старик.

Поварок, с досадой, торопливо спустил нижнее белье и повернулся спиной к своему мучителю.

— Чево ж ты смотришь, чернец?! — накинулся этот последний на Исаию.

Исаия стоял, ничего не понимая, и молчал.

— Твое дело, вели класть,— командовал старик.— Да одежду под голову.

Поварок не сопротивлялся, уже он знал Никона. Да и сечение в то время было делом обыденным: «хлеб насущный», «каша», только «березовая», «баня», «горяченькая», «припарочка» — вот синонимы сечения...

Положили поварка. Один стрелец сел верхом на голову, другой на ноги. Поварок только сопел да как-то старался втянуть в себя то, что особенно выдавалось, как будто можно было сделать это...

Стрелец, сидевший на голове, казалось, никак не мог усесться ловко и ерзал.

— Не души,— протестовал чуть слышно оседланный.

— Чево разиня рот стоишь! — напоминал старик Исаии его обязанности.

— Валяй, ребята! — распорядился Шайсупов.

Удары посыпались на обнаженные части белого тела, которое сразу стало багроветь полосами. Несчастный поварок то глухо кричал, то грыз зубами свою одежду и задыхался...

Никон смотрел, тряся головою и шевеля губами, и считал удары на четках, как он считал на них «метания», земные поклоны...

— Не зови меня идолом сидонским, не зови Астартом... я благодатию божиею христианин...

А белое тело все багровее и багровее... Несчастный, забив себе рот рубахою, уж и не кричит... Четки перебраны уже до половины.

— Стой! Будет! — удовлетворяется, наконец, бывший божией милостию великий патриарх.

Поварок встал и дрожащими руками облачается... Руки не попадают куда следует... Волосы повыдергались из косенки и падают на лицо... Одевшись кое-как, он кланяется до земли своему мучителю...

— Добро... поучили... не будешь больше меня идолить,— поучает этот последний.

Шайсупов и Исаия переглядываются, поводя руками.

— Ну, подь теперь, стряпай... Да помнишь, что я тебе заказывал ноне? — говорит старик как ни в чем не бывало.— Не забыл? А?

— Не забыл-ста,— пробормотал несчастный дрожащими губами.

— Да осетринку-то не засуши, да лучку, да сольцы в меру...

— Добро-ста...

И опять трясущаяся голова заходила ходенем и застучала клюка об рундук...

— Опять за свое! Опять добр Астарт!..

Шайсупов не вытерпел и покатился со смеху, держась обеими руками за живот...

— Ой, батюшки! Ой, Ларка! Ха-ха-ха! Умру! Ох, святой отец, ой, ой, ой! — заливался он.

— Что ты! Что ты! Обезумел!

— Ха-ха-ха! Ох, батюшки, родители мои! За что вспороли малого!

Все смотрели на хохочущего пристава с удивлением. Даже высеченный поварок улыбался сквозь слезы.

— Ха-ха-ха! Да он вить, поварок, говорит: «добро-ста»; это у его привычина такая; «добро-ста» да «добро-ста», а никакого идола тут нету... А его пороть!.. Ну, дали же мы маху!

Никон еще более рассердился на такое произвольное толкование.

— Что ты меня учишь, стрелец! — накинулся он на пристава.— Вон их учи, а я учен... Ты об идоле Астарте не слыхал, а может, и про Перуна, что у нас в Новгороде палкой дрался, не слыхивал; тебе невеголосу, что! А я в древнем писании хаживал, зубы приел гораздо...

Старик бы, вероятно, долго не перестал брюзжать, если бы в это время не показались в воротах возы, нагруженные припасами, которые поставлял для его обиходу Кириллов монастырь.

Старик замахал клюкой.

— Подавай сюда, к крыльцу вези!

Инок Исаия поспешил к возам. Поварок, сделав поясной поклон, побрел за дровами. Никон, кряхтя и морщась, уселся на крыльце и ждал. Стрельцы ушли на берег купаться. Пристав стоял у крыльца и продолжал улыбаться своими узкими глазами. «Уж и чадушко же, н-ну!» — говорили лукавые глаза.

II. У НИКОНА ГОСТИ

Из-за корму и припасов у Никона шла презельная брань со всеми десятью белозерскими монастырями, обязанными доставлять ему все необходимое, и в особенности с Кирилловым, самым богатым из них. Он, по-видимому, забыл все на свете, и свое прежнее величие, и славу, и вселенскую борьбу, и падение с недосягаемой высоты, и всеобщее отчуждение, и, казалось, помнил только про один корм: «семга» да «сижки», «икорка» да «сметанка», «вишни в патоке» да «яблоки в меду», «язи» да «лещи», да «теша межукосная», да

«грибки»... Это был теперь его боевой конь, с которого он готов был не сходить по целым дням и неделям: воевал с кирилловской и иной черной братией, строчил царю бесконечные жалобы и кляузы, нудил все про корм и жалованье и даже плел царю небывальщину, что будто бы он «наг и бос, стыдно и выйти, многие будто бы зазорные части не покрыты»... Старик просто лгал и озорничал со скуки и от бездействия... Он был жалок.

И теперь, когда он сидел на крыльце и, тряся головой, кряхтел, лицо его выражало, что он вот-вот на кого-нибудь сейчас накинется, на кого — это ему все равно, только бы поозорничать, да выкричаться, благо ему всю ночь черти спать не давали, а просто старику не спалось и в голову лезла всякая дрянь...

Один воз подъехал к крыльцу. Сморщенный и черный, как груша на лотке, монашек, который вел клячонку в поводу, низко поклонился и подошел под благословение...

— А ты прежде покажь, что привез, доброе ли, а тогда и суйся под благословение,— сразу обрезал его озорной старик.

Монашек попятился. Исаия, кликнув чернеца от другого воза с сеном, стал развязывать рогожу, покрывавшую воз. Этот другой чернец тоже сунулся было под благословение, но Никон прогнал его клюкой...

— Сено-то у тебя все гниль да бурьян... леших чертей им кормить разве,— ворчал он.

Развязали первый воз.

— Что в плетешке там? — воззрился старик.

— Грибки, святой отец: рыжики да белые,— смиренно отвечал морщеный монашек.

Никон, опираясь на клюку и кряхтя, встал, подошел к возу и стал клюкою ковырять связки сушеных грибов.

— Ишь грибешки каки! Все скаредные! — ворчал он и, вздев на клюку одну связку, тыкал ее в нос то иноку Исаии, то Шайсупову.

— Ишь скареды, с мухомором все!

— Помилуй, святой отец! Грибки, как есть, знатные,— защищался Исаия.

— Велика их знатность! На, нюхай, князь,— тыкал старик грибами в нос Шайсупову.— Гниль одна...

— Ничево, запашок как следует, хорош запах,— одобрял грибы пристав, лукаво улыбаясь.

— То-то запашок! Смердятина одна! — брюзжал старик. — И свиньи жрать не станут...

Грибы осмотрены, наконец, и охаяны на чем свет стоит. Дошла очередь до других запасов.

— А тут что? — тыкала клюка в полог.

— Тутотка рыбка сушена, да вялена, тешечка межукосна, вязижка в пучочках, — пояснял Исаия.

— А ну, покажь.

Развертывается полог, показывается рыба.

— Ишь сушь какая! — накинулся старик и на рыбу. — Голова да хвост только, а рыбы нету...

— Помилуй, святой отец, как голова да хвост! — всплеснул руками Исаия.

— А это что! Видишь?

И клюка, действительно, тыкала только в головы да в хвосты.

— Голова да хвост, все хвосты...

— Господи! Да рыба-то цела, не резана, куда ж туловам у ней деться! — вопил Исаия. — Вон оне, целы рыбки, всем телом...

— Али у рыбы тело! — накинулся старик на неудачное слово. — Так у рыбы тело?

Исаия молчал и только моргал глазами. Шайсупов кусал губы.

— Тело у рыбы? Сказывай, князь? — набросился Никон с экзаменом на пристава. — Тело? А?

— Что ж, мясо рази? — улыбнулся пристав. — Мясо скоромное, а рыба постна: стало, не мясо, а просто рыба; рыба и есть, — рассуждал он, — рыба не мясо, курица не птица.

— И у собаки тело? — приставал Никон опять к Исаие. — А? Тело у пса?

— У человека тело и у Христа, — нашелся, наконец, совсем загнанный Исаия.

— То-то же! А то на! У белорыбицы тело! У поросенка тело! — сердито поучал старик.

Перерыл клюкой и вязигу... И вязига не понравилась...

— Худа, что жила баранья... пироги только гадить такой вязигой...

Поковырял клюкой и тешки и на тешки поворчал: «Межукосны... то-то! Все бы поплоше...»

— А в мешке что? — продолжал досмотр.

— Хмелек на квас да на бражку, — был ответ.

— Развяжи, покажь.

Развязали мешок. Старик брезгливо зацепил горсть хмелю, поднес к глазам, к носу, понюхал, поковырял другой рукой...

— И хмелишко скаредный! — Таково было заключение после осмотра.

— Хмель доброй.

— Доброй, с листом, точно табачище проклятой.

Исаия только пожал плечами. Пристав зевал от скуки: ему давно хотелось купаться.

— Еще чего прислали? Сыми-ко циновку.

Сняли циновку. Голова старика так и заерзала из стороны в сторону, лицо покраснело...

— Это еще что! А?

— Стяги говяжьи солены да полти свиные.

— Али я мясоядец! Али я не чернец! А? Еретик я, что ли!

Старик так взбеленился, что стал клюкой выбрасывать стяги и полти наземь и топтать ногами...

— А! На смех прислали мяснова! А! Вот же вам!

— Господи! Что ж это такое! — взмолился Исаия.— Да это не тебе присылка, а работным твоим людишкам, портному швечишке, шерстобиту да приспешнику, мирянам все.

Но старик и слышать ничего не хотел. Он бы, вероятно, еще долго шумел и горячился, если бы не заметил в воротах баб и мужиков с котомками. При виде их он сразу присмирел. Он видел, что это люди пришлые, может быть, издалека, из самой Москвы, пришли поклониться ему, «великому заточнику», и, быть может, и окрестные селяне пришли к нему полечиться.

Никон в изгнании полюбил лекарское дело. Ему помогал в этом инок Мордарий. Отец Мордарий часто езжал, по поручению Никона, в Москву и привозил оттуда лекарственные запасы, камень безуй, самое любимое лекарственное снадобье Никона, траву чечуй, зверобойную, целибоху, росной ладан, деревянное масло, скипидар, нашатырь, купорос, квасцы и камфору.

При виде пришлых людей лицо Никона несколько оживилось, глаза просветлели, как будто и потеплели, весь вид его как бы подобрел, и даже брюзгливый голос смягчился. И неудивительно: забытый всеми старик, заброшенный в пустынное, мертвенное заточение, человек, переживший свою славу, свое величие, старик, у которого разбита была вера в единственного,

в «собинного» всей его жизни друга, в «тишайшаго» царя Алексея Михайловича, некогда всемогущий сосамодержавец русской земли, а теперь арестант, которого иногда нарочно дразнили и пристава его, и стрельцы, и монахи, особенно кирилловские, старик, уже больной и нравственно надломленный, он рад был всякому проявлению к нему участия и доверия, оживал при мысли, что и он еще не всеми забыт, что, если не бояре, эти «псы, лающие только на нищих», то хоть простой народ его помнит и ценит...

Неудивительно отчасти и то, что он так измельчал в изгнании... Стальная воля Аввакума поддерживалась борьбой и настоящим подвигом мученичества, его рука тянулась за венцом мученика... А Никону и бороться было не с кем, кроме как с кирилловской братией из-за грибов, да рыбы, да хмелю...

А мученичество его было невидное... не венец у него впереди, а венок из крапивы, который постоянно жег его беспокойную голову... Конечно, у Аввакума натура была цельнее; а Никона когда-то избаловало счастье, небывалое на земле, бешеное счастье, а потом все рухнуло, и выросла одна крапива, крапивный венок на голове, крапива и в сердце...

Прохожие между тем подошли к крыльцу. Впереди выступали, сняв шапки и вздев их на длинные дорожные посохи, двое загорелых бородатых мужиков, обличье, стрижка и все ухватки коих изобличали вольное казачество. Одеты они были в добрые зипуны. Запыленные сапоги глядели крепко, а по другой паре сапог висело за плечами, рядом с объемистыми переметными сумами. Кожаные пояса, шириною почти в ладонь, заставляли подозревать, что там, в этих «чересах», имеются денежки — золотые «лобанчики» и «левы» да «дукаты». Рукоятки ножей, торчавшие из-под зипунов, предупреждали и предостерегали всякого любопытного, что «череса» те сидят на своем месте здорово. У обоих из них было по серьге в ухе. Старшему, коренастому и черному, с проседью в бороде, казалось лет за пятьдесят; но, вглядываясь в его серые, полные жизни и энергии глаза под крутыми черными бровями, едва можно было дать ему двадцать лет. Младшему, красноватому и шибко весноватому, с курчавой бородой и такой же головой со стрижкой в кружало, едва ли перевалило за сорок годов, а черные, маленькие плутоватые глаза так и выговаривали сами собой:

«Много было бито и пито, давлено и граблено, надо и душу спасти...»

За ними плелся худой, сухой и корявый мужик на босых, потрескавшихся от цыпок ногах, который вел за руку такого же босоногого, лет семи-восьми мальчика, с головой и лицом, обмотанными грязными тряпками. Мальчик, видимо, пухнул, не то с голодухи, не то от болести лихой.

За ними еще старуха в рогатой кике и молодая, худенькая, миловидная бабенка, с головою, повязанной платком. Большие светло-голубые глаза глядели совсем с детской робостью.

Прохожие низко кланялись и по очереди подходили к Никону под благословение. Тот теперь не мотал сердито рукою, не бил ею воздух, не громыхал четками, а благословлял плавно, истово, широко. Даже лицо старика преобразилось, и голова, казалось, меньше тряслась, не говорила: «Нет, нет, не надо, не надоть...»

Прохожие и приставу поклонились, косясь на него исподлобья, как бы говоря: «Знаем мы вас, боярское семя: не ухватом, так сковородником доедете...»

— С коех местов Бог несет, добрые люди? — ласково спросил Никон первых.

— С тихово Дону, осударь, святейший патриарх,— отвечал старший, кланяясь.

По лицу и по запавшим глазам Никона словно скользнул свет, как бы отраженный от чего-то светлого извне, и в тот же момент сгас. Лицо приняло спокойное, ласковое выражение, и только непокорная голова, казалось, еще упрямее зачастила: «Нет, нет, не может быть...» И князь Шайсупов навострил свои большие татарские уши, словно бы до сих пор силящиеся освободиться от шитой золотом тюбетейки предков...

Никон, взглянув мельком на пристава, торопливо сказал:

— Не называйте меня, Божьи strannички, святейшим патриархом... Я более не патриарх, а простой инок, мних смиренный, рядовой монашишко... Отнято у меня патриаршество, а в патриаршества место сниде на меня благодать лекарственные... Бысть мне глас в тонце сне: «Никон, Никон! Отнято у тебя патриаршество, зато дана чаша лекарственная, лечи болящих...» И я Божиею помощию лечу...

Он остановился. Старуха громко вздохнула и поправила платок на голове молодухи. Глянули на нее и воровские глаза младшего казака и словно выговорили: «Ишь волоокая, только худа гораздо, щупленька...»

— А путь куда держите? — помолчав, спросил Никон.

— Да твоей святыне поклониться,— отвечал старший.

— Много наслышаны,— добавил младший, тряхнув «кучерями».

— А коли твоя милость будет, осударь, благословишь нас, и дале побредем,— пояснил старший.

— Куда же именно? — спросил Никон.

— В Соловки, осударь.

— От Никона к Зосиме,— пояснил опять младший: — смолоду жито, о душе забыто: а теперь надоть и душу спасти,— бойко окончил он и покосился на молодуху.

У Никона опять глаза метнули искры и потухли. Он вспомнил, что лет шесть тому назад, когда он жил еще в Воскресенском монастыре, к нему тоже приходил с Дону этот крутолобый, глазастый казак и тоже шел с «тихово Дону» в Соловки «душу спасти». А вскоре пришли слухи, что этот крутолобый чуть не пол Московского государства, словно краюху хлеба, отмахнул себе и чуть всего Московского государства вверх дном не поставил... То был Степан Тимофеевич Разин, тоже с виду тихоня и смирена, а вон какой окраек царства отворотил...

— Доброе дело, доброе дело душу спасти,— задумчиво сказал Никон.

Глаза этого крутолобого Стеньки с Дону, казалось, глядели на него и теперь... «Эх, Степан, Степан,— думалось ему,— и тебя съели бояре...»

— А что, на Дону у вас теперь тихо? — спросил он.

— Тихо-ста... делов никаких... скучно... ну, вот и идем спасаться,— проговорил младший.

— Ну, спасибо, что вспомнили меня, смиренного и забытого,— с дрожью в голосе промолвил Никон: — аз есмь привменен с нисходящими в ров... Поживите у меня, отдохните, помолитесь...

Казаки поклонились.

— Челом бьем на добром слове да на милости...

— Сымайте-ко переметки с плеч, облегчитесь, положьте вон туда, на завалинку,— вмешался Шайсупов, до того времени молчавший и тоже иногда поглядывавший на миловидную бабенку.

Казаки недоверчиво глянули и поклонились; но котомки все-таки сняли с плеч и положили.

— А ты что, старик? — обратился Никон к босоногому старичку с мальчиком.— Твое лицо как будто мне знакомо.

— Да мы, отец родной, твои сироты: крохински,— прошамкал старик.

— А, из Крохина.

— Крохински, родной, крохински... Еще третьегод ты мне воспенново внучка вылечил, так с той поры воспенными и дразнят нас, Шадровитыми.

— А! Шадровитый, помню, помню,— обрадовался Никон.

— Шадровиты, точно, отец...

— Что ж это у мальца-ту твоего? Чем недужен?

— Воспа у ево была, у Сысойки, внучек мне тоже будет.

Никон велел подвести мальчика ближе. Из-за тряпок, которыми было обвязано лицо его и голова, виднелась сплошная кора из струпьев.

— Ай-ай-ай! — качал головою Никон.— Да он, кажись, весь отек, пухнет...

— Пухнет, отец, пухнет.

— С чего ж бы это? А?

— Без хлебушка живем, с тово, должно...

— От заячьяго корму,— раздался вдруг с переходов чей-то добродушный голос.

Все оглянулись. К крыльцу подходил низенький, широколицый, улыбающийся монах, старый, но совсем безбородый, словно каженик, которого крестил Филипп апостол.

— С заячьяго корму раздобрел отрочек,— повторил улыбающийся монах.

— А! Мордарушка... каженик,— улыбнулся Никон.

— Корочку ивову да липову, поди, грызли вместо хлебушка, дедко? — спросил каженик.

— Корочку, отец, ивушку да липку,— был ответ.

— А с коих мест без хлеба-то?

— С поста, отец, с поста... да летом, слава ти, вольготно: кору не грызем, грибки есть да ягодки в лесу, ими кормимся.

Голова Никона тряслась как будто с укором кому-то: «Нет, нет, не так надо...» И казаки как-то неодобрительно покачали головами.

Никон вопросительно взглянул на того, кого называл «Мордарушкой» и «кажеником».

— Покормим их, как рукой сымет оное пухово,— заметил этот последний с доброй улыбкой.

— Да, Мордарушко, корми, корми их... ах, ты, Господи! — торопливо говорил Никон.

— Откормим, отец святой... Мужик, смерд — что клоп: кажись, совсем высох, одни пленки в ем остались, подох совсем; а припусти ево к себе, и он напился уже так, что вот-вот лопнет, и ожил, и здоров, и смердит... Так и мужик: кажись, помирает совсем, а вкинь ему в брюхо хлебца чистенького, да рыбки либо мясца кусочек, ну и ожил, и работать здоров, и смердит гораздо.

— А струпья-те струпья, глаз мало видать,— качал головой Никон.

— И струпья сымем... святым маслицем от лампадки помажем, мигом исцелит,— успокаивал отец Мордарий.

— За глаза-те страшно, Мордарушко.

— Что глаза! У смерденка глаза, что у щенка: покормил молочком, ну и прозрел.

Отец Мордарий хорошо знал натуру смердью: покорми его, напой, и все болести рукой сымет.

— Так ты уж, Мордарушко, попечись о них,— сказал, наконец, Никон.

Старик подтолкнул своего мальца, что-то шепнул ему, и они оба поклонились в землю.

— Добро, добро, встаньте,— бормотал Никон, и в голосе его звучала доброта и ласковость.— А ты что, баунька? — обратился он к старушке с молодухой.

Старушка повалилась в ноги.

— Полно, полно, бабка... говори, что у тебя.

— Дочка вот... исцели, угодник...

— Чем недужна?

— Ох, угодничек!.. Порчена...

— Порченая? Бесноватая?

— Ох, порчена, угодничек: бес в ней... исцели, изгони беса-ту.

— Что ж, выкликает?

— Кличет, угодничек, кличет.

— А кого именно?

— Ох, угодничек печерской! Епишку кличет.

— Кто ж оный Епишка-то?

— Муж ейный будет... зятек мой...

Молодуха при этих словах сильно закашлялась и со стоном ухватилась за правый бок.

— А что бок-от у тебя, милая? — ласково обратился к ней Никон.

Молодуха не отвечала. Она, видимо, пересиливала боль, но выразительное лицо ее и детские глаза выдавали ее страдания.

— Болит бок, миленькая? — еще ласковее переспросил Никон.

— Ребро у ей, угодничек,— отвечала за нее старуха.

— Что ребро?

— Перешиблено, батюшка.

— Как! Чем перешиблено, бабка?

— Поленом, угодничек.

— Что ты говоришь! Кто перешиб?

— Епишка, супруг ихний.

Никон всплеснул руками. Князь Шайсупов только покачал головой, как бы говоря: «дело бывалое»... Казаки многозначительно переглядывались...

— Так вон он где бес-от, в ребре, хоть и молоденька еще красавица,— добродушно заметил каженик.— И он часто бьет ее? — спросил он старуху.

— Частенько-таки, батюшка: как пьян, так и бьет.

— И все поленом.

— Нету, родной: бывает, и за косы, все косы выдер.

— А за что бьет? — спросил Никон.

— За красоту, угодничек, за красоту ее горемычную: говорит: «Все-де на тебя глаза пялют, а ты-де и рада». Ну и бьет чем попадя.

Старуха заплакала. У молодой тоже стояли в глазах слезы и тихо скатывались по щекам.

— Когда ж она выкликает? — допрашивает Никон.

— Как увидит, батюшка, пьяново-ту Епишку, так и задрожит вся, да и упадет замертво, и ну, и ну кликать: «Епишенька! Епишенька!»

Отец Мордарий, взглянув на Никона и заметив по трясущейся голове, что он сильно взволнован, подошел к старухе и положил ей на плечо красную, пухлую руку.

— Слушай-ко, баунька,— сказал он медленно,— святой отец Никон изгонит из твоей дочки беса бражника, будь благонадежна... Теперь вы оставайтесь у

нас в монастыре: мы дочку-то твою с божьей помощью исцелим. А потом самово беса-ту возьмем в монастырь и смирим его постом и молитвою...

— Так, так, Мордарушко,— одобрил его Никон.

— Посидит на пище святого Антония, шелковый станет. А не поможет, вербием по телу: а то и сыромятной стегавочкой по хребту смирим.

— Так, так,— машинально повторял Никон, думая о чем-то другом.

Ему опять вспомнился крутолобый казак с Дону... Как широко он загадывал! Бояр всех хотел перебрать, «на семена,— говорит,— не оставлю... А тебя, отец святой, всем Доном, говорит, на патриаршество посадим...». Так не выгорело его дело... А что эти, с каким делом?

Голова его опять заходила: «Нет, нет, нет, не будет этого...»

А еще собинным другом именовал и вторым отцом, то-то! А теперь Артамошка, поди, в собинны попал, Матвеев... Как же! Умник, учен... «мусы» да «комидийные действа»... у них ноне в ходу, а старый Никонко забыт, яко бесплодная смоковница...

Опомнившись после минутного раздумья, Никон увидел, что все стоят вокруг него и как бы чего-то ожидают. Князь Шайсупов, сидя на нижней ступеньке крыльца, видимо, скучал и выводил палкой на земле какие-то каракули. Привычный глаз отца Мордария тотчас же прочел эти каракули: «купатца вжар дюже харашо»... Солнышко, действительно, уже припекало порядком, и купаться теперь было как раз впору, в Белом озере купанье знатное...

Казаки переминались с ноги на ногу. Воровские глаза младшего нет-нет да и пощупывают молодую бабенку... «А жаль, не бедраста, ущипнуть не за что»,— говорят воровские глаза.

— А ты вот что, Мордарушко,— сказал вдруг Никон,— возьми дорогих-от гостей (и он указал на казаков) да покорми их честию... и болящих-ту призри, накорми и напой...

— Ладно, святой отец, знаю свое дело,— кивнул головой каженик,— странного приими, голодного накорми, босово обуй...

— А вы, божии страннички,— обратился Никон исключительно к казакам,— потрапезуйте у нас и опочи-

те с дороги, а опосля приходите ко мне, хочу побеседовать с вами; наставить вас от Писания.

— Челом бьем на ласке,— в один голос отвечали казаки.

— Ух, марит!— отозвался, наконец, Шайсупов.— Пойти покупаться.

III. МУЧИТЕЛЬНАЯ НОЧЬ

Вечером того же дня казаки сидели у Никона в келье. Старик казался необыкновенно возбужденным, что заметно было и по дрожанию головы, и по судорожному движению рук, постоянно громыхавших четками.

— Бояре и царю поперек горла стали и водят его, что малого ребенка, да ему, великому государю, то невдомек: потому добер сердцем гораздо, тих и мягок, аки воск: лепи из него умелый, что хочешь: Богу ли свечу, черту ли кочергу... «Свете тихий», одним словом, так я его называл, когда он мне еще верил. Так нет! Загасили оный «свет тихий» бояре-лиходеи, а все по злобе на меня: я им не потакал, не давал им изводить государское семя, ну, и распалились на Никона, на смердья сына. А смерды что! Смерды единые верные слуги государевы, а бояре из-за своей гнюсной корысти готовы и Христа в ложке воды утопить, не то что великого государя. Ныне и казаков хотят в холопи к себе закабалить, Дон ваш тихой весь своими утробами несытыми выпить...

— Ну, нет! Поперхнутся на первом ковше,— мрачно заметил старший казак.

— От донской воды-те боярское брюхо вспучит, рогом вода встанет,— пояснил младший.

— Ох, Господи! Что это?— испуганно воскликнул Никон.

Казаки встрепенулись. Никон с ужасом, широко крестясь, глядел на что-то летающее по келье.

— Что случилось, святейший патриарх?— участливо спросил старший казак.

— Вон-вон... чертей ко мне напустили бояре да чернецы... черти вон летают... Ох-те мне!

Что-то черное, покружившись по келье, прицепилось к окладу иконы и с шипом возилось там. Младший казак подошел к иконе и схватил рукою это черное...

— А! Да это не черт, а настопырь,— сказал он улыбаясь.

— Настопырь, по-нашему, летуча мышка, великий патриарх,— успокаивал старший.

— Ах ты тварь! За палец тяпнула! — вскрикнул младший.— Вот же тебе!

Несчастное животное, напугавшее Никона, у которого бессонные ночи совсем расстроили воображение, запищало в могучей руке казака.

— А! Не любишь!.. Гляди-ко, патриарх, какой звереныш махонький, с мышку, ишь ушки каки...

И казак поднес свою добычу к лицу Никона.

— Ай-ай! Выбрось его в окно,— продолжал Никон брезгливо,— это бес в образе нетопыря... брось его и оградись крестом...

Казак швырнул своего маленького пленника в открытое окошко. Никон перекрестил это окно, в которое с голубого неба гляделись мигающие звездочки, отражавшиеся и на гладкой поверхности Белого озера. Ночь была тихая и ясная, летняя северная ночь. Казакам слышно было, как с берега неслись посвисты ночной птички, которую у них зовут «овчариком», свистит по ночам, словно пастушок у стада... А Никон прислушивался к чему-то другому: за монастырской оградой в роще, человеческим голосом выгукивала сова, и он вспомнил, что точно так же, много лет назад, в ночь перед избранием его на патриаршество, он прислушивался к таинственному голосу этой птицы, пророчившей ему что-то неведомое...

За окном сквозь сон пропищала ласточка; вероятно, во сне ей померещился ястреб, пискнула и замолкла.

— И у нас на тихом Дону меж несогласниками те же слухи ходят,— нарушил молчание старший казак.

— Какие это «несогласники»? — спросил Никон.

— Да у нас с самого Степана Тимофеича казацкий круг раскололся надвое, на «согласников» и «несогласников».

— «Согласников» у нас дразнят «московскими попихальниками, а то и «боярскими помыкачами»,— пояснил младший.

Никон, по-видимому, не понимал этих казацких филологических тонкостей.

— «Согласников» Москва, значит, пихает, куда хочет, и бояре ими помыкают: с того, значит, они и слы-

вут у нас «помыкачами» да «попихальниками»,— более вразумительно пояснил старший.

— Кто ж у вас эти московские согласники? — спросил Никон.

— Да которые казаки побогаче, которые, значит, шерстью московской обросли, земель да угодьев нахватали и уж сами в бояре норовят на Дону попасть да рядовым казакам на шею сесть, те, значит, все московские согласники,— отвечал старший.

— Одно слово, кровопивицы,— пояснил младший.

— А кто ж ими верховодит? — допытывался Никон.

— Корнилко Яковлев, что Стеньку в Москву возил.

— И в холопы за то пожалован,— добавил младший.

Никон вскинул на него глазами.

— А «несогласники» ж кто у вас? — спросил он.

— Вольные, рядовые казаки,— отвечал старший,— что в ярме еще не бывали.

— Голутьба, у которых зипунов нет,— продолжал пояснять младший,— они так же от бояр норовят, как черт от ладану.

Никон опять вскинул на него глазами.

Сова продолжала погукивать, словно бы она предостерегала от чего-то Никона. «Овчарник» своим свистом продолжал напоминать казакам их родимый Дон... Когда-то они вновь попадут туда?

— А которые в Астрахани митрополита Иосифа убили? — спросил Никон.

— Митрополита Осипа казаки сказнили за измену,— потупился старший,— он за боярами руку тянул.

— Он с Тереком воровским делом переписывался, а в казачий круг с крестом пришел, словно мы нехристи! — горячо заговорил младший.— На нас на самих крест.

— Осип свою смерть заслужил,— успокаивал старший.

— Он был боярский похлебник... мягко стлал...

Никон продолжал нервно погромыхивать четками, как бы силясь не слышать зловещего голоса совы. Старший из казаков нетерпеливо двигался на лавке, по-видимому не решаясь сказать то, что у него было на душе. Он крякнул. Младший глянул на него значительно.

— А мы к тебе, святой отец, по делу,— начал старший нерешительно.

Никон вопросительно вскинул на него своими угрюмыми глазами.

— По делу?

— По великому делу...

— Что ж, сказывай.— Голос старика дрогнул.

— Не в Соловки мы идем...

— Не Соловки у нас на уме,— пояснил младший.

— К тебе мы пришли...

— За каким делом?

— Дон прислал тебе, святейший патриарх, свое великое челобитье...

Он остановился. Никон ждал... А из рощи все доносится этот стон...

— Опростать тебя отсюда приговорил Дон...

У Никона веки дрогнули... Рука, перебиравшая четки, застыла...

— Опростать и от бояр,— добавил младший.

Голова Никона опять заходила: «Нет, нет, нет...»

— Пошли ты с нами на Дон грамоту: тихому-де Дону твое благословенье, навеки нерушимо, а боярам-де, твоим и государевым супротивникам, неблагословенье...

— Анафема-проклят,— пояснил младший.

— В те поры мы в кругу грамоту вычитаем и, стакавшись с Запорогами, на бояр ударим...

— На семена не оставим...

— И тебя, святителя, опростаем...

— И будешь ты патриархом по гроб жизни...

В это время под окном что-то хрустнуло... Никон вздрогнул и испуганно глянул на окно... Голова младшего казака высунулась туда...

— А! Князь!.. Что не спишь?

— До ветру малость вышел,— послышался смущенный голос князя Шайсупова, который тихонько пробирался к окошку, чтобы, по московскому обычаю, подслушать.— До ветру...

— А, то-то... и носом слыхать,— насмешливо заметил казак,— несет...

— Ишь шутник, право, а! — отшучивался пойманный князь.

— Шутник ты, князь, другого места не нашел до ветру окроме этого окна...

Смущенное татарское лицо глянуло в окошко...

— Не спится что-то,— как бы извинялся он перед Никоном.— А вы об чем тут беседуете?

— О божественном,— пробурчал старший казак.

— О перстах,— пояснил младший.

Никон сидел ошеломленный. Глаза расширились, как от испугу, голова тряслась еще пуще, как бы все гоня от себя и отрицая: «Нет, нет, нет...»

. . . .

— Кажись, все написал... А крепонько-таки написано... Может, где и прилгал малость, да добро! Лишь бы крепонько... что дивить! Прилыгаю... А сказано не нами: «Ложь — конь во спасение...» Не мимо идут словеса сии... Да и апостол Петр,— на нем же, аки на камне, созиждал Христос церковь свою — и Петр-ат святой прилыгал малость спасения ради... «Язык-де твой яветя творить, что и ты-де с ним человеком заодно...» — «Нет, говорит, не вем человека сего...» А петель-ту и возгласи...

Так бормотал сам с собой Никон далеко за полночь, сидя у стола и рассматривая исписанный им лист бумаги — письмо к царю: он все писал по уходе казаков и пристава, не спалось ему от старости, да и возбужден он был речами казаков.

— Да, отрекся апостол, а петель-ту и возгласи...

И где-то в монастыре, далеко, запел петух... Никон вздрогнул...

— Ишь ты, евангельская птица поет...

Он перекрестился, зевнул, снова перекрестился.

— А нет, и ноне не усну... Сем-ка прочту, что я написал великому государю.

И надев на нос круглые, огромные, словно на воловьи глаза, очки, он начал тихо читать:

«И ноне я, государь, болен, наг и бос, и креста на мне нет третий год, стыдно и в другую келью выйти, где хлебы пекут и кушанье готовят, потому многие зазорные части не покрыты. Со всякой нужды келейной и недостатков оцинжал; руки больны, и левая не поднимается; на глазах бельмы от чаду и дыму; из зубов кровь идет смердящая и не терпят ни горячего, ни холодного, ни кислого; ноги пухнут, и оттого не могу церковного правила править, а поп один и тот слеп, говорить по книгам не видит; приставы ничего ни продать, ни купить не дадут; никто ко мне не ходит, и милостыни просить не у кого...»

— Крепонько-таки, крепонько... а и так бывало,— как бы оправдывался он сам перед собой.

«Оглашают меня кирилловские,— продолжал он читать,— будто я их монастырских людей бью, а я никого не бивал. Ноне строитель Исаия здесь в Ферапонтове у келейного дела приставлен, а у меня их поварок Ларка, и оный Ларка ко всякому делу, о чем я ему молвлю, говорит: «добр Астарт». А в древнем писании, государь, идол был некий сидонский Астарт, и которые его за бога почитали, приглашали: «добр Астарт». Я ему, Ларке, говаривал много раз: не зови меня Астартом; я, благодатью Божиею, христианин, а не Астарт. И он, Ларка, не перестал зовучи меня Астартом. Я жаловался на него строителю Исаии, и строитель сегодня смирял его перед нашей кельею плетьми, а не я его бил...»

— Что ж, не зови идолом,— снова оправдывался старик,— а то на! Добро-ста, говорят... то-то, добро-ста!

«Прислал ты мне, государь, онамедни белуг, да осетринки, да лососинки, да коврижек. А я было ожидал к себе твоей государской милости и овощей, винограду в патоке, яблочек, слив да вишенок, только тебе о том Господь Бог не известил, а здесь этой благодати никогда не видаем, и аще обрел буду пред тобою, государь, пришли Господи ради убогому старцу. Да еще я тебе, государь, докучаю: которые здесь монастыри бедные, и те ничего не дают положенного с них, а Кириллов и богат, а столовых запасов не присылает. Ноне грибов и прислали, токмо таких скаредных и с мухоморами, что и свиньи их не станут есть; рыбу прислали сухую, только голова да хвост; хмелю прислали с листом, что и в квас класть не годится. Прислали, чего не прошено: стяги говяжьи и полти свиные на смех. Платьем и обувью я с братьею обносился, а сшить некому, прислан из Павлова монастыря портной швечишко не умеющий, кроме шубного и сермяжного сшить и скроить о себе ничего не умеет. От недостройки в погребе все запасы овощи перемерзают по зимам, помираем с голоду, наги и босы ходим...»

Он взглянул на свои плисовые сапоги...

— Что ж! Хоть и плисовы, эка важность! — сердился он на кого-то.— А они в бархате рытом да золоте...

Он опять зевнул и перекрестился... Опять запел петух ближе, громче...

— Ишь разорался,— сердился он на петуха,— а свово дела не делаешь,— куры-те ничего не несут...

Он глянул на окно... Восток начал бледнеть, к утру идет, брезжит... Опять зевок...

— А все сна нету... Сон мой на патриаршем престоле остался, там и сидит; в белом клобуке мой сон ходил, так сняли...

Голова затряслась шибче, он сердился... Зашуршал бумагой...

«Еще, государь, от бедного своего прошенья к тебе не перестану, яко червь от древоточения, понемже утробою стесняем от Кириллова монастыря, что против твоего указа столовых запасов не присылают; а питаюся я твоим государевым жалованьем, покупаючи столовые запасы дорогою ценою, да и купить стало негде — пусто место и от города удалено, а у меня клячишки свои есть и коровенка для-ради молочишка и маслица, а скотинных кормов, сен и иных нет, а ближе Кириллова монастыря иных монастырей нет же. А в Кириллове монастыре смеются и поругаются мне, будто я у них в монастыре все коровы приел, а мне приесть их некем. А ныне священник, и дьякон, и простой старец просятся от меня прочь, скудости ради пищные, потому что их кормить стало нечем, и келейного ради беспокойства, потому что печей нет; а держать мне их насильно нельзя, понеже они терпели у меня, помня мою милость к себе прежнюю. Милостивый, милостивый, милостивый, великий государь, сотвори, Господи ради, со мною милость, не вели Кириллова монастыря старцам меня заморить. Да ведомо мне учинилось, что будто некий чернец, именем Сергий, дьякон, говорит про меня, будто я не чаю воскресенья мертвых. А я мню, что и тебе самому памятно, идеже прилучится при твоем приходе во святую церковь, идеже прилучится символу веры глаголатися, никому иному оставляю глаголати, но всюду сам и до днесь. И ты, Господа ради, не поверь тому и, восприим ревность Давида, погуби глаголющия неправду. Господа ради, вели печи сделать, а не велишь, и братья разбредутся розно, и я останусь один. Ох, увы мне, что буду!»

За окном что-то зашуршало. Он остановился... Послышалось сердитое воркованье голубя, другого, шелест крыльями об оконные наличники...

— Ишь, голуби подрались... и у них, что у людей же, вражда... о-ох!

Он снова нагнулся к бумаге и стал просматривать ее, подперев голову руками.

— Многонько-таки написано, да добро! Многонько у меня и накипело, а говорить не с кем... Пускай великий государь читает сие мое слово, аки оное «Слово Даниила Заточника»[42]... Не он первый, не он последний: ныне Никон Заточник новый, а и после Никона будут заточники: не нами сие положено, так было исконе б,— рассуждал старик сам с собою,— и голуби враждуют, а людям не занимать стать вражду у голубей да у врабушков... о-ох! Да полно того!

«Бьют челом тебе, великому государю,— снова зашуршал старик бумагой,— Кириллова монастыря старцы, будто посылают они на Украйну покупать для меня вишни, и то тебе буди ведомо, что ни едина мне от них по се число не бывала вишня, только на прошлый год за вишни деньги дали, и строитель говорит, чтоб им платить черемховым морсом за вишни, потому что черемха родилась и собирали великое множество того морса с вотчин, и мне не дали ни единой капли. Да на прошлый год собрали Кириллова монастыря крестьяне малины тоже не малое число ведер, а мне не дали ни единой же капли. Они бьют челом тебе, будто от меня Кириллов монастырь разоряется, а мне разорять Кириллов монастырь некем; я мало могу и ходить от старости, и слышится нам, что они сами Кириллов монастырь пустошат и с крестьян денежные поборы частые собирают и посылают к Москве и говорят: стало-де нам челобитье на Никона тысячи в две, а хотя станет и в пять тысяч, и нам будет отбиваться, и тем тебя, великого государя, бесчестят, будто при площадной приказ говорят бесстрашно; а на мне милость твоя ни по челобитью, ни по дачам, но по твоей милости и рассмотрению. Воистину скуднее и нищее нас ноне нет. Сотвори милость, пожалуй рыбки и икорки, да умилосердися надо мною грешным и над приставом над князь Самойлом, вели переменить: он со всякие нужды помирает, да и меня уморил, понеже никто ни в чем его не слушает».

Он остановился и сидел, подперев голову руками, чтоб она не тряслась. Он сидел так долго. Можно было подумать, что он уснул, если б не шевелилась его борода...

Снова запел петух вдали...

— Петел возгласи... трикраты... да, уж трикраты... а ко мне нейдет сон... Да, да, в белом клобуке мой сон, в клобуке... на престоле он на патриаршем, там остал-

ся, пейдет в мою келью... И сон, как и люди ж, обходят гонимого... А что теперь царь-от, спит ли? Что его сон? Поди, спит хорошо, что ему! С молодой женой ноне спит, с Натальей Кирилловной... То-то покойница во блаженном успении царица Марья Ильишна, святая была душенька...

Он поднял голову, встал, расправил спину, зевнул, перекрестил рот и подошел к окну. В окно уже заглядывало бледное утро: вырисовывался восточный горизонт, и беловатым паром клубилось Белое озеро.

— Опять не усну, нету сна... Пойти, разве, побродить по берегу, може, там и найду сон...

Он взял клюку и побрел по кельям, слабо освещаемым бледневшим востоком. Из угловой кельи дверь вела прямо к берегу озера. Никон вышел в эту дверь и очутился на воздухе.

Подойдя к самому берегу, он остановился и оперся на клюку. Озеро клубилось паром не на всей поверхности, а только местами. Кое-где, вдали, на гладкой поверхности чернелись маленькие лодочки: это ранние рыбаки на переметах осматривали заброшенные на ночь уды и крючки с приманкой. У берега кое-где плескалась бессонная рыба...

— Ишь, и рыбка не спит, и ей сна нету...

Он побрел к своему живорыбному садку, к сажалке для рыбы и раков, устроенной как раз против окон его рабочей кельи. Сажалка — была большая плетеная корзина, опущенная в воду и прикрепленная к берегу веревками. К ней вели доски, укрепленные на подставках.

Никон подошел к сажалке. Поверхность в ней заметно подергивалась рябью...

— Гуляет рыбка... Гуляй, добро, а то Ларка и ноне тебя сачком выловит для ушицы мне, не до гулянья будет!..

Он задумался. Восток начинал бледнеть и розоветь.

— Тоже узнички, рыбка-то: в заточении сидят, как вот и я... А Ларку добро постегали за Астарта, да добро! Помни!

Он побрел дальше по берегу. Становилось все светлей и светлей. Кое-где уже начинали чирикать воробьи и попискивать ласточки.

Он дошел до высокого деревянного креста, стоявшего на береговом взлобке, на видном месте, и, перекрестясь, поклонился до земли...

— Се мой крест, а се моя Голгофа душевная,— тихо проговорил он.— Пройдут годы, многая множество лет, и православные будут стекаться к сему кресту и сию надпись прочитывать: «Никон, божиею милостию патриарх, поставил сий крест Христов, будучи в заточении в Ферапонтове монастыре»... И вспомянут тогда Никона... Кто бысть сей Никон? — рекут. А бысть он из простых худородных попов, от родителя смерда родом, именем Мины, и бегаше некогда сей Минин сын Микитка босиком, наг и гладен, и бысть ему, оному Микитке, пророчествовано от некоего мужа татарина: «Быти тебе, Микитко, великим государем над царством российским...» И сбыстся пророчество: возведен бысть Микитко, во иночестве Никон, в сан российского патриарха, и бысть собинным другом царя и соправителем царства... И новоисправи, и новонапечата Никон российские книги церковные, и бысть Никон велий в царстве своем... И ненавистник добра от века, диавал, распали на Никона завистию бояр, и погубиша его... Бысть Никон, и се не бе...

Он горько задумался. Полуосвещенная от востока массивная фигура его, опиравшаяся на клюку, сама изображала подобие надмогильного памятника, поставленного у креста...

— А теперь что я, что Никон патриарх? Инок худый, монашишко, аки заяц, псами затравленный, притча во языцех... И забыт я, и презрен... О Господи!..

Наклоненная голова его словно от острой боли закачалась из стороны в сторону.

— Боже, Боже мой! Вскую мя еси оставил! О-ой! — стонет несчастный старик.

Предрассветный ветерок шевелит седыми прядями волос, спустившимися на плечи... Стоящая у креста фигура вырисовывается все отчетливее и ярче.

— Се мой крест, Господи! Душу мою распяли на кресте сем, прободена душа моя, прободена до смерти... А за что? За гордость мою...

Он опустился на колени и припал головой к земле... Плечи судорожно вздрагивали...

— Святейший патриарх, что с тобой? Зачем так убиваться? — послышался вдруг голос из-за креста...

И над Никоном наклонилось круглое безбородое лицо.

— Встань, святейший патриарх... Посмотри, утро уже настало, а ты и не спал посямест...

Это был старец Мордарий... Он помог старику приподняться с земли и повел его к кельям. Никон повиновался...

— За гордость, за гордость,— бормотал он сам с собой,— и патриаршества лишен, и сон взяли, вместе с белым клобуком сняли сон с головы, Боже, Боже!..

IV. БАКЛАН И КИЛИКЕЙКА

Сон, которого напрасно искал Никон, сам пришел к нему непрошеный.

Слезы, которых давно не знал старик, облегчили его, и он, воротившись от креста в свою келью и как бы отдавшись на волю Бога, уснул крепким, здоровым сном, который давно уже не посещал его. Сон перенес его в далекое прошлое, в молодые годы, когда на плечах его еще не лежало тяжелое величие сана и когда вокруг него бегали и ласкались курчавые белокуренькие мальчики, его дети, а пучеглазая красавица жена расчесывала и целовала роскошные волосы своего ненаглядного свет-Микитушки... Что за глаза! И проснувшись уже не рано, бодрый и как бы обновленный, он припоминал и этот сон, и эти милые глаза, которые потом, в годины величия и славы и в минуты горчайшие в его жизни, являлись к нему откуда-то как «глаза ангела».

Воспоминание о беседе с казаками, которая вчера заставляла его ощущать тайный страх, теперь оживляло и ободряло его, вливая смутную, но сладостную надежду в сердце, уже было переставшее биться надеждами, надежду, что, быть может, на закате дней его, как та мифологийная птица, о которой он читал в некоем древнем сказании, из пепла, возродится его вторая молодость, и он еще услышит, как будут гудеть во сретение ему бесчисленные колокола всех сорока сороков церквей московских, а тишайший царь Алексей Михайлович будет идти перед ним, Никоном, восседающим на «жребяти осли», и кланяться ему перед всем народом... И посреди этого великого сонмища он опять увидит, как в числе тысяч и тем глаз народных будут глядеть на него и «глаза ангела»...

Размягченный и сонным видением, и этими сладостными думами, он подошел к окну и открыл его. Белое озеро сверкало как сталь, отражая в себе и голу-

бое небо, и темную рощу. В душную келью врывались струи воздуха, напоенные ароматом зелени.

Вдруг он увидел, что какая-то огромная птица на длинных ногах и с длинным, как у цапли, клювом, усевшись на край рыбной сажалки, таскает из нее своим безобразным клювом самую лучшую рыбу и безжалостно проглатывает.

— Что это? Бес в образе птицы! — удивился он и встревожился.— Цапля не цапля, баба не баба-птица... сказать бы журавль, так нет... Бес, видимое дело, бес,— изумленно бормотал он.

Он протер свои глаза, перекрестился, послал крестное знамение по направлению к этому бесу-птице... Нет, сидит и таскает лучшую отборную рыбу...

— Бес, бес проклятый!.. Все это кирилловские старцы напустили на меня легион бесов... Вот я же ему дам.

Он торопливо вышел за перегородку, в свою спальную келейку, где у него над постелью висела на стене пищаль. Сняв ее со стены, он осмотрел курок, кремень, затравку, потер ногтем большого пальца об острие кремня, примял тем же ногтем порох на затравке, перекрестил и кремень, и затравку, и дуло пищальное и, шепча какую-то молитву, торопливо подошел к окну, выходившему к сажалке...

Птица-бес продолжал сидеть на краю сажалки и таскал рыбу... Вот он вытащил молоденького сижка. Рыба встрепенулась и выскользнула из клюва, но упала не в сажалку обратно, а в озеро...

— Ах, проклятый! Всю рыбу мою извел...

Старик примостился на колени, положил ствол пищали на подоконник, приложился правой щекой к прикладу и закрыл левый глаз...

— Господи! Помози на беса... Архистратиг Михайло! Порази нечистого...

Птица-бес нацелился, еще что-то клюнул носом, вытянул шею...

Грянул выстрел, и птица, взмахнув крыльями, перевернулась и опрокинулась в сажалку...

— Угодил... угодил... поразил беса! — радостно шептал старик, поспешая из своей кельи к сажалке...

Птица трепыхалась на поверхности воды. Старик торопливо взошел на мостки, приблизился к самой сажалке.

Странная птица, распластавшись на воде и болезненно трепыхаясь, при приближении Никона подняла

свою гусиную голову с огромным, щелкающим клювом... Злые, не то серые, не то зеленые глаза смотрели прямо в глаза Никона.

— Бес... бес... заклинаю тебя именем божиим,— бормотал старик.

Птица силилась подняться... Никон ударил ее клюкой...

— Аминь-аминь, рассыпися!..

Но бес не рассыпался. На выстрел из монастыря высыпала братия, стрельцы, князь Шайсупов, казаки и старец Мордарий. Все торопились к сажалке.

— Чтой-то? В ково он стрелил? Ково бьет? — изумлялись стрельцы.

— Ай да святейший патриарх! Ай да казак! Стрелять умеет! — дивились казаки.

— Атаман! Одно слово атаманушка! Любо!

— Ково зашиб, святой отец? — спрашивал Шайсупов.

— Беса, самово беса, князь Самойло! — взволнованно отвечал Никон, силясь попасть клюкой по птице и подтащить ее к себе.

— Да где он взялся, идол? Откелева? — изумлялся пристав.

— Кирилловские напустили... из самово аду прилетел...

— Да как ты увидал ево?

— В окошко... он рыбу из сажалки таскал...

— А ты его пищалью?

— Помог Владыка...

С трудом Никону удалось пригрести к себе раненую птицу, которая, по-видимому, обессилела и от потери крови, и от патриаршей клюки, что усердно колотила мнимого беса... Нагнувшись, Никон схватил птицу за крыло и поднял. Птица рванулась, подняла голову и долбанула клювом старика в руку...

— Ах, проклятый, чур-чур меня! Свят-свят-свят!..

Никон бросил ужасную птицу. Казаки засмеялись. И Шайсупов не утерпел, рассмеялся.

— Что, щиплетца больно?

— До крови, почитай...

— Это баклан-птица... У нас их на Дону прорва,— отозвался младший казак.

Прибежал Ларка и, протискавшись промеж Никона и Шайсупова, схватил сердитую птицу за шею. Птица слабо трепыхалась в его руках.

— А ты, святой отец, стрелять-ту дока,— удивлялся Шайсупов.— Где сему художеству навык?

— А еще в те поры, как в скитах жил...

— То-то я смотрю! Где бы, я чай, старцу навыкнуть...

— Прирежь ево, Ларка, прирежь беса! — сказал Никон, обращаясь к поварку.

— Добро-ста... прирежу...

Никон не расслышал ненавистного ему «добро-ста», которое, как и эта несчастная птица «баклан», стали достоянием истории. Ни Никон, сердившийся на Ларку за «добро-ста» и застреливший «баклана», ни Ларка, сеченный плетьми за «добро-ста», не думали, не гадали, что и это «добро-ста», и этот «баклан», и сам Ларка приобретут историческое бессмертие... А они приобрели его, послужив в то же время орудием к большому еще отягощению участи ферапонтовского заточника по смерти «собиннаго» друга его, царя Алексея Михайловича... И «добро-ста», и «баклан», и сеченый Ларка — это были обвинительные пункты, на коих основалось решение властей о «тягчайшем смирении монаха Никона»...

— Отрежь ему голову.

— Добро-ста, отрежу.

— И крылья отсеки.

— Добро-ста, отсеку.

— И ноги урежь.

— Добро-ста...

Шайсупов не вытерпел и расхохотался, глядя на Ларку и на Никона.

— Беги же, неси топор...

— Добро-ста...

Шайсупов продолжал хохотать. Никон догадался.

— А ты опять меня идолом именуешь! — поднял он было клюку на Ларку; но Ларки и след простыл...

Звонили «к правилам». С берега Никон прошел прямо в церковь и стал на своем обычном месте, на правом клиросе. Братии было немного в церкви; кто на рыбной ловле, кто по другим работам, вне монастыря. Виднелись стрельцы, оба донских казака, которые, крестясь, шибко встряхивали головами, обстриженными в кружало, и вчерашние пришлые. Служил старенький, слепенький, гугнявый и весь потертый, как ржавый алтын, попик. Он не глядел в книгу, потому что ничего в ней, по слепоте и малоучению, не видел, а гугнявил

так, «литургисал навпростец». Слабенький голосок его перекрикивали голуби и воробьи, которые ютились на ветхом темном иконостасе, ворковали, чирикали, дрались и совершали свои любовные дела... Глупая птица, несмысленная, безгрешная, не ведает бо, что творит...

Никон молился с умилением. Давно он так не маливался! И этот церковный полумрак, и гугнявое, смиренное литургисание потертого слепенького попика, и воркование голубей, занятых своим житейским голубиным делом, и громкие вздохи казаков, и покашливанья старцев, тихое погромыхиванье четок — все это располагало к умилению... Никон задумался, задумался и забылся так сладко...

В той же задумчивости выходя из церкви и не глядя ни на кого, он на паперти нечаянно поднял глаза, и — что это такое? — глаза его встретились с теми глазами... «глазами ангела»...

Он невольно остановился... Это глядела на него та молоденькая бабенка из Крохина, которую вчера мать привела к Никону для изгнания из нее беса... Она не смотрела теперь такой усталой, больной и худой, как накануне: старец Мордарий, как отец родной, принял их, обласкал, накормил, напоил, истопил для них баньку и велел им в ней попариться и помыться. Оспенного мальчика помазал святым маслом по язвенным местам. Киликейку, так звали молоденькую бабенку, тоже полечил: велел ей после бани тем же святым масличком-елейцем намазать «болящий бочок»... Киликейка хорошо поела, выпарилась в баньке, хорошо выспалась, отдохнула и смотрела теперь совсем оправившейся, так что младший казак, ощупав теперь ее всю своими воровскими глазами, решил: «Ну, да и молодка же! Ни то погладить, ни то ущипнуть, ни то укусить — смерть хоцца!..»

Киликейка, увидав добрые глаза «дедки», робко подошла к нему под благословение. «Дедко» благословил ее особенно с нежным чувством, он так расположен был сегодня к нежности...

— Буди благословенна, дочушка по Бозе! — прошептал он. Киликейка горячо припала влажными губами к сухой руке «дедки».

— Иди за мной, я помолюсь о твоем здравии,— тихо сказал «дедко» и пошел в свою келью.

Киликейка робко последовала за ним, не смея поднять глаз.

— Вот старикам лафа, э-эх-ма! — с завистью процедил младший казак, провожая и ощупывая Киликейку жадными воровскими глазами.

В столовой келье Никона был уже накрыт маленький столик, и на нем стояло «утешение»: паюсная и зернистая икорка от благодетеля, великого государя Алексея Михайловича, холодная осетрина, балычок астраханский, шемаечка донская, рыжики в уксусе, яблочки в патоке, пастилка, винцо церковное.

Служка-келейник хорошо знал привычки святого отца, эти знания внушены ему были клюкою святого старца; и в то время, когда Никон «правило правил», был в церкви, служка всегда к его приходу готовил «утешение» и уходил, не смея показываться на глаза, пока святой отец кушал: он не любил, когда ему в рот глядит служка, что собака, и провожает глазами в глотку всякий кусок; и служка только тогда осмеливался появляться, когда святой отец стучал костылем в стену или колотил им в маленькое било, висевшее в молельной келье.

Войдя в столовую, Никон помолился на киоту и поставил в угол клюку.

Киликейка стояла у порога и удивленными детскими глазами оглядывала келью и все в ней находившееся; нигде, кроме церкви, не видала она ничего подобного... Глаза ее так и разбежались...

Никон ласково глянул на это наивное лицо с разинутым ртом и с светлыми, лучистыми глазами.

— Как зовут тебя, милая? — кладя руку на плечо молоденькой женщины, спросил Никон.

— Киликейкой,— застенчиво отвечала она.

— Киликейкой! Как же это? Киликия? — удивлялся Никон.— И поп зовет тебя Киликией? А?

Киликейка смотрела на дедку своими глупыми, но хорошенькими глазами и ничего не отвечала.

— А! Догадался... Кикилия, а не Киликия... Мученицы Кикилии память двадцать второго ноемврия... Так ты, Кикилия, «пляшущая», сиречь, попросту, плясовица. Так ты, миленькая, плясовица? А? Точно: образ твой благолеп зело, красавица, хоть бы Иродиаде плясовице, так в зависть бы...

Киликейка потупилась. Щеки ее так и залил молодой румянец.

— Ну, иди сядь, милая, потрапезуй со мной,— при-

глашал ее к столу Никон.— Сказано бо: страннаго напитай.

Она нерешительно стояла. Старик взял ее ласково за плечо, подвел к столу и посадил на лавку. Киликейка готова была заплакать: такой добрый был этот дедка...

Сел и Никон против нее в деревянное из массивного дуба кресло. Он налил из муравленого кувшина чару «церковного», перекрестился и выпил. Налил еще и подал Киликейке.

— Выпей, милая, церковное.

Та взяла чару и, не зная, что с нею делать, глупо глядела на старика своими детскими глазами.

— Пей, Кикилия, раба божия: это церковное, в нем причастие дают.

«Так надоть,— подумала Киликейка,— он беса изгоняет»,— и выпила все, даже поперхнулась. Румянец разлился по всему ее молодому лицу, и она казалась еще более красивой.

— Господи благослови! — Никон перекрестил стоявшее на столе всякое «утешение».

«Все с молитвой,— подумала Киликейка,— святой дедко... божий».

Никон взял лежавший на деревянной тарелке кусок белого хлеба, перекрестил его снова и разломил надвое. Ту и другую половину он густо намазал икрой, присыпал мелко искрошенным зеленым лучком и подал одну половину Киликейке.

— Кушай, раба божия Кикилия: это хлебец божий со утешением.

«Так надоть... дедко добрый, богов...» И Киликейка кушала хлебец божий со утешением. Ей стало как-то тепло и радостно, как давно не бывало: словно она опять в девках и сидит с парнями на поседках... Лицо ее горело, в голове как бы шумело, и боку стало легче...

«Это дедко лечит меня... таково хорошо мне...»

И сам дедко кушал. Дал он Киликейке и осетринки, и все с молитвой, все «раба божия». Всего дал покушать Киликейке.

Потом еще налил чару красного, сам с крестом выпил, налил и Киликейке, перекрестил чару и дал выпить Киликейке.

«Так надоть...» И Киликейка выпила, но уже не поперхнулась: и так стало ей хорошо и сладостно, что

и сказать нельзя: точно она в раю... Ах, какой добрый, святой дедко!

— Так бьет тебя муж-ат, милая? — спросил Никон, употчивавши свою гостью всеми «утешениями».

— Бьет, дедушко.

Она совсем забыла, что перед ней патриарх, которого, не видя, она боялась, как чего-то неведомого. А теперь она сидит с ним, ест и пьет «все святое» и не боится его: это не человек, а угодник божий, да такой добрый, словно матушка родима...

— За что ж он бьет-ту, милая?

— Так, ни за что.

— А давно?

— С самой свадьбы бьет.

— А давно ты замужем?

— С осени, дедушко.

— Так с самой свадьбы и начал бить?

— С первой же ночи... с первово дни (Киликейка спохватилась и поправилась), с первого дни и бьет.

По глазам Никона прошла какая-то неуловимая мысль... Голова его затряслась...

— Може, ты девство не соблюла?

Молчит Киликейка и глупо смотрит, ничего не поняла.

— Может, в девках честь потеряла?

Киликейка закрыла лицо рукавом рубахи...

— Нет, нету... не утеряла... — Она заплакала...

— За что же, милая? А? — Никон отвел ее руку от лица и, взглянув в заплаканные глаза, перекрестил это раскрасневшееся лицо.

Киликейка успокоилась, утерла слезы, улыбнулась.

— За что же, миленькая?

— Да он, дедушко... он пьяной... меня батюшка выдал за ево силком, он богатырь в Крохине у нас..

— Ну, и что же, за что же бить-ту?

Она опять закрылась рукавом...

— Слабой он... не сдюжает меня...

У Никона глаза блеснули...

— Не может? Слаб плотию? А?

— Да... девка я посемест... а он не сдюжает меня...

— А бок когда ж он перешиб тебе, милая?

— Онамедни, поленом...

— Ах, он злодей!.. А который бок?

— Правой...

— И болит шибко бок-ат?

— Нет, ноне не болит совсем... Дедушка Мордарий давал мне святово елейцу, так я им в бане помазала бок-ат свой.

Никон встал и подошел к ней...

— А нуко-сь, встань, милая.

Она встала.

— Покажь бочок, я посмотрю ево, как зашибен...

Она стояла, по-видимому ничего не понимая, и только хлопала глазами.

— Покажь, раба божия, бок-ат, расстегни рубаху.

Она не шевелилась.

— Дай-ко я сам, милая.

И Никон стал расстегивать ее сборчатый ворот... Она не давалась...

— Постой, постой, глупая, для тебя же...

«Може, надоть так... так надоть...— Эта мысль победила ее, и она бессильно опустила руки, покорилась...— Так надоть... Он святой... беса изгоняет...»

Старик дрожащими руками распустил ворот рубахи и спустил ее до пояса... Киликейка закрыла лицо руками и вся трепетала...

Старик повернул ее к свету, нагнулся, дотронулся, как до раскаленного железа, до правой, упругой, словно точеной груди, до розового соска, несколько прижал...

— Не больно?.. Нету?.. А вот пониже малость сине... тут ушиб...

Она, казалось, ничего не слыхала, о чем тот ее спрашивал... Голова как будто кружилась, но не болела; все тело точно пылало...

— Послушать надоть сердце и легкие,— бормотал старик и, обхватив руками голые плечи Киликейки, приложился щекой и ухом к здоровому, левому боку.

«Так надоть...» Киликейка чувствовала своим телом горячую щеку старика... Борода щекотала ее... Щека все крепче прижимается к боку, потом выше — к груди самой, к сосцу... Дедко губами прижимается к сосцу...

«Так надоть... беса изгоняет дедко...»

— Сердце доброе... здраво, хвалити Господа...

И к левому боку дедко прижимается тихо, слушает... А левой рукой держится там... за правую грудь... жмет ее маленько... «Так надоть...»

— И легкие добры,— бормочет дедко,— только бок-ат елеем надо мазать... заживет... все будет здорово... А нет ли чего пониже?

Дедко там что-то делает у пояса сарафана... Он крестит груди...

— Спаси, Господи, рабу божию,— говорит,— Киликейку...

Все что-то у пояса возится, распускает сарафан... «Так надоть... Богородушка, спаси...»

— А беса мы крестом, да святым маслом, да кропилом,— бормочет дедко,— силен он, враг рода человеческого, а крест-ат сильнее ево живет... А в церкви кличешь? А? Кличешь в церкви на беса?

— Кличу и в церкви.

— На херувимскую? А? Тогда кличешь?

— Как дьякон кадилом кадит, кличу.

— И дома кличешь?

— И дома кличу... Епишку выкликаю... боюсь ево... Ах! Ах!

Сарафан и рубаха упали на пол... Киликейка, отняв руки от лица, увидела себя совсем голою...

— Ах, ах! Матынки!..

— Ничево, милая, ничево... Господь с тобой... все это от Бога... тело все от Бога... не грешное... в теле нету греха, оно божье, как и травка, крин сельный... Злоба только греховна...

Киликейка, не помня себя, желая только укрыться от глаз, бросилась на грудь старика и, обхватив его, шептала в беспамятстве:

— Ах, дедушко! Ох, стыдно! Ах, стыдобушка! Матынки!

— Все тельцо елеем надоть освятить, все, миленькая!

— Ох, стыдно, стыдно, дедушка мой!

— Все, все тельцо... все уды... от беса...

— Ох, умру!

— Все, все; а то бес силен...

— Дедушко! Святой! Матынки! О-о!

Киликейка начала «выкликать»: с нею сделался истерический припадок, а Никон стоял над нею с крестом и брызгал на нее кропилом, что еще более усиливало припадки «порченой» *.

* Эпизод с Ларкой поварком и с его «добро-ста», равно с застреленным «бакланом» и сцена с Киликейкою в келье — не авторское измышление, а исторические факты, которые любопытствующий читатель может видеть в «Истории России» Соловьева (т. XI, стр. 392, и т. XIII, стр. 245) и там же — в показании старца Ионы. *(Примеч. автора.)*

V. АРЕСТ МОРОЗОВОЙ

В Москве между тем нравственное и политическое раздвоение общества принимало угрожающие размеры. Взаимная борьба отколовшихся одна от другой половин московского общества становилась открытой, и фанатизм отколовшихся от правительства обострялся тем более, чем круче принимались меры против непокорных. Преследование, так сказать, воспитывало и закаляло политическую твердость и неподатливость преследуемых: коли люди бесстрашно и охотно сами идут добровольно умирать за что-то «свое» и считают эту смерть славною, мученическою, то, всеконечно, истина на стороне преследуемых, а не преследователей... Уверенность эта, как воздух, неведомыми путями проникала везде: в мужичью избу, в купеческий дом, в боярские палаты, в монастырь и во дворец: везде, словно из земли, вырастали эти отколовшиеся, эти «раскольники», как их тогда назвали, и царь, и царская дума, и все приказы, как паутиной, опутаны были тайной сетью отколовшихся, начиная от сенных девушек и кончая думными боярами и даже женскими членами царского семейства. Ни одно тайное распоряжение или даже намерение, ни одно слово, сказанное даже шепотом во дворце, не оставалось тайным для отколовшихся: они все это узнавали вовремя и принимали «свои» меры. Власть теряла под собою почву, теряла голову и делала еще более крупные ошибки, именно делала то, чего не следовало, что подрубало под корень ее популярность, отнимало у нее последних союзников: они становились в ряды преследуемых, ибо преследование заразительно: оно заражает здоровые места, как чесотка, только чрез прикосновение... Чем более усиливалось шпионство со стороны власти, чем усерднее и искуснее стали действовать эти «никонианские волки», тем более усиливалось сопротивление отколовшихся, тем бестрепетнее действовали они и тем быстрее формировались их тайные легионы...

Как только «волки», или, по-тогдашнему, «волци», посетили Морозову в день казни Стеньки Разина и пригрозили ей отнятием вотчин, если она не изъявит покорности, так тотчас же, мягкая по природе, она сама превратилась в волчицу и на угрозу отвечала угрозой — принять мученическую смерть. Мало того, она тотчас же объявила старице Мелании,

что решилась постричься, навсегда порвать связи со всем, с чем соединила ее знатность ее рода и ее высокое положение при дворе...

«Волци» начали пробираться во все знатные и незнатные, почему-либо подозрительные дома, а когда делать это днем стало стыдно, то «волци» пробирались в такие дома по ночам, обманом, «яко тати», чувствуя нечистоту своего дела и боясь уличного соблазна.

Когда Морозова объявила Мелании о своем непременном желании «восприять ангельский чин», хитрая, осторожная и умная старица, которой не могли вынюхать и выследить никакие «волци», несмотря на строжайшее повеление об этом «с Верху» и со стороны давящих властей, неуловимая, с рысьими глазками, старица всеми силами старалась отклонить ее от этого рокового и опасного шага.

— Как ты, матушка, утаишь экое великое дело? — говорила она.— Пронюхают о сем «волци», и будет нам, овечкам, последняя горше первых. Одно то, что в своем дому тебе, миленькая, утаить сего нельзя будет: «волци» гораздо чуют, где кровию пахнет. А уведано будет это царем, многие, ох, многие скорби будут многим людем расспросов ради, чтоб только узнать, кто постриг. Ох, сколько овечек невинных на дыбу взволокут! А бежать тебе из дому — что Варваре Великомученице[43], так от того и горшие беды живут. А ежели и удастся это, не проведают «волци», так новая беда странничком прибредет: придет пора сынка Иванушку-боярчонка браком сочетать, пещись о свадебных чинах и упряжений; а сие инокиням не подобает... А как ты укроешься от попов и «волков»? Вить в церковь-ту тогда тебе ходить нельзя будет: ты не то, что мы, мыши подпольные, нас и «волци» не пымают, уж больно мы махоньки да черненьки...

Но воля Морозовой не пошатнулась при виде картины будущих ужасов: ей казалось, что с Лобного места, с высоты эшафота, к ней повернулась голова человека, сдавленного между дубовых досок, и большие, какие-то могучие глаза, смотря в ее очи, говорили: «Видишь, сестрица, как умирают за правду: умри и ты так, и приходи скорей ко мне...»

— Степа! Степа! Я хочу к тебе! — страстно прошептала молодая боярыня.

— Что с тобой, матушка! — изумленно спросила Мелания.— Какой Степа?

Морозова опомнилась и перекрестилась... «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка»,— звучало у нее в сердце, и этот голос, казалось, звал ее к себе...

— А помнишь отца Аввакума? — спросила она.

— Помню, матушка, нашего света-учителя.

— Я по нем гряду...

Мелания должна была покориться, и молодую красавицу-боярыньку постригли.

Когда, во время тайного пострижения, отец Досифей, исполняя обряд, бросил на пол ножницы и сказал: «Подаждь ми ножницы сия»,— Морозова упала на колени и, подавая ножницы, страстно ломала руки.

— Урежь всю косу! Всю мою русу косыньку остриги, батюшко! — молила она.— Ноженьки Христовы я своею косою утирать хощу!

А сестра, молодая княгинюшка Овдотья Урусова, глядя на распущенную роскошную косу сестры, как до нее коснулись ножницы постригавшего попа, плакала навзрыд, не имея силы отогнать от себя знакомой песни, которую пели над ее сестрою и над этой русой косою в день свадьбы:

Вечор мою русу косыньку девыньки-подруженьки заплетали...
Ох, и моя косынька русая, кому тебя расплетать будет?..

— Вот кто расплел, Господи!

А самой Морозовой во время пострижения думалось не то. Ей представлялась ее роскошная расплетенная коса в руках палача, там, на Красной площади, на Лобном месте, откуда смотрели на нее не забываемые ею глаза пред тем моментом, как голова вместе с этими глазами скатилась на помост... И смотрят на нее, на Федосью, всей Москвою и бояре, и князи, и сам царь со всей своей дворской челядью: то ее последний девичник, последнее расплетение русой косыньки... Только свет Аввакумушко не увидит, далеко он, далеко, там, куда и солнышко редко заглядывает...

«Волци» скоро, однако, проведали о пострижении Морозовой и доложили царю. Царь видел, что шатость проникла и к нему во двор, что скоро, может быть, на стороне Аввакума окажется вся Москва и он увидит себя на своем троне более одиноким нравственно, чем Аввакум в своем мрачном подземелье, а Аввакумов враг, Никон, в кельях Ферапонтова монастыря... Царь решился топором и виселицей задушить

внутреннюю крамолу, показать свой «огнеопальный гнев» на такой крупной в Московском государстве личности, как боярыня Морозова, его же царская родственница...

— Подсеку сей кедр ливанский!— сказал он, вспыхнув.— А горькие осинки и сами усохнут.

Юная Софьюшка царевна, слышавшая эти слова и страстно любившая свою «тетю Федосьюшку», которая, бывало, кармливала ее коломенской двухсоюзной пастилой, тотчас же шепнула об этом своей сенной девушке, чтоб та предупредила «тетю Федосьюшку о гневе батюшковом»...

— Тяжко ей бороться со мною: один кто из нас одолеет,— часто потом повторял Алексей Михайлович, задетый за живое удалением от него такого украшения его двора, как боярыня Федосья.

Тем зловещее звучали эти слова «тишайшего», что перед царем у нее уже не было прежней заступницы, царицы Марьи Ильишны, недавно «преставившейся»: ее место занимала молодая царица: вся пропитанная «новшествами», Наталья Кирилловна Нарышкина [44].

— Пускай и она посмотрит, чья коса лучше, ейная или моя, как мою косу на Лобном месте будет палач расплетать,— говорила Морозова, намекая на Наталью Кирилловну.

Как ярко сказалась женщина в этих словах, такая даже женщина, которая искала смерти во имя своей идеи!.. Чья коса лучше?.. Морозова знала цену своей русой косе: она уверена была, вопреки пословице, что, и снявши голову, по ее косе заплачут...

Раз вечером, глубокой осенью 1671 года, князь Урусов, воротившись из дворца, где он по своему положению бывал каждый день, сказал своей жене: «Дунюшка! Съезди к сестре Федосье и скажи ей отай, что ноне ночью будет к ней с Верху присылка: скорби великие грядут на нее. Содержимый неукротимым гневом царь созволяет на том, чтобы вскоре изгнать ее из дому... Да смотри, не мешкай: простися только с ней, может, в сем веке больше и не увидитесь».

Как громом поразила эта весть весь богатый и многолюдный дом Морозовой, только не саму хозяйку: гордая радость блеснула в ее добрых глазах... Присне бо час пострадать... «Слышишь, Степа, братец мой духовный! — колотилось у нее в сердце.— Расплетут косыньку, расплетут, чем бы ножки Христовы утереть...»

Но в тот же момент она вспомнила, что с нею «волци» могут захватить и всех проживавших в ее доме стариц и беличек. Она тотчас же собрала их в своей молельной.

— Матушки мои, голубицы!..— говорила она собравшимся.— Время мое пришло ко мне... Идите вы все, куда вас Господь наставит, а меня благословите и помолитеся, чтоб Господь ваших ради молитв укрепил меня страдать о имени Господни.

Пораженные ее словами, старицы и белички не хотели оставлять своей «сестрицы — крина сельнаго»: они хотели умереть вместе с нею...

— Мы с тобой, мы с тобой, наш крин сельный — цветочек лазоревый! — страстно молилась Акинфеюшка.— И мы хотим венцов мученических! Мы хотим, чтоб у царя недостало ни венцов, ни железа!

Но осторожная Мелания усмирила бурю.

— Не приспе бо час наш, сестрицы миленькие! — сказала она.— Пойдем в мир, пронесем слово божие по всей земле. Приспеет и наш час; и наши головы будут в венцах торчать на кольях.

И все это сборище в тот же вечер рассыпалось по Москве, еще более нафанатизированное.

Остались только Морозова и Урусова. Последняя не послушалась мужа, не воротилась домой, чтобы уже и никогда более не возвращаться туда...

— Мама! Мама! — влетел юный Морозов, Ванюшка, в опочивальню, где сидели сестрицы.— Знаешь что, мама?..

Сердце матери дрогнуло при виде раскрасневшегося юноши; но это же страстное сердце подсказало ей: «Пущай он видит мою косу на Лобном... Мы читали о Матери, плакавшей при кресте, на коем был распят Сын: пущай по моей смерти будут честь о сыне, стоящем у матерней плахи и плачущем...»

— Что, сынок? — спросила она и со страстью перекрестила его курчавую голову.

— Я завтра, мама, поеду к Дюрде на новом иноходце и на новом черкасском седле,— радостно сказал юноша.— Ах, мама, какая ты черничкою стала хорошенькой!.. Так можно ехать, мама?

— Добро, родной, поезжай; а теперь поди почивать.

Мать снова перекрестила юношу, и он ушел... Ни он, ни она не знали, что больше не увидятся...

. . . .

Время за полночь. На дворе слышится ветер. Намокшие от дождя и растаявшего снега ветки деревьев, что за переходами, хлещут в окна переходов. Морозова и Урусова стоят в той же моленной у аналоя перед раскрытой книгой, освещаемой висящими лампадами. Тихо в доме.

— Никак стучат, сестрица? — прислушивается Урусова.

— Это стучатся к нам в окна голые ветки, им холодно без листьев,— задумчиво отвечает Морозова.

— И то, сестрица, ветки... А чти-ко дальше...

Морозова читала: «Тогда глагола им Исус: вси вы соблазнитеся о Мне в нощь сию. Писано бо есть: поражу пастыря, и разыдутся овцы стада. Отвещав же Петр рече Ему: аще и вси соблазнятся о Тебе, аз никогда же соблажнюся... Рече ему Исус: аминь глаголю тебе, яко в сию нощь, прежде даже алектор не возгласит, трикраты отвержися Мене. Глагола ему Петр: аще ми есть и умрети с тобою, не отвергнуся Тебе. Такожде и вси ученицы реша. Тогда прииде с ними Исус в весь, нарицаемую Гефсимания, и глагола ученикам: седите ту, дондеже, шед, помолюся тамо. И поем Петра и оба сына Зеведеова, начат скорбети и тужити. Тогда глагола им Исус: прискорбна есть душа Моя до смерти: пождите зде и бдите со Мною. И пришед мало, паде на лице своем, моляся и глаголя: Отче Мой, аще возможно есть, да мимо идет от Мене чаша сия: обаче не яко же аз хощу,но яко же Ты...»

— Нет! Нет! Я не отвергнусь! — как бы в забывчивости проговорила Урусова.

— Что с тобой, Дуня? — спросила Морозова.

— Я не отвергнусь от тебя, как Петр, сестрица! — прошептала молодая княгиня.

— Полно, Дунюшка... Вон и Христос молился о чаше...

— Молись и ты, милая!

— Почто! Может, мне и не уготована чаша: вон никто нейдет.

Они снова стали прислушиваться: деревья шумели и хлестали в окна по-прежнему... Запел где-то петух, за ним где-то дальше другой...

— Вот и алектор возгласил,— задумчиво сказала Урусова...

— За полночь время: видно, стыдятся рано брать меня...

— И Христа ночью брали... А прочти, сестрица, от Луки то место, как они пришли.

Морозова стала перелистывать книгу и, наконец, нашла, что искала...

— Вот... «Еще же ему глаголющу, се народ, и нарицаемый Иуда, един от обоюнадесяте, идяще пред ними; и приступи ко Исусови целовати Его. Сие бо бе знамение дал им: его же аще ложбу, той есть. Исус же рече ему: Иудо, лобзанием ли сына человеческого предаеши? Видевше же, иже беху с ним, бываемое, реша ему: Господи, аще ударим ножем? И удари один некий от них архиереова раба, и уреза ему ухо десное. Отвещав же Исус рече: оставите до сего. И коснувся уха его, исцели его. Рече же Исус ко пришедшим нань архиереом и воеводам церковным и старцем: яко на разбойника ли изыдосте со оружием и дрекольями яти Мя? По вся дни сущу ми с вами в церкви, не простросте руки на Мя. Но се есть ваша година и область темная...»

— Ох, точно, сестрица: их година ночная и темная, все ночью берут и на Москве...

— Воистину, сестрица: неправда боится свету, яко тать...

Послышался глухой стук в большие ворота. Звякнула железная щеколда, и снова, казалось, все стихло.

— Пришли... я слышала щеколду,— дрогнувшим голосом сказала Урусова.

— Еще не цепи, не топор,— загадочно отвечала Морозова, взглянув на образа.

Послышался скрип главных ворот и какое-то бряцанье, словно цепями. На дворе испуганные голоса...

— Они... я слышу... на дворе...

— С оружием и дрекольми, поди,— горько улыбнулась Морозова.

В постельную, испуганная и дрожащая, вошла старая няня.

— Охте нам! Владычица!..

— Уйди! Уйди, няня! — строго сказала боярыня.— Это не к тебе, а ко мне... Уходи, иди к Ване!

Старушка, обхватив голову и качаясь из стороны в сторону, вышла.

Слышно было, как растворялись входные в палаты двери, раздавались голоса... Вот уже близко.

Морозова упала на лавку и в отчаянии ломала руки. Урусова, стоя на коленях, подняла к ней руки.

— Матушка-сестрица! Дерзай! С нами Христос, не бойся!

— Ох, не боюсь я! Сама того искала! — страстно отвечала Морозова.— А плачу о том, что страдала мало!.. Я боярыня белотелая, не изнурили меня, не измучили, я не заслужила венца! Зачем я не смердовка голодная!

— Полно, полно, родная!.. Встань, положим начала... Идут...

Морозова выпрямилась, и глаза ее снова блеснули... «Попрошу, чтобы больше мучили, жгли бы боярское тело, клещами бы рвали»,— мысленно порешила она.

Сестры, не торопясь, положили по семи приходных поклонов. Дорогие четки Морозовой звучали в такт с крупными жемчугами на шее Урусовой, когда они кланялись, шурша шелком одежд: одна черной монашеской, другая цветной, княжеской.

— Благословимся свидетельствовать истину,— сказала Морозова, тяжело дыша от поклонов и внутреннего волнения.

— Благословимся, сестрица.

Сестры благословили одна другую. Урусова потянулась к сестре, чтобы обнять и поцеловать ее.

— Не прикасайся мне, не убо взошла к Отцу моему,— тихо отстранила ее Морозова.

— Что с тобой, сестрица? — изумленно спросила молодая княгиня.

— Разве ты забыла, что мне и с сестрой нельзя целоваться, я инокиня... Разве в гробе поцелуешь меня...

Урусова застонала и поклонилась сестре в ноги. Та ответила ей таким же земным поклоном.

— Я лягу на одр свой, а ты ложись там, в келейке матери Мелании, на ее одре.

— Для чего ложиться, сестрица?

— А ты ноли хочешь на ногах встретить волка грядущего в овчарню и поклоном почтить его?

— Нету, сестрица... А сидя?

— Недостоин он и того: тать входит в дом хозяину на одре сущу... Это разбойники к нам идут.

В соседних комнатах послышались шаги и голоса...

— Где они?

— В опочивальне... туда входить нельзя...

— Что ты, раб-холоп! Мы царевым именем...

Морозова, совсем одетая, легла на постель, «на одр», близь иконы Пресвятые Богородицы Феодоровские. Урусова удалилась в соседнюю с опочивальней келейку, где обыкновенно скрывалась Мелания, и всегда под чужими именами, потому что ее всегда разыскивали «волци» и не могли найти: она была неуловима, сегодня она Анна, завтра Александра, послезавтра Кикилия, Асклениада, Нунеха, Вивея, Виринея, Овечка, и все эти имена разыскивались, и ни одна «Овечка» не попадалась «волкам» в руки.

Морозова лежала с открытыми глазами, перебирая четки, и, по непонятному ей сцеплению мыслей, вдруг вся перенеслась в прошедшее, в свое девичество, когда в своей вотчине, стоя у тенистого пруда, она кормила лебедей, а из-за лесу неслись звуки охотничьей трубы...

У дверей опочивальни звякнуло что-то металлическое, сабля стрельца либо крест попа, и двери с шумом растворились... В дверях показался черный клобук над бледным лицом с рыжей бородою, а за ним лысая голова с узкими, постоянно моргающими глазами... Далее, в глубине следующего покоя, звякали сабли и грубо топались сапоги стрельцов...

— Се Иуда,— как бы читая Евангелие, проговорила вслух Морозова, не шевелясь и смело глядя на гостей,— се Иуда, един от обоюнадесяте прииде, и с ним народ мног с оружием и дрекольями.

Пришедшие, как бы подзадориваемые этими словами, «дерзостно» выступили на середину опочивальной.

— Ты кто?— обратилась Морозова к клобуку, не переменяя своего положения.

— Посол от великого государя, его царского пресветлого величества, Чудова монастыря архимандрит Иоаким,— торжественно отвечал клобук.

— А меня, боярыня, я чаю, знаешь?— спросила, щурясь глазами, лысая голова.

— Думново дворянина Ларивона Иванова на Верху знавала, а разбойника Ларивона Иванова вижу впервые,— отвечала Морозова.

— Я не разбойник, а посол царев,— гордо возразил думный дворянин.

— Царские послы не врываются по ночам к честным вдовицам в опочивальни, яко тати и разбойники,— продолжала Морозова.— Почто вы днем не пришли?

— Не наше это дело, боярыня, а воля царева.

— Мы не спорить пришли,— перебил строго Иоаким,— а объявить волю цареву... Встань, боярыня.

— Не встану,— отвечала Морозова.

— Встань, говорю я! — настаивал Иоаким.— До тебя есть великого государя слово, а его лежа слушать не подобает.

— Не встану! — повторяла Морозова.

— Встань, да не впадеши в напасть!

— Не встану, не шевельнусь!

И архимандрит, и думный дворянин даже назад попятились... Вот баба!..

— Трикраты говорю: встань,— хрипло повторил архимандрит, поднимая крест.

— Трикраты и стократы реку: не встану, перстом не пошевельну!

Послы в недоумении переглянулись: первый раз в жизни они наскочили на такой кремень-бабу!.. А она лежала такая молодая, красивая, нежная.

— Боярыня! Федосья Прокопьевна! — взмолился архимандрит, боясь, чтобы и его не постигла опала за то, что он царскую титлу — экое великое дело! — говорит перед лежащей на постели бабой.— Боярыня! Присядь по малости.

— Я не присяду перед татями! — был ответ.

— Ах, Господи! — всплеснул руками Ларион Иванов.

— Вы тати, разбойники, а не послы! — продолжала боярыня, теребя четки; — вы, как жиды за Христом, пришли за мной ночью, по Писанию: «Се есть ваша година и область темная»...

У архимандрита крест в руках заходил от волнения: он чувствовал, что евангельское слово о ночных набегах на раскольников указывает именно на них, бьет по их совести... Ему стало стыдно и омерзительно... «Отчего не днем! Зачем таиться!..» Краска стыда залила его лицо.

Он поспешил приступить к формальному допросу.

— Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Русии указал тебя, боярыню Федосью, Прокопьеву дочь, Морозову вопрошать: каким крестом ты крестишься? — начал он торжественно, словно литию в церкви.

— Я крещусь крестом истинным, вот каким! Смотрите!

И Морозова, вытянув на поднятой правой руке два нежных, пухлых пальчика, указательный и средний,

и пригнув остальные, стала широко и истово знаменоваться, сильно вдавливая пальцы в белый, как мрамор, лоб, в живот, в плечи.

— Вот как я крещусь!—повторила она, гремя четками.

Архимандрит чувствовал, что он бессилен перед этой женщиной, и нерешительно переминался на месте... Он не знал, что ему делать: Морозова так сильна при дворе и в городе, что его же самого может стереть в порошок... «И се не бе»,—вертелся у него на уме какой-то страшный текст...

— А где обретается старица Мелания?—свернул он свой допрос на другое, менее для него страшное лицо.—Не у тебя ли в дому?

— По милости божией и молитвами родителей наших, по силе нашей, убогий наш дом всегда отверст был для странных рабов Христовых: было время, были Сидоры и Карпы, и Мелании, и Александры... ныне же никого из них нету,—отвечала она с горькой улыбкой.

Между тем Ларион Иванов прошел в келейку Мелании, думая найти там эту опасную и неуловимую женщину... При слабом мерцании лампадки он заметил кого-то на скромной, из голых досок и с деревянным изголовьем кровати, что-то цветное...

— Кто ты?—спросил он с невольной дрожью в голосе.

— Я жена Петра Урусова,—был ответ.

Ларион Иванов попятился назад со страху... Сейчас только он видел ее мужа, князя Урусова, у царя... Вон куда забрались они, истинно «тати»! Но отступать было уже поздно...

— Ты как крестишься, княгиня Евдокия Прокопьевна?—спросил он по указу.

И эта сложила два перста... Ужасные персты! И сам он, Ларион Иванов, когда-то, до новин этих, крестился этими же перстами... «Ох, Никон, Никон!..»

— Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную!—произнесла Урусова.—Сице аз верую!

Ларион Иванов и руками об полы ударился... «Ну, наскочили!»—вертелось у него на языке.

— Охте-хте-хте,—качал он лысой головой, возвращаясь в опочивальню.

Как-то беспомощно и боязливо переглянулись царские послы... «Что тут делать? Как быть?» И ума не приложить... Стрельцы в дверь заглядывают и тяжело

вздыхают, ерзая сапожищами и боясь чихнуть... «Эка службушка! Собачья, полуношная... А боярынька-ту пышечка лежит, ишь лазоревый твяточек, цыпочка какая!..»

Надо же что-нибудь делать послам.

— Подожди меня малость... Пойду, доложусь великому государю,— глухо проговорил архимандрит.

Не глядя на Морозову, он вышел, оставив Лариона Иванова с глазу на глаз с боярыней. Ларион стоял у притолоки, стараясь не глядеть на хозяйку; а она, все в том же положении, перебирая четки, громко и нараспев, как обыкновенно читаются «страсти», читала наизусть: «Спира же и тысящник и слуги иудейские яща Исуса, и связаша его и ведоша его ко Анне первее: бе бо тесть Каиафе, иже бе архиерей лету тому. Бе же Каиафа давый совет иудеом, яко уне есть единому человеку умрети за люди. По Исусе же идяше Симон Петр и другий ученик: ученик же той бе знаем архиереови, и вниде со Исусом во двор архиереов. Петр же стояше при дверях вне. Изыде убо ученик той, иже бе знаем архиереови, и рече дверннице, и введе Петра. Глагола же раба дверница Петрови: егда и ты ученик еси человека сего? Глагола он: несмь. Стояху же раби и слуги огнь сотверше, яко зима бе, и греяхуся: бе же с ними Петр стоя и греяся. Архиерей же вопроси Исуса о ученицех его, и о учении его. Отвеша ему Исус: аз необинуяся глаголах миру, аз всего учах на сомнищих и в церкви, идеже всегда иудее снемлются, и тайне глаголах ничесоже. Что мя вопрошаеши? вопроси слышавших, что глаголах им? се сии видят, яже рех аз. Сия же рекшу ему, един от предстоящих слуг удари в ланиту Исуса, рек: тако ли отвещаваеши архиереови? Отвеша ему Исус: аще зле глаголах, свидетельствуй о зле, аще ли добре, что мя биеши?..»

Это ровное, как бы плачущее, чтение «страстей» под гул ветра за окнами производило потрясающее впечатление и на Лариона Иванова, который обливался потом, и на стрельцов, тяжело дышавших в соседнем покое и не смевших пошевельнуться.

Все ждали возвращения от царя архимандрита.

VI. СТРЕЛЕЦ ОНИСИМКО

Архимандрит нашел царя в Грановитой палате. Была еще ночь, но Алексей Михайлович не спал. Последние смутные годы, борьба с Никоном и суд над ним,

напряженное преследование раскола, который, по-видимому, рос с поражающей силой, чувствуемая им атмосфера скрытого неповиновения даже в самом дворце лишили его спокойного сна более, чем внешние войны и неудачи. Он стал необыкновенно подозрителен. Потеряв нравственное равновесие, он принимал меры, одна другой суровее, не хотел поступиться ничем и был поражаем на каждом шагу своими же собственными мерами. Он видел, что народ от него отшатнулся. Прежде, во время выездов, народ теснился к нему волнами, давил и заглушал его выражениями своего восторга, а теперь народ, видимо, сторонился от него, избегал встречи, чтобы не попасться в руки «волков», рыскавших день и ночь по Москве в погоне за раскольниками и тайными крамольниками.

Царь это видел, волновался и делал новые ошибки и обиды обществу.

И сегодня он плохо спал, ожидая вести о том, как Морозова приняла его волю...

«Все точно сговорились скорее свести меня в могилу»,—думал он, сидя в Грановитой палате, окруженный боярами и ожидая возвращения послов от Морозовой.

Царь был в шапке, как он обыкновенно принимал бояр ранним утром. Раннее утро в то время начиналось вскоре после полуночи, ибо в то время люди еще не привыкли проводить за делами и за удовольствиями напролет целые ночи и ложились вместе с курами и вставали с курами же. В последние пять лет, что мы не видали Алексея Михайловича, он много изменился и постарел. Ясность взгляда и прозрачность сквозившей в нем души заменились чем-то тусклым, безжизненным. Глаза его глядели прямо и как-то взглядывали пытливо и недоверчиво, как бы выпытывая: что-де там у него на душе?.. Лицо как-то осунулось, одряблело; углы губ опали; седина на висках белела, словно серебряная мишура...

По бокам его, в отдалении, статуйным образом, стояли бояре. Видно было, что многие из них не выспались, но зевать боялись: зевал один царь и крестил рот рукою. Только глаза дьяка Алмаза Иванова чернелись на пергаментном лице, осмысленно переносясь с царя на бояр и с бояр на царя. Видно, что эти рабочие глаза привыкли к бессоннице и начинали свою службу всегда с петухами. Петр Урусов тревожно поглядывал на царя

и на дверь. Артамон Сергеевич Матвеев кивал тихо головою, выслушивая какие-то нашептывания князя Юрия Долгорукова.

У царского сиденья, несколько позади, стояли в белых кафтанах и высоких шапках молоденькие, с розовыми щеками, словно херувимчики, рынды и совсем дремали.

Тихо и робко вступил в палату Иоаким и низко поклонился царю и боярам.

— Что, отец архимандрит, винится боярыня? — торопливо проговорил царь, так что дремавшие рынды вздрогнули и попятились.

— Сопротивляется, великий государь.

Архимандрит рванулся было сказать, что боярыня не встала даже перед «царской титлой», но спохватился и замолчал.

Алексей Михайлович как-то беспокойно откинулся на сиденье и передвинул шапку выше на лоб, как будто бы ему стало жарко.

— Так гнушается нами? Не крестится? — спрашивал он с видимым раздражением, подозрительно взглядывая на бояр.

— Не крестится, великий государь. Да и княгиня Авдотья, князя Петра Урусова...

— Ноли, и она там? — перебил Алексей Михайлович.

— Тамотка, великий государь.

Алексей Михайлович глянул на Петра Урусова: он был уверен в его татарской, собачьей верности. Урусов стоял бледный.

— Точно, великий государь, я не нашел жены дома и не знал, где она обретается,— сказал он как бы на немой вопрос царя.

— Княгиня тамотка,— повторил архимандрит.

— Что ж она? — спросил царь.

— И она, великий государь, крепко сопротивляется твоему повелению.

Царь взглянул снова на Урусова.

— Не думаю, чтоб было так: слышал я, что княгиня смиренна, не гнушается нашей службы... Но та, сумасбродная, люта.

Урусов молчал. И рынды, и бояре косились на него, не то с сочувствием, не то с боязнью. Он вспомнил, что вечером, отсылая жену к сестре предупредить об опасности, он сначала просил свою «Дунюшку» поскорее

воротиться домой; но когда она на прощанье обняла его и, положив голову на плечо, шептала тихо и нежно: «Петруша, Петрушенька мой, соколик ясный! Что ж будет с нами?» — он отвел от себя лицо ее с заплаканными глазами и почти шепотом сказал:

— Княгиня! Послушай, еще аз начну глаголати тебе, ты же внемли словесам Христовым... Он рече в Евангелии, свет наш: предадят на сонмы и темницы... не убойтеся от убивающих тело и потом не могущих лише что сотворити...

Царь сурово задумался и бормотал про себя: «Тяжко ей бороться со мною, один кто одолеет...»

Он поднял голову и окинул глазами бояр; он решился...

— Отгнать ее от дому! — было окончательное решение.— Быть по сему!

Иоаким еще ниже поклонился и вышел, не поднимая головы.

Когда он воротился в дом Морозовой, то первым его делом было собрать всю челядь в передние обширные палаты и подвергнуть общему допросу о сложении перстов.

— Каким крестом вы креститесь? — спросил он, водя своими холодными глазами по рядам челяди «мужска и женска пола».

— Правым крестом! — послышались голоса.

— Подымите руки и сложите персты.

Руки не подымались. Все поглядывали друг на друга и только переминались на месте, ожидая, кто первый покажет пример. Но никто не решался быть первым.

— Креститесь! — повторил Иоаким свой приказ иным образом.

Стоят и переминаются. Надо начать самому.

— Сице ли креститесь? — поднял он руку.— Так ли?

— Так, так, батюшка!

— Подымите руки!

Руки поднялись, сначала робко, мало, потом все и высоко... Не поднялись только две руки. Иоаким увидел двух женщин, одну — молодую, с бледным красивым лицом и черными глазами, смело глядевшими из-под черного платка, и другую — пожилую, с лицом благодушным и кроткими глазами.

— Как тебя зовут? — обратился он к пожилой с кроткими глазами.

— Степанидой звали,— отвечало благодушное лицо.

— Степанида Гневная,— подсказал кто-то из челяди.

— Ты как крестишься, Стефанида? — снова обратился к ней Иоаким.

— Вот так, батюшка, как отцы и деды крещивались и как допрежь сево сам государь царь Лексей Михайлыч маливался,— добродушно отвечала Степанида Гневная.

— А тебя как зовут? — обратился Иоаким к младшей.

— Анной,— был ответ.

— Аннушка... Анна Амосовна,— подсказал кто-то из челяди снова.

— Ты как, Анна, крестишься? — продолжался допрос.

— Так, как и Степанида ж.

Иоаким пожал плечами и велел стоявшим у дверей стрельцам отделить от прочих «рабов и рабынь» Морозовой Степаниду Гневную и Анну Амосовну и, распустив остальных, пошел в опочивальню.

Теперь он вошел к молодой боярыне смелее, чем прежде. Морозова продолжала лежать. А Ларион Иванов сидел на лавке, видимо пересиливая клонивший его голову сон.

— Встань, боярыня! Выслушай стоя царскую титлу и указ! — сказал Иоаким торжественно.

— Не встану; я встаю токмо перед титлою Царя Небесного,— был тот же ответ упрямой боярыни.

Архимандрит откашлялся и взглянул на Лариона Иванова. Тот стоял навытяжку, ожидая царской титлы, экое великое дело! Титла царева...

— Великий государь царь Алексей Михайлович всея Русии указать изволил...— громко провозгласил архимандрит и остановился.

— Ну, досказывай, чернец! — кинула слово гордая боярыня.

— Указать изволил: тебя, боярыню Федосью, Прокопьеву дочь, Морозову, отогнать от дому!

— Только-то? — презрительно улыбнулась боярыня, не переменяя своего положения.— Я сама себя от него и от смрадного боярского сана давно отгнала.

— Не гордись, не гордись, боярыня!

— Ты гордишься своим холопством у царя, а не я.

— То-то не умела ты жить в покорении, но утвердилась в прекословии своем; так полно тебе жить на высоте, сниди долу... Встань и иди отсюда.

Морозова продолжала лежать и только усиленно перебирала четки. Стрельцы из другого покоя робко просовывали в дверь головы, чтобы взглянуть на боярыньку... «Эко лебедушка белая!.. Поди вить и впрямь святая, и царя не боится... эка красавица!..»

— Встань и иди! — настаивал Иоаким.

— Не пойду... силой, аки мертвую, вынесете,— был ответ упрямицы.

— Ах ты, Господи! — Иоаким даже руками ударился об полы.

— И впрямь нести надоть,— посоветовал Ларион Иванов,— долго ль еще короводиться нам тутотка! Вон скоро свет.

В окна уже, действительно, заглядывало морозное утро. Дождь и снег перестали: ветер дул с полуночи, сиверко. Истомились и стрельцы.

— Позовите рабынь! — приказал им архимандрит.

Стрельцы метнулись искать «рабынь» и скоро привели Степаниду Гневную и Анну Амосовну. Те со слезами бросились целовать руки у своей госпожи.

— Полно, полно, голубицы мои! Не плачьте! — с чувством говорила Морозова.— Не плачьте, а радуйтесь за меня... я больше не боярыня: от меня не смердит кровью...

— Матушка наша, святая ты наша! Золот перстень! — плакались «рабыни».

— Сымите ее с ложа и посадите на седалище сие.

Иоаким указал на стоящее у постели высокое, обитое золотой материей кресло.

— Сымите меня, голубицы мои! — сказала в свою очередь и Морозова.— Я не повинуюсь еретикам, так пущай несут меня силою.

— Что ты, что ты, золот перстень!

— Сымите, други мои, я повелеваю вам! — настаивала боярыня.

«Рабыни» повиновались и бережно усадили свою госпожу в кресло. Иоаким позвал четырех стрельцов, стоявших у дверей. Они робко вошли и поклонились хозяйке.

— Здравствуйте, миленькие! — ласково отвечала она им поклоном.

— Возьмите и несите из дому,— распоряжался Иоаким.

Стрельцы по-прежнему робко подошли к креслам, но не решались их взять.

— Берите, миленькие,— ободрила их хозяйка.

Стрельцы нагнулись, осторожно приподняли кресло с молодой боярыней и понесли через все богатые палаты к выходу.

За креслами шла Урусова, повторяя: «Я не отвергнуся тебе, сестрица... Апостол Петр отвергся, и изшед вон плакася горько, а я не отвергнуся...»

Тут же шли Степанида Гневная и Анна Амосовна и плакали. Иоаким и Ларион Иванов открывали шествие.

Из внутренних покоев показалось испуганное лицо юноши: это был сын Морозовой, Ванюшка, Иван Глебович... Мать не видала его и не оглядывалась: она думала, что он спит...

«На новой лошадке, на иноходце, и на черкасском седельце хотел голубчик ноне ехать к Дюрьдинке в гости,— вспомнилось ей вчерашнее прощание с сыном,— и он, и Дюрдя сиротки теперь, да добро: Богородица не нам чета: лучше их, матушка, взрастит...»

Ванюшка молча в спину поклонился матери и закрыл лицо руками...

Когда Морозову вынесли на крыльцо, было уже совсем светло и холодный ветер трепал голые ветви деревьев. В доме и на дворе раздались вопли и причитания. На улице, против ворот и дома знаменитой боярыни, тоже толпились любопытствующие и слышались неприязненные возгласы:

— Что это, дневной грабеж! Боярыню из своего дома выбивают! Эки нехристи!

— Матушка! Куда ее несут, голубушку? Хоронить живую, что ли?

На крыльце верная челядь успела накинуть на опальную боярыню с сестрою по теплому платку и по шубейке.

— Прощайте, миленькие! — кланялась Морозова на все четыре стороны.— Молитесь обо мне, за крест хочу пострадать.

— Прощай, матушка боярыня! Молись за нас грешных!

— Матыньки! Да что ж это такое будет, голубчики? Ноли Литва на нас пришла?

Возгласы неслись со всех сторон, и каждый из этих возгласов, словно порыв ветра, говоря иносказательно, обрывающий листья со старого дуба, отрывал у Алексея Михайловича народную любовь и доверие.

Морозову перенесли через двор и внесли в так называемые «людские хоромы».

Войдя в хоромы, Иоаким приказал стрелецкому десятнику подать кандалы. Звук желез, вынимаемых из мешка, заставил Урусову вздрогнуть, но Морозова обратилась к сестре со вздохом, сияющим радостью.

— Слышишь, сестрица! Слышишь, Дунюшка!

— Слышу, сестрица! О-ох!

— Не охай, а радуйся, Дуня милая! То наши новые четки звенят... Ах, как радостно звенят оне ко Господу!.. Лучше колоколов звонят... Каждый их звоночек слышит ухо Христово, до сердца Божия звонят звоночки-те эти...

— Ах, сестрица!

— Так, так, Дунюшка! Это наша молитва, цепи-те, путы Христовы...

Стрелецкий десятник стоял нерешительно, держа в руках железа. Его добродушное лицо с вздернутым носом и вообще мало сформировавшимся профилем заливалось красными пятнами стыда...

— Что ж стоишь? Куй,— хрипло сказал Иоаким.

— Царева воля, заковывай,— повторил и Ларион Иванов, не глядя на Морозову.

— Куй, миленькой! — ободряла десятского Морозова.— Куй, исполняй волю цареву, токмо не при них... Вон отсюда! — крикнула она на архимандрита и на Лариона Иванова.— Вон, Пилаты! При вас, на ваших глазах не обнажу ногу мою, не обнажу, во еже мне и умрети...

Десятский топтался на месте. Урусова припала на колени перед сестрой...

— Изыдите вон! — повторила упрямица.

Иоаким и думный переглянулись. «Надо покориться бесу-бабе»,— читалось в глазах думного.

— А без нас дашь себя заковать? — спросил Иоаким.

— Дам, не токмо ноги, но и выю дам заковать.

Иоаким и думный, пожимая плечами, вышли в подклеть, оставив сестер с стрельцами.

— Куй, миленькой,— ласково обратилась Морозова к десятскому и, приподняв немного ряску, показала

маленькие в шитых золотом черевичках ножки и часть полных икр, обтянутых белыми чулками.

Стрелец стал на колени, нагнулся и еще более вспыхнул, покраснели даже уши.

— Куй же, вот мои ноги...

Стрелец пыхтел, не смея взглянуть в лицо арестантке.

— Микола угодник! Эки махоньки ножки... да это робячьи ножки, у робенка словно,— бессвязно и растерянно бормотал он,— тут и ковать нечего, ничевошеньки... эх!

Морозова горько улыбнулась, а Урусова, припав головой к ручке кресел, тихо всхлипывала:

— Куй, миленькой... Христа ради... для Христа это...

Стрелец отчаянно тряхнул волосами и перекрестился... двумя перстами... У Морозовой глаза блеснули радостью...

— Миленькой! Братец! Куй же! — И она восторженно перекрестила стрельца и его наклоненную, встрепанную голову.

Стрелец дрожащей рукой дотронулся до ноги боярыни, словно до раскаленного железа... Рознял кольцо ножное, обножие железа и дрожащими пальцами обвил это кольцо вокруг ноги повыше щиколотки...

— Прости, матушка... мученица... не я кую, нужда кует... крестное целование, детки махоньки... Микола угодник...— бормотал он, замыкая обножие.

То же сделал он и с другой ногою, бессвязно бормоча: «Эки ножки... робячьи... крохотки... эк только ну!.. Уж и служба же проклятая!.. Ах, ножки божьи, ах!..»

И он порывисто, крестясь и утирая слезы, припал лицом к закованным им ногам и целовал их, как святыню...

— Матушка! Прости! Святые ножки... молись об нас... помяни раба божия Онисимку стрельца... ах!

Остальные стрельцы стояли и набожно крестились.

VII. ПОРУГАНИЕ НАД МОРОЗОВОЙ

Через три дня, утром, как и семь лет тому назад, на обширном дворе дома Морозовых и на улице, у ворот и против дома, толпились кучи народа: на дворе че-

лядь, рабы и рабыни Морозовой, на улице, за воротами, толпы любопытствующих и нищих, сопровождавшие всякий выезд знатной боярыни, как было и тогда, семь лет назад, когда Морозова ездила в гости к Ртищевым слушать словесные «на-кулачки» между Аввакумом и Симеоном Полоцким.

И теперь, по-видимому, ждали выезда Морозовой. На дворе, у крыльца главного подъезда, стояла богатая, известная всей Москве «каптана» Морозихи, украшенная бронзою, «муссиею и серебром и аргамаки многими» карета, запряженная двенадцатью белыми редкими конями с великолепными «гремячими чепьми». Около «каптаны» толпились рабы и рабыни, числом не менее двухсот, ожидая торжественного выхода. На козлах по-прежнему сидел седобородый плотный кучер, боярин не боярин, поп не поп, а что-то очень важное, в высокой меховой шапке с голубым верхом наподобие купола Василия Блаженного, сидел, важно поглядывая на толпу и сплевывая через спесивую губу, и здоровыми ручищами в оленьих рукавицах сдерживал коней, грызших и пенивших слюною блестящие удила. На каждой из лошадей, запряженных цугом, сидело по молоденькому вершнику в высоких шапках с голубыми верхами... Все, решительно все глядело так же торжественно, как и семь лет назад... Не было только Феди юродивого, которого удавили за веру в далекой Мезени, на глазах у толпы...

— Али, родимый, Морозиху ждут, народу-то что натолкалось?—спрашивала оборванная нищенка белобрысого детину из Охотного ряду в шапке таких размеров, что из ее меху можно было бы выкроить три добрых шапки.

— Знамо, Морозиху, не тебя, мочену грушу,— осклабился детина.

— А как же, милой, сказывали, будто ее, боярыню-ту, за двуперстие на чепь посадили, а как стали, сказывают, ноги-ту ейные чепью заковывать, так от ног-от огнь изыде и стрельцу Онисимке всю бороду опалило...

— Точно опалило,—подхватила торговка оладейница,—я в те поры оладьи волокла в Охотный ряд, так видела своими глазыньками, аки бы дым какой на дворе, а на трубе ворона каркала, и уж таково страшно...

— Ах, Владычица-Предотеча! Что ж Онисимке-то?

— Да что, сказывали в обжорном ряду: как увидал царь-от осударь Онисимку, да и испужайся, и говорит: «Она-де, Морозиха, мученица есть, привезти ее ко мне во дворец в золотой каптане...»

В это время с заднего двора выехали простые дровни, покрытые соломой и запряженные водовозной клячей, и остановились у крыльца людских хором. Клячу вел под уздцы стрелец.

— А дровни-те, родимая, для кого ж будут?— спросила нищенка у оладейницы.

— Не ведаю, милая...

— Дровни-те под тебя, мочена груша,— зубоскалил детина из Охотного ряду.

— Охальник ты, охальник и есть! — обиделась нищенка.

— Пра, баунька, вот те крест татарский! Хотят, чу, везти тебя царю на показ.

— Идет! Идет! — заволновалась улица.

С главного крыльца сходил кто-то, поддерживаемый под руки плачущею старой нянюшкой и мрачным слугой Иванушкой: но только это сходила не Морозова. Видна была наглухо застегнутая соболья шуба да высокая боярская шапка, а, по-видимому, плачущее лицо закрыто было ладонями.

— Боярчонок, боярчонок! — пронеслось в толпе,— Ванюшка, Иван Глебыч Морозов.

— Ах, родимые! Как он плачет-то, сердешный.

Юного Морозова, обливающегося слезами, посадили в каптану и захлопнули дверцы. Иванушка стал на запятках.

— В Кремль, под царские переходы! — крикнул Иванушка кучеру, и каптана двинулась, зазвенев на весь двор «гремячими чепьми».

В этот же момент, гремя другого рода цепями, стрельцы сносили с крыльца людских хором кого-то в нагольном тулупе, прикованного к массивному дубовому стулу... Ропот ужаса прошел в толпе... На дворе послышались вопли и причитанья...

Это стрельцы снесли на дровни Морозову и положили на солому. Она была прикована, как цепная собака, массивной цепью за шею. Цепь привинчена была к стулу.

Голова Морозовой закутана была черным шерстяным платком, концы которого спускались на нагольный тулуп, но не прикрывали цепи, тянувшейся от шеи к стулу.

За нею вынесли в таком же одеянии и тоже прикованной к стулу Урусову и положили рядом с сестрой на дровни.

Толпа и на дворе, и за воротами, пропустив блестящую каптану, замерла на месте.

Морозова, загремев цепью и поцеловав ее, высоко подняла правую руку с двумя вытянутыми пальцами.

— Слава тебе, Господи,— громко произнесла она,— яко сподобил меня еси Павловы узы носити!

— О-о-хо-хо! — заохали бабы.

— Кто ж этот, родимая, Павел-то, что она клянет которого? — спросила любознательная нищенка.

— А Крутицкий митрополит, краснощекий Павел, видывала? — отвечала оладейница.

— Видывала, родимая, как же.

— Еще он тоже, как и я вот, грешная, смолоду оладейником был, оладьи да блины в Обжорном ряду продавал... Недаром Аввакум протопоп обличал его: «Павел, тыть, краснощекой, не живал духовно: блинами-де все торговал да оладьями, да как учинился попенком, так по боярским дворам блюда лизать научился...»

— Уж язычок же у Аввакума!

Дровни, сопровождаемые стрельцами, выехали со двора. За ними и рядом с ними толпою следовала челядь и все те массы любопытствующих, которые ожидали пышного выезда боярыни Морозовой. Но это был не тот выезд, к которому привыкли москвичи. Впереди ехала блестящая каптана, громыхавшая дорогой упряжью и поражавшая торжественным шествием, цугом, двенадцати белых аргамаков с вершниками; но за каптаною не следовал никто. Напротив, все массы пораженных небывалым зрелищем москвичей толпились вокруг дровень. По мере движения по московским улицам этого страшного поезда к нему присоединялись все большие и большие толпы: портные оставляли свои кроечные столы, сидельцы — свои лавки, ряды и линии, нищие бросали паперти, у которых собирали милостыню, бражники оставляли кружала, на которых бражничали, и все спешило присоединиться к поезду Морозовой. А она лежала на дровнях, высоко поднимала руку с сложенным двуперстным знамением креста и звонко потрясала цепью, прикованной к стулу.

— Смотрите, смотрите, православные! Вот моя драгоценная колесница, а вот чепи драгие... В этой

драгоценной колеснице я, коли сподобил Господь, достигну рая светлого, а в той каптане (и она указывала на следовавшую впереди карету свою) одна была мне дорога, в ад... Молитесь так, православные, вот сицевым знамением!

Страстные речи молодой боярыни, и при такой потрясающей обстановке, жаром и холодом обдавали толпу... Многие испуганно крестились, женщины плакали. Стрельцы, сопровождавшие поезд, шли с потупленными головами: им стыдно было глядеть по сторонам, такое унизительное распоряжение исполняли они!.. «Эх, и распроклятая же собачья служба!» — горько качал головою Онисимко-десятский.

А Урусова, лежа на дровнях рядом с сестрою, часто крестилась и читала псалом: «Помилуй мя Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих...»

Сестер везли в Кремль, под царские переходы. Накануне их из-под стражи водили в Чудов монастырь для увещания. Когда думный Ларион Иванов явился к ним в подклеть людских хором, где они содержались под караулом, и по повелению царя требовал, чтоб сестры шли за ним, куда он поведет их, упрямицы наотрез отказались идти, и тогда Морозову опять понесли в креслах, а Урусова шла за ней следом. Эта процессия наделала много шуму в Москве, хотя происходила ранним утром. Бабы, шедшие на рынки, и крестьяне, привозившие в город сено и дрова, а равно богомольцы, возвращавшиеся от заутрень, с удивлением видели, как холопы, предшествуемые и сопровождаемые стрельцами, несли на креслах какую-то боярыню молоденьку, не то больную, не то бесноватую, только нет, не бесноватая она, потому что всю дорогу она крестилась истово; а другую такую же молодую боярыньку, которая плакала, холопы вели под руки... Оказалось, что их ожидали в Чудовом монастыре, в приемной палате, митрополит крутицкий, «краснощекий Павел из оладейников и блинников», знакомый уже нам архимандрит Иоаким и несколько думных. Павел был главный сыщик по делам раскола, главный «волк». Когда Морозову внесли в палату, то она усердно поклонилась образам, а думным поклонилась высокомерно и презрительно, едва кивнув головой: «малое и худое поклонение сотворила». Но потом она тотчас же села в свое кресло и ни за какие просьбы не

хотела встать. «Никогда я не склонюся и не встану перед мучителями моими»,— говорила она настойчиво... Павел знал и понимал высокую породу Морозовой и увещал ее тихо, ласково, умолял покориться царю. Боярыня стояла на своем. Павел хотел размягчить ее непреклонную волю напоминанием о сыне. «Христу живу я, а не сыну»,— по-прежнему непреклонно отвечала она.

Убеждения не действовали; увещания оказались напрасными. Тогда приступили:

— Каким ты крестом крестишься?

— Старым, истинным, коим и ты допрежь сего крестился, а не никонианскою щепотью.

— Причастишься ли ты хотя по тем служебникам, по коим причащаются великий государь, благоверная царица и царевны?

— Не причащуся! Знаю, что царь причащается по развращенным служебникам Никонова издания.

Митрополит думал поразить ее крутым вопросом, припереть ее, так сказать, к стене.

— Как же ты думаешь о нас всех: ноли мы все, и царь, и освященный собор, и бояре — еретики?

— Враг Божий Никон своими ересями, как блевотиною, наблевал, а вы ноне то сквернение его полизаете: явно, что и вы подобны ему,— был бесповоротный ответ.

Урусова отвечала то же... Их снова отправили в подклеть под стражу...

Сегодня вместо ножных желез их приковали за шеи к стульям-колодкам. Это была самая позорящая заковка, собачья, словно собак за шеи ковали. Но Морозова радовалась этой заковке и с благоговением поцеловала холодное железное огорлие цепи, когда Онисимко, весь трепеща, надевал и замыкал его на белой шее боярыньки, а ножные кандалы, сняв с ее «махоньких, робячьих ножек», положил к себе за пазуху, чтоб потом повесить их у себя под образами и молиться на них, как на святыню... Вот к каким результатам приводили суровые преследования!

Сегодня непокорных сестер решили позорно, «с великим бесчестием» провезти по Москве... И вот их везут в Кремль, под царские переходы, чтобы сам царь мог видеть унижение самой крупной сановницы своего государства и чтобы «жестоковыйная ослушница» сама «нарочито восчувствовала стыд и раскаяние»... Так

понимали тогда сердце человеческое... Чтобы еще более усилить позорность унижения, велено было впереди позорной колесницы-дровней провезти богатую карету Морозовой, в которой она езжала ко двору прежде, и в эту осиротевшую каптану посадить ни в чем не повинного сына непокорной...

Так и сделали.

Но этот-то самый позор, это глумление над ее породой, над богатством, знатностью и женской стыдливостью, это безжалостное стегание по сердцу и всему, что могло быть дорого обыкновенной человеческой душе, это-то и наполняло восторгом и умилением страстную душу Морозовой. Ей хотелось, чтобы в этом «опозоривании» видели ее все, кто знал ее и завидовал ей в пору могущества и славы, и чтобы видели ее в этом «уничижении до зела» даже те, которые любили ее, которые могли скорбеть о ее участи... «Горький вид мой, сие уничижение до зела, елеем спасения падут и на их душу»,— думалось ей... «Увидит меня в сем уничижении и царь, и молодая царица, и Софьюшка-царевна... Бедная Софьюшка! Воистину ей будет жаль меня, и помолится она о душе своей тети Федосьюшки... Только уж пастилки ей коломенской двухсоюзной не даст тетя Федосьюшка... И Васенька Голицын увидит меня, и Урусов Петр... Бедная Дуня! Не отреклась она от меня, яко Петр... Ах, только свет мой Аввакумушко не увидит меня в уничижении до зела, во славе моей, не увидит, миленькой... В земляной темной темнице сидит он... Да полно, жив ли он уже? Может, и его удавили, либо, что хлебец крупитчатый, испекли в пещи огненной... А он, Степан Тимофеич, видит меня... И его на цепи везли, что собаку... Да он заслужил, сам каялся... А все же он научил меня страдать с дерзновением... Слышу, слышу я: ветер шумит в липах, а он сидит за железной решеткой и поет:

Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка,
Не мешай мне, добру молодцу, думу думати.

Когда позорный поезд следовал через Красную площадь, мимо Лобного места, Морозова оглянулась на место казни Стеньки Разина. Там, у Лобного места, на высоком колу все еще торчала голова казненного, не голова, а голый костяк, покрытый снегом... Ей

показалось, что из черных глазных впадин на нее смотрели глаза Стеньки, как они смотрели на нее тогда из-под дубовых досок на плахе... На костяке сидела ворона и, оборотившись к Кремлю, каркала...

Когда дровни проезжали Фроловскими, ныне Спасскими воротами, то на выезде они проехали мимо двух оборванных и, по-видимому, подвыпивших церковников с косичками, которые о чем-то спорили.

— Ты не так, Кузьма, поешь сей стих,— говорил один из них.

— Как не так! Нет, так!

— Сказано, не так! Во как пой: «сорока, сорока, зеле-о-оный хвост»...

— «В Чермне море, в Чермне м-о-о-ре»...

— Что вы тут разорались, бражники! — крикнул на них Онисимко.— Али не видите, кого везут?

Церковники сняли шапки и поклонились с изумлением. Морозова перекрестила их.

В Кремле странный поезд ожидали не меньшие толпы народа. По Москве с быстротой молнии разнесся слух, что в этот день в Кремле будет происходить что-то необыкновенное. Говорили, что будто бы из ссылки воротили и Никона и Аввакума; что Никона будто бы за двоеперстие и за «аллилуйю-матушку» Бог совсем превратил в зверя Навуходоносора; что зверь этот ест мясо и стреляет из пищали по чертям; другие сказывали, что Бог превратил его в птицу «баклана», и что когда «баклан» этот стал ловить в Пустозерске рыбу, то Аввакум застрелил его из пищали, и оказалось, что это не «баклан», а сам Никонишко-еретик, только оброс бакланьими перьями, а ноги у него, у беса, петушьи, и что этого «баклана» будут в Кремле жечь в срубе. Третьи утверждали, что действительно Аввакума воротили из ссылки и что сегодня царь будет всенародно просить у него прощенья за «батюшку-аза» и за «матушку-аллилуйю» и перед всем собором отречется от новых книг и всяких проклятых новшеств и тут же, в Кремле, велит сжечь все новые книги, и вместе с книгами и печатным станком сожгут и всех «хохлов», которые привезли в Москву этот проклятый станок и завели все бесовские новшества; что первым сожгут черномазого Симеошку Полоцкого... Такие вести шли из Обжорного ряду... Охотный же и Сундушный ряды с Ножовою линией утверждали, напротив, что в Кремль привезут боярыню Морозову,

чтобы по новым книгам «отчитывать» ее от старой веры и «совращать» в новую, а ежели она, матушка, устоит, пребудет в старой вере тверда, аки адаман, то тогда проклятые никониане, чтобы «привести» ее в свою веру, будут «расстригать» ее в Успенском соборе; а коли-де она и после этого не «впадет в соблазн», то ее предадут анафеме, а никонианская-де анафема не в анафему, сказать бы просто, плевое дело...

Хотя воображение богословов Обжорного ряда было гораздо, как видите из этого, пламеннее воображения Охотного ряда с Сундушным, однако все ряды и линии единодушно высказывали в этом случае более консервативное мнение, именно, все были против новшеств Никона, против новых книг и «хохлов».

Вот потому-то, в виду этих необыкновенных слухов, москвичи сегодня и загатили своими телами всю кремлевскую площадь, толкаясь, шумя, ликуя и ругаясь в ожидании чего-то такого, чего не бывало, как и Москва стоит.

Поэтому, когда в Кремле появилась блестящая, запряженная двенадцатью белыми аргамаками каптана Морозовой, толпы так навалили на поезд, что двенадцать вершников, правивших конями, могли очищать себе путь только при помощи длинных кнутов, которыми они хлестали москвичей направо и налево, не разбирая, по каким частям хлесталось выносливое московское тело, по плечам ли, по головам, или по самому рожеству: «побьют-де, не воз навьют»... «за битаго-де двух не битых дают»... «тем-де море не погано, что псы налакали, в том-де спине не стыдоба, что кнутом стегали» — такова московская философия исконе бе...

Но москвичи разочаровались... Заглянув в окна каптаны, они увидели там: уткнувшись в уголок, сидит какой-то боярчонок, припав лицом к ладоням, и горько-прегорько плачет...

Но когда они оглянулись назад, то с ужасом увидали, что какая-то клячонка тащит жалкие дровнишки, и в дровнишках, на соломе, прикованная за шею к колоде, лежит сама Морозиха рядом с сестрою и, потрясая цепью, вопит:

— Православные! Раби Христовы! Воззрите на мя грешную и недостойную, яко сподоби мя Господь Павловы узы носити за крест правый... Держитесь этого креста, православные, держитесь, вот он! Держитесь за него, аки за ножки Христовы!..

Она глянула на дворец, на царские переходы и подняла обе руки, еще громче потрясая цепями...

— Радуйся, царю, радуйся, яко сподобил мя еси великия славы, радуйся, царь московский!

Народ глянул на переходы и боязливо начал сымать шапки...

С переходов, прячась в углубление, глядел царь Алексей Михайлович, бледный и гневный... Стоявшая там же, полузакрытая фатою, царевна Софьюшка, увидав Морозову, с плачем бросилась к отцу, да так и повисла у него на шее...

VIII. МОСКОВКА НА УКРАИНЕ

Неприглядна московская сторонка...

Тяжело, безотрадно оставаться долго мыслью все в этой суровой стороне. Томительно и невыносимо витать воображением по этой неприветливой земельке с ее мрачным историческим прошлым, носиться мыслью по земляным тюрьмам Пустозерска и Мезени да холодной Даурии, либо по темным кельям монастырей: Угрешского, Ферапонтова, Кириллова, Воскресенского с их узниками, томящимися там десятки лет за свои убеждения, каковы бы они ни были... Не над чем тут отдохнуть усталой мысли, не над чем с любовью остановиться и всеживотворящему воображению... Невесело московское прошлое...

Мысль невольно тянется к жаркому югу, к яркому солнцу, к чарующей природе, к другим людям, с другими заботами, кроме трегубой аллилуии, и с другими страданиями и радостями.

Воображению хочется отдохнуть на Украине, хоть и там лилось немало слез и крови, да все не так, не из-за того...

Мы видели, как в 1668 году, в Гадяч, во время «русальных игрищ», привезли на возу с трупами обезображенное тело гетмана Брюховецкого, как оплакала его молодая жена-гетманша, Олена Дмитревна, урожденная княжна Оленушка Долгорукова. Не привелось, однако, молодой вдове, похоронивши своего мужа Ивася, воротиться на свою родимую сторонку, в Москву белокаменную: Дорошенко отправил ее в тогобочную Украину, за Днепр, в Чигирин, в свою гетманскую резиденцию.

За горем и слезами, в тоске по родине и в горькой кручине по безвременно погибшем муже, не видала Оленушка Брюховецкая всей красоты тех полей и цветущих долин, лесов и лугов, степей и байраков, речек и переправ, цветущих сел и городов с вишневыми садочками, вербами и левадами, по которым и мимо которых везли казаки знатную московскую полонянку с ее старой нянею, Аксентьевною. Точно во сне, снился ей этот рай земной, по которому, в самую роскошную весеннюю пору, везли ее, горькую, осиротелую. Смутно остался ей в памяти только Киев, где они переправлялись через Днепр: на красивых горах и холмистых взгорьях, весь в цвету и зелени, с высокими печерскими стенами и церквами, весь залитый весенним солнцем, нарядный и пестрый от сновавших по улицам его чубатых и усатых черкас и черкашенок, витых с головы до ног цветами и лентами, бряцающих монистами и серебряными подковами своих красных и желтых черевичек,— все это показалось ей чем-то вроде дивных «соний», видений во сне, и все это было так непохоже на родимую, но суровую Москву, где женское личико пряталось от людских глаз, как нечто зазорное, греховное, бесовское, и где даже дети, казалось, не смели резвиться в боязни, чтобы их игры не приняли за «бесовские игрища»...

И вот уже пятый год живет Оленушка Брюховецкая в Чигирине, в семействе гетмана Петра Дорошенко, который оставил ее у себя в качестве знатной московской заложницы. Уже и сыну ее, Грицю, которого она родила тотчас по смерти мужа, в Чигирине, пошел пятый годок, и молодая мать московка не может надивиться, как это из ее сынка Гришутки вышел такой дошлый «хохленок», который ни слова не может сказать по-московски, да и не любит этой речи, родной речи матери, а так и чешет по-украински, по-черкасски, да и матери не велит называть его Гришуткой, а требует, чтобы она звала его «Грицем» либо «Грициком» и «Грицьком», потому-де, говорит — у! смешной мальчишка,— «хлопци над Гришуткой, говорит, смеются та лают и в «горобейку», и в «ворона» та в «зайчика» не дают з ними гратись...». У, чудной мальчишка! И над нею, над матерью, смеется: «Яко бо ты, мамо, говорит, дурна московка, нашои мовы и доси не знаешь...» Да и сам в отца весь — черняввенькой и глаза словно вишня владимирка... И Оленушка в нем души не чает...

И жена Дорошенка, и старуха-мать очень полюбили эту тихонькую и скромную московочку, которая казалась им такой горькой сиротою на чужбине, особенно когда они от нее же узнали, каковы московские порядки и каково там невеселое житье для женщины — ни выйти из дому не смей, ни на мужчину не моги засматриваться, неволя, чистая турецкая неволя эта жизнь в Московщине. Да и в турецкой неволе женщине легче живется, чем московке в Московщине: вон там «дивка бранка, Маруся, попивна Богуславка», и из неволи уходить не хочет «ради роскоши турецькой, для-ради лакомства проклятаго», вон и «волыночка поляночка», которую татары увели и которая своею «косою из золотого волоса» весь бор осветила и «зеленую диброву и биту дорогу», и та машет ручкою своему «батеньку», чтоб он не гнался уж за нею, вернулся бы «до доменьку»... Особенно возмущали московские теремные порядки молодую Дорошенчиху, которая была-таки порядочная «гульвиса» и об которой все знали, да и «самовидец», почтенный летописатель, в своей «летописи» записал, что она, молодая «гульвиса» Дорошенчиха, когда муж ее пошел на Брюховецкого, «скочила через плот за молодшим». Еще бы не «скочить»! Муж постоянно в отсутствии: то он с татарами и турками колобродится Бог весть где, то на тот бок уходит задирать тогобочных, левобережных гетманов, московских «попихачив», то с ляхами заведется: а молодая жена сиди себе да «выглядывай» своего Петруся... ну, «выглядает — выглядает» даром, да и «скочит через плот», урвется в «вишневый садочек», в «леваду», «у луг зелененький», а там уж и ждет ее «казак молоденький», «ручками обнимае, до серденька пригортае»...

Вот теперь этот «пройдисвит» Дорошенко вместе с ханом крымским и его ордами потянули к Ладыжину, а оттуда под Каменец к самому турецкому султану, чтобы Польшу «ускромнить» до конца, а молодая женушка сиди тут дома да скучай. Еще хорошо, что хоть с этой молоденькой московочкой можно душу отвести либо пойти посмотреть, как «парубки та дивчата» справляют «веснянские» игры на берегу Тясмина, а то хоть утопиться, так впору...

Вот и теперь они сидят под вербою у спуска от городской стены к Тясмину, а внизу от них на зеленой лужайке «дивчата» поют свои «веснянки» и играют в «Лялю».

Тихий весенний день клонится к вечеру. Но тени еще не удлинились настолько, чтобы защищать играющих от жарких лучей солнца. Девичьи голоса звенят на всю окрестность; им отвечают «парубоцькие» хоры с другой стороны, и воздух дрожит мелодиями.

— Да, не долго довелось проклятому Демке Многогрешному веселить очи свои цветиками, что он вырастил на могиле моего мужа, покойного Ивана Мартыныча,— говорила задумчиво вдова Брюховецкая, прислушиваясь к пению молодежи и следя глазами за своим сынком Грицем, который играл с другими хохлятами недалеко от девичьего хоровода.

— Та так-таки, так не довго,— отвечала Дорошенчиха, вскидывая на Оленушку своими серыми большими глазами из-под черных бровей «на шнурочку».— Казаки с того боку казали, що оце самое о середопостю старшина тогобочная, ливобережная, минуючи, же постереги змину того Демка Игнатенка Многогришного противко вашего московского царя, напали на Демка в ночи у замка батуринському на ложу, взяли его и завязали як злодия, а потим уложили в виз, накрыли шкурою мов кабана заризанного и повезли на Москву... А вже ваша Москва никого не милуе, от сторонка! И як вы ии, Оленко, доси не забули, вашу темницю московську!

— Ах, кума миленькая! Как же мне забыть родимую сторонку! — грустно, но ласково отвечала Брюховецкая, не спуская глаз с своего Грица.— Там у меня и батюшка, и матушка... Жила я в холе и радости.

— О! Яка-та там холя! У тереми мов у тюрьми...

— Я дворская была, сенная девушка, в царском дворце у царицы жила.

— От добро! Така ж турецка неволя!

— Мамо-мамо, и ты, Цяцю! Идить сюда! — кричал маленький Брюховецкий Гриць, весь раскрасневшись и указывая на берег.— Идить туда, мамо.

На Грице была беленькая полотняная с прямым воротом украинская сорочечка, шитая красной заполочью и завязанная у ворота красной лентой «червоною стричечкою». Голубые шароварцы убраны в красные сафьяновые сапожки. Подстрижен он кругло и высоко, по-украински. Смуглое личико с розовыми щечками загорело на солнце.

— Та йдить-бо, мамо! — волновался мальчик, обнимая мать и заглядывая ей в глаза.— Ты впьять по Москви плакала?

Дорошенчиха лукаво, но с доброй улыбкой посмотрела на мальчика, а мать потупила глаза.

— Плакала мама, Цяцю? — бросился мальчик к Дорошенчихе и тоже обнял ее.

— Трошки-таки поплакали,— улыбнулась гетманша.

— Ну вже ж! — И мальчик топнул ногой.— Як я буду гетманом, я погану Москву у полон возьму, тоди мама не плакатиме...

Обе женщины засмеялись.

— Добре, Грицю, добре! — похвалила Дорошенчиха.

— Цяцю! Мамо! — снова приставал мальчик.— Идить-бо до играшки, а то я заплачу.

И Брюховецкая, и Дорошенчиха должны были повиноваться ими же избалованному Грицю. Мальчик схватил их за руки и повел к Тясмину, на лужайку, где происходили «играшки».

На лужайке, словно мак в огороде, краснелись и пестрели «дивчата», взявшись за руки и кружась то под ту, то под другую песню. Теперь они играли в «Лялю». Высокая, полненькая, белокурая, но с черными глазами и черными, точно не своими, бровями, девушка наряжена была «Лялею»: белокурая с широкой косою головка ее была перевита цветами, и шея, грудь, руки и ноги увиты зеленой рутой и барвинком. Девушка вся представляла из себя пучок цветов, оживленный веселым, улыбающимся личиком. Из-за цветов и зелени пестрели цветные ленты, белая сорочка, коротенькая ярко-оранжевая сподница и желтые сафьяновые черевички...

— Ах, хороша, хороша девушка, лепота какая! — невольно пробормотала Брюховецкая.

«Ляля», взяв несколько венков, которые ей подали другие девушки, положила их на зеленый пригорок, на котором стояло уже несколько плетенок, наполненных красными яйцами, коржиками, бубликами и разными «ласощами». Потом, подозвав к себе низенькую, смуглую, словно татарочка, девушку и положив ей руки на плечи, поцеловала ее в голову, а потом в губы.

— Оце для того, щоб голосок був тоненький та высоченький,— сказала она серьезно.

— Коли даст святый Урай, то буде,— так же серьезно отвечала та, которую поцеловала «Ляля» и которая должна быть «запевалой» и «танок вести».

— И мене! И мене! — закричали другие девушки, приступая к «Ляле».

— Добре, добре, дивчаточка: моих губ на их достане,— отвечала последняя.

— И парубкам ще трошки зостанется,— лукаво улыбнулась Дорошенчиха, глядя на «Лялю».

Щеки девушки так и залились румянцем...

— Яки-бо вы, пани гетманово! — потупилась «Ляля».

Поцеловав ее и посадив около венков на пригорок, девушки взялись за руки, сделали из себя живую гирлянду, и смуглая «татарочка» завела своим свежим, грудным, сильным не по росту голосом:

Та Урай матку кличе;
Та подай, матко, ключи —
Одимкнути небо,
Выпустити росу,
Дивоцькую красу.
Дивоцькая краса,
Як литняя роса.

Молодые голоса звенели стройно. Несколько однообразная, как бы не песенная, а обрядовая мелодия отдавала чем-то далеким, старинным, может быть, еще языческим напевом, когда «стыдливе»,— по Нестору,— поляне и полянки, совершая свои игрища у воды, этими самыми мелодиями славили своих первобытных богов, и Перуна, и Дажьбога, и Стрибога, и Велеса... Оленушку Брюховецкую глубоко трогала эта мелодия, подобной которой она ничего не слыхала на своей далекой сторонке... Даже Гриць стоял безмолвно, не шевелясь и широко раскрыв свои розовые губки...

Ой, дивоцькая краса,
Як литняя роса...

— Правда, правда, дивчаточка! — не то с грустью, не то с шуткой сказала Дорошенчиха.— Дивоцькая краса, як литняя роса: сонечко зийде, пригрие, и росоньки немае...

Хор смолк... Движущаяся гирлянда остановилась и замерла на месте. «Ляля» сидела около своих венков, такая задумчивая, и обрывала лепестки махрового мака... Задумчиво сидела на траве и Брюховецкая, вероятно вспоминая о своей Москве далекой, о цар-

ских переходах, откуда они, сенные девушки, вместе с царевной Софьюшкой исподтишка на добрых молодцев посматривали... Что-то там теперь? И царевна Софьюшка уж поди выросла, пятнадцатый не то шестнадцатый годок пошел...

— А вы б, дивчаточки, заспивали про пани Брюховецьку,— с улыбкой сказала пани Дорошенкова.

Брюховецкая с недоумением посмотрела на последнюю...

— Про удову, дивчаточки, заспивайте, як удивонька ходила, дивкам танец водила,— пояснила пани гетманова.

— А ну ж, «татарочка», заводь: «коло млина калина»,— сказала «Ляля», бросив на траву общипанную головку маку.

«Татарочка» завела, что ей сказано было, и молодые голоса опять выносили новую мелодию.

Коло млина калина,
Там вдивонька ходила,
Дивкам танок водила,
Що вывде, та й стане,
На всех дивчат погляне.
Вси дивочки в таночку,
Тилько нема одной,
Марусеньки молодой.
Мати Марусю чесала,
Ще й чешучи навчала:
Не стий, доню, з нелюбим,
Не дай ручки ститкати
И перстинка знимати,
А стий, доню, з миленьким,
Як з голубом сивеньким;
И дай ручку стиснути
И перстинка изняти...

— Так-так, дивчаточки, добре! — поощряла пани гетманова.— Не стийте з нелюбим...

Гриць Брюховецкий, по-видимому что-то вспомнив, стремглав кинулся от других сверстников к «Ляле» и остановился перед нею как вкопанный, в робкой нерешительности.

— Вы що, паниченько? — ласково спросила «Ляля».

Мальчик переминался, уткнув нос в свою красную стричечку и порывисто теребя ее руками.

— Що, паниченко любы? Що, Грицю? — еще ласковее спросила девушка.

— А «Шума», Ляля, можно?—нерешительно спросил мальчик.

— «Шума»? Можно, паничу.

Мальчик радостно поднял голову, и личико его засветилось.

— А я «Шумом» буду, Лялюсю?—бросился на шею мальчик.

— Добре, добре, паниченьку,—ласкала его девушка,—а мама, пани-мама здозволять?

— Мамо ничого... Мамо! Мамо!—И Гриць бросился к матери.—Мамо, мамуню! Я буду «Шумом», Ляля сказала,—звенел Гриць, вешаясь на шею матери.

— «Шумом»? Ах, сынок мой! Ах, Гришуточка! Да ты упадешь,—ласково, но нерешительно защищалась Оленушка, которая уж знала, что такое быть «Шумом».—Я боюсь, сынок...

— Ах, мамо! Яко бы ты московка!—настаивал мальчик.—Я не впаду... я вже був «Шумом»...

— Ну-ну, добро, добро, только не упади...

Гриць опять кинулся к Ляле, поцеловав по дороге Цяцю, пани Дорошенкову.

— Мама сказала можно, я не впаду...

— Ну, добре... Дивчаточки,—обратилась Ляля к подругам,—будемо грати «Шума».

— «Шума»! «Шума»!—подхватили десятки голосов.

Гриць сел на траву и тут же стал снимать с себя красные сапожки, торопясь и весь краснея от волнения и радости.

Между тем «дивчата», взявшись за руки одна другой, растянулись длинной цветной лентой по зеленой лужайке: это была, действительно, лента «стричка» из веселых, молодых, улыбающихся лиц, из русых и преимущественно черных головок, украшенных разноцветными «скиндячками», из таких же разноцветных, ярких «плахт», «запасок», «сподниц» и всех цветов черевичков. Один конец этой живой ленты стал плавно заворачиваться и, пробегая мимо тех «дивчат», которые, продолжая держать друг дружку за руки, стояли на месте,—скользили, как под гирлянду, под приподнятые руки двух крайних девушек. Когда вся живая лента играющих проскользнула под такую же гирлянду из шитых рукавов последней пары, эта парочка также обернулась под своими руками, и дальнейшее движение играющих представляло уже «плетение плет-

ня», где вместо лозы и хворосту перевивались и скрещивались руками смеющиеся молодые существа... А «татарочка», а за нею и вся вереница звенела новой песенкой:

Ой, нумо, нумо!
В зеленого Шума
Огирочки жовтяки —
Женитеся, парубки.

— А мене ж, Лялю, «Шума»! — волновался Гриць, подскакивая на босых ножках.

«Ляля» схватила его на руки и стала целовать...

— «Шум» иде! «Шум» иде! — говорила она, поднося мальчика к скрестившейся живой изгороди из рук и голов, и поставила его на эти сплетенные руки.

Гриць, счастливый и смеющийся, гордо поглядывая с высоты на мать «московку», на Цяцю Дорошенчиху, на своих сверстников казачат, завистливо смотревших на него, смело пошел вдоль живого плетня, ступая своими босыми ножками по девичьим рукам и слегка дотрагиваясь руками до их голов, а живой плетень в это время пел хором, под звонкий голос «татарочки»:

А в нашего Шума
Зеленая шуба!
Шум ходит по диброви,
А Шумиха рыбу ловить:
Що вловила, то й пропила,
Доцци шубы не справила...

Песня становилась все звонче и звонче, молодые голоса как бы крепли еще более, а вперебой им из-за Тясмина неслось шумное, но стройное «парубоцкое спиванье»: это парубки за речкою выкрикивали, как бы подзадоривая «дивчат»:

А позаду Сагайдашный,
Що проминяв жинку на тютюн да люльку —
Необашный!

Хор парней на минуту замолкал, как бы прислушиваясь к пению про «Шума», а потом снова гремел и заливался:

Мени с жинкою не возиться,
А тютюн та люлька козаку в дорози
Знадобиться —
Знадобиться!..

Под звон голосов как по сю, так и по ту сторону Тясмина никто не заметил, как с пригорка сходила, торопясь и спотыкаясь, повязанная по-московски и в московском одеянии старушка. Она вся раскраснелась, а на полном, старчески осунувшемся лице и в щурящихся маленьких глазках выражались и волнение, и радость...

— Ау, матушка боярынька! Ау, Олена Митревна! — аукала она, напрасно силясь вынырнуть своим слабым старческим голоском из целого потока голосовых волн, которые неслись и переливались в воздухе по обе стороны Тясмина.

Ее никто не слыхал, а Гриць хотя и увидал ее с своего возвышения, с живого плетня из девичьих рук, но тотчас же отвернулся, боясь, что это его хотят звать или «кашку кушать», или «головку мыть», либо «почивать», и что ему ужасно надоело.

— Матушка боярыня, Олена Митревна, нам Бог радость послал,— говорила запыхавшаяся нянюшка.

— Что ты, няня! О! — встревожилась Брюховецкая, даже побледнела.

— Точно, родимая, радость, чу, Бог послал...

— Говори же, сказывай, Аксентьевна, что такое?

— Та мабуть бабушци Бог сынка або дочку послав,— усмехнулась пани Дорошенчиха,— кого вам Бог дав, бабусю, москалика чи московочку?

— Господь с тобой, пания! Что ты непутное говоришь! — обиделась старушка.

— Так что же? Сказывай, няня, не томи! — тревожно спрашивала Брюховецкая.

— Гонец с Москвы, родимая, пригнал и от батюшки князя и от матушки княгинюшки поклон и благословение тебе привез, и грамотки с им...

— Ах, няня! Что ты! Ох! — скорее испугалась, чем обрадовалась молодая боярыня.

— Истинно докладываю... Я и свету невзвидела, как речь-ту родную услыхала... с родимой-ту сторонки и собачка, чу, родная сестрица,— бормотала старушка, разводя руками.

— Вже-й сторонка! — улыбнулась Дорошенчиха.

— Так идем, няня, скорее... Гришутку взять надоть, ах, Господи!

Все заторопились. Только Гриць никак не хотел расстаться с своей почетной ролью «Шума». С плачем он был стащен с девичьих рук и насильно уведен домой.

— Я не хочу москалем буть... я не хочу боярином буть... я буду козаком... у москалив бороды... я не хочу бороды, я хочу вусы... не давайте мене москалям,— капризничал Грыць всю дорогу.

— Добре, добре, Грыцю,— подзадоривала его веселая Дорошенчиха,— ты у нас будешь гетманом.

— Ни, не хочу гетмана... я буду «Шумом»...— Так Грыць и остался при своем мнении.

IX. ГОНЕЦ ИЗ МОСКВЫ

Гонец, которому так обрадовалась старая няня Аксентьевна, ехал с грамотами из Москвы, из малороссийского приказа, к гетману правобережной Украины, к «Петру Дорофеичу», как величали московские люди Дорошенка, когда были довольны им или хотели его задобрить, и которого тотчас же превращали в «Петрушку» с укоризненным прозвищем «Дорошенок», как только имели повод на него гневаться. Приехавший в Чигирин гонец был не простой москвич, а молодой думный дворянин, «государев холопишко Федька Соковнин», как он сам писал себя, родной брат двух «великих страстотерпиц», боярыни Морозовой и княгини Урусовой [45].

Не одна старая няня обрадовалась Соковнину: «боярыня и пания Олена Митревна Брюховецкова», как называл ее московский гонец, расплакалась от умиления, увидав больше чем «собачку с родной стороны» — человека, который знал ее девушкой и видел, как она в последний раз «своею девичьею красою — русою косою светила», то есть был у нее на свадьбе в числе ближних гостей, мало того, ближних — ближайших: Федор Прокопьевич Соковнин был на этой свадьбе «тысяцким» и на коне, с саблею наголо, стоял, по-московскому обычаю, всю брачную ночь у подклети, в то время когда в подклети между новобрачными, гетманом и боярином Иваном Мартыновичем Брюховецким и княжною Оленушкой Долгоруковой, «доброе совершалось».

Речи в первые минуты свиданья были так бессвязны, что их трудно было уловить кому бы то ни было. Только уже после необходимых и неизбежных в подобных случаях возгласов, вопросов и ответов Соковнин, плотный русый мужчина, лет под сорок,

напоминавший, только вчерне, своих сестриц, обратил внимание на Грицяя, который, держась за подол матери, исподлобья поглядывал на незнакомца.

— А это, чаю, сынок твой, Олена Митревна? — спросил он и потянулся было погладить мальчика.

Грицъ попятился назад и топнул ножкой.

— Сыночек? У-у, дикой! — Соковнин коснулся рукою головы мальчика.

— Не рушь мене, не рушь,— упрямился Гриць.

— Что-что он бормотит?

— Не рушь, ты москаль!

— Ого-го-го, какой черкашенин? — рассмеялся Соковнин.— Фу-ты, ну-ты! А как зовут его?

— Гришей, Гришуткой,— отвечала молодая боярыня.

— Я не Гришутка... я Гриць,— понуро пояснил упрямый хохленок.

Разговор, конечно, скоро перешел на московские дела. В горницу, которая была отведена Брюховецкой в Чигирине, в доме Дорошенка, и в которой молодая боярыня приняла теперь своего московского гостя, немного погодя вошла и Дорошенчиха, спросив предварительно, не помешает ли она.

— Нет-нет, кумушка, где помешать! — успокоила ее Брюховецкая.— Я у вас, как у родных, жила, и мне от вас таить нечего, да и непочто.

Соковнина, видимо, удивила, и удивила приятно, эта черкасская вольность: пришла баба, молодая и красивая, в комнату, где находился посторонний мужчина, пришла сама, и не прячется! Не закрывается ни фатой, ни рукавом, не ахает и не убегает, как черт от ладану. Он даже молодцевато приосанился при виде молодой черкашенки, у которой ему припомнилась сейчас московская песня:

Лицо белое — набеленное,
Брови черные — насурмленные,
Глаза серые — развеселые...

Все это, действительно, было у молодой красивой украинки, только не «набеленное» и не «насурмленное», по московскому обычаю, а природное. Соковнин и бороду свою русую с краснецой молодцевато оправил.

— Так Нероновы времена, сказываешь, настали на Москве, Федор Прокопьич? — продолжала Брюховецкая начатый разговор.

— Нероновы и Диоклетиановы, матушка Олена Митревна,— отвечал гость, взглядывая мельком на красивую черкашенку-гетманшу.— Развели это сестер в разные темницы: Федосьюшку заточили в печерском подворье, а Дуню на Алексеевском монастыре под приставы. И каких это с ими диоклетианских мучений ни проделывали, и сказать я тебе, матушка, не умею. Первое дело, силком их к церковному четью-петью волочили. Нейдут это сестры, не хотят иметь общение с никонианы, так их — срам сказать! — кладут это на рогожные носилки и несут к четью-петью, словно бы мертвое тело[46]... Сама посуди, каково это!

Брюховецкая грустно качала головой и молчала... Ей представлялись эти грязные рогожные носилки и на них эти пышные боярыня и княгиня, которых она видела когда-то во дворце на самых почетных местах, в самых дорогих нарядах, или же в блестящих, раззолоченных каптанах «с аргамаки многи и гремячими чепьми»... И вдруг — на рогожах!.. Ей вспомнилось окровавленное, обезображенное лицо мужа на груде мертвых тел... Она невольно вздрогнула... Это смерть стала за плечами...

— И откуда это все взялось у сестер, я и ума не приложу,— продолжал Соковнин.— Вить в девках да и замужем уж были они тихи, что овечки, скромницы такие, что и сказать нельзя, мухи не обидели, и что, бывало, ни скажешь им — «Федосьюшка, мол, сделай, мол, то-то и то-то», либо «Дунюшка, поди, мол, принеси» — не перечили ни в чем и никому. А тут на поди! Железные какие-то стали, адамантовые... Несут это которую по двору к четью-петью, увидит она кого, и ну стонать к носильщикам-ту: «Увы мне! Ох, утомилася я, старицы, постойте немного!» Ну, те и спущают носилки наземь, а она ну вещать: «Зачем-де волочите меня? Разве-де я хочу с вами молиться! Никак! Не почитаю я вашей-де службы!» И уж достанется тут и Никону, и попам, и архиереям, всем сестрам по серьгам и по черевичкам... И что ж бы ты думала, Митревна! Со всей Москвы валит народ, и худородные, и вельможные жены, только бы посмотреть, как волочат в церковь боярыню либо княгиню, да послушать их горяченькой проповеди... Уж и вправду горяченькая, ох, горяченькая!

— Яки ж се сестры, скажить, будьте ласковы, и за що их так, мов злодиив, москали мордують? — спроси-

ла пани гетманова, заинтересованная рассказом Соковнина.

— Это, пания ваша милость, мои сестры будут, родные, значит, сестренки: старшая — вдова боярина Морозова, а молодшая будет княгиня Урусова,— любезно отвечал Соковнин.

— За що ж их, мов турки Байду, катують?

— За крест, ваша милость, за крестное сложение.

— Як за хрест? — удивилась пани гетманова.— Хиба ж у вас у Москови вира татарська теперь, чи турецька?

— Нет, пания ваша милость,— улыбнулся Соковнин,— у нас, сказать бы, ноне два креста: един крест старый, истовый, это двуперстный будет, а новой, никонианской, это троеперстной... так вот, сказать бы, кто истовова креста держится, тово и мучают...

— А за що? Хиба не все одно, що двома пальцами Бога славити, чи трема, чи усиею рукою?

— Нет, государыня, это, сказать бы, не все едино... Правда, сказать бы, оно и тово, коли бы не тово...

— От чудни москали! — пожала плечами пани Дорошенчиха и улыбнулась.— Мабудь им ничого бильше робить, так коло пальцив заходились... От народец! От чудна порода!

Соковнин потупился и тоже улыбался, а Брюховецкая все-таки мыслью витала над этой «чудной», но ей лично дорогой родиной: «батюшкова она и матушкина родимая сторонка».

— Выбачайте, пане! — спохватилась пани гетманова.— Що ж було дальше з вашими сестрами?

— А все так, посемест сидят во узах, и караулят их, словно Стеньку Разина.

— Се б то того казака с Дону, що хотив Москву до горы ногами поставить?

Соковнин снова снисходительно улыбнулся.

— Ну, ваша милость, Москва-те, сказать бы, больно широка и тяжела: не так-ту, сказать бы, ей легко в гору ноги подымать... Гораздо тяжела наша матушка-Москва живет.

Он остановился и поглядел на задумчивое лицо Брюховецкой.

— Мамо! Мамо! — зазвенел Гриць, радостно влетая в светлицу, откуда уж он успел улизнуть.— Я йиду с хлопцями слухать, як он там кобзарь про козака Голоту спивае —

Як на Голоти шапка бирка,
Зверху дирка,
Травою пошита,
Витром подбита...

И Грицця след простыл...

— Ну, озорной малец! — развел руками Соковнин. — Вот ветер, н-ну!

— А меня все московкой бранит, непутевый ребенок, — пояснила мать.

Но потом мысль ее снова перенеслась в Москву: встали перед ней, как живые, образы Морозовой и Урусовой.

— Ах, бедные, бедные мученицы! — покачала она головой. — Так они и сидят в заточении и никого не видают?

— Где видать! Отай разве, благо караульщики, стрельцы-те, все свой народ, и сердце-ту у них, сказать бы, не каменное, да и сдабриваем их... А более всего мучают Федосью сестру: уж больно она горяча в вере и в словесах остра. Одново как она ошпарила это Иларивона, митрополита рязансково, просто ах! Этот Ларивон митрополит, сказать бы, сам был старой веры допрежь сего и друг закадышной Аввакума протопопа, да после почестями разлакомился и перешел в никонианство. Уж и лют же стал гонитель старой веры! Диоклетиан, сущий Диоклетиан. Аввакум за сию лютость возьми да и пришли в Москву написание некое, «о Мельхиседеке» рекомое, а в писании сем многонько таки этово Ларивона митрополита словесами, словно, сказать бы, кнутом постегал. Дошло сие написание до сестры Федосьи: она возьми и выучи его наизусть. Вот и приезжает к ей в темницу оный митрополит Иларион, от царя, сказать бы, увещевать сестру, весь в бархате и виссоне, в карете и на вороных аргамаках... «Смирись, — говорит сестре, — не буди горда, раба божия Федосья». А сестра и ну вычитывать ему наизусть от Аввакумова писания: «друг мой, говорит, Иларион, архиепископ рязанский! Мельхиседек, живый в чаще леса, во горе Фаворской, седьм лет, ядый вершие древ, вместо пития росу лизаше, прямой был священник: не искал ренских и романей, и водок, и вин процеженных, и вина с кардамоном, и медов малиновых, и вишневых, и белых разных. Видишь ли, друг мой Иларион, как Мельхиседек-от жил? На вороных конех в каретах не тешился, ездя. Да еще был

царские породы, а ты кто? Ох, ох! Бедный! Некому по тебе плакать. Недостоин есть век твой весь против Макарьевского монастыря единые нощи. Помнишь ли, как на комарах-те стаивано на молитве? Явно ослепил тебя диавол. Где ты ум свой дел? Столько трудов и добра погубил! Воспомяни убо, яко молитвой и бесов прогонял. Помнишь, как в тебя бросали камением на Лыскове у мужика, как я к тебе приезжал? А ныне уже мирно содружился ты с бесами и мирно живеши с ними и любим еси ими. Как им тебя не любить! Столько ты христиан прижег и прирубил злым царю наговором, еще же и учением своим льстивым и пагубным многих неискусных во ад свел. Никто же он от властей, яко же ты ухищрением своим и пронырством царя льстишь и люди божие губишь. Да воздест ти Господь по делом твоим в день Страшного суда! Полно мне говорить, хощу ныне от вас терпеть!..» Так он ажно позеленел, сказывали сестры, от этих слов.

— А ты с сестрами сам-от видался? — спросила Брюховецкая, напряженно слушавшая рассказ гостя.

— Отай видывался... Так, после этой-ту закуски, Ларивон и наговори царю, что Федосья-де видается со всеми странницами, что оне-де передают ей и письма от Аввакума, и все такое, и что сему-де голова и воевода старица Мелания.

— О! я помню ее, Маланью-ту: она к нам, в батюшков дом, хаживала, да и покойная царица Марья Ильишна ее своей царской милостью жаловала.

— А хто ся Мелания? — спросила пани гетманова.

— Старица, монашка, сказать бы, — отвечал Соковнин, — святой жизни женщина... Так царь и распалился гневом на оную Меланию и велел ее хоть на дне моря сыскать. Так где! Не родился такой человек, чтоб мать Меланию сыскать, либо, знавши ее укрывательство, выдал; за нее все в огонь и воду: стратиг, сказать бы, всему Московскому государству эта Мелания старица. Уж и меня царь допытывал да умасливал, не ведомо ли-де мне, где та Мелания старица обретается? И великое мне свое государское жалованье сулил... Так ничев̓о не возьмешь... Вот для того ныне и из Москвы меня выслал, якобы с грамотами к гетману Петру Дорофеичу, а после тово велит мне на воеводстве быть в Чугуеве.... А все из-за сестер.

А под окном слышится протяжная, заунывная мелодия под однообразное треньканье нехитрого инструмента, простая, но за душу хватающая мелодия:

Ой, из города из Трапезонта выступала галера
Трема цвитами процвитана, малевана:
  Ой, первим цвитом процвитана —
Злато-синими киндяками побивана,
  А другим цвитом процвитана —
Гарматами арештована,
  Третим цвитом процвитана —
Турецькою билою габою покровена...

Все, как очарованные, невольно прислушиваются к этому пению, и даже Соковнин, опустив голову, сидит, не шелохнется — слушает... Умолкает пение, только слышится перебор пальцами по струнам...

— Уж и певучая ж сторонка, ах! — как-то восторженно встряхивает волосами московский гость.— Уж и сторона же!.. Сколько я ноне по ней ни еду, все песня, все песня, так и звенит: и парни, и девки поют, и малы ребятки соловьем заливаются, и самые что ни на есть дряхлы старики, и те поют... Уж и сторонка же, ах! Богова сторонка! Рай, сказать бы, земной...

— И точно рай,— как бы про себя заметила Брюховецкая,— только и в ем без родных скучно...

— Та рай же ж, рай,— весело заговорила пани гетманова,— та коли б сей рай москали не запсовали, мов мухи образ, як вони он там, на тим боци Днипра позасидили вже сей рай...

То в тий галери Алкан-баша,
Трапезонськее княжа гуляе
Избраннаго люду соби мае —
Симсот туркив, янычар чотыриста,
Та бидного невольника пивчвартаста...

Это опять поет голос певца за окном...

— Ишь старый! Как же складно выводит,— удивляется Соковнин,— ну, народец этот хохол, а-ах!

— Ну, а Ванюшка, сынок Морозовой, что он? — спохватилась Брюховецкая.

— А! Ванюшка? Племянник мой! Богу душеньку свою отдал...

— Как! Что ты! Ах, Господи!

— Помре, да...

— Давно ли? С чего? Ах, бедная, бедная...

— От великия печали по матери... Давно и сорочины по душе я справил... Уж и убивалась же бедная Федосьюшка, как поп бескуфейник принес ей горькую весть о сыночке: долго колотилась об землю, сердечная, да причитала, да на царя плакалась, он-де искал его погибели...

— Ой-ли? Что ты?

— Да так, боярыня... У нас в Московском государстве, сама изволишь ведать, и смерть, и опала богатого боярского рода на корысть великому государю: всегда в таком разе вотчины и богатства опального и умершего отписываются на государя, чтобы-де его царскому пресветлому величеству было прибыльнее.

— От так сторонка! — невольно воскликнула Дорошенчиха.

— Мамо! Мамо! — стрелой влетел Гриць. — Дай мени злотого.

— На что тебе, сынок? — удивилась мать.

— Я кобзареви у шапку вкину...

Мать должна была исполнить требование своего избалованного Гриця.

— Подай, милой, и от меня слепенькому алтын, — полез было Соковнин к себе за пазуху.

Гриць остановился и недоверчиво вскинул на него своими черными, как владимирская вишня, буркалами...

— Ни, — сказал он, подумав, — я московских грошей не хочу...

— Добре, Грицько, добре! — засмеялась Дорошенчиха. — Од москаля полу вриж та втикай.

И все рассмеялись этой выходке. Гриць улетел из светлицы...

— Ой, паничу! Як вы мене злякали були, — послышался чей-то голос за дверями.

На пороге показался рослый парубок с высокой постриженной черной головою и с чубом: белая, шитая красной заполочью сорочка с стоячим «комиром», завязанная у горла синей «стричкою» из «Явдошиной косы» (с Явдохою парубок только вчера вечером «женихался» на улице, и Явдоха сама выплела из своей косы ленту «стричку» и завязала ею сорочку своему «любому козаченькови Петрусеви»), широчайшие с неизмеримою, как степь, и висящею до земли «матнею», желтые, как в полном цвету подсолнух, шаровары и «нови чоботы», от которых несло, как из дегтярной бочки...

— Ты чого, хлопче?— спросила пани гетманова, закрывая «хусткою» нос.— От намазав чоботы, дурный, аж очи рогом лизут...

Парень несколько оторопел.

— Та се я... трошки помазав... он для их шануючи пана боярина... щоб не казали у Москви, що у нас...— оправдывался растерянный совсем малый, ссылаясь на то, что он так усердно намазал свои «чоботы» из вежливости, из уважения к знатному московскому гостю, чтоб в Москве не сказали, что козаки якобы не умеют принимать дорогих гостей,—шоб у Москви не казали, шо у нас...

— Дегтю мало?— засмеялась пани гетманова, обдав, как кипятком, своими серыми глазами московского гостя.— Ну, чего ж ты стоишь?-- снова обратилась она к парубку.

— Та мани-матка оце послали мене... запрохати шановного пана москаля, чи пак боярина... як его... тее оце й забув... тее то як его... запрохати тее пана моска... цур ему! Тее... от и забув...

Малый совсем сбился, а шел с затверженной речью, которую он, от имени старой пани-матки, самой матери гетмана, должен был пригласить гостя «на частувание», на закуску с дороги.

— Просимо дорогого гостя, просимо,— встала пани гетманова и приглашала идти к старой «пани-матке», к хозяйке и главе гетмановского дома.— Ходимо, Оленко, и ты ходи, Олесю,— ласково обратилась она и к Брюховецкой,— мати ждут нас... Бижи хутко, Петрусь, та скажи пани-матци, що зараз будемо.

Петрусь метнулся, разнося дегтярный запах по всему гетманскому дому. Петрусь был того мнения, что деготь пахнет лучше всяких цветов и духов и что «без дегтю пропали бы люди»...

Когда гость, предшествуемый пани гетмановою и Брюховецкой, входил в покои старой пани-матки, Петрусь недоумевающе топтался у дверей и вопросительно посматривал на молодую госпожу.

— Може, тее, пани... коли воняют чоботы, то я б, може, тее б, босый бы або що...

Пани гетманова только махнула рукой.

— Або що!.. Може б, и без штанин або що,— пробормотала она, про себя улыбаясь.

— А я запамятовал, простите, матушка Олена Митревна,— торопливо сказал Соковнин, вступая

в приемный покой, где он должен был представиться старой матери гетмана,—царевна, ее милость Софья Алексеевна, наказывала мне с сенной девушкой: «Поклонись-де, Федор, от меня боярыне Олене Митревне и спроси о здоровье...»

— Ах, светик-царевнушка! Что она, цветик лазоревый? Ах!

— Растет, полнится, хорошеет, что заря утренняя, и всяким хитростям и действам учится...

Послышалось тяжелое шарканье по полу шагов, и на пороге внутренних покоев показалась высокая осанистая старуха, черная и вся в черном. Единственное, что бросилось в глаза Соковнину, это резкий цыгановатый облик старухи.

То была мать Дорошенка.

X. ТИШАЙШИЙ КУПАЕТ В ПРУДУ СТОЛЬНИКОВ

Не в одной Украйне голубое небо, жаркое солнце, яркая зелень...

Жаркое, хотя утреннее, летнее солнце пурпуром горит на золотых верхушках летнего дворца Алексея Михайловича в селе Коломенском, обдает пурпуром яркую зелень царского сада с цветниками и прудом и превращает в нежную бирюзу голубое московское небо, когда-то сыпавшее, казалось, одними снегами и метелями да дышавшее трескучими морозами. Летняя царская резиденция, изукрашенная и «измечтанная» невиданными резными узорами и красками, обрызганная позолотой, испещренная цветными и разрисованными стеклами, вся в столбиках, коньках, гребешках и решетках, так и рябит, так и слепит своею золотоордынскою пестротою непривычный глаз.

Прелестное московское утро... На дворцовых карнизах, меж решетинами переходов и на наличниках голуби воркуют... В чаще сада турлукают горлинки и свистят иволги.

И среди этой природы, на женской половине дворца, в высоком тереме царевен, на полузадернутых от солнца пологами переходах раздается звонкий, металлический голосок той, о которой сейчас почти, именно вчера под вечер, вспоминали в Украйне правобережной, в Чигирине, в доме гетмана Петра Дорошенка... Это голосок «ее милости царевны Софей Алексевны».

Царевна Софья Алексеевна сидит в своем теремке с Симеоном Ситиановичем Полоцким и учится «арифметикии»...

Царевне уже пошел пятнадцатый либо шестнадцатый годок. Она, как справедливо заметил думный дворянин Федор Соковнин на вопрос Брюховецкой, похорошела, выросла, пополнела пышным белым телом... Белокурая ее умненькая головка вырастила роскошную косу, которая заплетена в две трубы... Голубые, совсем московские глаза с поволокой поглядывают иногда на зелень сада, на пруд, у берегов которого картинно плавают лебеди. Одна шибка стеклянной галереи переходов отворена в сад, оттуда веет ароматом цветов и зелени. У пруда, у «ердани», стоят часовые стрельцы. Кое-где виднеются в тени зелени бояре, стольники и другая дворская саранча.

— Так, так, цифрей ни лишних, ни неправильных нету,— говорил, как бы про себя, Симеон Полоцкий, перелистывая тетрадку на столе.— Циферное дело гораздо, в порядке... Похваляю Премудрость царевну... А что есть арифметикия? — вскинул он на нее своими умными семитическими глазами.

Царевна как бы немножко вздрогнула от задумчивости, но тотчас же оправилась.

— Арифметикия, или числительница, есть художество честное,— быстро заговорила она,— независтное и всем удобопонятное, многополезнейшее, от древнейших же и новейших в разные времена явившихся изряднейших арифметиков изобретенное и изложенное.

Прекрасные глаза царевны смотрели весело и светло.

— Изрядно, преизрядно! — похвалял учитель.— А каково есть арифметикиино челобитье до учащейся юности?

— Челобитье арифметикиино таково есть:

Приими, юнице, премудрости цветы,
Разумных наук обтецая верты,
Арифметикии прилежно учися,
В ней разных правил и штук придержися,
Ибо в гражданстве к делам есть потребно
Лечити свой ум, аще числить вредно,
Та пути в небе решит, и на мори,
Еще на войне, полезна и в поли.

— Оптиме! Оптиме! — похвалял учитель, любуясь своей ученицей.

— А что есть «оптиме»? — удивленно спросила царевна.

— «Оптиме» есть велия похвала римская, сиречь «преизряднейшее», «препохвальнейшее», изряднее чего быть не может.

— А что есть «верты», учителю? — снова спросила любознательная ученица.

— «Верты» суть множественное число, по граматикии, от «верта», а «верта» есть мать и сестра «вертограда»: попросту «верта» есть сад.

— А что есть «штук»?

— «Штука» есть слово польское и украинское и равносильно слову «художество».

Царевна глянула в окно и улыбнулась.

— Государь батюшка вышел на смотр,— сказала она, продолжая весело улыбаться,— а бояре-те, бояре как земнс кланяются головами в песок, красны, что раки, пыхтят как...

Она совсем рассмеялась. Тонкая улыбка змейкой пробежала по губам и глазам Симеона Полоцкого.

— Усердие свое великому государю являют,— заметил он скромно.

— Ах! Дьяк Алмаз Иванов уж тринадцатой поклон кладет,— снова засмеялась царевна,— кувыркается...

— Он легонькой, худ гораздо, ему не тяжело,— пояснил Симеон.

— Ах! А князь Трубецкой, Алексей Никитич, с земли не может подняться... ах!

— Тучен он и стар гораздо...

— Ево поднимают князь Юрье Ромодановский да Ртищев Федор... ах, подняли! Подняли! Государь батюшка смеется... руку жалует...

Царевна вспомнила, что она отвлекается от «урока», и зарделась... потом отвернулась от окна, чтоб не соблазняться «кувырканьями» бояр.

Симеон Полоцкий понял это.

— А коликогуба есть арифметикия, царевна Премудрость? — с ласковой улыбкой спросил он.

— Арифметикия есть сугуба.

— Изрядно... А каково есть арифметикиино первой части последствие?

— Арифметикиино последствие гласит сице:

О, любезнейшая прочитателько,
Буди о Христе ты снисателька,
Да в науке сей будешь свершенна.
И везде у всех добре почтенна.
Но еще молю тя потщися,
Прочих частей изучися,
В них же охотно ся понуди,
В политикии всей свершенна буди,
Да будешь почтена всеконечно
И увенчана от всех венечно.

— Оптиме! Сугубо и трегубо! Оптиме! — поощрял учитель.

Царевна вдруг засмеялась, да так детски искренно и звонко, что даже Алексей Михайлович, занятый важным государственным делом, счетом земных поклонов своих бояр и других сановников, оглянулся на терем царевны и добродушно улыбнулся...

— Батюшка государь сюда смотрит и смеется,— сказала царевна и быстро спряталась за полоть, словно вспугнутая птичка.

— Великий государь любит тебя, царевна, паче всех,— серьезно заметил Полоцкий.

— А я, ах, я батюшку государя таково крепко люблю, таково крепко!.. А однова, он говорил мне, что когда ево, царевичем, заставляли уроки учить, так повсяден велели прочитовать «похвалу розге»... А «похвала розге», батюшка сказывал, такова:

Розгою Дух Святой детище бити велит,
Розга убо ниже мало здравия вредит...

Она снова засмеялась... Симеон, позвякивая четками, ласково смотрел на нее и улыбался...

— А дальше, батюшка сказывал, тако:

Благослови, Боже, оные леса,
Иже розги добрые родят на детские телеса,
Да будут благословенны и оные златые времена,
Егда убо секут розгами людские рамена...

— Ныне сему не учат,— заметил Симеон, когда царевна кончила.

— А «комидийным действам» учат? — наивно спросила юная царевна.— Ах, как оные «действа» хороши, зело хороши!

Симеон Полоцкий скромно потупился, и даже немножко как бы румянец показался на его бледном, бесцветном лице.

— А ты, царевна, видела их? — спросил он, немного подумав.

— Одним глазком видела, когда у батюшки в палатах оные действа показывали... Я из-за полога смотрела... Таково хорошо!.. Выходит это Навуходоносор, царь гордый такой, страшный, и с ним боярин Амир, и боярин Зардан, и слуги, и воины... А лицедей и говорит государю-батюшке:

То комидийно мы хощем явити
И аки само дело представити
Светлости твоей и всем предстоящим,
Князем, боляром, верно ти служащим,
В утеху сердец здрави убо зрите,
А нас в милости сохраните...

Бесцветное лицо монаха расцвело, глаза были необыкновенно светлы, губы подергивались...

— Память-то какова у тебя, царевна Премудрость, золотая! Воистину золотая! — радостно бормотал он, не спуская глаз с раскрасневшегося личика девушки.

— А как весело было, когда были «ликовствования», и на поле Деире, когда Навуходоносор царь велел гудцам трубить и пискать... Ах, таково хорошо! И болван злат, идол Навуходоносоров, и пещь огненная, и три отрока в пещи, и ангел... Ах, как они, бедненьки, отроки-те, не сгорели в пещи!

— Ангел не попустил...

— Да, ангел, точно... Я так и замерла, за полог уцепившись, мало со страху не крикнула, да няня назад оттащила меня силком... Я так и расплакалась об отроках...

— Да оно так только, царевна-матушка: одно лицедейство... Отрокам не горячо было в пещи, — успокаивал свою ученицу Симеон, довольный в душе эффектом своей пьесы, — то комидийное действо, а не самосущее...

— А все страшно... Я после таково возрадовалась, когда на другой день увидала в окно, что отроки живы и здравы были... Одного я знаю, он истопников сын Митя...

Юная царевна совсем разболталась, а Симеон, польщенный ею, только улыбался.

— А потом лицедей и говорит, — снова восхищалась царевна, — говорит таково красно и кланяется государю-батюшке и боярам:

Благодарим тя о сей благодати,
Яко изволил еси действа послушати,
Светлое око твое созерцаше
Комидийное сие дело наше.

В это время на дворе послышался какой-то крик, плеск воды и громкий смех. Царевна выглянула из-за полога и тоже засмеялась...

— Государь-батюшка тешиться изволит, стольников купает,— пояснила она.

Действительно, против внутренней выходной площадки коломенского дворца, где в высоком резном кресле сидел царь, окруженный предстоящими ему боярами, князьями и всякими именитыми сановниками, на дворе, у самого пруда, происходило нечто необыкновенное, хотя, по понятиям того наивного века, весьма естественное. «Тишайший», действительно, изволил тешиться: купал в пруду своих стольников. Эти невольные ванны царские стольники принимали «ежеден» и «ежеутр», как писал о том сам Алексей Михайлович стольнику Матюшкину: кто опоздал к царскому смотру, то есть к поклонам, какие вон ноне утром так усердно делал дьяк Алмаз Иванов, самый аккуратный царедворец, как великий законник, или князь Трубецкой, не могший потом подняться с земли, кто запаздывал к этим поклонам, того в пруд, так-таки совсем в кафтане, и золотном платье и сафьянных сапогах и погружали в воду, бросая в пруд с «ердани», с мостков, устроенных для водосвятия.

Сегодня особенно было много купаемых. Да и немудрено: утро выдалось жаркое, следовательно, покупаться для потехи его царского пресветлого величества даже приятно. Конечно, в сентябре и октябре, когда начинались заморозки, а царь все еще оставался в Коломенском, стольники реже опаздывали к своим служебным обязанностям, к поклонам; но жарким летом почему и не опоздать? Особенно же потому лестно было быть выкупанным, что всякого, кто потом благополучно выползал из пруда, мокрый как мышь, царь жаловал, кормил за царским столом: так мокрого и сажал, и тот преисправно кушал «царску ества» и пил изрядно...

— Великий государь! Смилуйся, пожалуй! Не вели топить, детушки мал мала меньше! — вопил один толстый, красный стольник, которого стрельцы под руки

тащили к пруду, между тем как другой уже барахтался в воде, брызгал и фыркал, как купаемый конюхом жеребец, и охал, путаясь в мокрых складках своего цветного кафтана и захлебываясь водой.

— Караул! Тону! Пустите душу на покаянье! — молился он, выбиваясь из сил.

— Кидай! Кидай дале, глыбче! — наблюдал за порядком Алмаз Иванов.

— Ой-ой, батюшки! Государь!

Бултых!.. Только жмурки пошли по воде от толстого стольника...

А «тишайший», положив руки на полный, выхоленный живот, «любительно» смеется... Ему вторят почтительным ржанием бояре...

Испуганные лебеди бьются по пруду крыльями и отчаянно кричат...

Стрельцы волокут третьего стольника, который крестится и тихо читает псалом «Помилуй мя, Боже, по велицей»...

— Ох! Тише! Задушите!

И его бултыхнули с мостков со всего размаху.

— Ой-ой! Убили! Батюшки, убили!

Этот третий стольник, падая торчмя в пруд, хлобыснулся как раз об спину толстого, второго стольника, который только было вынырнул из воды...

— Ох! Спасите, кто в Бога верует, потопаю, ох!

А тот, первый, что раньше других барахтался в воде, кое-как добрался до берега, выкарабкался на четвереньках и приближается к царю с улыбкой подобострастия... Мокрые волосы спутались, закрыли все лицо, с волос и с бороды течет; с платья, с кафтана и штанов ручьями льет вода; сафьянные сапоги, наполненные водой, хлюпают и брызжут... Стольник, оставляя за собой на земле полосу воды, подходит к царским ступеням и кланяется земно, прямо лбом в песок... Поднимается, песок и грязь на лбу и волосах, руки, колени, полы — все в земле... Но на лице самая преданная, самая холопская улыбка...

— Жалую тебя, Еремей, ешь ноне с царского стола,— милостиво, с доброй улыбкой на полном розовом лице, говорит «тишайший».

Стольник опять кланяется земно, осклабляется...

— Я, ваше царское пресветлое величество, нароком опоздал,— стоя на четвереньках, благодарит выку-

панный стольник,— коли-де опоздаю, так выкупают, да и за стол посадят...

— То-то! — улыбается царь, и бояре «осклабляются, что псы верные».

— Для тово и опоздал нароком... ествы царской сродясь не едал, какова она, ества царская,— пояснял выкупанный.

За третьим сбросили в воду четвертого, пятого, шестого, до дюжины... А Алмаз Иванов наблюдает порядок, зорко следит за сим важным государственным делом, словно бы тут была царская овчарня, а это купают овец или молодых щенят, чтоб блохи не водились.

В это время стрельцы подошли к одному высокому, красивому, совсем молодому стольнику, чтобы и его вести в воду. Стольник был одет щеголевато, в малиновый летний кафтан «заморской кройки» и в сафьянные со скрипом сапожки. Он глянул на окно царевниного теремка и вспыхнул, как маков цвет... и там, в теремке, вспыхнули же: вспыхнула царевна Софья Алексеевна и даже рукавом закрылась.

— Иди, князь Василий Васильич, твой черед,— строго обратился к красивому стольнику Алмаз Иванов.

Руки стрельцов потянулись было к стольнику...

— Прочь, смерды! Не трошь своими лапами! — отмахнулся от них молодой стольник.— Сам ведаю государеву службу...

И со всего бегу, с припрыгом, ринулся с иорданских мостков в пруд и исчез под водою.

— Ай да молодец князь Василий,— похвалял царь, милостиво улыбаясь.

— Молодец! Молодец! Из молодых да ранний,— почтительно ржали бояре.

Но молодого князя и след простыл, он исчез под водой — только пузыри пошли...

Ждут, ждут... нету князя Василья... Еще ждут, нету... нету...

— О-ох! — послышался слабый стон в окне царевниного теремка... Царь глянул туда, ничего не видать...

Симеон Полоцкий, испуганный, дрожащий, бросился к своей ученице... Она бледна как снег, помертвела...

— Что! Что с тобой, царевна? Ох, Господи!

— Вася! Васенька Голицын утонул... о-о-о!

Но Васенька Голицын вынырнул в другом конце пруда и своим появлением распугал всех лебедей. Даже стрельцы об полы руками ударились, а Алмаз Иванов ажно испужался, совсем испужался... «Ишь, язва... ах, н-ну...»

— Похваляю и жалую тремя обеды враз,— положена милостивая царская резолюция на купанье молодого князя Голицына.

Все, и бояре, и думные, и стольники, смотрели с завистью на счастливчика, на князя Василья...

И из царевнина теремка с любовью смотрело на него счастливое девичье личико *[47].

XI. УВЕЩАНИЕ МОРОЗОВОЙ

Стольники выкупаны, вдоволь накормлены, доклады дьяков выслушаны, резолюции по отпискам воевод и посольских людей положены, грамоты посланы... После обеда часа два соснуто; квасу и браги и медов со сна полтретья ведра выпито; вечерни отслушаны; побаловано сластями; медвежатников похвалено; «комидийное действо о блудном сыне» просмотрено; на ночь попито, поедено и гораздо запито, и прошел московский день... Слава Тебе, Создателю всяческих...

Ночь...

И царь Алексей Михайлович спит, и царица Наталья Кирилловна спит, и царевна Софьюшка баинькает, и Васенька князь Голицын спит, и дьяк Алмаз Иванов дрыхнет...

Царю грезятся стольники, царице — лазоревы цветочки, царевне Софьюшке — Васенька княжич. Васеньке — царевнушка Софьюшка, Алмазу Иванову — гусиное перо...

Ночь и в Пустозерске...

---

* Купанье стольников — исторический факт. Царь Алексей Михайлович сам писал из села Коломенского стольнику Матюшкину: «Извещаю тебе, что тем утешаюся, что стольников купаю ежеутр в пруде, Иордан хорошо сделана, человека по четыре и по пяти и по двенадцати человек, за то: кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю, да после купания жалую, зову их ежеден, у меня купальщики те ядят вдоволь, а иные говорят: мы-де нароком не поспеем, так-де и нас выкупают да и за стол посадят: многие нароком не поспевают...» (Русская история Костомарова, IV, 98). *(Примеч. автора.)*

Все спит и там... Не спит только Аввакум в своей земляной тюрьме: молится, кричит до Бога, звеня цепями... А привыкшая тюремная мышка грызет свой сухарик...

И в Ферапонтове ночь...

Никон не спит: стучит костылем по полу кельи, с чертями воюет...

И на Украйне, в Чигирине ночь...

Там никто не спит: пани гетманова в «вишневом садочке» с «молодшим» обнимается, пани Брюховецкая нянины московские сказки слушает, Гриць мечется в постельке, «Шумом» бредит... Петрусь с Явдохою «женихается»... «Дивчата» и «парубки» поют от зари до зари...

Но и на Москве в эту тихую летнюю ночь не все спят. Ровно в полночь тихо заскрипела калитка на подворье Печерского монастыря, загремело железо, и из калитки вышла женщина, вся закутанная в черном и сопровождаемая вооруженными людьми. На ногах у женщины звякали кандалы...

— Ишь, лешие, лошадь выпустили! — соскочил со скамейки заспавшийся сторож подворья, которому со сна, по звяканью кандалов, померещилось, что это ушла с подворья стреноженная цепью лошадь.

Он бросился за мнимой лошадью и в изумлении развел руками: то была не лошадь, а закутанная черной фатою женщина с кандалами на ногах.

— Ишь ты, монатко, должно, проворовалась,— пробормотал он и снова пошел спать.

Да, то была действительно, «монатка», которая «проворовалась гораздо»: «воровство ее знамое», как сегодня еще выразился о ней Алексей Михайлович в разговоре с патриархом Питиримом II. Надо заметить, что в то время «воровство» означало совсем не то, что значит теперь: «воровством» тогда называли всякое государственное преступление, неповиновение, бунт, и оттого тех казаков, которые шли против правительства, называли «воровскими». Вот потому-то сегодня царь, разговаривая с патриархом о Морозовой, выразился: «воровство-де ее знамое»...

Морозову это-то и вели под караулом из Печерского подворья. Разговор об ней у царя с патриархом был сегодня по следующему случаю. Игуменья Алексеевского монастыря, в котором заточена была сестра Морозовой, княгиня Урусова, не раз заводила

с патриархом речь о том, что вот-де у нее в монастыре «смиряют» княгиню Урусову, «волочат» каждый день ее, «аки мертвую, к четью-петью церковному», а она-де «вопит свою проповедь на весь мир» — и оттого на Москве «молва живет гораздо», да и «соблазн великий», потому-де вся Москва знает о ее «вельможии и породе». Да и о сестре-де ее, боярыне Морозовой, «велия молва живет»... Вот потому-то сегодня патриарх и говорил царю: «Советую я тебе, великий государь, боярыню ту Морозову вдовицу — кабы ты изволил опять дом ей отдать и на потребу ей дворов бы сотницу крестьян дал. А княгиню тоже бы князю отдал, так бы дело-то приличнее было. Женское их дело, что оне, много смыслят! А об них многие знатные особы всего Московского государства соболезнуют: и это тебе, царскому величеству, не на корысть живет, а тебе же в убыток. Да и сынок твой родной, царевич Михаил, соболезнуя оным сестрам, частенько-таки, сказывают, к ним заезжал посмотреть сквозь решетку на их мученичество и слушает их со умилением: «Удивляет-де меня ваше страдание; одно только смущает меня: не знаю — за истину ли вы терпите». А царь и говорит патриарху: «Давно бы я простил и пожаловал боярыню Морозову; но не знаешь ты лютости этой женщины. Как поведал тебе, сколь наругалась и ныне ругается Морозова-та! Много поделала она мне трудов и неудобств показала. Если не веришь моим словам, изволь сам испытать: призови ее к себе, спроси и сам узнаешь ее твердость. Начнешь ее истязать — и вкусишь приятности ее... Потом я сделаю, что повелишь... А воровство ее знамое...»

Вследствие этого разговора и вели теперь к патриарху Морозову, чтобы он сам мог «вкусить ее приятности».

Тихо кругом по всей сонной Москве, только слышится роковое позвякиванье кандалов, да кое-где лай собаки, разбуженной этим звяканьем. Морозова идет, немного наклонив голову и как бы к чему-то прислушиваясь. Она вспоминает, как год тому назад она, в сопровождении Акинфеюшки, такою же летней ночью шла к тюрьме земского приказа навестить заключенного Стеньку Разина. Но теперь и она заключенница. Не одинаковы ли их вины перед Богом и русской землей? Да, одинаковы. И она, Федосья

боярыня, такой же, как и Стенька, «воровской атаман», только тот шел против боярского богопротивного самовластья, а она идет против боярской богопротивной новой веры. И ее ждет такая же казнь, какая постигла Стеньку... Что ж! На то она пошла, на то взяла свой live странический посох, чтобы с ним добрести до могилы... А там она и Ванюшку своего встретит.

Только тогда, когда она шла к Стеньке, ветер шумел вершинами лип, и тот, к кому она тогда шла, сидя у тюремного окна, пел:

Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка...

А она будет петь «песнь нову».

Проходя мимо своего дома, она взглянула на него. Дом стоял мрачным, пустынным, и ни в одном окне ни огонька, хотя бы лампадка теплилась, ничего нет... Да и кому там возжигать лампадки? Ее дом теперь стал выморочным и взят в казну великого государя... Только слышно, на дворе собаки жалобно воют, по хозяине тоскуют...

Морозову привели в Чудов монастырь и ввели во Вселенскую палату. Палата была тускло освещена, и Морозова увидела только несколько черных клобуков, но лиц их сначала не распознала... «Волци,— мелькнуло у нее в уме,— наемники не радят об овцах, и волци распудят стадо...» Увидев в переднем углу палаты новые образа, она отвела от них лицо и перекрестилась истово, глядя на небо, в потолок. Клобуки глядели на нее, но она им не кланялась: молодое, красивое, нежное лицо глядело на них гордо, как бы спрашивая: зачем вы здесь? Ваше место на большой дороге, в муромских лесах, но не здесь... И для чего я вам надоблюсь? Какое общение Христа с Велиаром?.. Она не хотела стоять волею и почти висела на руках державших ее стрелецких сотников... «Не буду стоять... это волци...»

Она скоро узнала, кто были эти «волци»: патриарх Питирим, «краснощекий»· Павел «оладейник», митрополит крутицкий Иоаким, архимандрит чудовской, и думный дворянин Ларион Иванов, «со властями и градскими начальниками».

«Лифостротон, сущий лифостротон»,— думалось Морозовой.

Патриарх, приблизясь к ней, взглянул своими старческими глазами в ее светлые, чистые детскис глаза

и покачал головой: «Жить бы только, жить бы такой молодой да Бога славить,— подумалось ему,— так нет... сама смерти взыскует...»

Старик тяжело вздохнул и снова глянул в светлые глаза, блестевшие из-под монашеского клобучка.

— Дочь моя, почто окаменело сердце твое? — спросил он тихо и ласково.

Морозова молчала... «Она же ответа не даде»,— шевельнулось в сердце у старика. Митрополит Павел, архимандрит Иоаким и думный Ларион молча переглядывались: они уже «вкусили приятности» этого василиска и аспида с ангельским личиком...

— Камень, камень,— бормотал старый патриарх, качая головой.

«Камень... на семь камени созижду церковь... О! Созижди, Господи!» — колотилось в сердце у вопрошаемой.

— Боярыня! — с силой сказал патриарх.— Оставь все твои нелепые начинания, присоединись к соборной церкви и ко всему российскому собору.

Боярыня вскинула на него своими ясными глазами.

— Мне некому исповедываться и не у кого причаститься,— тихо отвечала она.

— Попов много в Москве,— с удивлением заметил патриарх.

— Попов много,— был ответ,— но истинного нет... У истинных языки вырезали либо живых в землю закопали.

Патриарх отступил назад. Четки задрожали в его руках; он, видимо, что-то вспомнил... Вспомнил, что и он так же веровал, как вот она... но... искушение власти, прелести мира.

— Дочь моя! — еще с большей силой сказал он.— Вельми пекусь о тебе: сам на старость понуждусь исповедать тебя и, отслужа, сам тебя причащу.

Какая честь! Честь небывалая в Московском государстве. Но Морозова отказалась и от этой чести.

— Разве есть разница между ними и тобою? Разве ты не творишь их волю? — заговорила она с горечью.— Когда ты был крутицким митрополитом, держался обычая, переданного отцами нашей русской земле, и носил клобучок старый, и тогда ты нами был отчасти любим. А ныне ты захотел творить волю земного царя, а Содетеля твоего презрел и возложил на свою голову рогатый клобук римского папы, и от-

того мы теперь отвращаемся от тебя. Так не утешай меня тем, что сам меня причастишь; не требую я твоей службы.

По мере того, как она говорила, краска заливала лицо маститого главы московской церкви: он глубоко сознавал правоту ее слов и с горестью вспомнил о своей молодости, когда и он носил «малый клобучок на главе, а в груди сердце чисто»... Теперь потускнело это сердце... «потускне, яко зерцало от дыхания»...

Он сделал знак, чтобы его облачили в церковные ризы. Руки его дрожали.

— Принесите освященное масло... сучец подайте... помажу ее... авось придет в разум,— бормотал он, готовясь мазать миром упрямицу.

Подали патриарху сосуд и сучец. Патриарх приблизился к ней, творя молитву. До этой минуты она висела на руках сотников, которым даже приятно было держать «таку цыпочку», но тут она выпрямилась и сверкнула глазами.

Крутицкий митрополит протянул было свою жирную руку, чтобы приподнять треушок от клобучка, падавший на мраморный лоб боярыни, дабы патриарху удобнее было помазать ее маслом, но упрямица гордо отстранила руку митрополита.

— Помни, чернец: я боярыня, боярыня Морозова! — сказала она с достоинством.

Рука митрополита опустилась, как обожженная...

— А кусается,— лукаво шепнул думный Ларион своему соседу архимандриту Иоакиму.

— Сущая крапива,— улыбнулся на это архимандрит.

— Я хотел токмо треушок поднять,— бормотал, оправдываясь, митрополит.

— То-то, не забывай моего боярского чина,— повторила боярыня.

Но патриарх приблизился к ней и омочил сучец в масло. Морозова, удерживаемая сотниками, взмолилась с воплем отчаянья:

— О-о! Не губи! Не губи меня, грешницу, отступным маслом.

Лицо патриарха покрылось краской негодования.

— Молчи! Ты поносишь святое миро!

— Не святое оно, отступное... О! Уйди от меня... Ужели одним часом хочешь погубить весь мой труд!.. Отступи: удались! Не требую я вашей святыни.

И она отворачивала назад голову, билась в руках стрельцов, как пойманный голубь, звеня железами.

Патриарх отступил и передал сосуд митрополиту: дрожащие руки его могли пролить священное миро. Он сам весь дрожал...

— Уведите вражью дочерь с глаз моих долой! — заикался старик.— Она еще отведает сруба.

Морозову увели. Когда она выведена была на крыльцо, то услыхала звяканье еще чьих-то кандалов. То вели еще двух колодниц.

— Дунюшка? Это ты?

— Я, сестрица,— отвечала радостно Урусова, которую тоже вели к патриарху.

Морозова и Урусова бросились было друг к другу; но стрельцы, конвоировавшие их, не пустили.

— О! Так ты жива еще! Не сожгли? Не удушили?

— Жива, сестрица.

— А кто с тобой?

— Это я,— отвечал женский голос,— али не узнала меня, Федосьюшка?

— Акинфеюшка! Милая! И ты в узах?

— Во узах Павловых, миленькая: радуюсь!

— Слава Тебе, Создателю... Дерзайте же, миленькие! Дерзайте именем Христовым: той бо победи мир... Дерзайте!

Колодниц развели силою.

— И Анисьюшку боярышню взяли волци! И Устиньюшку взяли, поволокли в Боровск! — кричала уже с крыльца Акинфеюшка.

— А мать Меланию?

— Мать Мелания здравствует!

Стрельцы зажали рот Акинфеюшке.

Когда во Вселенскую палату ввели Урусову и Акинфеюшку, патриарх встретил их сердито.

— И вы вослед оной же волчице? — спросил он, приближаясь к колодницам.

— Неведома нам волчица, а ведомы токмо волци,— отвечала княгиня.

Патриарх велел подать освященное масло.

— Княгиня! Оставь свои заблуждения,— заговорил он более спокойно,— покорись царю и освященному собору, и тебя возвратят мужу и детям.

— Нету у меня мужа,— отвечала раскольница,— топор разве будет моим мужем, а брачным ложем плаха.

— А ты, боярышня, за ними же? — обратился патриарх к Акинфеюшке, отворачиваясь от Урусовой.

— Я жениха ищу,— отвечала та спокойно.

Акинфеюшка смотрела теперь далеко не той, какой мы видели ее, более четырех лет тому назад, в Малороссии, в городе Гадяче, в гостях у гетманши Брюховецкой, когда Акинфеюшка вместе с другими странницами и странниками возвращалась из Киева, куда они ходили на богомолье. Тогда она смотрела загорелой, с энергическим лицом и задумчивыми в то же время глазами, черницею, которая ходила из конца в конец русской земли, ища себе «жениха», как она выражалась. В сущности, она бродила по «святым местам», побуждаемая скрытой в ней жаждой все видеть, чего она не видала прежде, искать новой, незнакомой ей природы, новых, не виданных ей людей. Это была по призванию «бродячая душа», перелетная птичка, которую с каждой весной тянуло в неведомые страны. Теперь она пошла в заточение. Тюремная жизнь сгладила с ее лица загар и украинского, и поволжского солнца, убелила это лицо, возвратив ему боярскую белизну и нежность. Но в душе она осталась все та же: искала «жениха», жаждала видеть невиданные страны... Только теперь эти невиданные страны представлялись ей на «том свете», за могилой, и она жаждала скорее пуститься в эту далекую дорогу, к неведомым странам...

Питирим, поглядев на ту и другую колодницу и видя, что словесные увещания и тут ни к чему не поведут, решился скорее укротить их строптивые сердца священным миром. Обмакнув сучец в масло, он потянулся было к Урусовой.

— Не подходи! Не подходи! — закричала она, вырываясь из рук стрельцов.

Силясь вырваться из грубых рук, которые все-таки старались держать ее «полегше, молодешенька уж она больно, хрупкенька, пухлое тельцо мягконько, что у робенка», она нечаянно сорвала с себя фату!.. Покрывало и повязка спали с головы... Пышная русая коса снопом развалилась по плечам и спине, точно рожь спелая...

И стрельцы, и духовные власти, увидев женскую косу, пришли в ужас: обнажить от покрывала женскую голову в то время считалось величайшим позором и преступлением...

— Батюшки, светы! Волос бабий! Ах! Что мы наделали! — ужаснулись стрельцы.

— Святители! Бабу опростоволосили! Да за это и в аду мало места...

— Ах, Господи! Что ж это такое будет?!

— Власы женски... перед чернецами... коса... грех какой! — растерянно бормотал патриарх.— Уведите, уведите ее! Ах!

«Экое добро пропадает, ни она себе, ни другим»,— огорчался в душе Ларион Иванов, глядя вослед уводимым женщинам и созерцая все еще не прикрытую роскошную косу Урусовой.

— Н-ну зелье, ах! — едва передохнул Питирим.— Да легче со львом в пустыне состязаться, чем с бабою... Ну, зелье!..

XII. В ЗАСТЕНКЕ

На следующую ночь к ямской избе собрались бояре: князь Воротынский, князь Яков Одоевский и Василий Волынский [48]. Им предстояло трудное государское дело — пытать трех баб: боярыню Морозову, князя Петра Урусова жену Евдокию, да из дворянского рода Даниловых девицу Акинфею. Диву дались бояре, рассуждаючи о том, что ныне творится в Московском государстве, а особливо в царствующем граде Москве: «Бабы взбесились, все-таки до единой перебесились и бабы, и девки». Забрали себе в голову, шутка сказать! Идти за Христом, да так и прут, на все фыркают: боярыни фыркают на боярство, княгини и княжны на княжество, стрельчихи на стрелецкую честь. На, поди! Говорят, что Христос-де и царского роду был, а жил смердом, мужиком, ходил, мало без сапог, без лаптей, и спал, чу, под заборами, а питался-де под окнами, где день, где ночь жил. А об боярстве-де и у него да о княжестве и помину не было, и кругом-де него все были мужики и смерды, рыбаки да пастухи. И кинулись это бабы все добро делать: сами нищих одевают и моют, боярышни им шти варят да хлебы пекут, срам, да и только.

Что это поделалось с бабами, бояре и ума не приложат. Житья не стало им дома от этих баб, не приступись к ним, так все рвут и мечут, а смотрят смиренницами.

— Вот и на моей княгине бес поехал,— говорил массивный, остробородый толстяк князь Воротынский,— уйму ей нету с тех самых мест, как увидела Морозову на дровнях, везли ее тады зимой под царские переходы: совсем взбесилась моя баба. «Хочу,— говорит,— и я за Христом идти!» — «Да где тебе,— говорю,— полоротая, за Христом идтить, коли у тебя дом на руках и хозяйство?» — «Нищим,— говорит,— раздай все...» А! Слышали! Ну, признаюсь, я ее маленько-таки, как закон велит, и постегал по закону: вежливенько, соймя рубашку...

— Что жена! — перебил его Одоевский.— У меня дочушка девчонка взбеленилась. «Не хочу,— говорит,— быть княжной и служить диаволу, хочу, говорит, Павловы узы носить...» А! И откуда они взяли эти Павловы узы? Уж и Бог их знает. А всему виной Морозиха да Урусиха... Теперь эта моя девчонка все, что ни попадет ей под руку, раздает черничкам да нищим. Уж я не знаю, что и делать с ней: учил малость, так хуже. «Убегу,— говорит,— от тебя, как Варвара Великомученица от отца Диаскора бежала...» А! Каково!

— И точно, времена настали тяжелые,— заметил и Волынский,— с этово с самово новокнижия все пошло да с никоновских новшеств... Допрежь того бабы были как бабы: знали свое кривое веретено. А ныне на поди! Обо всем-ту оне говорят, во все вмешиваются: и Никон-ту нехорош, и Аввакум-то хорош, и кресты-те не те, и просфоры не те, и клобук на чернецах велик да рогат-де, да римский-де он, неправый... И в закон бабы пустились: скоро нас, чаю, из боярской думы выгонят да за веретено посадят, а сами в боярской думе будут государевы дела решать... Фу ты пропасть!

— И детей портят, и дети туда ж за ними,— печаловался Одоевский.

— Что дети! Вон царевна Софья Алексеевна «комидийные действа» смотрит, а на божественном Писании да на хитростях всяких Алмаза Иванова загоняет,— пояснил Воротынский.

— Что и говорить! А поди тут дело без черкас не обошлось, без хохлов этих!.. У! Зелье народ!

— А вот теперь великий государь сердитует, гневом пышет, говорит: мы распустили узду, крамоле-де в зубы смотрим,— с огорчением пояснил Одоевский.— Ах, Боже мой, мы ли не стараемся?! Вон ноне все

тюрьмы полны, сколько заново земляных тюрем выкопали, и все полнехоньки. А крамола, словно гриб после дождя, из земли выскакивает...

За дверями послышалось звяканье кандалов... Бояре встрепенулись.

— Ведут ведьму-ту...

— Хорошенько надо попарить да расправить боярски-те косточки...

В палату ввели, скорее на руках втащили Морозову. Ее с помощью стрельцов привел Ларион Иванов. Бояре невольно встали, увидав ее спокойное лицо, которому они когда-то при дворе и в ее собственном доме так усердно кланялись.

За Морозовой ввели Урусову и Акинфеюшку. Сестры издали поздоровались.

— Здравствуй, Дунюшка! Жива еще? Не удавили?

— Жива, сестрица. А ты?

— Скучаю об венце... А ты, Акинфеюшка?

— Об странствии соскучилась я... хочу скорее идтить на тот свет, да посошка еще мучители не дали...

Арестантки разговаривали, как будто бы перед ними никого не было.

— Полно-ко вам! — перебил их Воротынский.— Вы приведены сюда не на посидки, а за государевым делом, для пыток.

— Али ты, князь Воротынской, из холопей в палачи пожалован? — заметила Морозова.— Велика честь!

Воротынский не нашелся что отвечать.

— Скора ты! — глянул на непокорную боярыню Одоевский.— Что-то скажешь на дыбе?

— Скажу тебе спасибо, князь Яков; скажу, не забыл-де мою хлеб-соль, как при покойном муже у меня ежеден гащивался,— по-прежнему спокойно отвечала боярыня.

И Одоевский поперхнулся: он вспомнил, как заискивал у этой самой Морозовой, как холопствовал перед нею и ее мужем и как, действительно, Морозовы до отвалу кормили его вместе с другими прихлебателями, льнувшими, как осы к меду, к царской родственнице и любимице.

Воротынский, который тоже кое-что вспомнил, желая замять свою неловкость, подошел к Акинфеюшке.

— Ты кто такая? Как твое имя? — спросил он.

— Мария,— был ответ.

— Как Мария! В отписке ты именована Акинфеею Герасимовою, Даниловых дворян.

— Была Акинфея... токмо не я, а другая... Я Мария...

— А чьих?

— Тебе на что? Богова, не твоя и не царева... На том свете не спросят мою душу: Данилова ты али Гаврилова?..

— Покоряешься ли ты царю и собору?

— А тебе какое дело до моей покорности?

— Так мы повелим тебя пытать огнем.

— Пытайте, это ваше дело... Я ничего не украла, никого не убила, никому худа не делаю, токмо люблю моего Христа; за Христа и жгите меня, жиды новые.

Воротынский приказал вести ее в застенок. Она сама пошла впереди стрельцов. За стрельцами последовали Воротынский, Одоевский и Волынский. За ними ввели Морозову и Урусову.

В просторном застенке висели привешенные к потолку «хомуты», хитрые приспособления для дыбы и встрясок. По стенам висели кнуты, плети, клещи. На полу, у стен, стояли огромные жаровни, лежали гири, веревки... На всем этом чернелись следы крови... Огромный горн был полон, в нем тлели и вспыхивали синеватым огнем дубовые уголья... У горна и у хомутов возились палачи с засученными рукавами, в кожаных фартуках, словно кузнецы.

— Оголи до пояса,— указал Воротынский палачам на Акинфеюшку.

Она было вздрогнула, но потом перекрестилась и опустила руки.

— Христа всего обнажили, чтобы ребра прободать и голени перебить,— сказала она как бы про себя.

— Дерзай, миленькая, дерзай! — ободряла ее Морозова.— Будешь российскою первомученицею.

Палачи сорвали с Акинфеюшки верхнюю одежду и спустили рубаху до пояса... Она было прикрыла руками девичьи груди, согнулась: но палачи розняли руки и связали их за спиной... Несчастную подняли на дыбу... Она не вскрикнула и не застонала... Сделали встряску, руки несчастной выскочили из суставов...

— Господи! Благодарю Тебя! — прошептала мученица.

— Повтори встряску! — хрипло проговорил Воротынский.

Встряску повторили... Удивительно, как совсем не оторвались руки от туловища, от плеч... Несчастная

висела долго... Морозова и Урусова глядели на нее и молча крестились.

— Что же оцт и желчь не подаете? — проговорила с дыбы жертва человеческой глупости.

— Много чести,— злобно заметил Воротынский.

— Копием прободайте...

— Нет, мы плеточкой, любезное дело!

— Худа больно, легка по весу; ее дыба не берет,— глубокомысленно заметил Одоевский.

— Проберет: дай срок,— успокоил его Волынский.

— А теперь княгинюшку,— злорадно показал палачам Воротынский на Урусову и сам сорвал с нее цветной покров, заметив: — ты в опале царской, а носишь цветное!

— Я ничем не согрешила перед царем,— ответила Урусова тихо.

Палачи хотели было и ее обнажать.

— Не трошь ее! — раздался вдруг чей-то грубый голос.

Все с изумлением оглянулись. Из отряда стрельцов, стоявших в дверях застенка, отделился один, бледный, с дрожащими губами... То был Онисимко... Морозова узнала его: он целовал ее ноги, когда в первый раз заковывал их в железо... Она перекрестила его.

— Благословен грядый во имя Господне.

Палачи, озадаченные первым возгласом, опустили было руки, но теперь снова подняли их.

— Не трошь, дьяволы! Она княгиня! — повторил Онисимко, хватаясь за саблю.

— Взять его! — закричал Воротынский.

Онисимку схватили за руки сотники и стрельцы и увели из застенка.

— Идолы! Мало им! Скоро всех детей малых заберут в застенки! — слышался протестующий голос уведенного стрельца.

— Делай свое дело! — прикрикнул на палачей Воротынский.

На Урусовой разорвали ворот сорочки и обнажили, как и Акинфеюшку, до пояса. Она вся дрожала от стыда, но ничего не говорила. Всем, даже стрельцам стало неловко: слышно было их тяжелое дыхание, словно бы их поджаривали на полке в бане... У Лариона Иванова даже лицо побледнело и глаза смотрели сурово...

Урусову подняли на дыбу... Она застонала...

— Потерпи, Дунюшка, потерпи, недолго уж!

— Тряхай хомут-от! — командовал Воротынский.

И у Урусовой руки выскочили из суставов...

— Мотри и кайся,— обратился Воротынский к Морозовой.— Вот что ты наделала! От славы дошла до бесчестия. Вспомни, кто ты и какова роду! И все оттого, что принимала в дом юродивых...

— Я и тебя принимала, не ты ли урод у дьявола? — перебила его Морозова.

— О! Ты востра на язык, знаю... да царь-от на востроту твою не посмотрел... Где ныне твое благородие?

— Не велико наше телесное благородие, и слава человеческая суетна на земле,— с горечью ответила Морозова.— Сын Божий жил в убожестве, а распят же был жидами, вот как и мы мучимся от вас.

— Добро! Равняй себя со Христом-те.

— Я не равняю... отсохни и мой, и твой язык за такое слово.

— Добро! Поговори-ко вон с ними, их поучи, мудрая! — указал он на палачей, которые усердствовали около Урусовой и Акинфеюшки.— Взять и эту! Покачайте-ко боярыньку на качельцах.

Два палача приступили и к Морозовой. Она кротко взглянула им в лицо и перекрестила того и другого.

— Здравствуйте, братцы миленькие,— так же кротко сказала она; — делайте доброе дело.

Палачи растерянно глядели на нее и не трогались. Она еще перекрестила их. У одного дрогнули губы; глаза усиленно заморгали; он глянул на стрельцов, на Воротынского.

— Делайте же доброе дело, миленькие! — повторила Морозова.

— Доброе... Эх! Какое слово ты сказала! — как-то отчаянно замотал головой второй палач.

— Ну-у! — прорычал Воротынский.

Палач глянул на него и еще пуще замотал головой.

— Воля твоя, боярин... вели голову рубить,— бормотал он,— али на нас креста нету?

— А! И ты! Вот я вас! — задыхался, весь багровый, Воротынский.— Вяжите ее,— крикнул он на стрельцов.

И стрельцы ни с места... Воротынский, с пеной у рта, бросился было на стрельцов; те отступили... Он

к палачам с поднятыми кулаками, и те попятились назад...

— Так я же сам! — И он схватил Морозову за руки и потащил к свободному «хомуту»...

К нему подбежал Ларион Иванов, и они вдвоем связали Морозовой руки за спину...

— Спасибо, что не побрезговали,— как бы про себя сказала она.

Подняли на дыбу и Морозову... В это время Акинфеюшку, вынутую из «хомута», положили вниз лицом на «кобылу», нечто вроде наклонно поставленного длинного стола с круглой прорезью в верхней части «кобылы» для головы, чтобы во время истязания кнутом или плетьми пытаемого по спине кнут не попадал в голову, и с кольцами по сторонам, для привязывания к ним истязаемой жертвы: руки и ноги несчастной прикрутили ремнями к кольцам, и два палача вперемежку стегали ее ременными кручеными плетьми по голой спине... Белая, нежная спина пытаемой скоро покрылась багровыми поперечными полосами, а вслед за тем из багровых полос стала струиться темно-алая кровь...

— О-о-о! — вырвался из груди Морозовой стон отчаяния при виде мучений своей подруги по страданиям.— Это ли христианство, чтобы так людей учить?

— Мы не попы,— злорадно огрызнулся Воротынский,— те учат словесами, а мы эдак-ту.

— А Христос так ли учил?

— Мы не Христы; где нам с суконным рылом!

Прежде всего сняли с дыбы Урусову. Вывихнутые из суставов руки торчали врозь...

— О! Что вы наделали! — залилась несчастная слезами.— Ох, мои рученьки! Креститься мне нечем... ох!

Палачи взяли ее за руки, потянули со встряской. Урусова вскрикнула от боли... но руки вошли в свои суставы... Она с трудом перекрестилась...

Акинфеюшку, с кровавой спиной, отвязали от колец и сняли с «кобылы». Урусова, видя ее всю в крови, взяла свой белый покров, брошенный палачами на землю, и стала прикладывать им к истекающей кровью спине Акинфеюшки...

— Милая, голубушка, мученица... это святая кровь...

— Слава Тебе, Спасителю наш... сподобил меня...

— Бедная, горемычная...

Урусова целовала ее руки... Лицо Акинфеюшки выражало блаженство...

— Ох, как мне легко, Дунюшка!

Она взяла из рук Урусовой весь пропитанный кровью покров и, отыскав своего палача, подала ему:

— Возьми, братец миленькой, этот покров, снеси его к брату моему кровному, Акинфею, отдай ему и скажи: «Сестра-де тебе своею кровью кланяется...» Он тебя не оставит без награждения.

Когда вынули из «хомута» Морозову, то вывихнутые из суставов и еще не вправленные руки ее с широкими рукавами белой сорочки представляли подобие распростертых и запрокинутых назад крыльев...

Урусова и Акинфеюшка упали перед нею на колени и подняли руки, на молитву...

— Матушка! Ангел! Ангел сущий во плоти...

— И крылышки... точно ангел... ах!

— Крыле, яко голубине... матушка! Сестрица!

Но палачи поспешили превратить крылатого ангела в плачущую женщину...

. . . .

Чи я ж тебе не люблю — не люблю,
Чи я ж тоби черевичкив не куплю — не куплю!
Ой моя дивчинонько!
Ой моя рыбко!

Выбивал топака в Чигирине, на улице, Петрусь, заметая широкой матнею улицу и площадь, в те самые часы, как в Москве, в Ямской избе, шли пытанья Морозовой, Урусовой и Акинфеюшки...

— Добре, Петрусь, добре! — кричала улица.— А ну, хлопче, ушкварь «гречаники».

И Петрусь «ушкварил».

Гоп, мои гречаники! Гоп, мои били!
Чому ж, мои гречаники, вас свини не или...

А на другом конце улицы дудит дуда на весь Чигирин:

Дуд у Дуды ночував,
Дуд у Дуды дудку вкрав...

— Уж дьяволова же сторонка! Вот сторона! — ворчал между тем Соковнин, которому не спалось под этот полуночный гомон.— И когда они спят, дьяволы чубатые? Ну, сторона! А хорошая сторонка, что ни говори... А что-то на Москве теперь? Что сестры, э-эх!

Мы сейчас видели, что его сестры...

XIII. МАЗЕПА ПРАКТИКУЕТСЯ

Если бы Соковнин, которому не спалось в эту чудную украинскую ночь, сидя у окна, мог своим взором проникнуть на противоположную сторону улицы, где из-за темной зелени сирени, бузиновых кустов, из-за пышных лип и серебристых и стройных пирамидальных тополей выглядывал гетманский палац, то он увидел бы, что и там, за одним окном, полузакрытым зеленью, обрисовывается женская головка с распущенной косой. В этой простоволосой головке он узнал бы свою землячку, боярыню и панию Брюховецкую, которой эта душная ночь не давала спать... Да и не одна духота гнала от нее сон: «улица» с неумолкаемой песнью, эти думы и воспоминания о Москве, воспоминания, которые особенно разбередили в ее душе рассказы Соковнина, и еще что-то жаркое, охватывающее ее словно объятиями, волнующее кровь до краски в лице, что-то такое, в чем она сама себе не могла бы признаться, все это заставляло ее метаться в душной постели, разметать косу, которая давила ей голову своею тяжестью, и, наконец, привело ее к открытому окну, у которого хоть дышать можно было чем-нибудь, дышать этим дыханием ночи и зелени, запахом свежей травы, ароматом цветущей липы...

Вон какие-то звездочки мигают ей в окно с темного неба... Как много их, и не перечесть, словно песок морской... А какой этот песок морской? Она никогда его не видала, да и моря не видала никогда... Говорят, и конца-краю нет морю, а Киян-море и того больше... И стоит вся земля на этом Киян-море, а не тонет она потому-де, что ее, землю-ту, держат на спине три кита... Вот велики, поди, киты-те! На что велика московская земля, а все еще не до край-света раскинулась! Вот тут черкасская земля, и тоже велика гораздо, у, велика! А то еще Польша, а там Литва, а там турская земля, и цесарская земля, и земля галанская, и земля аглицкая, и земля францовская, да еще Китай-земля, да Персида, да Ерусалим с святой землею... Эх, сколько земель! А Ерусалим-град, сказывают, на самом пупе земли стоит... Чудно! Аж стыдно подумать... И все это киты держат на себе, страшно и подумать! А все Бог... А как киты эти, сказывают, маленько ворохнутся, и от того их вороху трус и потом на земле бывает.

А звездочки все мигают, все мигают... Одна больше, другая поменьше, а то и в макову росинку есть звездочки, и не перечесть их... А все божьи очи это — все ими Бог видит, что на земле делается: и ее, вдову горемычную, видит Господь у окошечка, простоволосу, да Ему что! Простоволоса ли, покрыта ли, все едино: Он на душеньку смотрит, на помыслы... И Гришутку Он видит, как спит Гриша в своей постельке, убегался с хохлятами да девчатами, в «Костробоньки» играючи... Чудной такой! «Дурна,— говорит,— мамо, московка!»

А на Москву, поди, другие звездочки глядят, где этим! Далеко больно Москва-матушка живет... А что царевна Софьюшка теперь? Спит, поди, и все на Верху, во дворце, спят... Спала и она там когда-то, давно, когда в сенных девушках была...

Эк их заливаются полунощницы девчата! Что им? Молоды, горюшка мало... Вон поют...

Йшли коровы из диброви, а овечки з поля,
Заплакала дивчинонька край козака стоя:
Ой куды ж ты одъизжаешь, сизокрылый орле,
Ой хто ж мою головоньку без тебе пригорне?..

Так и Ивась ее, гетман, отъезжал с войском, и она, провожаючи его в далекий путь, плакала... Недаром плакала... Так и не вернулся... Вернулся, только не он, а его тело, да и тела нельзя было узнать за кровавыми ранами...

Ох хто ж мою головоньку без тебе пригорне?..

Да, некому «пригорнуть», некому приголубить...

И молоденькая вдова сама чувствовала, что она вспыхнула... жаром опалило ее...

Этот молодой казак, запорожец, что приехал от гетмана с вестями, тоже зовут Иваном, Ивасем, Иван Степанович Мазепа;[49] какой хороший из себя, ласковый... Только несчастненькой такой: все утешал молодую вдовицу, говорит, «хорош-де человек гетман был Иван Мартынович Брюховецкой, так злые люди его погубили»... Таково ласково утешал ее, вдовицу Оленушку. «Сам-де я,— говорит,— не изведал доли счастья в жизни, никто-де меня не любил, и я-де никого еще посейчас не любил, а уж третий-де десяток изжил, на свете маючись...» Таково жалко его стало, так бы она и положила его бедную голову на свою сиротскую

грудь и поплакала бы вдоволь горючими слезами... А какие у него глаза добрые, и Москву-то он таково любит. «Нигде бы,— говорит,— и жить не хотел окроме Москвы белокаменной...» И руки у нее так целовал... стыд какой! Она так вся и сгорела, так и пополовела со стыдобушки... И что это с ней сталось? Так вот в душу-то самое, в сердечушко в ретивое так и заполоз лаской да печалию своею этот Мазепа... И Гришутка полюбил его, казака этого, все с ним играл...

Нехай тоби зозуленька, мени соловейко,
Нехай тоби там легенько, де мое серденько:
Мени буде соловейко рано щебетати,
Тоби буде зозуленька раненко кувати...

Это голосок Явдошки... Счастливая!

А на Москве-ту, на Москве что, и не приведи Бог! И крест стал не крест, и молиться люди не ведают как... За крест в срубы сажают да огнем жгут... А Федосьюшка-ту Морозова, а Урусова Овдотьюшка, Господи! Мученицами стали за крест святой... И что с Москвой поделалось? С чего все это? Знамо, нечистый насеял зла в Московском государстве... И Аввакума протопопа заслали, куда ворон костей не заносит, языки попам да монахам режут... Ах, горькая, горькая родимая сторонушка!.. Люди, сказывает Соковнин Федор, в лесах, что звери, прячутся, за рубеж бегут... Ах, Москва, Москва бедная!

А тут, ишь, заливается:

Ой зийду я над ярочок, пущу голосочок:
Дзвони, дзвони, голосочку, по всему ярочку,
Нехай мене то зачуе, що в поли ночуе...

Что она это машет, липовая веточка? Куда манит? Некуда... На родимую сторону запала дороженька, заросла горьким осинничком да разрыв-травой...

А там, за Тясмином, соловушки поют... И у них «улица» своя: и Явдошка такая ж там, и Петрусь... А может, есть меж ними и такая ж горькая сиротинка, как она, Оленушка Брюховецкая... Как не быть?! Может, коршун заклевал ее соловушка...

Добрый, добрый, ласковый Мазепа... Имя-ту какое, Мазепа... Иванушка, Ивась Мазепинька... Кажись, и теперь руке жарко от его губ, и всей жарко, стыдно! Стыдно и хорошо таково...

Никто-ту не любил его, бедненького, и он никого не любил также... Бедный Мазепинька!..

А может, и на Москве теперь поют «просо сеют» девушки:

Уж я просо сеяла — сеяла...

Где петь! Не до пенья ноне на Москве... плачут люди да молятся отай, чтобы не увидали злые приставы...

Покатилась, покатилась по небу звездочка и сгасла... Которая это? Куда покатилась? Где сгасла? Точно она, горькая сиротинка, покатилась с московского неба и сгасла тут, в черкасской земле... Не светить ей больше с московского небушка...

А отсюдова Мазепа, сказывал, поедет с универсалами да с листами от гетмана Дорошенка к тогобочным казакам, и в Полтаве, сказывал, будет, и в Гадяче, и могилке, сказывал, покойного гетмана Брюховецкого поклонится... Добрый он, Мазепинька, добрый...

Просил в сумерки выйти в садочек побеседовать... Тоскует он, бедный, по матушке по своей: так, говорит, хоть об матушке, об родителях побеседуем... Нет, стыдно... как можно в сумерки! Еще кто увидит да осудит... А жаль его, такой добрый...

Она встала и тихонько пошла в глубину комнаты: там в своей постельке что-то возился Гриць и шептал что-то... Она прислушалась: мальчик во сне бормотал:

А в нашего «Шума»
Зеленая шуба.
«Шум» ходит по диброви...

— Ах, дитятко! Все «Шумом» бредит... наигрался, кажись, так нет — мало: и во сне играет...

Она перекрестила его и, нагнувшись к постельке, тихонько поцеловала горячую головку мальчика...

— Мама!

— Что, сынку? Спи, дитятко.

— Дядя Ивашечко прийде завтра?

— Какой дядя Ивашечек?

— Дядя Мазепа.

Молодая мать опять зарделась, опять ей жарко стало... Она натянула на плечи спустившуюся сорочку...

— Прийде, мамцю?

— Должно, придет... А тебе на что?

— Вин казав, що на свого коня мене посадит.

— Добро, добро, сынок, спи, Господь с тобой.

— Я поиду на конику...
— Добро, добро, баинькай... А-а-а-а...

У кота-кота-кота
Колыбелька золота...

— Не хочу, мамо, московськой... не треба...
— Ну-ну, добро...
— Спивай нашои, мамо, про котика... про нашого, а не про московського котика...
— Добро, добро... Спи только..

А-а — котино;
Засни, мала детино.
Ой, на кота воркота,
На детину дремота...

Хоть она и знала уж украинские колыбельные песни, наслушалась их вдоволь, но выговором русила их...
— Ни, мамо, спивай другой, як сон ходит.
— Спою, спою... Спи тихонько...

Ходит сон по долине
В червоненькой жупанине,
Кличет мати до детины:
Ходи, соньку, в колисоньку,
Приспи мою детиноньку...

Гриць, как в воду канул, спал уже: тихое, ровное дыхание обнаруживало, что он заснул безмятежным детским сном.

Мать перекрестила его и снова отошла к окну; сон все не шел к ней... Она снова задумалась о Мазепе, о Москве, о тамошней смуте...

«А ко мне нейдет сон и в червоненькой жупанине,— думала она, опять глядя на звездное небо и невольно прислушиваясь к неугомонной «улице»,— сон нейдет, так Мазепа хотел прийтить... ах, срам какой! Ко вдовушке-ту... А вот и Гришутка полюбил его, добрый он, хороший человек, а все ж стыдненько мне... хоть, кажись, так бы и кинулась ему на шею, срамница... Что-то он завтра скажет? Говорит, что будет просить за меня гетмана Петра Дорофеича, чтоб на Москву меня отпустил, «хоть и больно,— говорит,— будет оттого моему сердцу, точно вы,— говорит,— родная мне, так по душе пришлись, словно бы я вас, как сестру родную, полюбил, жалеючи вас»... Да, добрый он, хороший, братец мой родненький, Иванушка-светик...

Приди он теперь, так бы, кажись, закрывши глаза со стыда, и повисла у него на шее, слезами бы вся изошла от радости... Такой он добрый! Нет, полно-ка! Не стану о нем думать; буду думать о Москве; что там ноне деется, как людей за крест мучат, как Федосьюшка страждет за веру... Нет, горька эта думушка... горемычная моя родная сторонушка, вот и ты ноне, как в песне поется, горем горожена, а слезами поливана... Ах и не томите же вы мое сердечушко вашими песнями! И без того мне горько-тошно, а они, как нарочито, про меня поют, как из «вишневого садочку зозуленька вылетала», да как она на сине море поглядала, как на том море козаченько потопал да своей горькой женушке-вдовушке отповедь сказал:

Да нехай моя женушка меня не ждет,
Да нехай она замуж идет,
Нехай копает яму глыбоку,
Да садовит калину червону...

А! Шутка сказать: пущай не ждет, пущай замуж идет... А! Бог с тобой, родная сторонушка московская, за горами ты высокими, за реками за глыбокими... Уж бы скорее утречко наставало, может, он, Ивашечко, Мазепа, придет, душу мою словом отогреет...»

Что-то зашуршало под окном, словно шаги чьи-то... да, шаги, точно шаги, только никого не видать...

Еще шаги за вишнею... Ходит кто-то...

— Хто се тут?—слышится за кустом чей-то едва уловимый шепот.

— Се я, ясочко моя, зоре моя вечерняя,—шепчут в ответ.

— Ох! Як же я ждала тебе, мий голубе...

— Сердце мое, рыбка моя! Иди ж, иди до мене... на рученьки...

— Ох, любимый мий, о-ох!

«Кто бы это был? Петрусь разве с Явдохою? Так нет: вон слышно Петрусев голос, вон как заливается».

Ой сон, мати, ой сон, мати, сон головоньку клонит,
Ой тож тоби, мий сыночку, тая улиця робить...

«Кому ж бы тут быть в садочку?..»

Она прислушивается... что-то стукает: тук-тук-тук, тук-тук-тук... Это ее сердце стучит, так, кажется, и подымает горячую сорочку...

— Так ты мене любишь, моя зоренько?

— Коли б не любила, не выйшла б... Чуешь, як мое серденько стукочит?

— Чую-чую, мое золото червоне...

— Ох-о-ох! Полегше, соколику, задушишь мене...

Слышно, как целуются... Молодая вдовушка огнем горит... Вот так бы и она целовала и обнимала Мазепиньку, если б не постыдилась, вышла к нему... Да какой в этом грех? Вот любит же она и целует Грицю своего, отчего б и его, Мазепиньку, не любить?

— Гетьман другого хотив з листами послать, так я сам напросився, щоб тилько тебя, моя ясочко, повидати...

— Ох, мий соколоньку... А вин же ж не дознаеться, що мы с тобою любимося?

— Де дознатись? У мене на губах не остануться слиды от твоих губонькив, серденько.

— Ох! А мени сдается, що на моих губах так и остануться твои устоньки жаркии...

— А мои вусы остануться?

— О! Який бо ты жартливый...

А там, на улице, «гукают» да выводят голосно:

Ой, зийди ты, зийди, зирочко ти вечирняя,
Ой, выйди, выйди, дивчинонько моя вирная.

— А я вже думала була, що ты не мене любишь...

— А кого ж, сердце?

— Та нашу ж московочку.

— Ох, лишечко!

— Та вона ж така гарнесенька, русявенька, кирпатенька...

— А ты краща над неи...

«Московочка», опершись на подоконник, так и зарделась от этих слов, как маков цвет... это про нее говорят... Кто ж бы это? Она, что там целуется с ним, кажется, сама пани гетьманова, Дорошенкова жена; а кто он?.. Уж не Мазепа ли? Ох! Так сердечушко и упало у Оленушки... Нет, не он, не он! Мазепа сам сказывал, что еще никого не любил, и его, бедненького, никто не любит... Это не он...

Вот если б Мазепа ее, Оленушку, у гетмана вымолил, да на Москву ее отпустили бы, да с нею бы и сам он, Мазепинька, на Москву съехал, вот бы хорошо было... Пущай там за крест люди страждут, Бог с ними!.. А каким крестом сам Мазепа крестится? Она

что-то не заприметила: должно быть, «пучкой» крестится, как все черкасы... Да что ж из того, что «пучкой»? Черкасы такие же христиане, да и угодников у них в Киеве сколько! И на Москве стольких нету...

Грицю, Грицю, до роботы!
В Гриця порваны чоботы!
Грицю, Грицю, до телят!
В Гриця ниженьки болят...

Это кто-то отхватывает на улице... Гриць, маленький Гриць, так любит эту песню...

— Я понесу тебе на ручках, ягидко моя...

— Ох, куды, куды?..

— Та туды ж... на скошену травку... як на постильку...

— Ох, Ивасю... я боюсь... боюсь...

— Яка ты легенька...

— О, який бо ты... любый... ох!..

Оленушка так и перевесилась за окно... Из-за куста мелькнуло что-то белое и красное... Брязнули подковья... сабля...

Он, обхватив ее поперек, как малого ребенка, несет через садик, а она обвилась руками вокруг его шеи...

Она, это ясно, пани гетьманова, Дорошенчиха... А он, ах, Господи! Это Мазепа... Мазепа!..

Сдавив себе горло рукой, Оленушка с глухим стоном упала на свою «вдовую» постель... А с улицы доносилось:

Постиль била, стина нима, ни с ким размовляти...

Выплакавшись до последней слезинки, молодая вдова уснула только к утру.

XIV. ЦАРЕВНА СОФЬЯ ЗА ГЕОГРАФИЕЙ

А в это утро в селе Коломенском, в царском дворце, о ней, о бывшей княжонушке Долгоруковой, а ныне гетманше-вдовице, вспоминали и жалели.

Старая мамка рано взбудила царевну Софьюшку. Не хотелось старой будить царевну, так хорошо спала она, разметавшись в постельке, и так сладко улыбалась да шептала не то «батюшка-свет» — царя батюшку, должно, видела во сне, не то «Васенька-соколик» какой-то; а все ж надо было разбудить: сама

царевна крепко-накрепко наказывала разбудить, «урки-де учить» надо... «И на что это девку урками мучат? — думалось мамушке,— а все-таки нельзя не разбудить; приказывала: коли-де, сказывала, выучу урки-те, так батюшка-царь обещал взять ее с собой действа смотреть».

И царевна сидит у стола, такая розовенькая, иногда позевывает со сна, крестит свой розовый ротик и все учит что-то очень мудреное, что задал ей этот Симеон Ситианович.

Перед царевной книга рукописная, а на столе глобус. Царевна то в книгу заглянет, то на потолок с узорами и покачивается.

— Ангуль-ангуль — угол, аркус — дуга, аксис — ось, екватор — уравнитель... Екватор, екватор, екватор, какой трудный!

Потом, закрыв глаза ладонями, повторяет эти слова наизусть и все спотыкается на экваторе...

— Евкатор, евкатор, эх, какой трудный!

Глянула в книгу, топнула ножкой — нет, не евкатор, а екватор, екватор...

А мамушка сидит у окна с чулком и тихо шевелит губами, считая петли.

— Зона торрида — пояс горячий, или знойный, зона фригида — пояс хладный, или студеный...

— Ишь, диво какое! — удивленно качает головой мамушка.— Нашли вон пояс горячий... А с чево ему быть-ту горячим?.. И чему учат! Не диви бы божественному...

— Ах, мама, ты не знаешь! — защищает царевна своего учителя.— Это пояс в географии, а не такой пояс, какой носят...

— Ну, и у этой там егорафьи с чего быть поясу горячу?

Царевна смеется самым искренним смехом.

— Ах, мамушка, какая ты смешная! «Егорафья»!.. География, а не егорафья...

— Ну, Бог с ней, матушка царевна, с этой евграфьей! Вон сестрицы твои, другие царевны, ничему такому заморскому не учены, а все-таки, Бога благодаря, здоровехоньки живут... Да и то сказать, ты у батюшки-царя любимое дите...

А царевна опять покачивалась над книгой да закрывала глаза ладонями, чтобы запомнить разные премудрости и не ударить лицом в грязь перед батюшком.

— «Свойства и аффекции, которые земному кругу от течения солнца и звезд являющегося приключаются, суть: единого места периики суть антиков того места антиподы и антиподов того места антики», антики, периики, антиподы, ах, как трудно! Антиподы, антиподы, антики...

Она встала и начала ходить по терему, повторяя и прищелкивая пальцами: «Антики, периики, антиподы, антики, периики...»

Она глянула в окно. Там часовые стрельцы стоят... А пруд такой тихий, по нем лебеди плавают... Увидали ее, свою любимицу царевну, и от радости начали крыльями махать... Царевна вся порозовела от этого лебединого привета... Надо их, лебедушек, покормить... да и учиться надо...

— «Тако единаго места антиподы суть антиков того места периики, и перииков антики»,—снова уткнулась она в книгу.—«Сие от дефиниции довольно ясно есть и не требует доказания»...

— Ясно! То-то ясно!.. Ах, мамушка, неясно!

— Что ты, моя золотая! Совсем светло...

— Нет, в книге неясно...

— Ну, глазки, поди, притомила, отдохни...

— Нет, глаза не устали, а не пойму!

— Так у учителя спроси, мое золото.

— Ах, какая ты!—досадовала юная царевна.

И вдруг ей вспомнилась курносенькая, с розовыми щеками Оленушка, княжна Долгорукова, что ныне вдова гетманша Брюховецкая...

— Что-то она поделывает теперь там, в черкасской стороне?

— Кто, золотая?

— Княжна Оленушка, гетманша.

— В полону, она, бедная, сказывают; как убили черкасы ее мужа, так Петрушка Дорошенок, сказывают, взял ее к себе в полон.

— Ах, бедная! Что ж батюшка не отымет ее у Дорошенки? Я попрошу батюшку.

— Да вот Федор Соковнин, поди, скоро привезет от нее весточку, а може, и грамотку.

— Да... А вот сестры его, бедные, Морозова да Урусова... Я батюшку про них спрашивала, так говорит, закону-де супротивны стали.

— О-о-охте-хте! Где уж супротивны!.. Все этот Никон...

Царевна как бы опомнилась и снова нагнулась над книгой.

— Ну, мамушка, не мешай мне.

— Чтой-то ты! Кто тебе мешает? Ты мне мешаешь, вон петлю спустила...

— Ну-ну...

Царевна встала и, глядя в потолок, стала спрашивать сама себя так, как ее спрашивал Симеон Полоцкий.

— «Дистанции мест пременяются ли?—Пременяются: путевая убо мест дистанция овогда большая, иногда меньшая быти может; но истинная и кратчайшая дистанция географическая пребывает тая жде, разве егда познаеши, что суперфиция земная прервется или отделится. Места же зде разумеваем пункты земные недвижимые. И тако ежели суперфиция между двоих мест срединоположенная учинится высшая, то будет и дистанция мест учинена большая, а буде низшая, то будет меньшая».

Это она проговорила почти одним духом, наизусть, так, что даже вся раскраснелась.

— Ай да умница! Не забыла,— похвалила она себя.— Поцелуй же себя.

И она подбежала к овальному зеркалу, висевшему на стене, и поцеловала свое отражение.

— Ба-ба-ба! — послышался вдруг возглас в дверях терема.— Ай да девка! Сама с собой целуется...

Мамушка вздрогнула и уронила чулок. Царевна отскочила от зеркала. В дверях стоял царь Алексей Михайлович и улыбался своей доброй улыбкой. И ласковые глаза, и розовые щеки, все так и светилось нежностью.

— Ай да девка!

— Батюшка! Государь! — радостно, зардевшись вся, воскликнула царевна и бросилась отцу на шею.

Он ласково крестил и целовал ее голову.

— А! Как растет девка,— нежно говорил он, положив руки на плечи дочери и глядя в ее лучистые глаза,— уж скоро и до головы не достану, скоро отца перерастет.

— Ах, батюшка, светик мой, миленькой, государь! — ласкалась девочка.

— Да и что дивить! Девке скоро шестнадцать стукнет...

— Пятнадцать, царь-государь,— поправила его мамушка, подходя и целуя царскую руку.

— Здравствуй, мамка!.. Вы всегда убавлять года любите, это женское дело.

— Нету, государь-батюшка.

— А что вы тут делаете?

И царь подошел к столу, на котором лежала развернутая рукописная книга и стоял глобус. Он взял книгу и стал смотреть ее титул, расписанный киноварью и разными цветными заставками.

— «География генеральная,— читал он,— небесный и земноводный круги купно с их свойствы и действы, от Бернардуса Варениуша сложенная»... Так, так, география...

Царевна, прижавшись головкой к плечу отца, тоже заглядывала в книгу. Царь перевернул первый лист.

— Вижу, сам Симеон писал, искусник, художник добрый... Ишь скромник, что говорит в предисловии: «того ради малым и худым кораблецем смысла моего с прочими на широкий сей океан толкования пуститься дерзнул»... Да, скромник... Это хорошо... «Моя же должность объявити,— продолжал читать царь,— яко проводить сию не на самый словенский высокий диалект против авторова сочинения и хранения правил грамматических, но множае гражданского посредственнаго употреблял наречия, охраняя сенс и речи самого оригинала иноязычного»... Ишь ты! А что есть «сенс»?— обратился он к дочке и погладил ее волосы.

— «Сенс» сиречь смысл,— бойко отвечала девочка.

— Так, умница.

Старушка-мамушка, стоя в стороне, с умилением глядела на эту нежную сцену.

— Много выучила?— спросил царь, взглянув на девочку.

— До перииков и антиков, батюшка.

— Хорошо, дочушка... А трудно, поди?

— Трудно...

— Ничего... корень учения горек, а плоды его сладки суть...

Он взглянул на глобус, тронул его, повернул на оси...

— А сие разумеешь?— спросил он, тыкая пальцем в глобус.

— Разумею, батюшка.

— Это что такое? Словно ось махонька...

— Сие есть аксис, на чем земля вертится.

— Ишь ты, аксис... слово, поди, греческое... так-так, словно ось...

— Да она осью и называется, батюшка,— пояснила девочка.

— Точно-точно... Премудро все сие... Токмо не уразумею я, как люди не упадут с земли, коли она круглая...

— Не падают, батюшка.

— То-то я сам вижу, что не падают... Вот и мы не падаем, стоим, потому кверху падать нельзя... А вот те-ту, что внизу, под нами живут?

— Они, батюшка, называются антиподы.

— Антиподы, ишь ты... А мы кто же?

— А мы антики...

— Вон оно что! Поди ты, мы антиками стали, русские-то... А все премудрость Божия...

Он задумчиво качал головой, рассматривая глобус и повертывая его.

— А где ж Москва тут будет?—спросил он.

Царевна повернула глобус, нагнулась к нему... «Вот Москва, батюшка».

— Вижу, вижу... И на чертеже государства российского такоже... А Ферапонтов монастырь, примером сказать?

Девочка вопросительно посмотрела на отца.

— Не знаю, батюшка.

Царь задумался: он вспомнил о своем некогда «собинном» друге и вздохнул.

— Нет его, поди, тут, Ферапонтова-ту,— раздумчиво сказал он,— и Пустозерска нет...

Мысль его, видимо, где-то витала; но девочка не понимала этого и молчала... Она слышала только, как лебеди кричат на пруду; она знала, что они о ней соскучились, она избаловала их.

— Дивны, дивны дела Твои, Господи,— продолжал царь раздумчиво.— А это что такое, опоясочка черненькая кругом, а?—спросил он, проводя пальцем по экватору.

— Ее-ев-евкатор это, батюшка,— зарделась девочка, чувствуя, что дело не совсем ладно.

— Евкатор...

— Сиречь уравнитель,— поправилась она.

— Уравнитель... опоясочка вокруг земли... А кто ее опоясал? Все Бог... Для Него, Батюшки-Света, вся земля, что яблочко одно, клубочек махонький, взял и опоясал. Своею божественною ниточкою, поясом

господним... Одеяся, яко ризою, облаком, лете на крылу ветреннюю... Чудны дела Твои, Господи... Ишь лебеди раскричались, к дождю, поди...

— Они есть хотят.

— То-то, проголодались без тебя... А вот сия опоясочка тоненька? — указал он на северный полярный круг. — Что оная означает?

— Сие есть зона фригида, пояс хладный или студеный, — бойко отвечала девочка, уверенная, что на этот раз не врет.

— Так пояс-таки? Так и называется?

— Пояс, батюшка, хладный.

— Хладный... почему ж хладный?

— Поелику северный, а на севере хлад...

— Точно, точно... Вон в Крыму и на Тереке, сказывают, теплее, а в Ерусалиме знойно.

— А вон там, батюшка, и пояс знойный или горячий, зона торрида, — торопилась девочка, показывая своим розовым пальчиком южный полярный круг.

— Так-так, дочушка моя, умница... Учись... Это премудрость Божия...

Девочка стала ласкаться к нему, словно кошечка.

— Ах, ты моя Софей-премудрость Божия, — гладил он ее.

— А возьмешь меня на действо? — вдруг спросила она. — На «Навуходоносорово» действо...

— Возьму, возьму. — Он снова поцеловал ее в голову. — Ишь выросла...

Выглянув затем в окно, Алексей Михайлович увидел, что к крыльцу, по заведенному порядку, уже стали сходиться бояре и стольники на смотр, для поклонов и для докладов. Меж ними он увидал князей Воротынского и Одоевского, да Василия Волынского. Какая-то тень прошла по благодушному лицу царя; он догадался, зачем пришли эти трое... Этой ночью они пытали Морозову и Урусову.

Царь рассеянно и торопливо перекрестил дочь и вышел из терема.

XV. МОРОЗОВА В ЗАТОЧЕНИИ

Воротынский доложил царю о безуспешности «розыска» над Морозовой и ее сестрой. Он доложил это с такими потрясающими подробностями, что Алексей Михайлович невольно побледнел.

— Палачей в трепет привела своим неистовством и стрельцов к своему буеверию наклонила,— пояснил Одоевский.

— Волосы ходили у меня, великий государь, по голове аки живы,— доложил и Волынский,— дьяк Алмаз, великий государь, занеможе от виду тоея муки.

Царь оглянулся кругом: дьяка Алмаза Иванова действительно не было среди приближенных.

— Что же делать с ними? — обратился царь к сонму князей и бояр.— И церковь, и земная власть бессильны над ними!

Все потупились, страшно было отвечать на такой вопрос...

— Огонь осилит,— послышался чей-то мрачный голос...

Все поглядели на говорившего: это был краснощекий Павел, митрополит крутицкий. Алексей Михайлович долго молча глядел на него.

— Огонь? — как бы не понимая этого слова, спросил он.

— Огонь небесный, великий государь.

— А в наших ли руках огонь-ат небесный? — качая головой, снова спросил царь.

— В твоих, великий государь: сказано бо, сердце царево в руце Божии...

— А Бог милостив.

— Милостив к верным, а на Содом и Гомору Он сослал с небесе огнь и жупел.

Бояре безмолвно переглядывались. Долгорукий, князь Димитрий, отец вдовы Брюховецкой, раздумчиво качал головой. Он вспомнил Морозову на свадьбе своей дочери, когда ее выдавали за Брюховецкого. Морозова была посаженой матерью и утешала плакавшую Оленушку... Сердце сжалось у Долгорукова при этом воспоминании: обеим не задалось счастье... т а там, э т а здесь...

— Прикажи, великий государь, сруб поставить на Болоте,— продолжал жестокий митрополит «оладейник»,— затепли свечу пред Господом, свеча эта будет Морозова...

Многие невольно вздрогнули от этого предложения...

— Из живово тела свечу Господу, ах! — отозвался кто-то.

— И свеча та спасет православный народ,— настаивал Павел.

Долгорукий не вытерпел! Морозова и его бедная погибшая дочь живыми стояли перед ним... одна горела, другая так таяла...

— Али тебе, митрополит, мало свечново сбору, что ты вздумал нас свечами поделать? — с дрожью в голосе заговорил он.— Спасай словом, а не огнем... Христос не жег огнем неверующих, а молился за них, не ведают бо что творят...

Царь ласково посмотрел на Долгорукова: ему самому тяжелы были эти пытки да казни.

Но так на этот раз ничем и не порешили.

Как бы то ни было, на другой день, за Москвой-рекой, на Болоте, как раз против тюремных окон, с раннего утра ставили какое-то странное здание. Это был четырехугольный сруб из сухих сосновых бревен, с одной дверью, но без окон. В срубе складены были костром дрова, а пол устлан был соломой и уставлен снопами, которые доходили до самых верхних венцов сруба.

Любопытствующие толпились около этой странной горенки.

— Мотри-мотри, братцы, мышь бежит из сруба! — кричал парень с лотком на голове.

— То-то, подлая, знает, что в горенке-ту тепло будет,— осклабился другой малый.

— А вон и другие, ах ты курова дочь! Нну!

К горенке подошли две монашки. В старшей, с низко опущенным на глаза клобучком, можно было, хотя с трудом, признать мать Меланию, отыскать которую не могли никакими средствами. Другая была молоденькая, и бледное, изящное округленное лицо ее обнаруживало, что не простого роду эта монашка. Это и была боярышня Анисья, которой писал когда-то Аввакум из своей тюремной кельи у Николы на Угреше, чтобы она забыла свое боярство и «сама месила хлебы да варила шти для нищих».

Мелания грустно покачала головой, глядя на странную горенку...

— Уготована-уготована... постель брачная,— тихо бормотала она.

— Да, и снопами уложена, как подобает на свадьбе,— добавила Анисья.

— Так-так, Анисьюшка, эти хоромы краше царских...

Они заглянули внутрь горенки...

— Да-да... чинно, зело чинно устроено...

Молодая монашка дотронулась рукой до снопов, до бревен... Руки ее дрожали...

— Ох, Федосьюшка! Помолись за нас!

Мелания перекрестила все четыре угла страшной горенки. Все это она делала тихо, плавно; бесстрастное лицо ее выражало спокойствие, и только крысьи глазки светились ярче обыкновенного из-под своих навесов. Зато лицо ее молодой спутницы отражало на себе все волновавшие ее душу движения.

— Пойти, утешить Федосьюшку,— сказала, наконец, Мелания.

— Чем, матушка?

— Да, вот, горенкой новой.

— О-о! Помилуй Господи!

— Да письмом Аввакумовым.

— Точно, точно, матушка... утешь ее, горемычную, порадуй... Вон она, мученица, что ту ночь вытерпела на пытке. Онисимко стрелец сказывал...

Молодая девушка нагнулась, выдернула из одного снопа небольшой пучок соломы и поцеловала его. Затем они поклонились ужасной горенке и пошли в город. Молодая монашенка шла с пучком соломы, словно бы она возвращалась с вербой от вербной заутрени... Она сама думала об этом...

— И точно верба... И под Христа ваии метали пред распятием...

— Только некого нам будет «плащеницею чистою обвить»,— многозначительно сказала Мелания.

Ночью Мелании удалось пробраться в темницу к Морозовой. Как она проникла в это никому не доступное место, это была тайна ее неотразимого влияния на всю, поголовно подчиненную ей, притом тайным подчинением, Москву. Меланию все знали, начиная от князей и бояр и кончая последними стрельцами, тюремщиками и палачами. Ей все повиновались, она проникала всюду, перед ней расступалась стража, отмыкались замки; но когда царь требовал сыскать эту опасную женщину, грозил опалой за неотыскание ее, Мелания точно сквозь землю провалилась...

Стража Морозовой пропустила к ней мать Меланию.

Морозова стояла у тюремного окошечка и, держась руками за железную решетку, смотрела на бледные,

слабо мерцающие звезды. Ей казалось, что кто-то смотрит к ней в темничное оконце, смотрит с того далекого, неведомого неба... Ей представлялось оно населенным живыми, светлыми, родными ей существами: и Ванюшка, сынок ее, и тот княжич, что полег давно на литовских кровавых полях, и добрый муж ее Глебушко, и тот сильный, страшный, но не смирившийся Степанушко Разин... Где подели его голову, его кости? Куда ворон занес их?..

Дверь тихо визгнула и отворилась...

— Федосьюшка! Дочка моя! — послышался знакомый голос.

— Матушка! Мати моя! Радость моя!

Морозова бросилась на землю и восторженно целовала руки своей учительницы. Мелания благословила ее. Слышны были только не то радостные, не то горькие всхлипыванья...

За окном завыл протяжный оклик часового...

— Словно ангел, дверем затворенным, пришла,— захлебывалась и радостью, и слезами Морозова.

— Не плачь, дочь моя, а радуйся,— внушительно сказала Мелания. — Уж дом тебе готов, весьма добр, чинно устроен и соломою целыми снопами установлен, сама ходила на Болото посмотреть... Радуйся! Уже отходишь ты в блаженство ко Христу, а нас сирых оставляешь...

Что чувствовала при этих словах своей наставницы Морозова, это знают только те немногие, которые решались идти на вольную смерть за идею... Они чувствуют то, что чувствовал Христос в саду Гефсиманском, когда молился о чаше: страшна эта чаша, хоть избранники своею волею тянутся испить содержимое в ней, в этом сосуде смерти, хоть и сладко утешение там, глубоко где-то, в пламенеющей восторгом душе...

Морозова снова упала на колени и подняла руки к небу, которое слабо мерцало звездами сквозь тюремную решетку: она тихо молилась...

— А я тебе еще радость принесла,— сказала Мелания, когда она поднялась с земли.

Морозова, казалось, не понимала, что ей говорили: первая «радость» была слишком велика, чтобы тотчас же хватило сил принять и «вторую»...

— Аввакумово послание к тебе принесла я,— пояснила старица,— слово тебе великое, похвальное...

И она вынула из-под рясы сложенную в дудочку бумагу.

— От Аввакума! Господи, благодарю тебя! Сподобил меня! — каким-то подавленным голосом воскликнула узница.— Перед смертью хоть... благословит меня...

Мелания подала ей сверток. У Морозовой дрожали руки, и она не могла развернуть послания...

— Странничек в посохе принес из Пустозерья,— пояснила старица,— просверлили подожок и вложили туда послание, страха ради никонианска: а то никониане отняли бы...

Морозова развернула свиток, пригнулась к нему, поцеловала; но читать еще было темно, хотя летняя ночь уже посылала в тюремное оконце бледно-розовую зарю.

— Потерпи мало, миленькая, уже светает,— успокаивала ее старица,— светлый лик Господа скоро глянет к тебе в оконце.

Морозова стала расспрашивать ее о том, что делалось в Москве, кого еще взяли, кто цел остался, кого замучили. Старица рассказывала, как плакал и целовал брат Акинфеюшки кровавое покрывало, которое она прислала ему из застенка, прямо с пытки с стрельцом, как он призвал потом к себе стрелецких сотников, дарил их, угощал...

— А все ухлебливал их для того, чтобы не свирепы были к вам, дети мои,— пояснила старица.

Потом рассказала, как они с Анисьюшкой ходили на могилку к ее сынку, Ванюшке, помолились, панихидку отпели...

— И таково хорошо там у него,— прибавляла старица,— цветики лазоревы, и аленьки, и синеньки посажены на могилке, таково хорошо цветут.

Все эти вести для заключенной казались принесенными из другого, далекого мира, в который для нее уже не было возврату.

— А братца твово Федора царь послал с грамотами в черкасскую землю, к гетману Петру Дорошенку,— сообщила старица,— а тот Дорошенок держит в полону нашу бывшую княжну Долгорукову...

— Оленушку, как же, бедная! Еще я у ей посаженой матерью была,— горько покачала головой узница.

Заря уже ярко глядела в оконце, и хотя с трудом, но читать Аввакумово послание можно было. Морозова

перекрестилась, снова поцеловала его, приблизила сверток к оконцу и стала читать.

— «Аввакум протопоп, раб Божий, живый в могиле темней, кричит вам, чада мои! Мир вам! — начала она.— Увы! Измолче гортань мой, исчезосте очи мои, свет мой государыня Федосья Прокопьевна! Откликнись в могилу мою: еще ли ты дышишь, или удавили, или сожгли тебя, яко хлеб сладок? Не вем и не слышу. Не ведаю живо, не ведаю, сконча ли чадо мое церковное, драгое? О чадо мое милое! Провещай мне, старцу грешну, един глагол: жива ли ты!»

Морозова невольно опустила бумагу на колени и утерла катившиеся из глаз слезы, которые, падая на лист, мешали читать...

— Жива еще, дышу благодатию Божиею,— тихо, сквозь слезы говорила она.

Вытерев глаза, она опять поднесла к свету бумагу.

— «Увы Феодосия! Увы Евдокия»,— начала она снова и остановилась.

— А что Дуня? — спросила она.

— Вечор я заглянула и к ней,— отвечала старица,— земно кланяется тебе.

— А что руки у нея, как?

— Опадать стала опухоль в плечах, легшает.

— А духом как?

— Бодра... истинный воин Христов...

— «Увы Феодосия! Увы Евдокия,— продолжала читать Морозова.— Два супруга нераспряженная, две ластовицы сладко глаголивые, две маслины и два свещника пред Богом на земли стояще! Воистину подобни есте Еноху и Илии[50], женскую немощь отложивше и мужескую мудрость восприявше, диавола победиша и мучителей посрамиша, вопиюще и глаголюще: «Приидите, телеса наши мечи ссецыте и огнем сожгите, мы бо, радуяся, идем к жениху своему Христу». О, светила великие, солнце и луна русские земли, Феодосия и Евдокия...» Ах, матушка, мне стыдно читать,— потупилась узница,— я не стою этого...

— Он, свет наш, знает, чего ты стоишь,— успокоила ее старица,— чти дале.

— «О две зари, освещающие весь мир на поднебесней! Воистину красота есте церкви и сияние присносущные славы Господни, по благодати! Вы забрала церковные и стражи дома Господня, возбраняете волком вход во святые. Вы два пастыря, пасете овчее стадо

Христово на пажитех духовных, ограждающее всех молитвами от волков губящих; вы руководство заблудшим в райские двери и вшедшим древа животнаго насаждение. Вы похвала мучеников и радость праведным и святителем веселие. Вы ангелом собеседницы и всем святым сопричастницы и преподобных украшение. Вы и моей дряхлости жезл и подпора, и крепость и утверждение, и что много говорю! Всем вся бысте ко исправлению и утверждению во Христа Исуса...»

Она припала лицом к ладоням и тихо плакала радостными слезами... «Не заслужила я, ох, не заслужила...»

— Полно-ка! Чти, скоро день,— понуждала ее старица,— он знает, что говорит.

— «Как вас нареку? Вертоград едемский именую и Ноев славный ковчег, спасший мир от потопления. Древле говаривал, и ныне тоже говорю: киот священия, скрижали завета, жезл Ааронов прозябший, два херувима одушевленная. Не ведаю, как назвать. Язык мой короток, не досяжет вашей доброты и красоты. Ум мой не объемлет подвига вашего страдания. Подумаю, да лишь руками возмахну! Как так государыни изволили с такие высокия степени сступить и в безчестие вринутися! Воистину подобны Сыну Божию, от небес сступил, в нищету нашу облечеся и волею пострадал. Тому ж и здесь прилично. О вас мне рассудить не дивно: яко 20 лет и единое лето мучат мя...» Двадцать лет! — невольно воскликнула молодая узница, подняв глаза к потолку тюрьмы.

— Двадцать лет и с годом,— тихо поправила ее Мелания.

— А я-то что противу него! Мне и году нет, как я в заключении.

— Добро и то: нонешнюю ночь вспомяни...

— Что, матушка, нонешнюю?

— Вчерашнюю, дочь моя, как на виске-те висела: там миг един годом кажется.

Старица была права: Морозова вспомнила прошлую ночь, ночь в застенке... Да, там минута острой боли казалась годом!.. Она невольно вздрогнула.

— «На се бо зван есмь, да отрясу бремя духовное,— продолжала она читать,— аз человек нищей, непородной и неразумной, от человек беззаступной, одеяния и злата и сребра не имею, священническа рода, протопоп чином, скорбей и печалей преисполнен

пред Господом Богом. Но чудно и пречудно о вашей честности помыслити; род ваш Борис Иванович Морозов сему царю был дядька, и пестун, и кормилец, болел об нем и скорбел паче души своей день и нощь, покоя не имуще[51]. Он сопротив того, царь-от, племянника его родного, Ивана Глебыча, опалою и гневом смерти напрасной предал твоего сына и моего света...»

Дрогнули у несчастной матери руки при чтении этих слов; но она отогнала от себя образ сына и продолжала читать:

— «Увы, чадо драгое! Увы, мой свете, утроба наша возлюбленная твой сын плотский, а мой духовный! Яко трава посечена бысть, яко лоза виноградная с плодом к земле преклонися и отыде в вечные блаженства со ангели ликовствовати и со лики праведных предстоит святей Троице. Уже к тому не печется о суетной многострастной плоти, и тебе уже некого четками стегать и не на кого поглядеть, как на лошадке поедет, и по головке неково погладить...»

Она не могла дальше читать... «Некого по головке погладить...» Эта курчавая головка так и стоит перед нею... стоит, вот тут, в душе стоит, а погладить некого!

— О, мой сыночек! О, мой крин сельный!..

Она обхватила голову руками и закачалась на месте, как бы от нестерпимой боли.

— Не плачь, Федосьюшка-свет, скоро сама с ним увидишься,— бросила ей жестокое утешение мать Мелания.— Он, светик, скоро встретит тебя...

— Ох! Дитятко мое!

— А ты полно, родная, чти... Он утешит тебя... чти, голубка!

Морозова оторвала руки от лица, подняла голову к небу и застонала, крепко стиснув руки.

— Читай же, чти, золотая.

— «Помнишь ли, как, бывало, миленькой мой государь,— читала несчастная, захлебываясь,— в последнее увидался я с ним, егда причастил его. Да пускай! Богу надобно так, и ты не больно о нем кручинься. Хорошо, право, Христос изволил. Явно разумел, яко царствию небесному достоин. Хотя бы и всех нас побрал, гораздо бы изрядно: с Федором там себе у Христа ликуйствуют. Сподобил их Бог и мы еще не вемы, как до берега доберемся. Поминаешь ли Федора и не сердитуешь ли на него? Поминай Бога для, не сердитуй...» За что ж мне сердитовать на него? Божий

был человек,— горестно покачала она головой,— помню, как он раз со мной в карете к Ртищевым ехал, миленькой... Да что про то вспоминать!

Становилось совсем светло. Восток розовел, и на монастырском дворе и в зелени для мелкой птицы уже настал день радостей и забот, говорливый птичий день. Мать Мелания встала, на лицо ее легла особая тень...

Морозова все поняла чутким сердцем и, казалось, приникла, опустилась всем телом: сердце и лицо Мелании сразу сказали ей, что с нею хотят «прощаться», прощаться в последний раз, навеки, прощаться, чтоб уж не свидеться более до страшной трубы ангела...

— Матушка! Ты покидаешь меня! — прошептала она словно бы чужими, дрожащими губами.

— Не я покидаю тебя, а ты нас, отходишь в блаженство,— резанули ее по сердцу беспощадным утешением,— ты, свечечка наша воскояровая, гаснешь...

— О-о! Мать моя! Матушка!

Мелания незаметно вынула из своей черной рясы что-то блестящее. Звякнули ножницы...

— Матушка! Что это?

— Ножницы, сладкое чадо мое.

— Зачем они тебе?

— А затем, дочушка моя, что ты отходишь от нас в жизнь вечную, покидаешь нас, сирых... А нас много, что будут вспоминать тебя да плакать по тебе: мы с Анисьюшкой, Анна Амосовна да Степанида Гневная, рабыни твои и сестры по Боге, раб твой Иванушка, что злато-серебро твое, все сокровища твои скрыл от царя и никониан и за что ныне взят и мучению предан...

— Так и Иванушку, старого раба дому моего, взяли? — спросила, о чем-то думая, узница.

— Взяли, милая.

— А богатства мои, золото и серебро и камни многоцветные?

— Сокрыты от всех... Иванушка и под пыткой не выдал тебя.

— Кому же открыл он?

— Мне, милая... Одна я, старая грешница, все знаю... Так вот нам на память о тебе хоть по прядочке волосочков твоих шелковых оставь, миленькая, чтоб было чем вспоминать тебя...

— Хоть всю косу мою возьмите! — страстно воскликнула молодая боярыня.

— Зачем всю косу? С косою ты должна предстать жениху твоему, Христу Богу...

— Матушка! Святая моя!

— С косою, с косою, дитятко... Эко коса у тебя!

И старая «наставница», распустив роскошную косу своей «послушницы», выбрала одну прядь и отрезала ее ножницами.

— Эко коса невиданная! — бормотала она, навертывая прядь на свой сухой палец. — Так-ту... А то вся бы сгорела, ни волосочка бы не осталось.

Морозова упала на колени, как бы на молитву.

— Благослови меня, матушка! Подкрепи меня!

— Не ноне подкрепа моя нужна тебе, милая, а после... там...

Старая наставница не договорила. Морозова глядела на нее заплаканными глазами и, казалось, не понимала, что ей говорили.

— Ну, прощай, дочушка моя любимая, — перекрестила ее старуха. — А ты вот что, слушай: когда возьмут тебя никониане на казнь и поставят на сруб и подожгут под тобой солому и дрова, тогда перекрестись истово и покажи народу руку с двумя перстами: тут и меня увидишь... Я тоже подыму руку... по руке меня и узнаешь... Сквозь огонь и дым увидишь меня... тогда я подкреплю тебя...

Где-то за монастырской стеной послышалась песня:

Как журушка по бережку похаживает,
Шелковую травинушку пощипывает!..

XVI. ТИШАЙШИЙ РЫБУ УДИТ

Страдания за идею нравственно заразительны.

Чтобы понять этот, по-видимому, странный парадокс, следует обратиться к истории человечества. Историческая жизнь человечества представляет, если можно так выразиться, последовательный ряд нравственных эпидемий, сменяющих одна другую и часто осложняемых другими, более или менее сильными, более или менее повальными продолжительными эпидемиями духа общества. История отмечает нам

несколько крупных проявлений нравственных эпидемий вроде эпидемии «крестовых походов», когда эта специальная зараза охватила даже детей. Были эпидемии монашеских и фанатических самоистязаний. В начале XVI века, после открытия Америки, эпидемия открытия новых земель. Эпидемия самоубийств весьма часто чередуется в истории человечества с другими эпидемиями.

К таким же нравственным эпидемиям принадлежат эпидемии страданий за идею. Пострадал один, и за ним, как за Христом и апостолами, идут десятки, за десятками сотни, за сотнями тысячи.

Так было и в эпоху, к которой относится наше повествование. Страданиями думали устрашить других и, напротив, заражали незараженных, увлекали искать страданий. За Аввакумом шла Морозова, за Морозовой Урусова, Акинфеюшка, Иванушка, Анна Амосовна, Степанида Гневная. За этими последними целые легионы.

Эпидемии страданий за веру порождаются преследованиями. Когда в царском дворце, на женской половине, в теремах, узнали о страданиях Морозовой с сестрою, так Алексею Михайловичу отбою не стало от своих сестер и дочерей: все жалели о страдалицах, плакали, приставали к царю, не давая ему проходу, и чуть не учинили женский теремной бунт. Первая взбунтовалась пятнадцатилетняя царевна Софьюшка, бросила учиться, закинула куда-то и «арифметикию», и «премудрости цветы», и всякие «верты», и географию с ее «периками» и «антиками» и задумала идти в монастырь, постригаться... Одно только ее смущало, как же с лебедями быть, которые без нее соскучатся?.. Одним словом, царевна Софьюшка рвала и метала, и как ее отец ни умасливал, что возьмет с собою на «Навуходоносорово действо», она дулась теперь и твердила о монастыре.

Но больше всех досадила царю его старшая сестра, царевна Ирина Михайловна [52].

— Зачем, братец, не в лепоту творишь,— упрекала она царя,— зачем вдову бедную помыкаешь?

— Какую вдову, сестрица?—с неохотою отвечал царь.

— А Морозову. Достойно было бы познать службу Борисову и брата его Глеба.

Напоминание о Борисе Морозове, о дядьке и пестуне «тишайшаго», особенно было огорчительно и досадливо.

— Добро, сестрица! Коли тягчишь о ней, тотчас готово ей у меня место,—с сердцем отвечал он.

Но, как бы то ни было, Морозову не решились жечь в срубе, что уже срубили на Болоте...

Видя, что вся Москва — и двор, и боярство, и чернь тайно и явно переходят на сторону заключенной боярыни, царь приказал увезти ее из Москвы и заключить в Новодевичий монастырь. Но это только подлило масла в огонь. Вся Москва поднялась на ноги, особенно женский пол: «вельможные жены» и «вельможные дщери» съезжались в монастырь смотреть на «мученицу» и «учиться у нее, како страдати». Открылись, таким образом, так сказать, «курсы науки страданий», и все валило в Новодевичий «учиться страдать и умирать». Москву постигла буквально эпидемия страданий.

И всем этим движением заправляла невидимая рука неуловимой матери Мелании и ее черных юных послушниц, вроде Анисьюшки, Евдокеюшки и иных, проникавших всюду, во все семьи, и увлекавших за собою и старость, и молодость, стрельцов и тюремщиков... Стали искать страданий сами палачи...

Алексей Михайлович просто терялся, не зная, что предпринять. Даже купанье в пруду стольников теперь не тешило его. Он ходил сам не свой, не веря никому, боясь своих советников и наушников.

Тогда, не говоря никому ни слова, он принимает новое решение — покориться народной воле... Но он не знал, что это уже было поздно: народное чувство было обижено в лице тех, кого он, народ, любил и кому верил.

Алексей Михайлович приказал позвать к себе не боярина и не духовного сановника, а человека из народа, стрелецкого голову Юрия Лутохина.

— Знаешь, Юрье, боярыню Морозову? — ласково спросил царь.

— Как-ста, ваше царское пресветлое величество, не знать боярыни Феодосьи Прокопьевны! — отвечал Юрий, шибко тряхнув волосами.

— А как ты, Юрье, о ней думаешь? — косвенно допытывался царь.

— Не могим-ста знать, ваше царское пресветлое величество,—был ответ и новая встряска волос.

— Я спрашиваю: правое ее-су дело или неправое? — настаивал царь.

— Не наше-ста это дело, ваше царское пресветлое величество,— наладил стрелец.

— Как не ваше-су?

— Не нашево-ста ума, ваше царское пресветлое величество.

Царем овладело нетерпение... «Эко чурбан!.. Хоть кол на голове теши, не скажешь...»

— Да ты-то что о ней мыслишь? — уже раздраженно спросил царь.

«Чурбан», которому думать не полагалось, и тут нашелся.

— Как поволит твое царское пресветлое величество, так я и мышлю,— отвечал он.

Алексей Михайлович видел, что тут ничего не добьешься; но он достаточно знал свой народ, чтобы не видеть, что стрелецкий голова не на его стороне... Ясно, это глас народа...

И Алексей Михайлович прямо приступил к делу.

— Вот что, Юрье,— сказал он, подумавши,— ступай ты к Морозовой в Новодевичий и скажи ей моим государевым словом: «Мати праведная, Федосья Прокопьевна! Хощу тя аз в первую честь возвести. Дай мне таковое приличие людей ради, что аки не даром тебя взял: не крестися тремя персты, но точию руку показав, наднеси на три перста. Мати праведная, вторая Екатерина мученица! Послушай: аз пришлю по тебе каптану мою царскую и со аргамаками своими, и приидут многие боляра и понесут тя на головах своих. Послушай, мати праведная! Аз, сам царь, кланяюсь главою моею: сотвори тако!»

Алексей Михайлович, действительно, поклонился. Юрий Лутохин стоял, видимо, пораженный; в глазах и на лице его играли умиление и радость.

— Уразумел? — спросил царь.

— Все, все до капли, ваше царское пресветлое величество...— с силою отвечал стрелец.

— И все знаешь?

— Все, все до капли, ваше царское пресветлое величество... Мати праведная, Федосья Прокопьевна! Хощу тя аз...

— Добро-добро... Ступай...

Поклонившись и неистово тряхнув волосами, стрелец вышел, ног под собой не чуя.

Юная царевна Софьюшка, нечаянно подслушавшая этот разговор отца с стрелецким головою, положила

гнев на милость, и когда Алексей Михайлович, после всех своих дел, распустил бояр, усталый, но довольный собою, зашел по обыкновению в теремок царевны, Софьюшка встретила его совсем милостиво, по-прежнему бросилась на шею отцу и даже осчастливила его приглашением идти с нею на пруд рыбу удить.

— Что ты, глазунья моя! — удивился царь.— Вот выдумала! Царь рыбу удить будет... вот!

— А как же, государь батюшка, апостолы удили? — озадачила она отца.

Царь не мог не удивиться находчивости своей любимицы. Он улыбнулся.

— И то правда, дочка: апостолы рыбари были.

— И Христос с ними рыбу ловил.

— Ах ты, умница моя!.. Точно, велел он мережи метать...

Алексей Михайлович совсем расчувствовался. Он гладил шелковистые волосы своей «глазуньи» и удивлялся, когда она успела вырасти... Он при этом почему-то вспомнил своего младшего сыночка, царевича Петра, которого ему на днях родила молодая царица... «Уж и крикун же уродился Петрушенька царевич! — думал он.— В кого бы только буян такой задался?.. И что из него выйдет?..» [53]

— Ты пойдешь рыбу удить, батюшка? — ласкалась царевна.

— Ин так и быть, пойду, побалую с тобой!

Царевна тотчас же бросилась на переходы, захватила там удочки, ящичек с сырой землей и червями, взяла отца за руку и особым «царевниным» ходом потащила его к пруду. Царь, при своей тучности, едва поспевал за ней. С таким же трудом тащилась вслед за ними, переваливаясь уткой, старая круглая мамушка, глаз не спускавшая с своей необыкновенно подвижной питомицы.

— Ох, уж и что это за огонь-царевна! — ворчала старушка.— Государя батюшку замаяла.

— Ничего-ничего, мамушка,— успокаивал ее благодушный царь.

— Ой, весело! Ох, хорошо! — восхищалась балованная девочка.— Батюшка рыбу удить будет.

Увидев свою любимицу, лебеди подняли необыкновенный гвалт, махали крыльями, спеша к берегу. Выйдя из воды, они тотчас же напали на царевну и, вытягивая свои длинные шеи, бесцеремонно запускали свои головы ей в карманы и за пазуху...

— Ай, щекотно! — смеялась она, защищаясь от птицы.— Отстаньте.

Но избалованная птица не отставала: в карманах и за пазухой у царевны уже запасена была разная провизия, и лебеди доставали ее и жадно ели. Алексей Михайлович смеялся, любуясь этой сценой.

Лебеди накормлены и успокоились, а царевна повела своего отца дальше вдоль пруда, под тень огромной ивы, где был устроен особый плоток с сиденьем для потехи царевны, для уженья рыбы.

Алексей Михайлович с видимым удовольствием опустился на покойную со спинкой скамью. Пруд был тих и ясен, только между водяными лопухами и лилиями-маковками выигрывала на солнце рыба. Царь давно не чувствовал себя так хорошо, как в этот день. Он любил природу, и ему приятно было забыться здесь, после трудов и забот. Любя природу, он прежде, когда был моложе и менее тучен, страстно любил соколиную охоту, когда все делалось по соколиному уставу, «красовато, премудровато, молодцовато», когда весь обряд охоты совершался, словно литургия, «подправительно, подъявительно, ко красоте кречате и к видению человеческому»... А теперь он утучнел, а природу любил по-старому, и природа, казалось, сама улыбалась теперь ему своею прежнею, молодой улыбкою... Тогда он и сам был молод, больше любил, и Никона, «собиннаго» друга, любил, и Аввакума... Тогда еще не было этих смут, этого раздвоения русского сердца из-за креста... Не было и казней... Все изменилось, все изменило царю и человеку — одна природа не изменила ему... По-прежнему ласково смотрит солнце, по-прежнему любовно шепчет над ними своими зелеными листьями ивушка кудрявая... Пчелы жужжат, дятел долбит где-то; иволга, словно кусок золота, порхает в зелени ветвей...

— Насаживай, мамушка, червей,— командует царевна,— я их боюсь... А ты, батя, сам насаживать будешь? — обращается она к отцу, суя ему в руку удочку.— Ты не боишься червей?

Царь задумчиво улыбается, не отвечая: его мысли в разброде, растаяли как-то.

— Боишься червей? — допытывается Софья.

— Боюсь, милая.

— И я боюсь.

Черви насажены, удочки закинуты, поплавки торчат. Тихо кругом, задумчиво как-то все, и пруд, и небо,

и зелень, и удильщики. И мамка задумчиво вяжет чулок.

— У тебя клюет,— шепчет царевна.

Но у самой у нее так сильно что-то клюнуло, что она даже вздрогнула. Поплавок юркнул в воду и потом пошел боком. Царевна вытащила торопливо. На удочке извивалась крупная, в четверть длины, рыба.

— Окунь! Окунь! — радовалась Софья Алексеевна, хватая бьющуюся на плоту рыбу.— Вынимай, матушка, удочку да насаживай нового червя.

А у Алексея Михайловича поплавок потащило, но тихо, плавно.

— Тяни, батя, тащи! — волновалась Софья.

Царь вытащил свою удочку. На лесе болтался черный рак, защемивший в свои клещевидные зубы червя с удочкой и не желая расстаться с добычей.

— Ай, рак! Ах, скверный! — печаловалась царевна.

— Первый блин комом,— улыбнулся царь.

— Ничего, батя милый,— успокаивала его дочь,— и ты поймаешь окуня, а то и леща, либо сазана. Я раз сазана поймала, да не вытащила, ушел с удочкой. Я плакала, я тогда была еще маленькая, глупая.

— Ну, и я бы заплакал,— благодушно шутил царь.

Рака отцепили от удочки; все это делала старая мамка.

— Я боюсь раков, они щиплются,— пояснила совсем счастливая Софьюшка.

«Не одни раки щиплются»,— думал царь, вспоминая о Морозовой.

А царевна почему-то вспомнила в этот момент о своей прежней приятельнице, княжне Долгоруковой, ныне Брюховецкой, с которой они когда-то здесь часто уживали рыбу.

— А раз Оленушка Долгорукова поймала линя вот какова,— показывала она отцу величину этого пойманного когда-то линя.

— Ого, какой! — добродушно удивлялся царь.

— А что ж ты ее, батя, не возьмешь у Дорошенкова?

— Кого, милая?

— Оленушку Долгорукову... Она, бедная, в полону...

— Я уже послал по нее к Петру Дорошенку с грамотой Федора Соковнина.

И при имени Соковнина и ему, и царевне разом вспомнилась сестра этого Соковнина, Морозова, что сидела в заключении.

В это время из-за ивы показалась шедшая по дорожке, укутанная фатою, старшая сестра царя, царевна Ирина Михайловна. Такая же тучная, краснощекая и добротелая, как брат, с такими же добрыми глазами, она совсем напоминала брата. Увидав, как Алексей Михайлович закидывает удочку, она улыбнулась и покачала головой... «Ишь, старое и малое тешится».

Заметив старшую царевну, царь спросил: «Что, сестрица, Петрушенька-царевич все буянит у мамки?»

— Нету, братец, угомонился. А ты иди, тебя ждет Юрье Лутохин по нужному делу,— отвечала сестра.

Царевна Софья взглянула на отца, и глаза ее блеснули радостью. Царь встал и направился ко дворцу вместе с сестрою.

Через полчаса уже видели царя хмурым и задумчивым: принесенные Лутохиным от Морозовой вести испортили все его расположение духа. Морозова «неистово противилась»...

XVII. ПО ДОРОГЕ В БОРОВСК

Прошло несколько недель.

Жарким летним утром от Москвы по калужской дороге к Боровску шагом двигалась телега, запряженная в одну лошадь и сопровождаемая по обеим сторонам стрельцами. Это следовал из Москвы арестантский этап. В телеге, казалось, никого не было; но это казалось так только издали: в телеге лежало что-то живое, прикрытое рогожкой.

День был тихий. Белая пыль, взбиваемая копытами лошадей и колесами, клубилась над телегой и позади ее, усыпая рогожу белым слоем.

Стрельцы шли лениво, босиком, уложив сапоги и ранцы в телегу. Ворота рубах расстегнуты, потому жарко, упека, ни облачка на небе, так и марит. Скучно. Один, наиболее других, по-видимому, скучающий, вот уже с полчаса как тянет монотонную и скучную, как это голое поле, песню:

На-до-е-ли но-чи, на-до-ску-чи-ли, да на-до-ску-чи-ли;
Со ми-лым, со ми-лым друж-ком раз-лу-чи-ли, со милым дружком разлучили...

Вдали виднеется сельская церковь, но до села еще немалое пространство, еще поле, а там пригорок, а там еще поле. На том поле что-то метлешится: не то стадо, не то табун коней... Нет, не стадо и не табун: что-то в воздухе мотается, словно бы ширинки на шестах... Кой там прах!

Эх и надоскучили,
Со милым дружком разлучили!..

Чем ближе подвигались туда стрельцы с телегой, тем яснее видно было, что там народ, много народу. А то не ширинки на шестах, а церковные хоругви.

— О дожде, знать, молебствие,— решил певучий стрелец,— ух, и надоску-учили!..

— А ты выплюнь песню-то, али не видишь! — строго заметил певуну старый стрелец.

— Что ее плевать! Не скоромная...

— То-то, не скоромна, а тебе бы все с родительницей!

— Зачем родителей поминать? Не чай на мне крест.

Пододвигаясь еще ближе, стрельцы заметили, что вся дорога и часть поля по обе стороны дороги заняты сплошной массой народа, мужиками, бабами, девками, ребятишками. Над ними возвышались хоругви и образа на шестах.

Телега остановилась. Стрельцы подошли к толпе. Народ кучился вокруг хоругвей и образов, и там же, в середине, виднелся старенький поп в бедном облачении, с книгой в руках, и такой же заваляющий в стареньком крашенинном подрясничке и с косичкой в крысиный хвост пономарь с кадилом. Поп стоял на шибко пожелтевшей от засухи полосе ржи и, нагнувшись с некоторыми из мужиков к ниве, что-то рассматривал.

— А ты, бачка, не трошь е в о,— предостерегал попа седой мужичок,— о н те скрючит...

— Мене не скрючит: я е в о во чем,— указывал попик на свой засаленный и местами прожженный угольками из кадила епитрахиль.

— Ево, братец ты мой, не скрючит: на ем, на бачке-те, свята одежа,— говорит другой мужик.

Стрельцы втерлись в круг, оставив у телеги только одного товарища.

— Что у вас тутай-ка, братцы, али о дожде? — спрашивали стрельцы.

— Како об дожде? Вон видишь е в о, дьявола? — отвечал бойкий парень-боровлянин.

— А что, милый?

— Вон, залом заломил аспид.

— Ой ли? Ах!.. Эко дело!

— Да, брат, не в дожде сила... дождя нам Боженька даст... а вон он анафемской.

— А кто ж он будет, милый человек? — любопытствовал стрелец.

— Знамо, из никониан, што щепотью крестются... Вон у нас от того хлебушка и не родит, третий год голодуха, пухнем без жратвы, и скотинка падает, помирать пришло... А все никонцы...

Оказалось, что это было общественное молебствие, заклинание нечистой силы в «заломе», найденном бабами на одной полосе ржи. От этого страшного «залома» и неурожай, и голодуха, и мор на скот. А от кого самый «залом», знамо от кого: от недоброго человека, что по-новому молится, тремя перстами «воображает», так толковал старый пономарь своим боровлянам. А от «залома» одно спасенье: молебен крепонькой со «всепетою», да чтобы сам батюшка «сквозь патрахиль залом-от вырвал с корнем»... Тогда и все крепко будет...

— А ты, батька, молебенец-от покрепче загни, — упрашивали мужики...

— Со всепетою, слышь, родной.

— Да чтобы и меч, и глад, и трус, вверни, кормилец, и глад, потому с голоду помираем.

— Да, да, кормилец, уж не пожалей, поядреней молитву закати...

— А уж мы все окарачь молиться будем...

— До поту, что и говорить!

— И ещо тебе, родной, гривну миром накинем...

— Ладно, ладно, православные, — успокаивал их попик, — свое дело знаю, не занимать-ста этого добра.

— Да ладонцем, батька, не скупись: кури в нашу голову, чтобы тошно я м у стало, больше дыми...

Началось молебствие. Народ, действительно, молился «окарачь»; все так покотом валялось по дороге и по межам, крестясь и колотясь головами о пыльную дорогу, о колючую траву. Это была детская, невинная, но жаркая молитва, голодный, болезненный стон.

Когда началось пение, рогожа на этапной телеге приподнялась, и оттуда выглянуло бледное, но все еще

прекрасное женское лицо. Оно смотрело с недоумением и широко крестилось, обратив глаза на старые, неподвижно висевшие в пыльном воздухе хоругви и закоптелые иконы.

— Миленькой, а, миленькой! — тихо обратилось бледное лицо к молившемуся тут же стрельцу.

— Что, матушка Федосья Прокопьевна? — отозвался он.

— Помоги мне, миленькой, встать и помолиться.

— Сичас-сичас, матушка.

Стрелец бережно приподнял арестантку за руки. Зазвенели ножные кандалы.

— Спасибо, миленькой братец.

Колодница, при помощи стрельца, вылезла из телеги и стала на колени. Глядя на хоругви и на голубое небо, она горячо молилась и плакала. К ней подошли дети, что не могли протолпиться в середину серой массы, и с боязнью глядели то на ее бледное, нежное лицо, то на заржавелые кандалы.

— Молитесь и вы, деточки,— обратилась к ним колодница,— ваши молитвы скорее дойдут до Бога.

Дети, косясь на нее, крестились и кланялись. Из толпы доносились скрипучие, надтреснутые голоса старенького попика и такого же старенького пономарика. «Услыши ны, Боже, Спасителю наш, и сущих в мори далече...»

«О-о-о!» — стонала толпа, колотя себя двумя пальцами по запотевшим лбам и подтянутым голодом животам и колотясь этими лбами о земь...

Наконец, молебствие кончилось. Попик, передав дьячку кадило и книгу с крестом, нагнулся к пучку ржи, на вершине которой виднелось несколько помятых и как бы завязанных узлом колосьев. Мужики серьезно и сдержанно, а бабы со страхом и крестясь смотрели, что будет делать поп. Вот-вот он дотронется «до залома»... Вот-вот он ударит его о земь, скрючит, расшибет.

Но старый попина знал свое дело, не впервой-су! Он завернул руку епитрахилью и схватил «залом»...

— О-о-ох! — вскрикнули в ужасе бабы и попятились.

— Не вой, бабы, брысь! — накинулись на них мужики.

Но хитрый попина — «уж и попина же, братцы! У-у! Дуй ево!» — разом как рванет пучок ржи, так с корнем

и вырвал. Все так и ахнули! «А-ах! Н-ну! Уж и ловок же старый пес... тьфу, окромя ево священства!..»

Между тем тут же другие мужики выкопали яму в аршин глубиной.

— Копай глыбче, братцы, глыбче!

— Чтоба не тово, не выцапался, аспид...

— Будет, братцы, не выцапается,— успокаивал их поп.

— Ну, будя, так будя.

Попина, пошептав и трижды сплюнув на запад — «в самую морду нечистому,— пояснял дьячок,— потому: бес николи же на востоце не стоит, не смеет, и все на запад солнца»,— швырнул «залом» в яму.

— Да зольцой, батька, зольцой из кадила просыпь яво, крепче будет,— просили мужики.

Попина взял кадило, потрусил над ямой золой...

— В зенки ему, анафеме,— пояснял пономарище-старец.

— Да уголек, родной, с огоньком вкинь в яму-ту,— упрашивали мужики,— огнем яму святым в буркалы-те.

Попина и уголек из кадила выкинул в яму: таков поп, каков приход...

Засыпали яму землей, затоптали ногами, поплевали все на насыпь и на запад. И тут и кол осиновый готов.

— Вколачивай, братцы, кол-от в спину яму, аспиду никонцу, щепотнику.

Вколотили и кол в землю.

В этот момент от Боровска послышался ямской колокольчик. Все оглянулись. По дороге скакала тройка, сопровождаемая парою всадников. Пыль стлалась клубами по полю.

— Гонец царской, братцы,— послышалось в толпе.

Все знали, как ездят царские гонцы. «Кому бы быть? Откедова гонит? Не с Крыму ли, от самого ханишки, а может, из Черкас?»

Тройка приблизилась. Толпа расступилась перед конными. Но дальше проезду не было: на самой дороге стояла этапная телега, а около нее в черной одежде женщина... Виднелось только бледное лицо.

В телеге ямской с переплетом и верхом, что скакала от Боровска, сидел русый, запыленный и загорелый средних лет мужчина в боярском одеянии.

Бледная колодница, увидав его, невольно всплеснула руками:

— Федюшка! Братец!

— Федосьюшка! Сестрица! Родненькая!

Гонец выскочил из телеги и стремительно бросился к колоднице... «Голубушка! Мученица!» — «Братец! Соколик!» — «Куда тебя, родная?» — «В Боровск, в земляную тюрьму...»

Это был брат Морозовой, Федор Соковнин, возвращавшийся из Малороссии, от Дорошенка. Он обхватил сестру и страстно стал целовать ее... «Сестрица моя! Ягодка!»

— Ох, братец! Ох, не целуй меня... мне нельзя! — силилась защититься бедная женщина.

— Федосьюшка! Светик!

— Я не Федосьюшка... братец! Ох! Я сестрица Феодора...

— Господи: что ж это такое!

Он зарыдал и, припав головой к плечу несчастной сестры-мученицы, плакал голосом.

Глядя на него, и бабы плакали.

XVIII. В ЗЕМЛЯНОЙ ТЮРЬМЕ

Чем дальше, тем в большее ослепление впадали московские власти и, видя бессилие своих жестоких мер, теряясь во мраке своего собственного безумия, приходили в ярость. Они чувствовали, что нравственная власть выскользала из их рук, почва уходила из-под ног, одни жестокие ошибки вели к другим, еще более жестоким и непоправимым, и как люди с похмелья, которые прибегают к той же отраве, чтобы опохмелиться, забыться в одурении, они бросались в омут того же опьянения, в омут безумной жестокости и преследования. Началась буквальная травля двуперстников, «псовая облава на христиан», как выражались сами двуперстники.

«Времена Диоклетиана настали!» — кричали на площадях и по базарам уцелевшие ученики и ученицы Аввакума и Мелании.

«Нероновы свещники из христианской плоти возжигают на Болоте освещения ради тьмы кремлевския!» — возглашалось на Красной площади при виде срубов на Болоте и у Лобного места, где должны были жечь и жгли непокорных.

А непокорные, как бабочки ночью, «аки метыли на лампаду», шли на этот огонь.

В Боровск, кроме Морозовой, свезли и заключили в земляную тюрьму Урусову, Акинфеюшку и инокиню Юстину. Верный раб Морозовой, Иванушка, уже чах там в другой мрачной яме.

Мать Мелания с своей боярышней Анисьюшкой не замедлила явиться и в Боровск. Стрельцы, караулившие земляную тюрьму, были тотчас же обращены матерью Меланией в «своих», и когда из Москвы явились «волци», с розыском, чтобы найти, наконец, этого «беса полуденного», эту «ведьму Малашку», часовые вытерпели пытку, а не выдали «матушку», которая спрятана была под полом самой караулки.

Прядь волос из прекрасной косы Морозовой стала для «верующих» святынею, и золотистые волосы ее раздавались достойным на «вечное поминование», носились на груди с крестами, зашивались в ладанки словно святые реликвии.

Стрелец Онисимко, целовавший закованные в железо ноги Морозовой, стал коноводом всего своего стрелецкого полка, с которым впоследствии этот самый Онисимко, уже в царствование Софьи Алексеевны, чуть все Московское государство не поставил вверх дном.

А Аввакум из своей пустозерской земляной тюрьмы то и дело рассылал свои зажигательные письма, вроде «всем нашим горемыкам миленьким», или «старице Мелании с сестрами и с подначальною Анисеею», или «на крестоборную ересь».

Хотя земляная тюрьма в Боровске отличалась всеми ужасами подобного рода мест заключения того безжалостного века, хотя она была сыра и темна, как могила, и кишела всякими гадами, однако, узницы в Боровске чувствовали свое положение с менее жгучей и разъедающей остротой, чем в Москве: в Москве они находились в одиночном заключении и чувствовали себя заживо погребенными; здесь, в Боровске, в одном помещении их находилось четыре узницы: Морозова, Урусова, Акинфеюшка и Юстина. Они могли говорить и молиться вместе, а если одна из них заболевала, то другие ходили за ней. Они проводили дни и ночи в молитвах, в пении гимнов, в воспоминаниях и рассказах о своей прежней жизни. Но что особенно громадные удобства представляло в боровской тюрьме, так это то, что когда

трое из узниц ложились спать, то четвертая не спала и отгоняла от них крыс и мышей, постоянно бегавших по темнице. Но, и кроме того, была еще хорошая сторона подземной жизни в Боровске: это то, что Акинфеюшка была оживляющей силой этой маленькой подземной общины. По призванию странница, много побродившая по святым местам, хотя сама еще была молода, Акинфеюшка целые дни, бывало, рассказывает о том, как она ходила на поклонение угодникам в Киев, в Соловки, в Казань, в Новгород, что видела там, что испытала. В этих рассказах выказывалась вся ее поэтическая, мечтательная душа. Часто вспоминала она, как четыре или пять лет тому назад, возвращаясь из Киева, она вместе с другими странницами зашла в Гадяч в гости к Оленушке, бывшей княжне Долгоруковой, а в то время гетманше Брюховецкой, и как в ту пору черкасы привезли тело убитого мужа Оленушки вместе с другими мертвыми телами. Рассказывая о Малороссии, она часто повторяла, что это «рай земной». Рассказы ее заменяли для узниц общество людей, и свет, и солнце, которое не заглядывало в их темную, глубокую темницу.

С другой стороны, инокиня Юстина рассказывала о разных монастырях, в которых она жила с молодых лет, меняя один монастырь на другой, чтобы лично на себе испытать, в каком из них старицы жили наиболее суровой жизнью. Это была личность энергическая, характер закаленный в лишениях. Она сама истязала свое тело, и оно становилось еще выносливее; она спала, подкладывая под себя булыжник.

Но сообществом Юстины не долго пришлось пользоваться нашим узницам. Она раньше других покончила свое земное существование, и покончила насильственной, мученической смертью, спасая других, сидевших с нею в заключении, от гнева властей.

Дело было таким образом. Мать Мелания, которую узницы называли «равноапостольною», принесла Морозовой и Урусовой еще одно письмо от неутомимого Аввакума из Пустозерска. В письме было обращение и к Акинфеюшке. Послание это произвело на узниц впечатление чудного весеннего дня с теплом и зеленью, пением птиц и шепотом листьев —

весеннего дня, внесенного божественной силой в их мрачное подземелье.

— «Аз протопоп и юзник о Господе,— взывал, между прочим, пустозерский фанатик,— молю вы, другов моих сердечных, стойте и не унывайте о житии прежде бывшем. Вем, друг мой, Феодосья Прокопьевна: жена ты была боярская, Глеба Ивановича Морозова, вдова честная, в верху чина царева близ царицы. Дома твоего тебе служащих человек с триста; у тебя же было крестьян 8000, имение в дому твоем на 200 000, или на полтретья было. У тебя же всему сему был наследник, сын, Иван Глебович Морозов. Другов и сродников, еже есть в карете драгой и устроенной мусиею и сребром и аргамаки многи 6 и 12 с гремячими чепьми. За тобою же слуг, рабов и рабынь грядущих 100 или 200, а иногда человек и 300, оберегая честь твою и здоровье...»

Морозова остановилась на этом месте письма. В отверстие, проделанное в тюрьме для света и около которого она читала Аввакумово послание, что-то заглянуло.

Морозова всплеснула руками.

— Литвинушка! Песик миленькой! Как ты сюда попал! — воскликнула она радостно.

В оконце просунулась собачья морда и тихо, жалобно и радостно визжала.

— Литвин, Литвинушка! — обрадовалась и Урусова.— С Москвы прибег, бедненькой.

Собака лизала протянутые к ней руки. Все были ей рады, как дорогой гостье.

— И как она дорогу нашла сюда! — дивилась Акинфеюшка.— Как узнала, что вы тут?

Снаружи послышался окрик на собаку. Собака завизжала; ее отогнали от оконца.

— Вот звери-то добрее людей,— заметила Юстина.

— Не говори, матушка,— тихо возразила ей Морозова; — и люди добры, а ежели и творят злое, то творят волею пославшего, вот хоть бы и с нами.

Она поднесла письмо к свету и снова начала читать.

— «Пред ними же лепота лица твоего сияла, яко древле во Израиля святые вдовы Июдифы, победившие Навходоносорова князя Олоферна. И знаменита была в Москве пред человеки, яко древняя Деворра по

Израили, Есфирь, жена Артаксеркса[54]. Молящу ти ся на молитве Господу Богу, слезы от очей твоих яко бисерие драгое схождаху. Из глубины сердца твоего воздыхания утробу твою терзаху, яко облацы воздух возмущаху. Глаголы же уст твоих яко камение драгое удивительны пред Богом и человеки бываху. Персты же рук твоих тонкостны и действенные великий и меньший и средний в образ трех ипостасей; указательный же и великосредний в образ двух естеств божества и человечества Христова сложа, на чело возношаше, и на пуп снося, на обе раме полагаше и себя пометая на колену пред образом Христовым, прося отпуска грехов своих и всего мира. Очие же твои молниеносны держастася от суеты мира, токмо на нищих и убогих призирают...»

Морозова чувствовала, что при этих словах щеки ее заливает краска. Она вспомнила, как ее молодые глаза, эти «очие молниеносны», не на одних нищих и убогих смотрели... Как часто бывало, когда она уже овдовела, глаза ее украдкой смотрели из кареты на красивые лица добрых молодцев, как сердце ее ныло без ответного взгляда, которого она, как «честная вдова», в то же время и боялась и стыдилась... Хотя она все потом сказала Аввакуму, как узнала его и стала его духовной дочерью, но разве можно рассказать все, все, что переживает молодое женское сердце! Она и не сумела бы этого рассказать, этого словами не передашь... А сказывала только Аввакуму на духу, что «во всем грешна», что и «око ее соблазнило ее»... но как, когда, где, на кого глядело ее око с тайной страстью, что при этом на сердце было, что думалось, этого женщина даже себе не говорит, не то что попу на духу... «Ах, это око!..»

— Что же ты, сестрица, остановилась? — вывели ее из задумчивости.

— Сейчас-сейчас, Дунюшка! «Нозе же твои дивно струпание имеют: до полуночи с Анною Амосовною, домочадицею своею, тайно бродила по темницам и по богадельням, милостыню от дома своего нося, деньги и ризы потребная комуждо неимущему довольно, овому рубль, а иному десять, а инда пятьдесят рублев и мешок сотной. Напоследок же сына своего, Ивана, принесе Богу...»

При этом Морозова перекрестилась и вздохнула. Перекрестились и все остальные.

— «...принесе Богу православия ради еже есть:

скончался скоро отрок от великие печали, егда отступники с тобою разлучили. Ты же не мало от подвига уклонися, ни усумнеся, но и паче простирашеся к обличению врагов креста Христова и разорителей догматов святые церкве. Они же тя, яко зверие дивии, терзаху на пытке, руце твои и плоть рваху, и сестру твою, княгиню Урусову, Евдокию Прокопьевну...»

Урусова радостно перекрестилась.

— «...также мучили на пытке. И Акинфеюшку Данилову...»

— Батюшка! Светик мой! И меня не забыл! Господи!

Акинфеюшка вскочила с соломы, на которой сидела у ног Морозовой, и, упав на колени, стала молиться и класть поклоны.

— «И Акинфеюшку Данилову с вами же пытали и кнутом били. Приглашаху еретики, у пытки стоя: «Отверзитеся знамения Христова и пять перст, от святых преданных, в руке не слагайте; но приимите извол государев три перста и запечатайте себя антихристом, богом нашим, мы же к вам милостиви будем». Вы же, троица святая, Феодосия и Евдокия, и Акинфея, умрети изволиша Христа ради и не послушаша духа противнаго. В муки ввержени быша без чести обнаженным телесем и раны прияша. Тоже чепьми окована быша и во юзилищах мучени много времени быша. Таже всех вас и с иными, страждущими Христа ради, обще живых в землю вкопали, и инии отцы и братия наша огню предани быша. Молю вы о Господе, детки мои духовные, святии и истинии раби Христовы: Бог есть с нами, и никто же на ны! Кто может нас разлучити от любви Христовы? И сам диявол не учинит ничево стоящим и держащимся за Христа крепце. Что воздам вам, земнии ангели, небеснии человецы? О, святая Феодосия и блаженная Евдокия и страстотерпица Акинфея, мученицы и исповедницы Христовы, делателие винограда Христова! Вертоград едемский вас именую в Ноев славный ковчег, стоящ на горах Араратских, светлии и доблии мученицы, столпи непоколебимии! О, камение драгое, акинф, и измарагд, и аспис! О, трисиятельное солнце и немерцающие звезды! Кто не удивится, и кто не прославит терпение и мужество ваше против козней врагов и разорителей церковных? Не стени разоряют,

но законы. Не токмо осуждены будут в век грядущий жиды, иже Господа убиша, плоть его терзавше, на кресте пригвоздивше, оцтом и желчию напоиша и копием в ребра прободше, апостолов побивше и Богу не угодивше, яко же никонияне жертву духовную опровергоша и духа святаго глаголют не истинна быти, но просто животворяща, а вся церковная, Духом Святым преданная, отмещут и зле развращают, на плотское мудрование сводят. Кольми суть паче жидов осудятся, понеже невидимаго Бога борют. Тамо видимую плоть терзаху, зде же невидимый Дух Святый воюют их же грехи и мученическая кровь загладити не может. Так Златоустый пишет на послание апостольское в беседах, нравоучении обличая схизманики, еже есть раздирающия церковь, яко же, ныне видим, творят никонияне; вся Богом преданная и святыми отмещут, да говорят сами диаволом научени: «Как бы ни будь, лише бы не по-старому». Ох, собаки! Что вам старина та помешала? Разве то тяжко, что блудить не велят старые святые книги? Блуд, собака!..»

Вдруг тихо, осторожно скрипнул тюремный засов.

— Ох, Господи! Кто это?

— Не урочный час... розыск... прячь письмо, сестрица...

В дверях показалось знакомое Морозовой лицо московского подьячего из розыскного приказа, красное угреватое лицо «людоеда» Кузмищева, как его величала вся Москва.

— Что вы читали? — спросил он, вглядываясь со свету в темноту.

Все молчали. Слышно было тихое шуршание бумаги: это Морозова комкала у себя за спиной Аввакумово послание.

— По указу его царского пресветлаго величества доказывайте, что читали? — повторил свой вопрос «людоед», приближаясь к Морозовой.

— Молитву читали,— смело отвечала за всех Юстина.

— Не молитву, воровское письмо! — громко сказал подьячий.

— Мы не воры! — так же резко отвечала Юстина.

Но не научившаяся притворяться Морозова выдала себя: шорох бумаги и смущение обличили ее... Подьячий схватил ее за плечи, потом за локти...

— Владычица! Что ж это!.. Ах!

Письмо уже было в руках «людоеда»...

— А! Молитва-ста...

Но в один миг Юстина наскочила на него, вырвала из рук его письмо и, скомкав комом, засунула себе в рот. Подьячий кинулся на нее: завязалась борьба... Сильная, привыкшая ко всему монахиня, защищая свой рот, который силился разодрать «людоед», чтобы достать дорогое для него поличное, так хватила своего противника, что тот навзничь повалился на солому.

Предательское письмо было проглочено мужественно инокинею...

. . . .

Через несколько дней, рано утром, узницы были разбужены стуком топоров. Слышно было, что около их тюрьмы что-то строили. Какой-то веселый плотник пел фальцетом:

Построю я келью со дверью,
Стану я Богу молитца,
Штоб меня девки любили,
Крашоные яйца носили,
Тили-тили-тили-тили-тили;
Грушовым квасом поили...

— Что ты, дьявол, разорался! Али не знаешь, каку хоромину-то ладим,— останавливал певуна другой голос.

— Знаю, амбаруха аховая, ешь ее мухи!

Вили-вили-вили-вили-вили —
Толченыем луком кормили...

То-то, слякоть эдака! А он ржет, жеребец!

— Ржу, потому, за хоромину эту боярин денег дал... есть на что жеребяткам хлебушка купить, а то вон с голоду попухли...

Э-эх — толченыем луком кормили...

Морозова выглянула в оконце и перекрестилась: она узнала, что это за хоромину строили... Делали два сосновых сруба, в расстоянии не более сажени один от другого, словно бы это готовили обшивку для колодцев. Тут же навалены были десятки снопов ржаной соломы.

— Что, сестрица? — тревожно спросила Урусова,

по лицу сестры поняв, что там строится что-то необыкновенное.

— Горенки нам строят,— с горькой усмешкой отвечала Морозова.

К плотникам подошел подьячий Кузмищев.

— Живей, живей, ребята! — понукал он.— Чтобы к полдню было готово.

— Добро-ста,— отвечал певун, почесывая в затылке,— стараемся для вашей милости.

Узницы попеременно выглянули в оконце. Взгляд Юстины встретился со взглядом подьячего. Последний отвернулся.

— Видели, сестрицы, что нам припасают? — тихо спросила Морозова.

— Видела, матушка,— отвечала Юстина.

— И слышали, что подьячий сказал?

— Слыхали, к полудню: полдничать хочет «людоед» мясцом нашим.

— Так надо бы нам, сестрицы милые, подумать о душе,— продолжала Морозова.

— Всю жисть, матушка, думали о ней,— снова отвечала за других Юстина.

— А все же подобает по закону исправу учинить на отход души.

— Знамо, помолимся Господу.

— Помолимся по церковному преданию: канун отпоем по душам нашим, а там простимся.

— Да,— сказала, как бы про себя, Акинфеюшка,— в путь-дороженьку снарядиться надо... А долга дорога та, далеко идтить будет, дале, чем до Киева.

Морозова стала петь отходную. За нею повторяли и остальные узницы. Чистый, серебристый голос Урусовой часто срывался и дрожал, как слабо натянутая струна, но зато голос сестры ее, ровный, твердый, за душу хватающий, постоянно, казалось, крепчал грудными, глубокими нотами. Юстина пела твердо, спокойно, как будто бы она не себя отпевала, не с собой прощалась на пороге таинственного будущего, а читала по чужом, совершенно ей незнакомом мертвеце.

В это время, гремя железным запором, отворилась тюремная дверь, и Кузмищев в сопровождении двух стрельцов вошел в подземелье.

— По указу его царского пресветлого величества сим известую: черница Юстина ныне огню предана

быть имеет... Готовься к смерти! — возгласил подьячий.

— Я готова,— спокойно отвечала осужденная.

— А мы?! — разом вскричали другие узницы.— И мы приготовили себя на муки.

— Об вас указу нет,— отвечал Кузмищев.

Морозова опустилась перед осужденной на колени. За нею последовали Урусова и Акинфеюшка. Они целовали ее грубые, худые, жилистые руки и плакали.

— Матушка, отходишь ко Христу... Молись за нас: умоли Христа и нас взять к себе, в блаженство горнее...

К полудню срубы, действительно, были готовы и обложены соломенными снопами. Узницы одного только не могли понять: почему срублено было два сруба, тогда как «людоед» объявил, что будут жечь только старицу Юстину. Юстина между тем мужественно готовилась к смерти. Она на словах передавала своим сестрам по заключению последнюю волю, если только их не постигнет та же участь. Она просила земно поклониться матери Мелании и такой же земной поклон послать «преподобному» отцу Аввакуму. Просила поминать ее на молитвах.

Когда стали отпирать дверь тюрьмы, Юстина затеплила восковую свечу и простилась с подругами, которые целовали ее руки и плакали.

Вошел Кузмищев с двумя палачами. У каждого из них урезано было по левому уху и вырваны ноздри по самые хрящи.

— Милости просим, матушка Иустина, в баньку, косточки попарить,— злорадно сказал подьячий, низко кланяясь.

— Спасибо тебе, человече, за твое великое добро ко мне,— серьезно отвечала осужденная.

— Не на чем-ста: не стоит благодарности,— зло усмехнулся подьячий.

— Стоит, человече: ты отпираешь мне рай светлый.

— Ну, это еще вилами на воде писано, авоськами присыпано...

Осужденная твердо вышла из подземелья, держа в руке горящую свечу.

— Пожалуйте и вы, государыни,— лукаво обратился подьячий к Морозовой, Урусовой и Акинфеюшке.

— Слава тебе, Господи! — радостно воскликнула первая из них.— И нас Господь призывает.

— Не радуйся, боярыня... погоди радоваться,— остановил ее подьячий.

И он вышел из тюрьмы. За ним вышли Морозова, Урусова и Акинфеюшка. Толпы народа волновались вокруг срубов, и оставался свободным только проход к ним из подземелья, по которому шла Юстина со свечой.

Первое, что представилось глазам Морозовой при взгляде на срубы, это знакомая фигура на одном из них, стоящая наверху костра, между снопами. Морозова узнала, кто стоял на костре: то был ее верный слуга Иванушка. Он с детства любил свою госпожу, и когда она выходила замуж за Морозова, то Соковнин, отец Феодосьи, дал в приданое дочери, между прочим, и Иванушку. Это был не человек, а собака по верности и преданности своей госпоже и ее пользам.

— Матушка! Федосья Прокопьевна! — восторженно крикнул Иванушка и поклонился, припав головой к снопам.— Благослови меня, святая мученица!

— Иванушка миленький! Тебя за что? — затрепетала молодая боярыня.

— За Христа-света да за тебя...

— Полно-ка, смерд! — крикнул на него подьячий.— А ты скажи, где схоронил сокровища своей госпожи, и за то я сниму тебя с костра, если скажешь.

— Не скажу! — твердо отвечал Иванушка.

— Сказывай, кому отдал сокровища? — повторил подьячий.

— Самому Христу в руки! — был ответ.

— В последнее отвещай: кому?

— Христу да Богородушке матушке на масло.

Между тем Юстина, всходя на другой костер, сама подожгла несколько нижних снопов, и костер мгновенно объяло пламенем. В толпе послышались крики ужаса, детский плач...

— Ах, ты, окаянная! — ударил об полы руками подьячий.— И указ не дала вычесть... ахти мне!

И он, торопливо выхватив из-за пазухи бумагу, стал выкрикивать, постоянно путаясь и заикаясь, какие-то бессвязные фразы:

— «...указал его царское пресветлое величество... освященный собор... за таковые их злые вины... мучительные казни... ино милосердуя духом о своих подданных, по неизреченной своей милости, указал огнем сжещи...»

А пламя между тем охватило весь костер. Что-то страшное было и поражающее во всей фигуре Юстины, которая кланялась на все четыре стороны...

— Простите, православные, за Христа умираю!

На ней вспыхнула одежда... Она сама казалась горящим снопом.

— Простите, сестрицы! Прощай, матушка Федосья...

Она не договорила, задохлась в дыму и пламени...

Другой костер тоже вспыхнул...

— Кому отдал золото, сказывай! — кричал подьячий.

— Христу... Богородице... Простите, православные!

— Бог простит! Бог простит! — гудела и крестилась толпа.

— Матыньки! Ах! Глядите, глядите! Вон душеньки их летают! Матыньки! — вопил бабий голос.

— Это голуби, братцы, мотри, голуби!

— Не голуби, душеньки, ах!

Через полчаса после этого Морозова, глядя из тюремного оконца на кучи пепла, оставшиеся от костров, заметила какую-то странницу, которая рылась в золе и что-то клала в висевшую у нее на поясе берестянку...

В страннице Морозова узнала мать Меланию, которую, по строжайшему указу царя, напрасно искали по Москве и по Боровску...

XIX. СМЕРТЬ КНЯГИНИ УРУСОВОЙ

Три года томились в боровской земляной тюрьме несчастные жертвы религиозного невежества, или, вернее, жертвы безумия века, одного из тех эпидемических безумий, которыми последовательно страдает человечество и будет еще долго страдать в той или другой форме в силу величайшего из исторических зол, ибо «кто знает — прощает».

После сожжения Юстины и Иванушки из Москвы пришло повеление: вырыть новую, более глубокую и не доступную ни для людей, ни для божьего света земляную тюрьму и перевести в нее оставшихся трех узниц. Все, что еще уцелело у них, «малые книжицы»,

«иконы на малых досках», даже одежду и белье,— все отобрали. Старую земляную тюрьму разрушили и сровняли с землей.

Новая тюрьма была ужасна. Ниоткуда не проникал в нее ни воздух, ни луч света, ни звук, глубокая, темная, безмолвная могила! В первые же сутки, как перевели туда узниц, они потеряли возможность узнавать время, различать, день ли над ними, там, над могилой, или ночь, солнце ли светит над землею, или глядит на нее темное небо своими бесчисленными звездами. Сначала они силились разграничить день от ночи, чтобы хоть знать, когда молиться им и когда спать; но это было невозможно: для них настала бесконечная ночь. Можно было бы узнать о том, когда над ними стоит невидимый для них день, если бы им каждодневно приносили пищу; можно было бы спрашивать об этом тюремного сторожа, но он приносил им запас ржаных сухарей и воды на несколько дней и потом исчезал. Только по прошествии много времени — не дней, они этого не различали,— только, повторяем, по прошествии долгого времени они заметили, что иногда им к сухарям прибавляли по яблоку или огурцу, и когда они спрашивали сторожа, что это значит, он отвечал: «ноне праздник у нас на земле, второй Спас», либо «Казанска», или «ноне у нас воскресенье»...

Что причиняло им невыразимые мучения, это то, что не могли видеть лица друг друга: хотелось знать выражение милого лица, посмотреть, не похудело ли оно, не побледнело ли, и ничего не видать!.. И тогда, как бы для облегчения мучения неизвестности, они руками осязали друг друга лица...

— Худеешь ты, родная моя, чую я... слышу, ох!

— Нету, миленькая... ты, я чую, сохнешь, с личика спала... жар у тебя... губы пересохли...

— Нету, не бойся, родная... это так...

Они старались чем-нибудь нарушить могильную тишину, а то страшно, до безумия страшно, хоть бы звук!.. И они или говорили между собой, или молились громко... Но тут новое горе: у них отобраны были и четки, и лестовки, а как без них уставы исполнять, делать положенное число метаний, поклонов и славословий! И несчастные должны были пооборвать подолы сорочек, чтобы на этих

тряпицах завязать по десяти—двадцати узелков и по ним считать поклоны.

— Хоть бы крысы были!—как-то тоскливо, со стоном проговорила Акинфеюшка, прислушиваясь к могильной тишине, когда сестры забылись сном.

— Что ты, миленькая?—отозвалась Морозова, открывая глаза во мраке.

— Тихо таково, мертво; хоть бы крысы бегали, как в той тюрьме, а тут и крыс нет!

Морозова вздохнула...

— А скоро, друг мой, еще тише будет.

— Так уж скорей бы!

С первых же дней пребывания в новой тюрьме Урусова стала недомогать. Нежный хрупкий организм ее не выдерживал мучений духа и тела...

— Дюрдя, сынок мой! Видишь, мне глаза выжгло, ох!—бредила она иногда.—Я ничего не вижу, тебя не вижу, забыла твои глазки... Я знала, что небо голубое, лес зелен, и теперь все стало черным...

Иногда ей казалось, что она заблудилась в своей тюрьме. Она ходила вокруг земляных стен, ощупывала их руками и плакала.

— Сестрица, миленькая, куда я иду? Где восток, где запад, я не знаю, я все забыла, ох, горюшко мое! Ослепла я, забыла все...

Сестра отыскивала ее в темноте, брала ее за руку, ощупью же доводила до запертой тюремной двери и только этим несколько успокаивала больную.

— Вот, Дунюшка, вот дверь, ощупай сама... Дверь-от, помнишь, выходит на полночь: так вот тут будет восток, а там запад, где солну́шко садится.

— А где оно теперь, солнушко, садится или встает?

— Ох, миленькая! Сама не вем... кажись, теперь ночь...

Скоро она так ослабела, что с трудом поднималась с соломы. Она просила, чтоб ее положили головой к востоку...

— Так мне легче... я буду думать, как солнушко встает, как птички поют, как в лесу листочки шепчутся.

Иногда она начинала тосковать о том, что не слышит больше церковного звону...

— Ох, хоть бы раз еще услыхать, как колокола звонят... Господи!.. А я не услышу... и по мне, по моей душе звонить не будут...

Она до того обессилела, что не могла руки поднять, не в силах была креститься...

— Ох, сестрица... возьми мою руку... правую... перекрести меня...

И Морозова становилась перед нею на колени, брала ее руку, складывала ей истово исхудалые пальцы и делала крестное знамение...

— А метаний я уж не делаю... поклонов творить не могу,— тосковала больная.

— Я за тебя, миленькая, творю метания, бью поклоны по сту и по тысяче,— успокаивала ее Акинфеюшка.

Скоро ее начали посещать видения, грезы... Она все говорила с собой...

— Вот светло стало, я опять вижу... А, это от пожару... Ах, какой пожар!.. Кто это горит? Иванушка горит и кланяется... Хорошо Иванушке, светло... И вон там светло, Оленушку с черкашенином венчают, с Брюховецким... Вон и Федосьюшка там, а где же я? Себя я не вижу... Чу! И звон слышу, вся Москва звонит, об чем это звонят? А! Вижу: Никон идет в Успенский собор, да какой он сердитой... на кого он сердитует? А! На Аввакума... Как играет Аввакумушко-свет с Ванюшкой, велит ему перстики сложить, а он, глупенькой, ручками сороки сказывает: сорока-сорока, на порог скакала... А где Ванюшка? С Дюрдем играет в лошадки?.. Ах, Оленушка, Оленушка! Бедная она, в черкасской стороне, и мужа у нее убили черкасские люди... А как черкасские люди знамение творят? Тремя персты? Нет, нет, они не никонцы, не еретики... Вон и царевну Софьюшку черкашенин учит всяким хитростям... какой черный, точно мурин... Чудно мне это: долго не видала, как солнушко всходит, а ноне вижу, и глядеть на него больно... А кого это пытали в ямской избе, в застенке? Федосьюшку да Акинфеюшку? Да, и меня вешали на виску и в хомуте пытали, а мне не было больно... А когда ж я ушла из земляной тюрьмы, из Боровска? А! Это тогда, вспомнила, как горели срубы, а на срубах стояли и кланялись нам Иванушка да мать Юстина... Это мы улетели с голубками вместе...

Встали в ее помутившемся рассудке видения прошлого, бессвязные клочки воспоминаний из пережитого и выстраданного... Слушая ее беспорядочный бред,

Морозова глухо рыдала, молясь Богу о том, чтобы он возвратил рассудок ее несчастной сестре, чтобы хоть умерла она в памяти...

И несчастная, действительно, приходила иногда в себя, но не на радость: она снова тоскливо спрашивала, где восток, не к западу ли она лежит головой и что теперь на дворе: день ли, ночь ли, лето или зима уже? Иногда она страстно звала своего мужа, детей, особенно любимца своего Юрья, Дюрдю. И тогда сестра припадала к ней и старалась утешить страдалицу, навести ее мысль на спасительный подвиг, в котором искушает благой и кроткий Спаситель, сам взывавший на кресте: «Эли эли, лама самохани!..» В то же время, лаская ее, Морозова старалась осязанием лица и тела бедной сестры убедиться, в какой мере она худеет, тая, как свечка, и пылая огнем.

Морозова чувствовала, что и ее покидают силы. С трудом она творила положенное число метаний, забывала число сделанных поклонов, забывала молитвы. Хоть бы на один короткий час посетила их мать Мелания, силы бы их воротились опять, думалось ей часто. Но уже и всемогущая Мелания не могла проникнуть к ним, хоть она и бродила тайно по Боровску и около тюрьмы, успела подкупить и привести в свое согласие всех стрельцов и караульщиков; одного только она не могла достигнуть, победить подьячего Кузмищева.

Перед самой смертью к Урусовой как будто воротился рассудок, и она сама сознала, что умирает, что минуты ее сочтены.

— Видела я сон, сестрицы мои миленькие,— говорила она перед смертью,— дивен тот сон... Вижу я это: распаялось у меня на руке золотое кольцо и покатилось по полу. А было это в Успенском соборе. Покатилось оно к святым вратам, а я за ним иду... И, как живое, вскатилось оно на ступени, где дьякон Евангелие читает, а я за ним... Оно дальше, я за ним... Оно в царские врата, и я, окаянная, за ним, забыла, что женскому полу возбранено вхождение во святая святых... Кольцо к алтарю, и я, грешная, за ним. И что ж бы вы думали, сестрицы мои? В алтаре стоит Аввакумушко-свет в ризах блистания и благословил меня крестом... На этом я и проснулась...

— Хороший это сон, Дунюшка,— сказала Морозова,— твоя праведная душенька пойдет прямо к престолу Господа.

— А ноли отец Аввакум уже преставился? — как бы про себя спросила Акинфеюшка.

— Богу то ведомо: може, и отстрадал свое, и ноне в ризах блистания ликовствует со Христом, и с блаженным Федюшкой, и с моим сынком Ванюшкой.

Скоро Урусова опять впала в беспамятство. Тогда Морозова и Акинфеюшка стали читать по ней отходную, как они читали пред сожжением старицы Юстины.

Несчастная скончалась тихо, под похоронные причитанья сестры, и ни Морозова, ни Акинфеюшка не слыхали, как и в какой момент испустила последний вздох та, над которой они читали и пели отходный скорбный канон.

Когда Морозова припала к сестре, чтобы проститься, та была уже безжизненна и холодна. Морозова сначала не поняла, что с сестрой, почему она похолодела; но когда припала к ней, прислушалась к дыханию, к биению сердца, ее охватил ужас: ни дыхания, ни биений сердца уже не было...

Глухо застонала несчастная, осиротевшая сестра, прижавшись головой к холодному трупу. Она особенно тосковала о том, что не видит лица умершей, не знает, насколько смерть изменила его.

— О Господи Боже! Хоть бы глянуть на нее, хоть бы разочек посмотреть на мертвый лик ее, на ее глазыньки, что отглядели уже, на уста мертвые, не заговорить уже больше им... Матушка моя сестрица! Почто ранее меня ушла ко Христу-свету, на кого меня в сиротстве, в темнице темной покинула? Али мы не во дружестве с тобой жили, али не вместе за Христа-света муки терпели!

Потом она вспомнила, что воду и сухари сторож приносил недавно, а потому долго никто не будет знать о том, что у них в темнице мертвец лежит. Она бросилась к двери, которую привыкла находить в темноте, начала стучать в нее, сколько хватало сил, кричала, звала на помощь; но голос ее замирал в мертвом подземелье. Но потом она даже как бы обрадовалась этому: несчастная думала, чем дольше не будут входить в тюрьму, чем дольше не будут знать о смерти ее сестры, тем дольше дорогое тело ее будет оставаться

с ними, его не возьмут, не унесут от них, не схоронят вдали от темницы.

Но проходил день за днем, так, по крайней мере, казалось им... Начинало чувствоваться присутствие разлагающегося трупа... И с Морозовой от времени до времени стало делаться дурно, она падала на солому в изнеможении и думала, что умирает... И ей стали представляться видения из ее прежней жизни, чудные картины прошлого: она слушала кукованье кукушки в батюшкином саду, спрашивала, сколько ей жить, бегала по зеленому лугу за бабочками... И опять этот тенистый пруд с лебедями, и высвисты иволги в зеленой листве, и звуки охотничьего рога за рощей, и встреча с княжичем, что пал на литовских полях в бою с Литвою... А там переезд из вотчины в Москву, сватовство Морозова, жизнь при дворе, работы в царицыных мастерских палатах, знакомство с Аввакумом... В ярких, чудных красках вставало перед ней это прошлое — счастье, богатство, честь и слава, и от всего этого она отвернулась, все променяла на иную славу, на славу бессмертия.

Но не легко дается смертным бессмертие, не легкой ценою покупают люди вечную славу...

Урусова уже купила ее, Морозова скоро, скоро купит...

Но вот слышится визг запора у наружных дверей тюрьмы. Взвизгнули на ржавых петлях и внутренние двери. Вошел сторож с обычной пищей и водою. На этот раз он принес заключенным еще по яблочку: на земле, значит, был праздник Воздвиженья честного креста Господня.

— Миленькой! — сказала Морозова принесшему пищу.— Поведай властям, что сестра моя, княгиня Евдокия, скончалася...

— Как скончалась? — удивился сторож.

— Да, скончалася, умре... похоронить ее надоть...

— Так отпеть, значит бы? Попа позвать?

— Нету, миленькой, нам никонианского попа не надоть.

— Ну, ин, как знаете.

Через час после этого в тюрьму вновь отворилась дверь, и в нее вошел Кузмищев, освещая путь восковою свечою. За ним шли знакомые уже нам два ката с рваными ноздрями. Они были с засту-

пами и лопатами, а на плече у одного из них лежала еще и рогожа.

Только теперь, в первый раз по заключении в это подземелье, Морозова и Акинфеюшка, прожившие в нем, казалось, несметное число дней и ночей или, вернее, одну бесконечную, страшную и томительную ночь в могиле, только теперь они увидели эту свою могилу при слабом мерцании восковой свечи. Это был поистине могильный склеп с черными сверху и желтыми, глиняными книзу стенами, выглаженными заступом и лопатою.

Кузмищев прямо направился к тому месту, где на соломе лежала покойница, и, нагнувшись, осветил ее мертвое, искаженное страданиями, уже черно-синее лицо. Он невольно отшатнулся назад, вполне убедившись, что «княгиня Овдотья Урусова помре»... Страшный рот и глаза ее были открыты и, казалось, грозно глядели в мрачный потолок своей темницы, закрывший от этих мертвых очей голубое небо... Руки были сложены на груди. Никто бы, даже родная сестра не узнала бы в этом обезображенном смертью лице некогда полное жизни, свежести и красоты лицо княгини Урусовой...

И Морозова в первый раз теперь увидела это незнакомое ей лицо... Она вскрикнула и упала на землю. Мужественная Акинфеюшка стала утешать ее...

Кузмищев между тем приказал тут же, в западном углу темницы, копать могилу. Работа пошла быстро.

Морозова, придя в себя, стала, сколько умела, отпевать сестру. Ей помогала Акинфеюшка.

Глухо раздавались по подземелью, смешиваясь с ударами заступа и рыданиями, потрясающие душу возглашения: «Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею»... «иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная»... «Со святыми упокой»... «и сотвори ей вечную память»...

Яма готова. Около умершей расстилают рогожу. Морозова и Акинфеюшка кладут труп на рогожу и в последний раз закрывают лицо мертвой.

У Кузмищева дрогнула свеча в руке, когда палачи свалили в яму труп и стали валить в яму землю... Завалили и ногами утоптали... Кузмищев торопился уходить, точно его гнало что отсюда...

Снова исчез свет из подземелья, снова завизжали запоры у дверей, и все затем смолкло...

XX. НЕУДАЧНОЕ ПОСОЛЬСТВО

Княгиня Урусова умерла 11-го сентября 1675 года. Зарыли же ее 14-го числа, в день Воздвиженья честнаго животворящего креста Христова. Три яблочка, принесенные в этот день сторожем узницам, остались несъеденными.

В виду предстоящего переезда на зиму из коломенского дворца в кремлевский, Алексей Михайлович в последний раз тешился купанием стольников в холодной воде коломенского пруда, когда Кузмищев явился к нему с известием о смерти Урусовой.

Уже все провинившиеся стольники были выкупаны, когда к царскому выходному крыльцу подошел этот вестник смерти. Он усердно делал земные поклоны, словно бы это было перед иконой, как вдруг маленький царевич, Петрушенька-светик, будущий царь Петр Алексеевич, бывший тогда уже по четвертому году, соскочив с колен отца, сидя на которых он забавлялся золотым наперсным крестом своего родителя, стремительно бросился к Кузмищеву, схватил его за рукав и стал тащить к пруду.

— Иди, иди; тебя топить будут,—лепетал маленький царевич.

Подьячий, оторопелый, смущенный и присутствием царя с вельможами, и этими странными словами царевича, стоял как истукан, не зная, как ступить, что подумать, куда повернуться; а Алексей Михайлович, видя его смущение и усилия его баловня, «вора Петрушеньки», затащить подьячего в пруд, добродушно смеялся.

— Ай да царевич, ай да Петрушенька! Знает свое дело,—весело говорил он.

Царевич между тем, видя, что неповоротливый подьячий не двигается, бросился к отцу и повис у него на руке.

— Батя-батя! Вели утопить его! Вели!—лепетал царственный ребенок.

Алексей Михайлович закатился самым искренним смехом. За ним почтительно хихикали и бояре, любуясь сорванцом-царевичем.

— Ах ты, вор Петрушенька!—смеялся тишайший.—Да он, чу, не стольник, что его купать!

— Нет, батя, утопи его!—настаивал ребенок.

Дело в том, что маленький царевич смешивал слова «купать» и «топить». В его детской, умненькой головке

засела мысль, что эти два понятия и действия, «купать» и «тонуть», однозначащи, тождественны; что «топить» значит только «дольше купать». И это понятие сложилось в его своеобразной головенке тоже своеобразным, самым оригинальным путем... Живя летом с родителем в Коломенском, он каждое утро видел, как «батя» купает стольников. Маленькому царевичу это придворное занятие казалось самым веселым из всего, что он видел вокруг себя во дворце. Он так пристрастился к этим купаньям, что постоянно присутствовал при них и несказанно радовался и хохотал, хлопая ручонками, когда какой-нибудь бородатый стольник отчаянно барахтался в воде, путаясь в полах широкого и долгополого кафтана, и подчас захлебывался водой. Мало того, крошка царевич едва замечал вновь приходившего стольника, запоздавшего к смотру, как уже сам подбегал к нему, хватал за рукав и тащил к пруду, говоря: «Иди, тебя топить будут». И бояр, и царя это несказанно тешило. Нравилось это и самим купаемым стольникам, что вот-де их сам царевич-крошка купает.

Но почему для маленького царевича «купать» и «топить» стали синонимами, на это была особая причина, хотя вытекавшая из того же источника, из купанья стольников. Маленький царевич, подражая батюшке-царю, завел своих собственных «стольников», чтобы купать в своем любимом пруду раньше батюшкиных стольников. Для царевича стольниками служили щенята и котята, которых он и купал в пруду. Дворская челядь, из угождения царю и молодой царице, которые души не чаяли в своем умненьком не по летам, остром, живом, как живое серебро, чадушке, в «воре Петрушеньке», каждое утро стаскивала во дворец, к царскому пруду, щенят и котят со всего Коломенского, и маленький царевич, окруженный своей свитой, целой оравой нянюшек и мамушек, изволил тешиться «по-батюшкову»: выходил к пруду и сам своими ручонками бросал с плота в воду своих четвероногих стольников. Который выкарабкивался из воды, того царевич тотчас же «жаловал», кормил молочком и белыми московскими сайками и калачами, а который выбивался из сил и тонул, того после челядь вытаскивала из воды и забрасывала. На этом-то купанье щенят и котят

будущий преобразователь Московского государства и усвоил себе оригинальное представление, что «купать» и «топить» — одно и то же. Эти же детские забавы так пристрастили его к пруду, что он почти весь день не отходил от него, то купая своих стольников, то дразня лебедей, то гоняясь за лягушками. И мамушки, и нянюшки весь день, бывало, трепетали, боясь, как бы этот резвый, никого не слушавший и ничего не боявшийся царственный младенец не скувырнулся в воду и не захлебнулся. Эти же забавы заставили царевича с детства привязаться к воде вообще с такой страстью, что впоследствии он уже всю жизнь предпочитал воду земле, море суше, заморщину всему родному, русскому...

Когда, наконец, Кузмищев был спрошен, с какими вестями он прибыл из Боровска, и доложил о смерти и погребении, на четвертый уже день, княгини Евдокии Урусовой, и что боярыня Морозова по-прежнему остается «жестоковыйною», царь стал и смутен, и гневен, так что, когда маленький царевич продолжал нудить и приставать к нему, чтоб «утопить» подьячего, царь с досады дал ему маленького шлепка, велев идти к нянькам и мамкам. Избалованный ребенок заорал, как простой смертный, благим матом и бросился наверх к матери и теткам жаловаться на отца. Мать, конечно, приняла сторону ребенка, нагрузила его сластями, обещала утопить настоящего стольника, а потом, при встрече с царем, сделала ему, как теперь говорят, сцену, то есть попросту упрекала его, что он «не отец, а изверг», не любит-де свое «собственное рождение»... Царь, по своему благодушию, оправдывался, говорил, что он смущен был известием о смерти княгини Овдотьи и о «жестоковыйности» сестры ее, да и «ребенка-де не зашиб вовсе», а так, малость самую, шлепочка дал...

— Добро бы за дело ребенка обидел, а то на! Из-за этих святош-раскольниц,— ворчала царица по уходе царя.

Ребенок запомнил эту сцену на всю жизнь: в памяти его сохранилось воспоминание о том, как отец раз в жизни дал ему шлепка, и все это из-за каких-то «раскольниц». Не милы затем остались ему раскольницы и раскольники, когда он и царем стал и брил российское царство начисто...

С другой стороны, и царевна Ирина Михайловна, и царевна Софьюшка сделали сцену: первая брату, а последняя отцу, но уже не за Петрушеньку царевича, а за этих самых гонимых раскольниц. Софьюшка, зная, что отцу очень нравится, когда она причесана так, как причесывалась ее мачеха, будучи еще в девушках, заплетая косы «на заморский лад», и как после того стали причесывать и Софьюшку царевну в угоду отцу, взяла да на этот раз и велела причесать себя «по-старому», «по-московски». Царь увидал эту перемену, зайдя по обыкновению в теремок дочери, и заметил при этом, что она дуется.

— Ты что, Софей, такой невеселый? — ласково спросил царь, догадываясь, что дочка заряжена, капризничать собралась.— А? Что, Софей?

— Я думаю о тете Федосьюшке да о покойной тете Дуне,— отрезала царю, надув губки.

Царь поморщился. Его и самого что-то грызло за сердце: «Заварили кашу с этими новшествами, кому-то расхлебывать будет?..»

— А ты что так причесана? — спросил он, помолчав.

— Так... по-старому... Я и все буду делать по-старому, без этих новшеств,— снова отрезала, сделав ударение на слове «по-старому»...

А когда пришел на урок Симеон Полоцкий, то заряженная Софьюшка ему просто нагрубила, сказав, что она «урка из арифметикии не вытвердила, все читала Псалтырь»...

Как бы то ни было, но смерть Урусовой произвела большое впечатление и на двор, и на всю Москву. Царь смущен был более других. В него невольно заползало сомнение. Вправе ли он был делать все то, что привело царство к такому всеобщему шатанью? Хорошо ли он сделал, что допустил все эти новшества? А ведь эти новшества не ограничились новыми книгами и троеперстным сложением. Услужливые люди не раз уже доводили до его сведения о том, что в народе молва идет, «не хорошо-де в народе толкуют» и насчет того, что молодая царица Наталья Кирилловна, попирая предания старины и древнего благочестия, ездит в открытой карете и показывает свое светлое лицо народу, «чего на Московском государстве не бывывало, как и свет стоит». Осуждали и то, что царь допускал «комидийные действа» и тешился ими, для

чего построил и «комидийные хоромы». Мало того, набрал немцев и хохлов и научил их «комидийному делу», играть на варганах и сопелях, мало того — скакать и плясать и хребтами вихлять; а уж это совсем бесовское дело...

Смущенный царь позвал к себе Симеона Полоцкого и стал его спрашивать, хорошо ли он все это делает. Хитрый хохол сказал, что все, что делает он, царское пресветлое величество, все это хорошо; что у иноземных государей все это давно сделано.

— Почему ж многие меня за сие осуждают и не повинуются мне? — спросил царь.

— По неведению, великий государь, по темноте разума своего,— уклончиво отвечал украинец,— и еще паче потому...— Хитрый украинец остановился.

— Говори, Симеон, досказывай, не бойся.

— Потому, великий государь, что ты силою велишь делать то, что сам находишь хорошим. А человеческое сердце так сотворено, что когда Господь сказал первому человеку: «не вкуси от плода сего древа», он от него-то и вкусил паче. Запрещенный плод всегда сладок. А пускай сами они полюбят твое хорошее, и они с радостью примут его. А прикажешь, не послушаются, умрут, а не послушаются, зане Бог дал человеку свободную волю. Уверь его, и он послушает тебя, а ни огня, ни меча не послушает. И чем ты более будешь гнать их, мучить и казнить, тем скорее они будут нарождаться, яко те мифологийные драконовы зубы. А перестань их гнать, и они сами придут к тебе. Дабы пояснить твоему царскому пресветлому величеству сие примером, я укажу тебе на мою милую родину, на Украину-неньку, как у нас оную именуют. Доколе Польское королевство не подвергло гонению нашу христианскую веру, дотоле украинские люди были вернейшими слугами Польского королевства. Егда же они попустили гонение на веру, как Малороссия свергла с себя польское владычество и подклонилась под твою державную и милостивую руку. А повели ты украинскому народу креститься двуеперстием либо воспрети говорить малороссийскою речью, чтобы говорили московскою, и се Всемогущий Бог свидетель, что Малая Россия отложится от Московского государства, и будут последняя горше первых...

Царь глубоко задумался над этими, как ему казалось, пророческими словами, и они долго не выходили

у него из головы. Но когда он стал советоваться с своими боярами и митрополитами, то благие слова Симеона Полоцкого тотчас же вылетели из памяти. Попы и бояре затвердили ему: «строптивого накажи», и безвольный царь опять пошел по пути наказаний.

В Боровск был отправлен Иоаким, архимандрит чудовский, уже известный нам «увещатель» строптивых. Он должен был воспользоваться постигшим Морозову несчастьем, смертью сестры. Она поражена, убита горем; она, наконец, истомлена и телом и духом. На нее могут теперь подействовать увещания, проникнуть в ее истомившуюся душу, как благодатный дождь в разрыхленную засухами землю; осиротелая овца услышит и послушается гласа пастыря своего...

Так думали в Москве. Горда и непреклонна была боярыня в своей боярской обстановке, когда вся Москва на нее взирала и дивилась ей: было из чего набраться «жестоковыйности». Теперь не то: было·когда и отчего одуматься и смириться.

Приехав в Боровск, Иоаким отправился в тюрьму в сопровождении Кузмищева. Когда дверь отворилась и подьячий вошел со свечой, Морозова поднялась было с соломы, на которой лежала: смерть сестры сломила и ее; она сама теперь стала недомогать, часто лежала, с трудом творила положенное число метаний и, поклонившись в землю, иногда не в состоянии была сама подняться на ноги, и тогда поднимала ее Акинфеюшка. Поднявшись при входе Кузмищева, она увидала, что за ним идет Иоаким с крестом в руке. Она тотчас же снова опустилась на солому, бросив на архимандрита понятный ему взгляд: «Что де перед тобой и перед твоим крестом я стоять не буду».

Это несколько смутило Иоакима.

— Дочь моя...— начал он было.

— Ты мне не отец, и я тебе не дочь,— резко перебила Морозова,— али тем только отец, что в застенке на дыбу меня подымал?

— Не я подымал, подымала тебя твоя грубость великому государю,— возразил Иоаким.

— Так ты и ноне от него?

— От него.

— Знаю... Не он послал тебя ко мне, а вы, отъяв

у него зрение и разум, прислали ко мне послом его безумие и слепоту.

— А ты по-прежнему грубо отвечаешь послу государеву.

— Я последую угодникам: они грубее того отвещевали послам Диоклетиана... И ты от Диоклетиана.

Кузмищев глянул на Иоакима, как бы говоря: «Один с ней разговор, на костре». Архимандрит, однако, надеялся подействовать на непреклонную лаской и обещаниями. Он так и начал говорить:

— Послушай, боярыня: великий государь, помня честь и заслугу дядьки своего Бориса Морозова и мужа твоего службу, хощет возвести тебя на такову степень чести, каковой у тебя и в уме не бывало.

— Не велика его честь, коли я променяла ее на сей вертеп,—указала упрямица на мрачные стены подземелья.

— Твоя была воля, боярыня.

— Не моя, а Господова.

— Господь и меня послал ноне к тебе: покорися царю, воздай кесарево кесареви...

— О, сатана!—страстно воскликнула Морозова, всплеснув руками.—Припомяни те же словеса Евангелия, ими же ты яко собака на Христа лаешь. Помнишь ли ты, чернец, когда Христос постился в пустыне и приступи к Нему диавол, и ять Его в Иерусалим, и постави Его на крыле церковном и рече Ему: «Аще Сын еси Божий, верзися отсюда долу: писано бо есть, яко ангелом своим заповесть о Тебе сохранити Тя, и на руках возьмут Тя, да не когда преткнеши о камень ногу Твою...» Слышишь, чернец? Диавол заговорил от Писания! Диавол сказал Христу: «писано бо есть...» О фарисей! И ты говоришь от писания о кесаре!

— Я говорю о великом государе,—заторопился смущенный архимандрит,—он обещает тебе великую милость и честь велию, если ты...

Морозова перебила его, вскочив в нетерпении с соломы и опять опускаясь наземь.

— О, чернец!—сказала она с горькою усмешкой.— Зачем ты идешь вслед диавола? Припомяни тоже божественное слово: «И возвед Его диавол на гору высоку, показа Ему вся царствия вселенные в черте времянне, и рече Ему диавол: «Тебе дам власть сию всю и славу их, яко мне предана есть и ему же аще хощу,

дам ю: Ты убо аще преклонишися предо мною, будут Тебе вся...»

Кузмищев удивленно качал головой. «Ну, баба!— думалось ему,—любова попа за пояс заткнет». Иоаким краснел со стыда и досады.

— Так поди к царю,—продолжала Морозова уже совсем спокойно,—раскрой перед его омраченными очами евангелие от Луки, главу четвертую, и прочти ему от стиха первого даже до стиха четырнадцатого.

— Аминь!—громко сказала все время молчавшая Акинфеюшка.

— Скажи царю,—продолжала Морозова,—у меня здесь в темнице есть такое великое сокровище, каково царю не купить за все богатства.

И она указала на маленький земляной холмик, высившийся в одном углу подземелья: то была могилка ее сестры.

— Я хочу лечь рядом с нею,—заключила она свои слова.

— Так это твои последние слова?—с досадой спросил архимандрит.

— Нет, не последние. Еще скажи царю: пускай он готовится отвечать пред Господом на Страшном суде, когда обыдет его сонм казненных им невинно и каждый возопиет: «отдай мне язык мой, что ты у меня урезал», другой: «собери кости мои и пепел от костей моих, и власы от головы моей, собери на месте костра, где ты сжег меня и пепел мой ветрам и дождям отдал»... Пусть готовит ответы всем удавленным, обезглавленным, утопленным по его велению. Пускай и мне готовит свой ответ за моего сына и за сестру мою... А теперь иди и такоже готовься сам к ответу на суде Бога вселенского.

Силы оставили ее, и она без чувств упала на солому...

— Ну, баба!—бормотал Кузмищев, выходя с архимандритом из подземелья.—Сущий Стенька Разин.

XXI. СМЕРТЬ МОРОЗОВОЙ

Сущий «Стенька Разин», однако, всего только одним месяцем и тремя неделями пережил свою сестру. Со смерти Урусовой Морозова таяла с каждым днем. Она уже почти не вставала и на молитву: за нее

молилась Акинфеюшка. Слух больной так обострился, что она, лежа на соломе, большей частью с открытыми глазами, потому что все равно ничего не видно было в кромешной тьме подземелья, своим чутким слухом прислушивалась, как молилась ее «свечечка перед Господом», как она называла теперь Акинфеюшку, и считала ее поклоны.

— Сто да полтораста, полтретьяста,— раздавался иногда ее слабый голос,— передохни малость, моя свечечка воскояровая.

Но Акинфеюшка не хотела передохнуть, и опять слышался слабый шелест соломы, на которую падали колени молящейся. А Морозова лежала с закрытыми глазами, слушала этот шелест соломы, тяжелое дыхание и иногда слабый хруст уставших членов и шевелила губами.

— Четыреста девяносто девять, пятьсот!.. Будет, свечечка!

Акинфеюшка переставала молиться и садилась около больной. Руки и той и другой взаимно тянулись к лицам и взаимно осязали их: руки заменили им глаза во мраке.

— Устала ты, свечечка, притомилась: вон лоб и виски мокры.

— Ничего, сестрица: я молиться горазда, здорова... А вон ты-то, вижу, таешь...

— Так-ту, свечечка, легче будет к Богу лететь, дымцом кадильным.

— О-ох! А я-то с кем буду?

— Не тужи, свечечка: я к тебе стану пташкой прилетывать...

В это время мысли больной почти исключительно витали в прошедшем, и она как бы думала вслух.

— А небо-то, небушко голубое пологом над тобою раскинулось, и конца-краю ему нету и не бывало... А я лежу, младая девынька, в траве, руки под голову заложила, лежу и думаю, глядючи на небо. А по небу лентою тянутся гуси, на теплые воды летят, высоко-высоко над землею, и я слышу говор их меж собою... И сама, кажись, я лечу с ними на теплые воды, в неведомые земли, к морям синим, и подо мною грады и веси, реки и озера «вся царствия вселенныя в черте времянне»... А надо мною пчелки летают-жужжат, козявочки махоньки... И слышно мне, как в отъезжем поле собаки лают, это батюшка с охотою тешится...

И как же любил меня батюшка! Я была ево дрочоное дите, холеное, ветру, кажись, не давал он на меня дохнуть... А как я ево любила! Да и не диво: я матушки не запомню... Да, свечечка, то было мое райское житие, когда мы с батюшкой в вотчинах ево жили... Там мой рай и кончился... Там и княжича я спознала, жениха свово, что на Литве сложил свою кудрявую головушку...

Акинфеюшка безмолвно слушала ее, держа за руку, и с грустью передумывала также и свое прошлое, свою бродячую жизнь. С особенной яркостью выступали вперед нее ее странствия по Малороссии, по этой черкасской стороне, которая теперь из ее мрачной темницы представлялась ей какой-то волшебной, сказочной страной, и, казалось, от самых воспоминаний о ней веяло теплом и светом... «Уж и что это за сторонка! Излюбленный Господом вертоград цветной... Не диво, что в одном Киеве, в печерах, боле угодников, чем во всем Московском государстве»,— думалось ей.

— А помнишь, свечечка, как мы с тобой спознались?

— Как не помнить! Аввакумушко свел.

— Аввакумушко, точно... Что-то он?

— Да... Богу то ведомо...

— А помнишь ту ночь, как мы к Степану Разину ходили?

— Под ево окошко тюремное, да.

— И голос помнишь ево?

— Помню... «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка...»

— А на Лобном-ту месте, на плахе?

— Да страшно подумать.

— А я думаю, свечечка... я много об нем думала... У него я научилась терпеть... Только не привел мне Бог дождаться того, чево я искала...

— А чево, сестрица?

— Ево смерти, на глазах у всей Москвы.

— Что ты, милая! Зачем?

— А то так-ту лучше сгнить, как мы тут гнием? Никому не в поучение... А то, глядя на нас, и другие бы учились умирать.

Но скоро и эти грустные беседы и воспоминания прошлого все реже и реже становились. Морозова по целым дням лежала безмолвно, и только когда

Акинфеюшка начинала горько плакать на молитве, она силилась утешать ее.

— Не плачь... думай лучше о том, как там все встретимся...

— Меня не берет Бог.

— Проси... толцы двери гроба, отверзнутся...

Чувствуя, наконец, что приходят ее последние дни, Морозова воспользовалась однажды появлением в тюрьме сторожа с водою и сухарями, чтобы обратиться к нему с последней просьбою.

— Миленький, братец,—слабо сказала она,—веруешь ты в Христа?

— Как же, матушка, не верить-ту?—удивленно спросил простодушный страж.

— А в церкви бывал?

— На мне, чаю, крест, как не бывать?

— А слышал, как на страстях читают про то, как Христа распяли и как Он-светик скончался.

— Знамо, слыхали.

— А помнишь, там читают, что когда Ево, Батюшку, сняли со креста, то Иосиф Аримафейский взял тело Христово и, плащеницею чистою обвив...

— Таково, кажись, не слыхивали.

— Ну, вот что, миленькой: я скоро помру, я уж не жилица... Так именем Христа молю тебя, исполни мою последнюю просьбу... Не хочу я идти ко Христу в грязной срачице... Так будь милосерд, возьми мою сорочку, голубчик, вымой ее в реке... Я за тебя Богу буду молиться.

Сторож исполнил последнюю просьбу умирающей.

Накануне смерти, прислушиваясь к давно знакомым ей звукам, к шуршанью соломы от поклонов Акинфеюшки, она вдруг остановила ее.

— Постой, свечечка моя перед Господом... будет уж... сгасни, потухни, лампада моя... Давай петь отходную по душе моей...

Акинфеюшка перестала молиться. Умирающая начала было читать отходную, но память и язык отказывались служить ей: она часто останавливалась и слушала, как читала Акинфеюшка. Потом опять начинала и опять обрывалась.

— Вот я и отхожу... Упроси, милая, стражей вырыть мне ямку там...

Акинфеюшка, плача, целовала ее холодеющие руки.

— Да положи так... знаешь... чтоб моя рогожа... близко... с ее бы рогожкою вместе...

В последние часы умирающая бредила тем, что она называла «райским житием», своею ранней молодостью, далекими вотчинами своего отца, и только на мгновения приходила в себя.

— Небо... все небо кругом... зелень... лебеди кричат... меня ждут... Да, сестрица, не забудь... как отходить стану... сложи персты мои... так сложи... истово... Иволга свистит... а вон кукушка закуковала... куку-куку... сколько мне лет жить... много, много лет... наживусь... счету нету ее кукованию... счету не будет годам моим... все кукует, все кукует...

В ночь с 1-го на 2-е ноября 1675 года и сама она откуковала.

Акинфеюшка исполнила ее завет: в ее руке закоченела правая рука умершей с сложенными истово двумя перстами...

XXII. СОЖЖЕНИЕ АВВАКУМА

Так один за другим сходили со сцены первые деятели великой исторической драмы, идущей на исторической, чисто народной русской сцене вот уже третье столетие. Много перебывало актеров на этой обширной, почти неизмеримой сцене. С правой стороны, из-за великих исторических кулис, выходили актеры с чисто русским типом, с великими, шекспировскими характерами, вроде Аввакума, Морозовой и их последователей. С левой же стороны, из-за этих же исторических кулис, выступали другого сорта актеры, иногда с таким же русским типом, как князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский, Андрей Иваныч Ушаков, Степан Иваныч Шешковский, иногда же и немцы[55]... Левые постоянно сгоняли со сцены правых, вгоняли их в темницы, в могилы; все они, как тень Банко, выходили из могил и являлись на сцене с теми же двумя истово сложенными перстами.

Они выходят на сцену доселе, и их гонят, гонят и все не могут согнать со свету, потому что их дело — правое дело, дело совести, и если бы на страницах истории могла выступать краска стыда, то страницы,

на которых написаны имена актеров левой стороны, казались бы совсем кровавыми...

Возвратимся к самому первому актеру правой стороны, к Аввакуму.

Четырнадцать лет томился он в земляной тюрьме в Пустозерске. Он пережил почти всех своих учеников и учениц, и Федю юродивого, которого удавили в Мезени, и Морозову с Урусовой, истаявших в боровском подземелье, и многих других, имена которых не сохранила история. Он, сидя в своем подземелье, все молился да разговаривал то с вороною, каркавшей у него на кресте землянки, то с воробьем, прилетавшим на его оконце клевать крошки, насыпанные туда узником, то с мышонком, что погрызывал его сухарики, то, наконец, с пауком, спускавшимся с потолка на звон его цепей, говорил затем, чтоб не разучиться говорить и Бога славить, говорил, молился и писал, без конца писал, рассылая свои послания по всей русской земле с помощью уверовавших в него тюремщиков.

Вот и теперь он пишет, согнувшись в три погибели, а на оконце чирикает воробей, мышонок шуршит соломой, утаскивая к себе сухарик, Аввакумом же для него припасенный; ворона по-прежнему каркает на кресте...

— Во веки веков, аминь! — с силой вздохнул старик, положил перо за ухо и разогнул спину.— Кончил!.. А ты каркай не каркай, подлая, не будешь есть мово мясца...

Он стал перелистывать лежавшую у него на коленях тетрадь.

— Ну-ко, что я ноне в конце нацарапал? Прочту.

И он стал читать вслух: «Егда я еще был попом, с первых времен как подвигу касаться стал, бес меня нуживал сице: изнемогла у меня жена гораздо, и приезжал к ней отец духовный: аз же из двора пошел по книгу в церковь нощию глубокою, по чему исповедаться. И егда на паперть пришел, стольник до того стоял, а егда аз пришел, бесовским действом скачет стольник на месте своем. И я, не устрашась, помоляся пред образом, осенил рукою стольник и, пришед, поставил его, и перестал играть. И егда в трапезу вошел, тут иная бесовская игра: мертвец на лавке в трапезе во гробе стоял и бесовским действием верхняя раскрылась доска и саван шевелиться стал, устрашая меня. Аз же, Богу помолясь, осенил рукою мертвеца, и бысть

по-прежнему все, ино ризы и стихари летают с места на место, устрашая меня. Аз же, помоляся и поцеловав престол, рукою ризы благословил и пощупал приступ: а оне по-старому висят. Потом, книгу взяв, из церкви пошел. Таково-то ухищрение бесовское нам! Да полно того говорить!»

Он помолчал немного, прислушался к отдаленному стуку топоров.

— Чтой-то они там строют? Вот с самово утрея топоры говорят... Уж не сруб ли мне работают?.. Дай-то, Господи!.. Хощу славы сей...

Он задумался. Седая голова его тихо качалась. Нечесаные космы свесились на лицо. Он взял одну прядь.

— Ишь, белы, что снег, паче снега убелились... белы... серебро, чистое серебро... Уж я и забыл, каковы они смолоду были... черны, кажись, не то русы.

Он махнул рукой и опять нагнулся к тетради.

«Ну, старец, моего вяканья ведь много ты слышал. От имени Господни повелеваю ти: напиши и ты рабу тому Христову, как Богородица беса того в руках тех мяла и тебе отдала, и как муравьи-те тебя яли... и как бес-от дрова-те сожег, и как келья-то обгорела, а в ней цело все, и как ты кричал на небо-то, да иное что вспомнишь во славу Христу и Богородице. Слушай же, что говорю: не станешь писать, я осержусь! Любил слушать у меня: чего соромишься, скажи хотя немножко. Апостоли Павел и Варнава на соборе сказывали же во Иерусалиме пред всеми, елики сотвори Бог знамения и чудеса во языцех с ними, в деяниях зачаток тридцать пятой и сорок вторая и величашеся имя Господа Исуса, мнози же от веровавших прихождаху исповедающе и сказующе дела своя, да и много того найдется в апостоле и в деяниях. Сказывай, не бойся, лишь совесть крепку держи, не себе славы ищи, говоря, но Христу и Богородице. Пускай раб Христов веселится, чтучи! Как умрем, так он почтет да помянет пред Богом нас, а мы о чтущих и послушающих станем Бога молить, наши они люди, и будут там у Христа, а мы их во веки веков, аминь» *.

— А все стучат топоры... Ну, ин с Богом: стучите, стучите, топорики... Может, мне печечку-то воз-

---

* Из «Жития протопопа Аввакума», им самим писанного. *(Примеч. автора.)*

двизаете, каравай в той печке из меня Христу печи будут.

Он перекрестился, свернул тетрадь, взвесил ее на руке.

— А тяжеленька-таки, многонько настрочил... Только светам моим, Федосьюшке, да Овдотьюшке, не читать уж мово вяканья, отчитали свое... телеса их святые в Боровске, в земле темничней, почивают, а сами оне, светы, ноне лик Христов читают, ликовствуют... О, светы, светики мои! Голубицы белые! Как я, старой пес, любил их, беленьких и тельцем, и духом!

Вдруг что-то влетело в оконце и упало к ногам его.

— Ноли воробышек? Нет... Что бы это такое было?

Он стал искать в соломе. Руки его ощупали камень, обернутый бумажкой.

— Писание... от кого?.. Благослови, Господи!

Он перекрестился и развернул бумажку. Руки его дрожали. На бумажке было что-то нацарапано.

«Смиренная и убогая старица Мелания...»

— Мелания! Владыко всемилостив! Как она сюда попала!

«Смиренная и убогая старица Мелания преподобному Аввакуму, пророку и посланнику Бога живаго, столпу непоколебимому православия, солнцу правды, адаманту веры правые, о Христе радоваться. Приспе бо час твой. Уготована убо огненная колесница, на ней же ныне вознесешись ко Господу. Аминь».

Что выражало лицо его, неизреченное ли блаженство или невыразимый ужас, когда он упал этим лицом на солому и не своим голосом выкрикнул: «Да будет воля Твоя!» — это известно только тем, которые умирали за идею...

Через час, из открытой двери подземелья, в котором четырнадцать лет высидел Аввакум, ни разу не видав ни неба, ни земли, вышел стрелец с алебардой, а за ним Аввакум, сопровождаемый другим стрельцом. Узник, которому казалось лет под восемьдесят, ступив на землю, поднял голову и несколько минут стоял так, глядя на небо, на беловатые облачка, кучившиеся к полудню, на свою землянку, на темную зелень далекого бора, как бы стараясь что припомнить и убедиться, так ли все еще сине и глубоко небо, каким оно было четырнадцать лет назад, так ли светит в этой голубой выси солнце, так ли, как прежде, плавают по

небу облачка, зеленеет лес, порхают в воздухе ласточки, стрижи...

Убедившись, что мир Божий остался все таким же прекрасным, каким был и четырнадцать лет назад, и в дни его юности, он как-то не то горько, не то радостно тряхнул головой и, смахнув со щек выкатившиеся из глаз слезы, широко, размашисто перекрестился. Он хотел было двинуться за передним стрельцом дальше, к выходу из ограды, которою обнесена была его тюрьма, как услыхал позади себя звяканье цепей. Оглянувшись, он увидел, как из трех других таких же, как его, землянок выходили тоже узники с стрельцами, и в этих узниках он отчасти узнал, отчасти догадывался, что узнал,—так неузнаваемо изменились они в четырнадцать лет!—друга своего, попа Лазаря, дьякона Благовещенского собора Федора и духовника своего инока Епифания, того самого, которому он сейчас только писал в «житии» своем, как «Богородица беса в руках мяла и ему, Епифанию, отдала», и прочее.

Аввакум радостно всплеснул руками.

— Други мои, светы!.. Вместе ко Господу идем!

— Аввакумушко! Протопоп Божий!

— Епифанушко миленький! Федорушко братец!

— Живы еще! Все живы! И помрем вместе!.. Лазарушко, и ты с нами!

Они обнимались и плакали, звеня цепями. Стрельцы, глядя на них, супились и отворачивались, чтобы скрыть слезы.

Звякнула щеколда оградной калитки, калитка распахнулась, и в ней показалось красное, прыщеватое лицо «людоеда».

— Эй! Лизаться, пустосвяты, вздумали!—закричал Кузмищев.— Еще нацелуетесь с дымом да с полымем... Веди их, стрельцы!

Узников развели и повели гуськом к калитке. Впереди всех шел Аввакум. За тюремной оградой глазам арестантов представился большой сруб, наполненный щепами и установленный снопами сухого сена, перемешанного с берестой да паклей. Около сруба толпился народ.

Кузмищев, взяв у стоявшего около сруба с зажженными свечами монаха четыре восковых свечечки, роздал их осужденным.

— За мною, други мои, венцы царски ловить!—

воскликнул Аввакум, поднимая вверх свечу и твердо восходя на костер.

Товарищи последовали за ним и стали на костре рядом, взявшись за руки.

Кузмищев достал из-за пазухи бумагу, медленно развернул ее, откашлялся. Но в этот момент Аввакум, перекрестившись и поклонившись на все четыре стороны, быстро нагнулся и, подобно старице Юстине в Боровске, в разных местах сам своею свечою подпалил сено и бересту. Пламя мгновенно охватило костер... В толпе послышались крики ужаса... Все поснимали шапки и крестились...

Подьячий окончательно растерялся.

— Охти мне!.. Ах, изверги!..

Из пламени высунулась вся опаленная чья-то рука с двумя истово сложенными пальцами...

— Православные! Вот так креститесь! — раздался из пламени сильный резкий голос Аввакума.— Коли таким крестом будете молиться, вовек не погибнете, а покинете этот крест, и город ваш песок занесет, и свету конец настанет!

— Аминь! Аминь! Аминь! — прозвучал в толпе голос, столь знакомый всей Москве.

Из толпы выделился черный низенький клобучок, а из-под клобучка светились зеленоватым светом рысьи глазки матери Мелании.

— Охти мне! Ах, злодеи, воры, аспиды! — метался подьячий с бумагою в руках.

Костер между тем трещал и пылал, как одна гигантская свеча, от которой огненный язычище с малыми язычками высоко взвивался к небу, обрываясь там, развеваясь и расплываясь в воздухе серой дымкой.

Кругом, казалось, все засумрачилось, потемнело, словно бы на землю разом опустились сумерки. Онемевший от страха народ не смел шевельнуться. Сумрак сгущался все более и более. Костра уже не было — оставалась и перегорала огромная куча огненного угля...

Вдруг как из ведра полил дождь.

— Батюшки! Православные! Небо плачет! Небушко заплакало от эково злодеяния. О-о-ох! — раздался в толпе отчаянный вопль женщины.

Кузмищев встрепенулся, словно его кнутом полоснуло.

— Эй! Лови ее, лови! Держи воруху! Держи злодейку!

Но Мелании, это она выкрикнула, и след простыл... «В воду, братцы, канула, сгинула, провалилась...»

Народ сунулся к залитому огнем костру, собирать на память «святые косточки», чтоб разнести их потом по всему Московскому государству... Аввакум был прав, говоря о сожигаемых: «Из каждой золинки их, из пепла, аки из золы феникса, изростут миллионы верующих...» Так и вышло...

XXIII. СМЕРТЬ НИКОНА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В то время, когда в Пустозерске дым и чад от сожигаемого Аввакума серыми облачками возносился к пасмурному небу, в Кирилловском монастыре, на Белом озере, враг и погубитель всей жизни первого расколоучителя, Никон, умирал медленной, мучительной смертью всеми забытого старика и заточника.

Когда через три месяца после смерти Морозовой, в конце января 1676 года, умер тишайший и благочестивейший царь Алексей Михайлович всея Руси и преемник его, царь Федор Алексеевич, послал к Никону с дарами и с вестью Лопухина просить у старика прощения и разрешения покойному царю на бумаге, то Никон, по обыкновению, заупрямился.

— Бог его простит,— отвечал он,— ино в страшное пришествие Христово мы будем с ним судиться; я не дам ему прощения на письме!

Пользуясь этим, на Никона к царю полезли доносчики: вывели на Божий свет и застреленного им баклана, и высеченного из-за «добро-ста» поварка Ларку, и раздетую для лечения бабу Киликейку...

Никона перевели в более тяжкое заточение, в Кириллов монастырь, старцы которого и прежде постоянно сердили сварливого старика, то привозя ему в пищу грибов с мухоморами, то «напуская к нему в келью чертей», то говоря, что он у них в монастыре «всех коров переел»...

В Кириллове Никон таял с каждым днем. Он уже с трудом передвигал от старости свои больные и усталые ноги, готовился к смерти...

Об этом донесли куда следует: умирает-де старец Никон, как и где похоронить его?

И тогда из Москвы пришла милость: порадовать-де заточника свободой хоть перед смертью...

Порадовали... Повезли в Воскресенский монастырь... Ему страстно, перед смертью теперь, захотелось взглянуть, цело ли поныне там, на переходах его кельи, то ласточкино гнездо, которое он пощадил когда-то, не разметал клюкою...

Больного Никона из Кириллова монастыря привезли на берег Шексны, посадили в струг и, по его желанию, поплыли вниз к Ярославлю, а оттуда к Нижнему, к тому далекому селу, где родился он и бегал маленькими босыми ногами, счастливый, невинный... Хотелось ему перед смертью взглянуть на родное село, потом на ласточкино гнездо в своем любимом Воскресенском монастыре, а там и на Москву, послушать в последний раз могучего звону всех сорока сороков, вспомнить свое патриаршество, свое царство, как они делили его с покойным «собинным» другом, царем Алексеем Михайловичем...

Это было в августе 1681 года. Дорогой, во время плавания, погода стояла сухая, тихая, теплая, ясная, словно весенняя. Зелень еще не начинала желтеть, паутина еще не тянулась серебряными нитями в воздухе, и только ранняя перелетная птица, гуси и лебеди, звонко перекликаясь глубоко в небе, напоминали, что они летят на теплые воды, на полдень, туда же, куда, казалось, медленно плыл и струг Никона...

Целые дни сидел он и больше лежал на своей дорожной постели, кутая холодеющие ноги и глядя на воду, на медленно убегающие берега реки, на рощи, синеющие вправо и влево, на красноватые береговые обрывы и красивые изломы гор, на селения, то там, то здесь как бы выбегавшие на берег посмотреть на плывущий откуда-то струг, а на нем на сумрачное с усталыми глазами лицо старого, неведомого монаха...

Гребцы иногда затянут песню либо «Не белы то снежки», либо «Вниз по матушке по Волге», да вспомнят, кого везут, и замолчат...

Чем дальше двигался некогда «державный» заточник, тем быстрее впереди его бежала весть, что везут Никона — имя, тридцать лет гремевшее на Руси, благословляемое и проклинаемое; имя, когда-то возглашав-

шееся вместе с царским, а потом опозоренное, поносимое, отверженное. Народ толпами собирался на берегу в местах, где приставал струг с некогда грозным, теперь тихим и задумчивым патриархом. Одни тянулись к нему за благословением, несли дары и корм, другие, чтоб увидеть апокалипсического зверя, что пустил по Руси «пестрообразную никонианскую ересь». Там, где струг не приставал к берегу, народ встречал его на лодках, на середине реки, и долго следовал за его стругом, с любопытством и боязнью всматриваясь в бледное лицо, утомленно и печально глядевшее изпод высокого черного клобука и окаймленное белыми, серебристыми космами волос и бороды. Матери поднимали детей, чтобы хоть издали показать им Никона.

17 августа струг с «великим заточником» от Толгского монастыря, что против Ярославля, плыл к другому, нагорному берегу и входил в реку Которость. Целая флотилия лодок следовала за стругом. На берегу Которости толпились массы народа, духовенство, светские власти, гостиные и посадские люди из Ярославова града.

К стругу пристала большая лодка с московским духовенством, и в струг смиренно, с поникшей головою, вошел архимандрит Сергий, тот самый, которого мы видели когда-то в Соловках на «черном» соборе и который потом издевался над Никоном, когда его, свергнутого с патриаршества, везли в ссылку. Сергий, подойдя к ложу Никона, припал головой к днищу струга...

— Прости, блаженне! Не вмени в вину грубство мое велико! — как-то застонал он, не поднимая головы.— Прости, блаженне!

— Встань... кто ты? — слабо спросил «великий старец».

— Я Сергий, Сергушко, архимандритишко... пес смердящий...

— Встань, Сергий... Кто ты? Я не помню...

— Я тот, окаянный, что ругался над тобою после собора... Прости, помилуй!

— Помню... встань...

— Я ругался поневоле... Брехал на святителя, творя угодное собору...

— Прощаю и разрешаю,— слабо махнул рукой Никон.

Народ не вытерпел и бросился в воду, крестясь и поднимая руки...

— Батюшка! Святитель! Угодник Божий!
— Мы тебя на себе повезем! Благослови нас!

Слабая, добрая улыбка пробежала по лицу «великого старца»...

— Се Почайна, а се людие мои, Господи! — радостно бормотал он.

Народ, которого увлеченья не знают границ, обезумел от умиления и восторга. Струг, как щепку, вынесли здоровые руки восторженного народа на берег, и все бросилось в струг целовать руки, ноги, одежду, ложе освобожденного узника-святителя... У изголовья его стоял Сергий и плакал...

Сквозь толпу протискалась старая-престарая монашка и тоже плакала, шепча: «Микитушка-светик...» Но Никон уже не узнал своей жены...

Солнце катилось к западу, золотя лучами шелковистое серебро волос и бороды Никона. Заблаговестили к вечерням...

При звоне колоколов лицо Никона преобразилось; ему казалось, что под этот священный голос церквей он вступает в Москву со славою, благословляемый народом... Что-то прежнее, величавое блеснуло в его глазах, в чертах лица... Он бодро глянул кругом — на небо, на солнце, стал оправлять себе волосы, бороду, одежду, как бы готовясь в путь...

Стоявшие у изголовья архимандриты Сергий и Никита кирилловский поняли, что «великий странник собрался в далекий, неведомый путь», и стали читать отходную...

И Никон все понял: сложив на груди руки, вытянулся и глубоко, продолжительно вздохнул, чтоб уже больше не повторять этого вздоха...

Так кончил и другой боец из воинов той великой битвы, которая вот уже третье столетие ведется между двумя половинами русской земли, ведется единственно вследствие того, что обе половины не ведают, что творят...

Что же сталось с другими лицами, которых мы забыли на время, занятые главными историческими деятелями «Великого раскола»?

Петрушенька-царевич, которому шел уже десятый годок, по смерти батюшки перестал топить щенят и котят, и вместе со сверстниками «робятками» изволит тешиться потешными ружьями, барабанами, пушками, и из зависти к сестрице Софьюшке перего-

няет уже ее во всех «урках арифметикии» и иных хитростей.

Царевна Софьюшка стала уже совсем взрослою девицей и зорко присматривалась к тому, как ее больной братец, царь Федюшка, «государствует», чтоб и самой после него «государствовать», не забывая в то же время зорко присматриваться и к красивому, статному княжичу, Васеньке Голицыну.

Симеон Полоцкий, «расплодив в Москве продувных хохлов, что тараканов», лежал уже в сырой земле на кладбище Заиконоспасского монастыря, велев посадить на своей могиле вербу, чтоб она напоминала ему и в могиле его далекую, дорогую Украину. Царевна Софья часто посещает его могилу, тем более что там она в первый раз поцеловалась с своим княжичем Васенькой.

Мамушка ее продолжает вязать чулок и спускать петли и сослепу уже не видит и не слышит, как Софьюшка царевна бегает иногда, в селе Коломенском, в сад, к пруду, на свиданье со своим Васенькой.

Мать Мелания по-прежнему неуловима и втихомолку готовит ту страшную драму, которая разразилась «стрелецким бунтом» и бритьем всей России.

Ондрейко Поджабрин, стрелец, нет-нет да и вспомнит те «буркалы», которые он видел когда-то в келье Никона в Воскресенском монастыре, а потом на плахе на Лобном месте.

Ласточкино гнездо, пощаженное Никоном, чернеется по-прежнему на переходах патриарших келий. В нем выводится уже семнадцатое поколение потомков той ласточки, которую кормил мухами Никон. Куда бы они ни улетали на зиму, а весной опять возвращались к старому гнезду, как бы вспоминая Никона.

А что сталось с нашими украинцами и украинками?

Петрушка Дорошонок, ныне воевода Петр Дорофеич, тоскует в «московской неволе» в селе Ярополче Волоколамского уезда и вспоминает о милой Украине и о своей хорошенькой, но ветреной женке, оставшейся в Чигирине.

А женка, совсем не стареющаяся, продолжает слушать «веснянки» и «скакать через плот с молодшими», начиная с Мазепы и кончая юным бунчуковым товарищем Остапиком.

Мазепа, обманув Брюховецкую, утопив потом

своего благодетеля, Дорошонка, и начав уже копать яму другому благодетелю, гетману Самойловичу, шибко идет в гору и шибко продолжает «скакать в гречку» со всякою смазливенькою женщиной, будь то украинка, полька и даже московка.

Маленький Грипь Брюховецкий, играя в «Шума», простудился и отдал Богу свою младенческую душу, твердя в своей мертвой постельке: «Ах, мамо, яко бо ты московка...»

Мама «московочка» не пережила своего Грипя; так она и не видала своей родной сторонки, Москвы белокаменной, а умирая, благословила Украину, где ее все любили.

Петрусь продолжает усердно мазать чеботы дегтем и женихаться со своей Явдохою. Когда он узнал, что москали дегтем не мажут сапог и «вси переказились» из-за того, как креститься — двумя или тремя пальцами, он только рукой махнул: «От дурни москали!..»

ФАНАТИК

Исторический рассказ

1719—1720

I. ЦАРЬ ПОЕТ НА КЛИРОСЕ

Во второй половине января 1719 года в Александро-Свирском монастыре, что за Ладожским озером, шла обедня.

Службу совершал настоятель монастыря, архимандрит Александр, высокий, с курчавою головой и цыгановатым обликом монах, с другими иеромонахами. Служение было торжественное, и торжественность эта замечалась во всем — в ярком горении свеч в паникадилах, в курении ладана, благовонный дым от которого ходил по церкви волнами, в праздничном облачении служащих и в выражении их лиц, в выражении какого-то страха и благоговения. И клир казался торжественнее обыкновенного.

Но что особенно поражало и привлекало взоры всех — это гигантская фигура человека, стоявшего на правом клиросе. Гигант был не в монашеском одеянии, а в камзоле из грубого темно-зеленого сукна с красными выпушками и обшлагами, из-за которых видны были белые манжеты. На голове гиганта целая грива черных лоснящихся волос с небольшою косицею. На гладко выбритом полном лице, несколько осунувшемся, оставлены были только небольшие, несколько поднятые кверху усы. Но что особенно поражало в этом энергическом лице, в гордом повороте головы — это необыкновенные глаза, которые, казалось, насквозь проникали душу и вселяли в нее невольный трепет. А между тем лицо это подергивалось иногда какими-то нервными судорогами.

Гигант пел вместе с прочим клиром, только сильный грудной голос его так резко выделялся из всего клира, что, казалось, он один только и был слышен.

В то время, когда архимандрит стал читать молитву: «Боже святый, иже во святых почиваяй», гигант обратился к одному из стоявших на клиросе монахов:

— Что нынче из Апостола читается?

— К коринфянам послание, ваще царское величество,— отвечал инок, иеромонах Иоаким Олончанин.

— Подай мне Апостол, я буду читать,— сказал гигант.

Иеромонах с глубоким поклоном подал книгу, развернутую на одном месте, с шитою золотом закладкою.

— Глава четвертая на десять, ваше царское величество,— пробормотал он с тем же глубоким поклоном.

Гигант взял книгу и вышел с нею на середину церкви, к амвону. Перед ним все с трепетом и низкими поклонами расступались, словно трава перед косою.

— Благослови, владыко! — возгласил между тем иеродьякон.

— Благословен еси на престоле славы царствия Твоего,— провозгласил архимандрит.

Клир запел «трисвятое», а затем следовал возглас иеродьякона: «Вонмем».

— Мир всем! — с каким-то трепетом в голосе отвечал архимандрит; но его покрыл могучий голос гиганта:

— И духови Твоему!

Вся церковь, казалось, дрогнула от этого могучего, повелительного возгласа. Все глядели на эту трехаршинную фигуру великана с львиною гривою на голове и, казалось, ничего, кроме него, не видели — ни икон в блестящих золотых окладах, ни тысячи огней в паникадилах, ни иеродьякона, совершавшего каждение...

— Премудрость! — провозгласил этот последний, осеняя великана дымом кадила.

— Прокимен! — грянул голос великана.— К коринфянам послание, святого апостола Павла чтение. Братие! Ныне же, аще приду к вам, языки глаголя, какую вам пользу сотворю, аще вам не глаголю или в откровении, или в разуме, или в пророчестве, или в научении? Обаче бездушная, глас дающая, аще сопель, аще гусли, аще разнствия нисканием не дадят, како разумно будет пискание или гудение? Ибо аще безвестен глас труба даст, кто уготовится на брань?

Могучий голос чтеца, по обычаю московских протодиаконов, возвышался все более и более, и от богатырского дыхания гиганта даже пламя свечей на ближайшем паникадиле колебалось, как от дуновения ветра.

— Не царем бы ему быть, а первым протодиаконом в Успенском соборе,— шептал иеродьякон Иоаким

своему соседу, «свиточнику» монастырскому Степану Артемьеву.

— Воистину глас трубный,— отвечал шепотом же «свиточник».

Между тем архимандрит, сидя в алтаре «на горнем месте», сердито ворчал себе под нос:

— Грех один, грех... и лицо скобленое, образ блудоносен... и табун-траву нюхает... не подобало бы таковому бесстыднику в храме Божием Священное писание чести... о-ох, увы!

Когда же гигант-чтец, в окончании, грянул: «Но в церкви хочу пять словес моим умом глаголати, да ины пользую, нежели тьмы словес языком»,— то все стекла в церкви задребезжали, а молящиеся со страхом вздрогнули.

Чтец этот был царь Петр Алексеевич. После сильных душевных потрясений, испытанных им за последнее время, когда шли розыски и казни по делу сына его, царевича Алексея Петровича[1], государь чувствовал себя не совсем здоровым и теперь ехал на Марциальные воды лечиться. По дороге он заехал в Александро-Свирский монастырь отдохнуть, где и пробыл четыре дня. Перед отъездом из монастыря он слушал обедню, пел на клиросе и читал Апостол. Читать Апостол Петр Алексеевич всегда любил и оттого во время церемоний знаменитых «всепьянейших соборов»[2] он всегда исполнял должность «архидьякона, княж-папина жезлоносца» и всегда первым возглашал «песнь Бахусову»:

Бахусе пьянейший главоболения,
Бахусе мерзейший рукотрясения,
Бахусе, пьяным радование,
Бахусе, ногам скакание,
Бахусе, хребтом вихляние,— и т. д.

По окончании службы государь, в сопровождении настоятеля и всей братии, отправился к монастырской трапезе. Он заблаговременно объявил архимандриту, что будет трапезовать вместе с братиею и чтобы трапеза была обычная, повседневная, без «величания чаши».

Трапезная представляла длинную, слабо освещенную келью, воздух которой насыщен был запахом прокислой капусты и свежеиспеченного черного хлеба. Слышалось также благовоние лука и черного конопляного масла.

После предобеденной молитвы и благословения яств государь с двумя денщиками поместился в голове стола, а противоположный конец стола занял настоятель. Вдоль всего стола тянулся ряд мисок, выдолбленных из карельской березы и окованных железом. Грубые, неуклюжие мисы вмещали в себе по полуведру серых, пустых щей, от которых клубами валил пар. Перед мисками возвышались пирамиды резанного огромными ломтями черного, как тамбовский чернозем, хлеба. Тут же стояли деревянные солоницы соответственной величины, самого грубого подела. Длинною шеренгою, словно солдаты в строю, лежали против каждого монаха деревянные ложки, величиною в голову двухмесячного младенца. Такая же ложка лежала и против царя, а равно такая же была против него и миска, и солоница.

Государь, не дожидаясь очереди, отломил кусок хлеба, обмакнул его в солоницу, взял ложку и начал хлебать щи. Братия при этом заметила, что, когда царь обмакнул хлеб прямо в солоницу, отца-настоятеля, видимо, что-то покоробило, и они знали, что именно. Им это строжайше воспрещено было делать на том основании, как объяснял настоятель, что когда апостолы за «тайною вечерею» спросили Христа, кто из них будет Его предателем, Он отвечал: «Омочивший в солило руку, той мя предаст...» И вдруг царь это сделал!..

Чтобы показать братии и самому царю пример «истового соления святого хлеба», отец-архимандрит, осенивши крестным знамением стоявшее перед ним «солило», взял из него щепотью сколько было нужно и посолил лежавший перед ним ломоть, который и направил ко рту, предварительно перекрестив и этот последний.

— Сие творю по Писанию,— пояснил он, обводя строгим взором всю братию, в том числе и царя,— когда Господь наш Иисус Христос на тайной вечери омочил свой хлеб в солило и подал его Иуде Искариотскому, «и по хлебе тогда,— речет евангелист Иоанн,— вниде в он сатана».

Откусив от ломтя и положив его на стол, настоятель взял ложку, зачерпнул ею из общей миски щей, опрокинул ложку в рот, опять положил ее на стол и стал «истово», медленно жевать содержимое во рту.

Точно то же самое проделал и сидевший по правую его руку инок, седой старец; за ним третий, четвертый.

Это была странная, поразительная картина: к солоницам протягивались руки, затем эти руки, одна за другою, точно по команде, несли ко рту каждая ломоть, затем рука за рукой брались за ложки, тянулись в миски, ложки опрокидывались в разинутые рты, и затем шло общее «истовое» жевание сотни челюстей с бородами седыми, русыми, черными.

Царь отложил в сторону свою ложку, необычайное зрелище братской трапезы поглотило все его внимание: братия жевала медленно, опустив глаза, и только слышалось чавканье челюстей, да мелькали ложка за ложкой то к мискам, то к разинутым ртам, а потом чинно клались на стол по очереди...

А в стороне, у аналоя под иконами, дневальный инок читал вслух «истово», сильно гнуся, «Повесть о Ионе, епископе новгородском».

— «Прежде бо зело малех дней епископства его воздвижеся Витовт, князь виленский, аки волк гладен человеком нападая, плоти их оружием хапая, и со всем литовским множеством ходя на Великий Новград, оборити и поплените хотя, и Порхов град уже аки в неводе обият войска множеством, и борити той начинаше, и вся злая творити не умолчеваше...»

Государь слушал «повесть» с видимым интересом. До щей он уже более не дотрагивался. А дневальный инок продолжал под мерный стук деревянных ложек и неумолчное чавканье иноческих челюстей:

— «Тем же суровый волк, яко время гладству своему обреть, не уставшая люди мирныя клятвы беззаконно и пагубно; обаче последи воздаст ему Господь ординскими цари. Цари бо ординстии с своими татары многое его литовское воинство, излезшее на ня в поле, аки худы некия животны, иже от пещер исскачущая, погубиша и сильные коня его и комони отъяша, самому Витовту в мале полце утекшу».

Огромные миски со щами выхлебаны братиею дочиста, ложки облизаны чисто, «истово» и положены на стол. Дневальные бельцы-послушники убрали со стола миски и вместо них поставили такие же, наполненные доверху гречневою кашею, жирно политою конопляным маслом.

Государь и каши зачерпнул своею ложкой, отведал и ложку положил на стол. Снова перед глазами его замелькали ложки иноков, снова раскрывались и закрывались рты, снова слышалось только чавканье,

прерываемое то там, то здесь громкою икотой, причем икающий рот непременно осенялся крестным знамением; а дневальный черноризец продолжал читать.

— «И польские грады, и великие села без заставы остави Витовт оный, свое спасение токмо ища, их же татарстии руце пусты ему вся положиша мнозем гневом царя их...»

Государю точно молния прорезала память: он вспомнил несчастную битву под Нарвой, и энергическое лицо его судорожно передернулось... «А за Нарву — Полтава»,— подсказала та же память.

II. УЖАСНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ

По отъезде из монастыря государя среди братии возник ропот. То и дело слышалось имя настоятеля, сурового архимандрита Александра: его обвиняли не только в жестокости и своекорыстии, но даже в измене его царскому величеству.

Дело в том, что государь, отъезжая из монастыря под тяжелым впечатлением неприглядной монастырской жизни «впроголодь и впоколоть», при жалкой обстановке, в которой он сам видел вопиющую «босоту и наготу» бедной братии, рядовых черноризцев, пожаловал «здоровой братии» двести рублей, а «больничной» пятьдесят: по тому времени деньги большие. Однако настоятель все эти деньги взял себе, а у больничной братии, которой государево жалованье было роздано по рукам, в присутствии самого царя, архимандрит отобрал просто силою.

— Приезд великого государя в обитель великий убыток монастырю учинил, и этих денег вам не будет,— сурово отвечал архимандрит инокам, когда те спросили его про государево жалованье.

Эти слова поразили монахов, и по келиям начались тайные совещания о том, как быть.

Особенно резко осуждал настоятеля знакомый уже нам монастырский уставщик Иоаким Олончанин, прозванный так потому, что родом был из Олонца: он во время службы, как мы видели, подал царю на клиросе Апостол и указал, какую главу следует читать из послания апостола Павла к коринфянам. Его перебил монастырский «свиточник», белец Степан Артемьев.

— Он нас всех подведет под пытку,— взволнованно говорил Степан некоторым пришедшим в его келью монахам.— Прошедшею осенью, в день тезоименитства царицы Екатерины Алексеевны[3], это был день субботний, после обедни и обеда пришли ко мне по свитки вот он, отец Иоаким...

— Помню, приходил,— подтвердил тот,— да отец Кирилл, бывший архимандрит, тут же случился, да и отец Иоанн Лоянский... Как же! Помню... Я еще и говорю отцу Кириллу: сегодня-де царицы ангела торжество, а у нас у обедни родителей поминали...

— Это в царский-то день поминать! — укоризненно покачал головой один из монахов.

— Да,— продолжал Олончанин,— я и говорю отцу Кириллу, что-де в городе и по мирским церквам в такие дни за царское здоровие молебны поют и заздравные чаши величают. А ты-де, говорю, Кирилл, как был архимандритом, так ли делал? «Нет,— говорит,— при мне-де в такие государевы ангелы родителей не поминали, и неподобно-де в такие дни родителей поминать, а всегда-де бывали торжества, и за государево здоровье молебны певали и чаши величали».

— Еще бы! А при этом идоле нам и по малой чарочке не дадено! — заметил Олончанин.

— Какая там чарочка! — с сердцем добавил «свиточник».— И капуста-то была гнилая, цвелью отдает... Держи карман! Да тогда же приходил ко мне старый уставщик Иосиф. Кирилл и спрашивает его: так ли, де, надлежит чинить, как вы сегодня родителей поминали? А надлежало бы, де, для ангела благоверныя царицы праздновать и молебны петь, а не родителей поминать. Если-де о том будет донесено государю, то вы-де взяты будете на пытку. А уставщик на это: что же, де, нам делать! Я спорил-де, да архимандрит праздновать не велел, а выше-де лба очи не растут.

— Вестимо,— подтвердил Олончанин,— а лоб-то у него медный.

— Медный-то медный, а и он, архимандричий лоб, под пыткой вспотеет, в застенке-то,— добавил еще один монах.

— А вы слушайте, я не досказал,— продолжал «свиточник».— Как Кирилл так-то говорил тогда с уставщиком, пришел ко мне в келью и «просвирный», отец Авраамий. «Какую у тебя ныне просвиру взяли? — спросил его Кирилл,— заздравную или за

усопших?» — «За усопших,— говорит тот,— а не заздравную: заздравной-де просвиры архимандрит печь не велел».— «А прежде как бывало?» — спросил Кирилл. «Да при прежних,— говорит,— архимандритах в такие дни бирывали заздравные просвиры».

— Вот каковы дела творятся в нашей святой обители,— заключил свою речь «свиточник»,— был бы у нас архимандрит отец Кирилл, этого бы не было.

— Бедный Кириллушка! — вздохнул Олончанин.— Где-то он теперь? Что с ним?

Кто же был этот так часто упоминаемый Кирилл?

Кирилл был предместником архимандрита Александра по управлению монастырем. В последние годы он сложил с себя звание настоятеля и жил в монастыре на покое. Это был тихий, добрый старичок с кроткими глазами. Он отличался необыкновенным благодушием и сердечною привязанностью ко всему слабому, беззащитному и угнетенному. Не только люди, но даже звери, птицы и насекомые находили в нем защитника и покровителя: все это было для него «Божье творенье», «Божьи детки», все, до последней козявки.

Будучи уже на покое, он летом, бывало, по целым часам бродил по монастырскому лесу, где или молился, беседуя прямо с Богом, с природою, или тихо напевал стих о «пустыне прекрасной». Одною из забот его было оберегание птиц, свивавших гнезда в монастырских постройках или около монастыря, от хищничества кошек, которых довольно водилось в монастыре для оберегания провизии от мышей. Все соловьиные и иной мелкой пташки гнезда были у него на счету, особенно те, которые свивались низко, часто даже в траве. Такие гнезда отец Кирилл обыкновенно обтыкал всякими колючками, так что до такого гнезда не мог добраться никакой кот.

— Ишь, дурачок, как низко свил гнездышко,— бормочет, бывало, старик, обтыкая гнезда соловья или малиновки,— долго ли до греха.

А то, бывало, начнет журить вслух воробья или ласточку за ту же неосторожность:

— Для чего сюда соломку таскаешь, глупый? А ты, дурочка, вишь, где лепит гнездышко; вот и наблюдай за тобой.

Голубей он прикармливал так, что они были с ним просто нахальны: садились к нему на плечи, когда он

выходил из кельи, совали головки за пазуху старика, где часто находили горох, чечевицу или полбу.

— Ну-ну, полно вам, дурачки! — отбивается, бывало, старик от назойливой птицы, а у самого лицо светится умилением и любовью.

Муравьев и пчел он всегда ставил в пример молодым послушникам, когда те ленились или засыпали за работой.

— Вон какое бревно тащит муравьишко, а для кого? Не для себя, а для братии, в свой монастырек тащит. Да и пчелка — для кого труждается, медок и вощинку собирает? На свой же монастырь да и для нас, нам медок на кутью, а вощинку для божьего храма, на свечи.

Старика глубоко смущали и действия, и характер нового настоятеля, архимандрита Александра: черствый и самолюбивый эгоист, он обладал самыми несимпатичными для братии качествами, корыстолюбием и жестокостью. Монастырские суммы он считал своею собственностью и монахов, которые иначе смотрели на братскую казну, беспощадно сек плетьми и сажал на цепь, как собак или диких зверей. Он не только морил монахов неумеренными постами, но даже голодом.

— Живучи мы впроголодь да впоколоть, ежечасно помираем нужною смертью с босоты и с наготы.

Это была ходячая фраза, вечная песня монахов Александро-Свирского монастыря, когда они бродили за подаяниями по соседним селам.

Сам же отец архимандрит вел совершенно иной образ жизни: в своей келье он кушал и осетринку от благодетелей, и всякие разносолы, и пил ренское и хереса. Мало того, у него была в соседней женской обители хорошенькая и молоденькая духовная дочка, смиренная девятнадцатилетняя инокиня Павла, или белобрысенькая Павочка, с льняною косою чуть не до пяток. Впрочем, она была еще беличка, хотя и носила иноческое одеяние, которое так шло к беленькому личику и к белокурым, льняного отцвета, волосам.

Кроме обычной своей жестокости и держания братии впроголодь, отец Александр восстановил против себя монахов и тем, что, против обыкновения, исстари установившегося в монастыре, он отменил празднование царских дней, когда после молебствия иноки

угощаемы были «чашами за трапезою», что называлось у них «утешением», «малым» или «великим».

— Не было у нас ноне утешения, ни великого, ни даже малого,— часто жаловалась братия старому архимандриту, благодушному отцу Кириллу.

Новый архимандрит отнял у них и это «утешение».

Жалея братию, отец Кирилл и заговорил как-то об этом со своим преемником. Это было накануне Екатеринина дня, когда праздновалось тезоименитство царицы Екатерины Алексеевны, после вечерни, совершенной без праздничного пения.

— Для чего ты, отец архимандрит, в тезоименитство благоверныя государыни Екатерины Алексеевны праздновать не велел? — скромно спросил старик.

— Что праздновать! И так добро! — дерзко отвечал архимандрит.

— Нет, то не хорошо,— заметил Кирилл,— мы преж сего для ангелов государыней цариц всегда праздновали с палеелеосом и после вечерни молебствовали соборне, и в такие дни для государственных ангелов, по святой литургии, на трапезе братии бывало утешение довольное.

— А тебе какое дело! — грубо оборвал старика архимандрит.— Утешай своих воробьев да голубей, а в мое дело не суйся... Плетей моих да цепи еще не нюхал, так понюхаешь!

Глубоко оскорбленный, старик поник головою и пошел в свою келью, бормоча шепотом: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его...»

Но в душу его запало страшное подозрение...

III. АРХИМАНДРИТ НА ЦЕПИ

Прошла зима. С весною отец Кирилл ожил, потому что с прилетом птиц, грачей, ласточек, соловьев и прочих певчих «дурачков» он всею душой отдался расцветающей природе и уходу за птичьими гнездами. Грачей он особенно любил и называл «божьими черноризцами», и как бы они ни галдели — это не надоедало старику.

— Вона! Как черноризцы-то Бога славословят,— часто говаривал старик, с любовью поглядывая на черные комья, торчавшие на высоких деревьях, на грачовые гнезда.— А умен шельмец черноризец, у!

Умен! Вот как высоко келью себе ставит: ни один кот-разбойник к нему не доберется, ни-ни!

— И сорока-вещунья умна, тоже высоко вьет гнездо, да еще с покрышкой: и дождем деток не промочит, да и коршун-вор сквозь покрышку до птенцов не доберется... А иволга, поди, всех умнее: повесит капчушек на тоненькой гилочке, доставай его! А вот соловушки, так те дурачки, маленькие: у самой земли, в кусточке, гнездышко вьет, ну, кот-лакомка и заберется... А я, старый, на что? Не допущу, ни-ни! Коли честную братию, монахов, мне блюсти не приходилось, так соблюду воробушка, ласточку — вот моя братия... Смешно сказать: «воробьиный настоятель», «сорочий архимандрит»!..

Подошел, наконец, и Петров день, тезоименитство самого государя Петра Алексеевича.

Архимандрит Александр опять запретил торжественное служение, ни за царя не молились, ни братии за трапезой не было «утешения».

Страшное подозрение старика превратилось в уверенность: архимандрит ясно показывает, что он знать не хочет царя, не признает его... А давно ли были ужасные истязания и казни людей за то только, что их подозревали в сочувствии к царевичу Алексею?..

Надо спасаться из этого ужасного монастыря, надо бежать тайно. Но как? В последнее время за стариком, видимо, стали наблюдать по распоряжению архимандрита. Пойдет ли он в лес молиться и радоваться с природой или навещать и свидетельствовать знакомые птичьи гнезда, а уж из-за какого-нибудь дерева или куста высовывается скуфья какого-нибудь послушника или страдника: ясно, за стариком шпионят.

Надо было обдумать способ побега. И старик надумал вот что.

Любимым его духовным сыном был знакомый нам монастырский «свиточник», белец Степан Артемьев. Старик и открыл ему свое намерение бежать из монастыря, да притом просил и помочь.

— Твоя келья, Степанушко, крайняя к выходу,— говорил Кирилл,— коли бы ты пустил меня с моими манатками, с узелком, к себе в келейку на ночь, я бы с Божьей помощью и утек.

— Что ж, отец святой, располагай мною и моей келейкой,— отвечал «свиточник»,— я рад служить моему отцу духовному.

— Добро, сынок, спасибо... Я не забуду молиться за тебя.

— Когда ж ты думаешь уйти?

— Да хоть бы и ноне ночью: ночь будет темная, а дорогу до Новгорода я и ощупью найду.

— Ладно. Так я под вечер и зайду к тебе за манатками.

Настал вечер. Все монахи и послушники были по кельям. Свиточник тихонько пробрался в келью Кирилла, захватил его дорожный скарб и посох и понес к себе.

— Ты куда это, Степан? — вдруг раздался у него за спиной знакомый голос.

Свиточник так и замер на месте: голос принадлежал монастырскому келарю, хитрому наушнику архимандрита.

— Свитки, что ль, несешь куда? Да еще и посошком подпираешься,— продолжал келарь.— А покажь, что у тебя там за свитки?

Свиточник выпустил из рук узелок и стоял как к казни приговоренный: он знал, что такое архимандричьи плети и цепи.

Келарь подошел и стал развязывать узелок.

— Ба-ба-ба! Да тут все пожитки старой лисы, «сорочьего игумена», и посох его... Ты что ж, Степушка, воровством стал заниматься? — спросил келарь.

— Нет, я не воровал,— оправдывался свиточник.

— А это что ж? Само к тебе бежало?

— Нет... Мне дал отец Кирилл.

— Что ж? Подарил?

Пойманный с поличным не мог дольше запираться.

— Ну, веди меня к отцу архимандриту, во всем ему сознаюсь,— сказал он покорно.

Они вместе пошли к настоятелю. Александр в это время занимался выкладками на счетах.

Войдя в келью архимандрита, свиточник повалился в землю.

— Прости, отец игумен, не своей волей согрешил, а по указу отца духовного,— сказал он, стоя на коленях.

— В чем же твой грех? — спросил архимандрит.

— Отец Кирилл уйти из монастыря умыслил.

— Как! Этот старый черт «воробьиный игумен»! — вспыхнул архимандрит.

— Он, владыко... И велел это мне свои манатки вынести...

— А! Так вот оно что! И ты послушался?

— Как же, владыко, не послушаться? Он мой отец духовный.

— А если б он велел тебе зарезать меня? Ты бы тоже послушался?

— Прости, владыко... согрешил... накажи...— бормотал свиточник.

— Наказать-то я сумею, ты не учи меня; а вот старую лису поучить надо! Нну!

И архимандрит в бешенстве вышел из своей кельи. За ним шли келарь и свиточник.

— Ты куда это, отец, собрался уходить? — спросил Александр, входя нечаянно в келью старика, который в это время стоял на коленях и молился.— Уж не к святым ли местам?

Старик встал с колен и тревожно смотрел на гневного настоятеля, не в силах будучи сразу сообразить, что случилось.

— На кого ж ты нас, сирот твоих, покидаешь? — с злобной улыбкой допрашивал архимандрит.— На кого и сирот галок да сорок покидаешь? А?

— Хотел я идтить в Новгород,— отвечал, наконец, старик.

— А, в Новгород... А ради какого промыслу?

— Долгов своих выбирать.

— Долгов... Вишь богач какой!.. Что, разве монастырскую казну в рост давал?

Старик молчал. Он понял, что архимандрит все знает, напрасно было бы увертываться.

— Добро! Я покажу тебе Новгород... Эй,— оборотился Александр к стоявшему позади келарю,— позвать сюда двух келейников с плетьми.

Келарь вышел и скоро воротился с двумя дюжими молодцами.

— Раздеть его! — приказал архимандрит.

Несчастного старика раздели и положили на пол.

— Эй, свиточник! Держи своего отца духовного за голову... нет, садись на него верхом, а ты, отец келарь, держи «сорочьего игумена» за ноги,— командовал настоятель.

Все было сделано, как он приказывал, тем более что старик не сопротивлялся.

— А вы, молодцы, катайте в две плети, да жарче!

Послышались удары плетей. Старик молчал.

— Жарче! Жарче! Вот так, так! А! Это тебе за то,

чтоб не бегал из монастыря! Что, доносить на меня вздумал? Так вот же тебе!

Когда кончилось варварское истязание, несчастного подняли, потому что сам он не в силах был подняться.

— Что, больше не будешь бегать?—спросил мучитель.

Старик молчал. По лицу его катились слезы, слезы стыда и глубочайшего унижения: ведь он раньше своего мучителя был настоятелем этого монастыря.

— Теперь не убежишь... На цепь его! В тюремную келью!

И бывшего архимандрита посадили на цепь, точно собаку...

IV. ОБ ОСТРОВЕ «СИКИЛИИ» И «СИКЛОПЕСАХ»

В конце зимы 1719 года царица Прасковья Федоровна [4] пользовалась Марциальными водами и в половине марта, возвращаясь в Петербург, должна была проезжать через Александро-Свирский монастырь.

Старую царицу, как большую богомолку, встретили с большими почестями: встретил сам архимандрит со всею братиею и с иконами.

Но едва государыня вышла из колымаги и приложилась к иконе, как из рядов монахов выделился один и упал перед нею на колени. На голове он держал какую-то бумагу.

Архимандрит, предчувствуя что-то недоброе, шепнул стоявшему около него келарю, чтоб тот велел звонарю тотчас же благовестить к обедне.

Увидав челобитчика, царица дала знак архимандриту.

— Прими челобитье и вычитай вслух,—сказала она.

Архимандрит слегка побледнел, но тотчас же исполнил приказ царицы. Руки его дрожали, когда он развертывал челобитную, но когда глаза его упали на титул просьбы, он обратился к царице:

— Государыня царица! Челобитье писано не на твое имя, а на государево.

— Что ж!—возразила Прасковья Федоровна.— Все челобитья пишутся на государево имя.

— Так повелишь, государыня, вычитать?

— Прочти, что главное, вон к обедне, кажись, заблаговестили.

— Заблаговестили, государыня: скоро проскомидия начнется.

— Ну же, чти,— торопила царица.

Архимандрит, глядя в бумагу, что-то несвязно бормотал, путался и заикался...

— Читай громче, не слышу,— заметила Прасковья Федоровна.

— «Построил на пристани реки Свири за четыре поприща часовню,— бормотал архимандрит,— и на построение оной сбирал волею и неволею, правил с братии и трудников волею и неволею ж, с мала и до велика...»

— Это кто правил-то неволею? — спросила царица.

— На архимандрита, государыня, безлепично клеплют,— отвечал Александр, запинаясь.

— На какого архимандрита?

— На меня, стало быть, государыня царица.

— А-а, читай-ко дальше.

— «Также и с крестьян,— продолжал архимандрит,— отчего многие разбрелись врознь, не терпя такого правежа, часовню украсил образами местными из новопостроенного в монастыре придела Петра и Павла, и построил ее ради своей безраздельныя корысти и прибытка, чтоб часовенный сбор получать в свою пользу. Он же, архимандрит, царским ангелам не празднует, и молебного пения на те царские ангелы не совершает, и по царским родителям, на памяти о преставлении их, божественной службы соборно не служит и панихид соборно не поет...»

— И это правда? — строго глянула царица на чтеца.

— Клеплют, государыня, безбожно клеплют,— оправдывался архимандрит.

— Посмотрим, разыщем... А что дальше? — спросила Прасковья Федоровна.

— Все, государыня, кончил все челобитье, ябеду.

— А кто челобитчик?

— «А к сему доношению,— читал архимандрит,— за страхом его, архимандрита, руку приложить никто не смел, потому что, если кто начнет говорить про архимандрита, то ему доносят, и он бьет до полусмерти, и бывший архимандрит Кирилл хотел донести вашему царскому величеству об его архимандричьем

непорядочном житии, и за то он, архимандрит, его, Кирилла, бил по три накона[5], что едва ожил...»

— Как! — строго спросила царица.— Архимандрита бил по три накона?

— Маленько секал, государыня,— отвечал Александр,— точно, секивал...

— Архимандрита-то! Чем сек? — волновалась Прасковья Федоровна.

— Плеточками, государыня...

— Плетьми! Старика! За что же?

— За провинности, государыня... Вздумал он, Кирилл, однова бежать тайно из обители, а я и поймал его, да и велел маленько посечь, по уставу, и посадить в тюремную келью на цепь, легонькая такая цепь, не тяжелы железы... А через три дня освободил от уз... А он возьми да убеги вдругорядь, и бежал в Новгород, к преосвященному Стефану, а когда его, Кирилла, до преосвященного не допустили и он ушел в Петербург, к преосвященному Федосию клепать на меня, преосвященный Федосий велел ему возвращаться в монастырь... За то я его, государыня, и посек вежливенько, по уставу, соймя рубашку...

— Ну! — нетерпеливо перебила его царица.— Дочитывай челобитье.

Архимандрит повиновался и продолжал:

— «...что едва ожил, и, оковав, сослал в приписной Введенский монастырь, чтобы к вашему величеству с доношением не шел; также и иеромонаха Константина бил и его келейную рухлядь ограбил, и его, иеромонаха, в приписной же монастырь сослал; схимонаха Савватия бил и келейную его рухлядь пограбил и из монастыря выслал; схимонаха Исаию бил и келейную его рухлядь пограбил же, да служебника Лазаря Минина бил смертным боем и пожитки его пограбил, а его скорбного из монастыря выслал, и он в деревне от того бою неделю лежал да и умер; также и многих монахов и служебников бьет до полумертвия, и того ради явно вашему величеству доношения писать и рук прикладывать за таким его убивством и страхом не смели, а сего доношения вашему величеству донести было и вручить невозможно того ради, что он, архимандрит, нас, богомольцев ваших, с монастыря не спускал и у ворот поставил караульщиков с дубьем, чтобы никого из монахов к вашему величеству ни с каким доношением не ходили...»

Благовест к обедне между тем продолжался. Скоро начали и трезвонить. Царица спохватилась.

— Ах! Никак, уж трезвонют...

— Трезвонют, государыня,— поторопился подтвердить архимандрит, обрадовавшись случаю прекратить ненавистное чтение.

— Как бы не опоздать,— заторопилась и Прасковья Федоровна,— ужо дослушаю челобитье.

И она поторопилась в отведенный ей покой, чтобы переодеться и идти в церковь.

За душеспасительными мыслями челобитье у нее тотчас же вылетело из головы, а потом она и совсем забыла о нем. Да и до того ли ей было?

Едва она вышла от обедни, как на паперти ее уже ожидала странница Агапия. Это была удивительная странница! Она пришла к царице Прасковье Федоровне, когда та была на Марциальных водах, и до того очаровала царицу своими россказнями, что та с нею теперь совсем не расставалась и везла с собою в Петербург. Уж и где не была эта странница! Сама, своими глазыньками видела и бесов, и «адские врата». У нее же оказалась удивительная книга, которую Агапия сама и читать умела. При чтении странницею этой книги у богомольной царицы мурашки под кожей ползли, так занятно и так страшно!

И едва после трапезы царица легла отдохнуть, как Агапия уселась за чтение вслух.

— А ты, Агапеюшка, прочти мне то место, где говорится об островах,— сказала царица, лакомясь коломенской пастилой.

— Слушаю, матушка царица,— смиренно отвечала странница Агапия, видимо, жох-баба, с рысьими глазками и вкрадчивым голосом.

Она порылась в старой засаленной рукописной книжке, писанной полууставом с киноварными заставками.

— Вот, государыня,— сказала она.— «Первый остров Тиверис,— читала Агапия,— близ его Крит, подле того Хомос, еже есть полн злата; к нему же прилежит Парос, оттуда вывозят нарочитый камень мраморный и лутший сардис; тамо же родятся сивиллы...»

— Что же это за сивиллы такие, Агапеюшка? — полюбопытствовала царица.

— Это, матушка государыня, такие девки простоволосы, сказать бы, наши русалки,— отвечала всезнающая Агапия.

— Что же эти девки делают, милая? — спрашивала далее любознательная царица.

— А вьюношей, государыня, заманивают к себе и щекощут.

— А сама-то ты, Агапеюшка, видала этих девок?

— Видала, государыня, близко видала.

— Что ж, каковы они из себя?

— Просто, как девки, только от них тени не бывает, да в глазах мальчиков нету, оттого оне вьюношей и заманивают.

— О-о-хо-хо! Возьми-ко, Агапеюшка, пастилки, полакомься.

Агапеюшка взяла пастилы и опять уселась за книгу.

— «Тамо же остров Сикилия,— снова читала она, чавкая пастилу,— на нем гора, а с той горы каплет жупел, или рещи, сера горючая; глаголют же, яко тамо под землею души мучими суть. В том же самом месте есть бездна морская: к тем местам аще корабль приидет, то изгибнет. В том же месте есть остров полн огню, и в том огне стоят ковачи посреди огня, и нарицают тех кузнецов языческие книги именем сиклопеси, куют громовые стрелы; наши христианские книги учат нас, еже те сиклопеси самые диаволы, иже хранят путь ко аду, и стоят близ адских врат, и мучат осужденные души человеческие...»

— Господи! — вздохнула царица.— Ты, чаю, этих сиклопесов не видала?

— Как не видать, матушка государыня! Чего я не видала! Видела и сиклопесов,— безбожно лгала странница.

— Где же ты их видела? — удивилась Прасковья Федоровна, даже приподнялась на локте.— Где?

— А на том острове, государыня, на Сикилии: от Соловецкой обители до острова Сикилии рукой подать.

— Какие ж они из себя, эти сиклопеси?

— Страшны зело, аки ефиопы.

Агапия, видимо, уклонялась от более обстоятельных ответов: до Сицилии — Сикилии от Соловков рукой подать, циклопы — «сиклопеси» у нее точно ефиопы, вот и все. А потому, желая усыпить любознательность своей просвещенной слушательницы, Агапия начала вновь читать, ужасно гнуся по требованиям тогдашней декламации:

— «Тамо от того острова дале некий остров Сардиния,— продолжала ученая женщина допетровской Ру-

си,— в том острове краль Сардинус создал град крепок. В том острове великие волки и змиеве, да тамо же есть трава, и кто ее яст, то будет тот долго спати, яко невозможно его возбудити, дондеже сам не восстанет; тамо же есть источник воды, а аще кто больной испиет, здрав будет; аще ли тать испиет, то вскоре обрящется тамо, идеже крал, и сам на себя исповедает...»

Агапия остановилась и глянула на царицу. Просвещенная слушательница спала сном праведным...

V. «ОБЕД С МУЗЫКОЙ» И «СЛОВО И ДЕЛО»

Переночевав в монастыре, царица Прасковья Федоровна на другой день отправилась далее, вспоминая о слышанных ею от Агапии чудесах острова «Сикилии» и о «сиклопесах», кующих громовые стрелы и стерегущих «врата адовы»...

Отец архимандрит только этого и ждал. Отслужив наскоро обедню, он тотчас же собрал всю братию в трапезной. В трапезной, как и всегда, длинный стол был уставлен огромными деревянными мисками, солоницами и ложками. По-прежнему на столе высились пирамиды ломтей черного хлеба. Только на этот раз вместо вонючих пустых щей в мисках была простая колодезная вода. Отец архимандрит, в наказание за челобитную, посадил весь монастырь на хлеб и на воду.

После предтрапезной молитвы архимандрит вынул из-за пазухи челобитье, забытое царицей, и приступил к допросу.

— Кто писал челобитье?—грозно спросил он, обводя сверкающими глазами братию и стараясь по лицам и глазам узнать виновного.— Кто? Сказывайте!

Монахи молчали. Тогда он подошел к тому монашку, который подал челобитье царице.

— Чернец Пахом! Ты подал царице ябеду,— сказал он,— ты должен знать, кто ее писал.

— Не знаю, владыко, я неграмотный,— отвечал подслеповатый чернец.

— А от кого ты ее получил?—допрашивал архимандрит.

— От Духа Святого,— отвечал Пахом.

— От какого духа?—удивился настоятель.

— От святого; от белого голубя,— был ответ.

Архимандрит даже отступил от изумления. Не сошел ли с ума чернец от страху?

— Что ты врешь! Какой там белый голубь!

— Я не вру, а голубь точно белый, точь-в-точь такой, что выводил детей на карнизе окна у Кирилловой кельи.

— Какого Кирилла?

— Нашего отца Кирилла, бывшего архимандрита, что ноне в Введенском.

Архимандрит задумался. Он, видимо, что-то соображал.

— Как же это голубь принес бумагу? У него рук нету,— сказал он, глядя в глаза Пахому.

— Она висела у него на шейке, на ниточке,— отвечал чернец,— я и снял; а как братия увидали да заглянули в бумагу и говорят: это челобитье великому государю, его-де дух святой принес, надо-де подать... Я и подал.

— А! Так я знаю, чьи это подхалюзы! — со злобой воскликнул архимандрит.— Это Кирилловы подходы, его, «воробьиного архимандрита», дело... Вон откудова дух святой, из Кирилловой голубятни... А ты, чернец, у него, значит, в апостолы пошился... Добро... Келарь, плетей!

Так как плети хранились тут же, в трапезной, то келарь тотчас же и предстал с орудиями истязания.

— Послухи! — скомандовал настоятель.— Разложите апостола Пахома да всыпьте ему пятидесятницу горяченьких.

Четверо дюжих бельцов встали из-за стола, взяли под руки несчастного монашка...

— Обнажить его от ангельского чина, снять рясу и порты! — приказал архимандрит.

Пахома «обнажили от ангельского чина», попросту раздели, и положили на пол.

— А вы, черноризцы, трапезуйте, ешьте и смотрите,— сказал архимандрит братии.

Братия послушно начала трапезовать. Видно было, как ложка за ложкой тянулись к мискам с водой, как раскрывались и закрывались рты, жуя пустой хлеб и чавкая, как тряслись бороды, седые, черные, рыжие, а под это чавканье и стук деревянных ложек раздавались по трапезной отчаянные вопли бедного черноризца...

— Вот тебе и дух святой! — издевался между тем бессердечный монах.— Вот тебе и голубь! А вам, чер-

норизцы,— обратился он к братии,— вместо обычного затрапезного чтения «житий святых» я буду читать ваше челобитье...

И он с видимым злорадством читал вслух отдельные фразы челобитья.

— «...его, Кирилла, бил по три накона, что едва ожил, и, оковав, сослал...» Да, бил старого черта по три накона, за дело бил и еще буду бить! «...также и иеромонаха Константина бил и его келейную рухлядь ограбил...» Да, бил и его, подлеца, и келейную его рухлядишку взял! Эй, келарь! А ты считай удары-то! Сколько дано?

— Тридцать два, владыко!

— Добро! «Схимонаха Савватия бил и келейную его рухлядь пограбил...» Да, бил, и схимонаха Исаию бил, и служебника Лазаря Минина бил, и всех вас буду бить!.. Сколько отсыпано?

— Сорок шесть, владыко!

— Добро! Досыпай всю недоимку дочиста, до краев!

— Кончили, владыко,— отозвался келарь, и удары прекратились, но слышались еще стоны.

Наказанный с трудом поднялся на ноги, оделся и подошел под благословение к своему мучителю.

— Благослови, владыко,— с плачем сказал несчастный.

— Добро! — резко отвечал Александр.— Поди благословись у своего святого духа!

Утирая рукавом рясы слезы, бедный Пахом, не взглянув даже на стол, тихо побрел из трапезной.

— А! Степанушка! — обратился архимандрит к знакомому нам «свиточнику».— Не ты ли сделал из голубя духа святого? Ты на это мастер...

Свиточник встал весь бледный.

— Знать не знаю, ведать не ведаю,— бормотал он.

— Не ведаешь? А кто тогда для отца духовного трудился? Помнишь, когда он бежать собрался в первый раз?

— Точно, владыко, согрешил тогда для-ради отца духовного,— отвечал «свиточник».

— А! Согрешил? А може, и теперь голубка подучал ябеды носить?

— Ни-ни, владыко, я тут ни при чем...

— Добро... Послухи! Разложить и Степана и всыпать ему четыредесятницу.

Взяли и свиточника. Снова в трапезной раздались вопли под чавканье голодных ртов и стук деревянных ложек. А отец архимандрит ходил вокруг стола и приговаривал:

— Так его, так! Ишь какой у нас веселый обед, точно у больших бар, обед с музыкой... Славная музыка, хорошо поют плети... Келарь, сколько?

— Двадцать, владыко!

Но в это время у ворот монастыря послышалось звяканье ямских колокольчиков. Отец архимандрит встрепенулся...

— Бросьте его! После недоимку пополним,— торопливо сказал он и вышел из трапезной.

По монастырскому двору навстречу ему шел высокий, плотный мужчина, в форменном камзоле, в высоких сапогах и в форменной шляпе, надетой на парик с косицей. Сбоку болтался небольшой кортик.

Архимандрит узнал в приехавшем Лупандина, комиссара Олонецкой верфи, лицо, известное самому царю.

— С Богом пожаловать, милостивец! — подобострастно встретил его отец Александр.— А мы только что проводили с молитвой государыню царицу Прасковью Федоровну.

Лупандин подошел под благословение.

— Милости прошу пожаловать ко мне в келейку,— продолжал архимандрит.

— Пойдем, кстати же, отец архимандрит, у меня до тебя дело, и дело большое,— сказал приехавший.

— Что такое, милостивец, какое такое большое дело ко мне, малому и худому иноку? — встревоженно спросил архимандрит.

— В келье скажу,— был ответ.

Они вошли в келью. Архимандрит тотчас же достал из поставца несколько бутылок с вином и наливками, хороший кусок астраханского балыка, тешку, янтарной лососины, банку грибов в уксусе, хлеба белого, рюмок и прочее и все это поставил на стол перед комиссаром.

— Господи благослови,— сказал он, наливая Лупандину рюмку анисовки,— любимое государево снадобье... Пригубь, милостивец.

Лупандин пригубил и занялся балыками.

— Вот что, отец архимандрит,— сказал он, понизив голос,— я сейчас из Введенского приписного монастыря... Для чего ты отправил туда бывшего архимандрита Кирилла?

— За его воровство и за многократные побеги,— отвечал архимандрит,— это язва.

— Может, оно и так, да только он сказывает за собою государево *слово и дело*[6],— шепотом произнес Лупандин.

Архимандрит сразу побелел от ужаса... Произнесено *слово и дело*, эти два страшные слова, от которых тысячи гибли в застенках и на плахе.

— Надобно тебе отослать его в Питербурх,— продолжал Лупандин,— а не пошлешь, то я писать о том буду, куда надлежит.

Едва, с трудом, архимандрит мог прийти в себя. Слова не шли с языка.

— Старик пустое болтает,— наконец сказал он,— да я его и не выпущу на свет Божий, кому он скажет?

— Нет, не дело ты говоришь, отец архимандрит: *такими словами* шутить нельзя,— строго возразил Лупандин.— Кто поручится за его будущее? А ежели и через десять лет откроется, что мне объявляли *слово и дело*, а я смолчал и не донес, тогда мне не миновать заплечных мастеров и кнута.

— Не откроется никогда!— успокаивал его архимандрит.— Кто откроет? Не я же: я буду нем как рыба.

— Нет, нет! Коли мне сказал, то и другому скажет.

Архимандрит беспомощно опустил руки... «Господи! Господи!»— шептал он.

— Я его запру, прикую на цепь, он никого не увидит...

— Нет, не говори: *этого* никогда не скроешь, *это* верно, как смерть,— настаивал Лупандин,— ты его должен в железах сейчас же отправить в Питербурх, в тайную; а не отправишь, не пеняй на меня: я донесу... Я хочу, чтобы моя голова оставалась на плечах.

Архимандрит молчал. В своем уме он искал выхода, спасения, но выхода не было... «Порешить с ним?.. концы в воду?.. Нет, *этого* и вода не примет...»

Он безнадежно махнул рукой.

VI. В ТАЙНОЙ

Весна 1719 года выдалась на севере довольно ранняя и теплая. В апреле, на страстной неделе, солнце светило так ярко и приветливо, как это редко бывает с ним и в мае под олонецким небом. На многих

деревьях почки давно уже лопнули и обнаруживали признаки первой весенней зелени. В свежей ярко-зеленой травке уже улыбались первою весеннею радостью веселые головки подснежников. Ярко-желтые бабочки уже носились в воздухе, как золотые листочки. Грачи, черные гнезда которых покрывали вершины еще не укрывшихся зеленью деревьев, словно комьями, неумолкаемо галдели вокруг этих гнезд.

В это время по дороге от Введенского приписного монастыря к Александро-Свирскому тащилась пароконная телега, конвоируемая двумя солдатами с ружьями. В телеге сидел старичок-монах, скованный цепями по рукам и ногам. Другой монах, помоложе, сидел на облучке и правил лошадьми. Оба монаха молчали.

Солнце уже подбиралось к полудню, когда невдалеке из-за рощи блеснули золоченые кресты Александро-Свирского монастыря. Увидев их, возница-монах набожно перекрестился. То же хотел было сделать и старичок монах, сидевший в телеге, но, подняв скованные руки к лицу, бессильно опустил их на колени: цепи мешали ему перекреститься.

Скоро из-за рощи выглянул и весь монастырь. Ворота его были раскрыты, но у самых ворот стояли два караульщика с дубинами. Телега приблизилась к воротам.

— Стой! — сказал один из караульщиков.— Кого везете?

— Колодника в тайную,— отвечал возница-монах,— доложите отцу-архимандриту.

Один из караульщиков пошел вовнутрь монастыря и скоро воротился.

— Въезжай в ограду,— сказал он вознице.

Телега въехала в ворота. Когда голуби, сидевшие по карнизам церкви и монастырских келий, увидели въехавшую на двор телегу, то с ними произошло что-то необыкновенное: они торопливо подлетели к телеге, садились то на колеса ее, то в самую телегу; иные прямо опускались на колени и на плечи старика колодника, лезли к нему за пазуху...

Глупые птицы узнали своего благодетеля: колодник этот был монах Кирилл. По бледным щекам его катились слезы...

— Ничего у меня нет, миленькие мои,— тихо говорил он,— нечем мне вас покормить.

Но голуби не отставали от него... Старик в отчаянии поднял к небу скованные руки, и звук цепей всполошил птицу, голуби взлетели на воздух, но скоро опять стали садиться на своего любимца.

То из той, то из другой кельи стали показываться монахи, но никто из них не осмелился близко подойти к телеге: все оставались в стороне, и некоторые из них, глядя на трогательную, полную глубокого драматизма картину встречи несчастного старика с его невинными пернатыми друзьями, украдкой утирали катившиеся из глаз слезы. Все, однако, молчали. Молчал и старый колодник, зная, что теперь слово его страшнее чумы.

Скоро вышел на двор и сам архимандрит Александр. При виде арестанта, окруженного голубями, он улыбнулся недоброю улыбкою.

— Ишь, сколько святых духов наплодил,— пробормотал он сквозь зубы,— только теперь и они не помогут.

Он подошел к телеге и пытливо поглядел в глаза арестанту.

— Что ж ты думаешь плести в тайной? — спросил он.— Что умыслил?

— Скажу истинную правду, как перед Богом,— отвечал Кирилл, не глядя на врага.

— А в чем твоя правда?

— Тебе она самому лучше меня ведома,— был ответ.

— А пыток да дыбы не боишься?

— Не боюсь и самой смерти... Постражду за верность его царскому величеству.

Постояв немного, архимандрит отозвал в сторону монаха-возницу.

— Ты бывал в Питербурхе на подворье нашего монастыря? — спросил он.

— Бывал, владыко, не однова,— отвечал возница.

— Добро. Так возьми эту грамотку,— архимандрит вынул из-за пазухи небольшой пакет,— и, как только сдашь колодника тюремному старцу, живой рукой отыщи там, почти рядом с подворьем, дом некоего Никона Волкова. Не запамятуешь?

— Нету, владыко, не запамятую: Никона-де Волкова.

— Добро. А там спроси жильца, дьяка Климонтова... Не забудешь?

— Не забуду, владыко: дом Никона Волкова, а жилец дьяк Климонтов. Буду помнить.

— Добро, на носу заруби... Так этому самому Климонтову вручи сию грамотку с глазу на глаз, понимаешь?

— Понимаю, владыко: все сотворю по глаголу твоему.

— Добро! А теперь в путь: вам мешкать не положено.

И архимандрит, не взглянув более на арестанта, направился в свои покои.

Возница же, спрятав пакет в скуфью, за подкладку, и взобравшись на облучок телеги, тронул вожжами. Солдатики, сидевшие у ворот, тоже встали, взяли ружья и двинулись за телегой. Только голуби, по-видимому, не желали расстаться с своим любимцем и оставались некоторое время на телеге. Но увидев, что телега удаляется от монастыря, они воротились к своим гнездам. Старик долго оглядывался на монастырь: с ним ли он прощался, где ему так сладко молилось когда-то, или с улетавшими от него пернатыми друзьями?

«Светловельможный и преизящный высокоблагородный господин Петр Андреевич.

Александрова монастыря Свирского архимандрит Александр писал и прислал в Троицкий-Александровский монастырь того свирского бывшего архимандрита Кирилла, который в том монастыре сказывал за собою государево с л о в о и д е л о.

А в канцелярии Невского монастыря он, Кирилл, в допросе сказал, что за ним государево д е л о о их высокомонаршей чести.

Того ради он, Кирилл, в канцелярии Невского монастыря не допрашиван и послан к вашему сиятельству, понеже оные дела вверены вашему сиятельству. Прочее пребываю вашего сиятельства всеблагожелательный молитвенник и слуга.

Феодосий Архимандрит».

Письмо это писано было начальнику тайной канцелярии, Петру Андреевичу Толстому[7], и 19 мая отправлено к нему вместе с нашим колодником, старцем Кириллом.

Старика ввели в небольшую комнату со сводами. Окна ее были до половины завешены зеленою штоф-

ною материею. За длинным столом, покрытым черным сукном, сидел в глубоком кресле средних лет мужчина в парике. Единственно, что заметил в этом страшном человеке наш арестант,— это немигающие глаза. В душе он так и назвал его — «немигающие очи», «очи царевы»... Несколько в стороне за тем же столом сидел лысый морщинистый человечек с гусиным пером за ухом. Впоследствии, в бреду предсмертной агонии, этот человек иначе и не представлялся, как в виде огромного гусиного пера: «а гусиное перо все пишет, все пишет...»

Около стоял аналой с распятием и Евангелием.

Вошел священник. «Немигающие очи» перенеслись на него и выговорили:

— Отец Алексей! Приготовь старца к даче ответов.

— Как тебя зовут? — спросил арестанта священник.

— Кирилл, бывший архимандрит,— отвечал арестант.

— Старец Кирилл! Клянись всемогущим Богом пред святым его Евангелием говорить сущую правду.

— Клянусь,— тихо отвечал Кирилл.

— Целуй крест и Евангелие.

Кирилл трепетными губами приложился к холодному серебру распятия, а потом к Евангелию, вощаной запах которого перенес его в тихое уединение монастырской кельи.

— Сказывай государево слово и дело,— обратились к нему «немигающие очи»,— что показываешь?

Старик глубоко вздохнул и начал:

— Я, старец Кирилл, показываю: в прошлом 1716 году, 22-го ноября, в навечерии кануна дня святой великомученицы Екатерины, дня тезоименитства государыни царицы Екатерины Алексеевны, Александровского-Свирского монастыря архимандрит Александр приказал совершать пение без праздненства, и когда я сказал ему, что так не подобает ради высокомонаршей чести, он ответствовал: что-де праздновать! И так добро! И при сем он, архимандрит, изблевал о царе и царице непристойные слова.

— Какие именно? — спросили «немигающие очи».

— Такие, каких я выговорить и подумать не смею.

— О чем же те слова?

— О браке их царского величества: говорил, что государь женился на своей племяннице.

— На какой племяннице?

— На нынешней государыне Екатерине Алексеевне[8]... Архимандрит Александр сказывал: понеже при крещении царицы Екатерины Алексеевны крестною матерью была благородная государыня царевна и великая княжна Наталия Алексеевна[9], то выходит-де, что царица Екатерина Алексеевна приходится государю духовною племянницею.

«Немигающие очи» при этом как бы улыбнулись... А «гусиное перо» все пишет, все пишет...

— Еще что ты показываешь, старец Кирилл?— спросили «немигающие очи».

— Еще же я, старец Кирилл, показываю: он же, архимандрит Александр, осуждал государя и весь синклит за «табун-траву».

— За какую «табун-траву»?

— За табак, что нюхают.

«Немигающие очи» на этот раз действительно улыбнулись, а потом полезли в жилетный карман, достали оттуда золотую табакерку и понюхали из нее «табун-травы».

— Что же еще покажешь?—спросили «немигающие очи».

— Больше за мною, за старцем Кириллом, государева слова и дела нет и не будет,— был окончательный ответ.— А те слова мои подтвердит свиточник того монастыря Степан да иеромонах Тихон.

— А писать умеешь?

— Умею.— А «гусиное перо» все скрипит по бумаге, все скрипит...

— Прочти же свое показание и подпиши.

Старика посадили, дали ему его показание и перо в руки. Прочитав все внимательно, старый инок медленно расписался своею нетвердою рукою и перекрестился.

Затем его увели из тайной в тюремное отделение.

VII. «НИТКА УРВАЛАСЬ»

Петр Андреевич Толстой был большой мастер распутывать всякие запутанные клубки. Лишь бы ему поймать одну ниточку, а уж там он все размотает. Уж на что был запутан громадный клубок по делу царевича Алексея, а он его распутал: нашел конец нитки

в Неаполе, в замке Сент-Альмо, а весь клубок распутал уже в Петербурге, в Алексеевском равелине.

Так и тут, отпустив старца Кирилла и понюхав хорошенько «табун-травы», он сказал «гусиному перу»:

— Сейчас же отправь в Свирский монастырь нарочного, Преображенского полка дежурного сержанта Михайлу Селиванова с двумя солдатами: они должны привезти архимандрита Александра, свиточника Степана да иеромонаха Тихона... Так, сдается?

— Точно так, ваше сиятельство,— отвечало «гусиное перо».

— Да пускай сержант все письма и бумаги в келье Александра, собрав в одно место, не разбирая, замкнет и, запечатав, привезет сюда же.

— Слушаю-ста, ваше сиятельство,— снова отвечало «гусиное перо».

И вот 6-го июня и архимандрит Александр стоял уже перед «немигающими очами». В глазах архимандрита светился недобрый огонек, когда эти глаза встретились с «немигающими очами». Противники, казалось, измеряли нравственные силы друг друга, кто кого сломит.

— Старец Кирилл под крестным целованием показывал, что ты, архимандрит Александр, о их царских величествах непристойные слова говорил, сознаешься ли ты в том?— спросили «немигающие очи» после приведения к присяге подсудимого.

— Никаких непристойных слов об особах их царских величеств я не только не говорил, но и помыслить того не смел,— твердо отвечал допрашиваемый.

— Ты осуждал брак их величеств?

— Не осуждал, то на меня старец Кирилл взвел безлепично, по злобе.

— А вечерню накануне Екатеринина дня совершал с торжеством или без торжества?

— Того за давностию не помню,— был короткий ответ.

— А на Петров день?

— В Петров день, точно, я литургию соборне не служил за умалением церкви.

В эту самую минуту в канцелярию вошел смотритель тюремной больницы.

— Ваше сиятельство! Колодник старец Кирилл, бывший архимандрит Свирского монастыря, умирает, при последнем издыхании... Просит священника.—

При этих словах архимандрит Александр выпрямился. Злорадный огонек засветился в его глазах. «Бог наказал»,— пробормотал он сквозь зубы.

Кирилл, действительно, что-то лепетал коснеющим языком в предсмертной агонии. Он слег тотчас же после допроса в тайной канцелярии; потрясенный прежними истязаниями и нравственными муками, слабый организм старика не выдержал последних испытаний. Он часто впадал в забытье, и в горячечном бреду ему мерещились пыточные орудия, дыбы, железные спицы. Но всего больше, кажется, угасающая память его носилась около последних событий. Ему постоянно чудилось, что над головою его, которая была в огне, веяли крылья голубей, но эти веянья не освежали его пылавшего мозга. Ему слышалось тихое воркование голубей, прикосновение их крыльев, и он протягивал слабеющие руки, ощупывал свое исхудалое, горевшее огнем тело...

— Ничего у меня нету, миленькие,— бормотал он бессвязно,— зерна давно брошены в землю, а всходов нет... Все это он, архимандрит, он все у нас отнял.

То шумел над ним лес, и слышалось пение птиц, крик грачей, свист иволги...

— Божьи птички это... и черноризцы Божьи галдят... райские птицы во пустыне прекрасной...

Но его больше всего мучили чьи-то немигающие глаза: они засели у него в слабеющей памяти и не отходили от него... Он видел их, хотя не видел лица...

— Немигающие очи... ох, я правду сказал вам, правду...

Но эти глаза не отходили от него: они глядели на него из того темного угла... То ему чудилось огромное гусиное перо, которое все скрипело по бумаге, все скрипело... И он видел его, оно казалось ему каким-то чудовищем, из раскрытой пасти которого сыпались на белую бумагу буква за буквой, и буквы эти были живые и ползали по бумаге, как безобразные черви...

Его мучила страшная жажда, но он не сознавал этого, и только теперь, в последние минуты, сознание его как бы просветлело, и он вспомнил о холодном серебре распятия, к которому он прикладывался перед допросом. И ему представилось, что если бы теперь он приложился к этому холодному кресту, то ему стало бы легче...

— Где Распятый за ны?—бормотали его пересохшие губы.

Смотрителю показалось, что больной произнес эти слова сознательно, и он нагнулся к нему.

— Ты о чем, старче, говоришь?—спросил он.

— К распятию хочу приложиться, крест лобзать,— сознательно отвечал умирающий.

— Может, ты исповедаться хочешь?—спросил смотритель.

— Да-да... исповедаться... к кресту приложиться... я умираю,—бормотали коснеющие губы.

— Хорошо, я позову священника.

И теперь священник, исаакиевский протопоп Алексей, стоял над ним с крестом.

— Исповедай перед Богом грехи твои, сын мой,— тихо говорил священник.

— Исповедуй, отче...

Но теперь как бы что-то осенило его мысль. Он все вспомнил, вспомнил, какие муки ожидают его врага, на которого он донес в порыве мщения... И ему вдруг стало жаль его, так жаль!.. За что он будет терпеть муки, за что умирать?.. А умирать так страшно...

«Простить, простить врага,—колотилось у него в сердце,—и Христос велел прощать, любить велел! «Любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас!..» Прощать, любить...»

— Сын мой!—говорил между тем священник,— Богом живым заклинаю тебя, страхом суда будущего и вечных мучений заклинаю, скажи в последний твой предсмертный час: правду ли ты показал на архимандрита Александра?

Умирающий страдалец несколько приподнял голову; потухший взор его просветлел.

— Иисусом Христом исповедую тебе, отче,—сказал он,—о царе и царице непристойных слов от архимандрита Александра я не слыхал... не слыхал...

— А что ты показал на расспросе и подписал?— спросил священник.

— А что я говорил на расспросе и прикладывал ли к тому расспросу руку... того я не помню...

— Аминь!—сказал священник и подал умирающему крест.

Старик благоговейно припал пылающими губами к холодному распятию, и ему так легко-легко стало... Ему казалось, что он снова в своей «пустыне прекрас-

ной»: над ним поют птички, галдят грачи, свищут золотистые иволги, а в ближайшем кусту заливается соловей, которого гнездышко он еще так недавно обтыкал колючками... И голуби вьются над его головой, но уже от их крыльев не пышет жаром...

А между тем в это время протопоп Алексей уже докладывал в тайной канцелярии о результатах исповеди в тюрьме.

— Умирающий старец Кирилл, после увещания моего и уграживания ему гневом Божиим и Страшным судом, снял весь оговор с обвиняемого,—сказал он, кладя распятие на аналой.

— Как снял?—удивился Толстой, и немигающие глаза его как бы потемнели.

— Клялся именем Божиим и крест целовал, что-де архимандрит Александр непристойных слов о царице не говорил,— отвечал протопоп.

— А как же он под расспросом руку приложил?

— Того, говорит, не помню.

Под черными усами архимандрита прозмеилась незаметная торжествующая улыбка и скрылась в черных с белками, как у цыгана, глазах. Глаза эти снова встретились с немигающими глазами Толстого и на этот раз ясно говорили: «Что, кто кого осилил?»

Толстой почувствовал, что нитка, которую он держал в руках, урвалась и клубок укатился неведомо куда.

«Урвалась, урвалась!»—говорил он про себя, откидываясь на спинку кресла.

— Нет, не урвалась!—сказал он упрямо, так что «гусиное перо» вздрогнуло.

Он встал и глянул прямо в глаза архимандриту. Тот, также не смигнув, твердо выдержал испытующий взгляд следователя.

— Умирает старец?—спросил он священника.

— Отходит, ваше сиятельство; может быть, уже отошел,— отвечал последний.

Толстой опять опустился в кресло и придвинул к себе бумаги. Он вспомнил, что там была челобитная, никем не подписанная, в которой на архимандрита Александра взводились разные преступления против высокомонаршей чести и жестокие истязания монахов, с показанием имен тех, кого подсудимый истязал.

Он отыскал это челобитье и быстро пробежал глазами.

— Привести ко мне свиточника, бельца Степана Артемьева, да строителя Введенского монастыря, иеромонаха Тихона,— сказал Толстой, отодвигая от себя бумаги.

«Нет, нитка не урвалась!» — сказал он про себя и энергично понюхал «табун-травы».

VIII. НАКАНУНЕ ПЫТКИ

Прошло семь месяцев со дня смерти старца Кирилла.

Вот уже семь месяцев, как он лежит в Александро-Невском кладбище под скромным черным крестом. Над могилой его летают голуби, а весной опять загалдят грачи «чернориэцы», которых он так любил при жизни, и в кустах бузины защелкает соловей; но уже некому будет огородить его гнездышко от хищных монастырских котов...

А тот, кто свел его в могилу, архимандрит Александр, что он?

Он теперь уже не архимандрит и не Александр, а простой колодник, Алексей Пахомов.

Сегодня только, 8-го января 1720 года, его расстригли по распоряжению митрополита Стефана Яворского;[10] инока Александра «обнажили от ангельского чина» и возвратили его в прежнее мирское состояние с именем Алексея.

Он еще и теперь дрожит, чувствуя, переживая тот унизительный момент церковного обряда, когда с него снимали иноческое одеяние, расстригли... Он расстрига... А завтра розыск... пытка... Монахов не пытают; а его расстригли, чтобы пытать...

Все на него показали согласно показаниям Кирилла, и свиточник Степан, и Тихон иеромонах, и все другие монахи, привезенные из монастыря в тайную канцелярию; все его уличили, а он настойчиво отпирался... Теперь его завтра возьмут в застенок...

— О, моя Павочка! Пава моя! — тихо прошептал он.— Для тебя одной крепился, думал, увидимся...

Он подошел к железной двери своего каземата и постучал. Глухо отозвался этот стук в коридоре. В окошечко выглянул часовой с ружьем.

— Чево тебе? — спросил он сердито, заспанным голосом.

— Доложи смотрителю, чтобы он принес мне бумаги, перо и чернил,— сказал арестант.

Часовой ушел. Арестант упал на колени и стал молиться... «Боже! Вразуми!» — шептал он.

Скоро тяжелый замок завизжал, дверь заскрипела на заржавленных петлях, и в каземат вошел смотритель. В руках у него были письменные принадлежности.

— Сознание писать хочешь в проступках? — спросил он.

— Сознание,— отвечал арестант.

— Добро... давно бы пора повиниться его царскому величеству.

— И я винюсь,— был ответ.

Положив все принесенное на столик, у слабо мигающего ночника, смотритель удалился.

Арестант опять остался один. Он присел на лавку у столика и спустил свою черную седеющую голову на руки. По вздрагиванию плеч можно было заключить, что он плакал.

В этом одиночном заключении в тюремной тишине, накануне пыток, он в несколько часов пережил всю свою жизнь.

— Девынька моя! Павочка! Пава тихая! — прошептал он, всхлипывая.

И ему вспомнились счастливейшие дни в его жизни.

Это было в 1714 году, в Москве. Был он тогда еще простым монахом, и звали его старцем Алексеем лампадочником, потому что он находился тогда в Чудовом монастыре и состоял при должности у лампад при мощах чудотворца Алексея митрополита.

Припомнил он, что в Москве называли его тогда «святым человеком», «постником», «нищим». Говорили, что у него есть образ Богородицы из самого Иерусалима.

Много народу ходило к нему в убогую келью поклониться образу Богородицы...

Что ж из того, что она была не из Иерусалима, а писана в Москве? Люди усердно молились ей, и молитва утешала и спасала их. А он, Алексей, читал им «Достойно есть», поучал о спасении души...

Пришел к нему однажды из дворца истопник царевны Марьи Алексеевны [11], Иван Богомолов, и с ним пришла его молоденькая, белокуренькая дочка Павла, или «Павочка белая», как называл ее отец, души в ней не чаявший. Говорил он, Алексей, им

о спасении души, о будущей жизни, о подвигах святых угодников...

Благоговейно слушала его повествования беленькая Павочка, а из хорошеньких, детских глазок ее текли слезы умиления...

И как горячо целовала она его руку при прощаньи!

— Приходи к нам на Верх, во дворец,— умоляла она его,— о тебе слышала и царевна Марья Алексеевна, она послушает тебя, она так любит все божественное. Приходи же!..

И он стал бывать во дворце, у царевны Марьи Алексеевны... святой жизни девица!.. И Павочка беленькая всегда была при ней: как куколку она ее наряжала и баловала, ветру на нее не давала дохнуть!

И горячо, святою любовью полюбил он эту чистую, невинную отроковицу, которая и к нему привязалась всем сердцем, и непорочная душа ее отшатнулась от всего мирского...

— Батюшка! Хочу постричься в ангельский чин,— начала она потом приставать к отцу,— отпусти меня в монастырь!

Как ни отговаривали ее от этого и отец, и царевна, которая и жениха ей хорошего нашла из государевых сокольников, ничто не помогало. «Хочу ангельского чину! — твердила она, целуя руки царевны.— Хочу служить Богу, как Алексей лампадчик служит».

И он же, Алексей, за это пострадал. Сокольничий, по злобе за то, что за него не хотела выйти замуж беленькая Павочка, сделал донос на Алексея, будто бы он раскольник и что будто бы царевнину любимицу, отроковицу Павлу, в раскол сманивает.

И вот, по этому доносу, Алексея взяли в тиунскую избу судить, а то и ноздри рвать.

Павочка в слезы, чуть глаз не выплакала. Жаль ее стало царевне Марье Алексеевне. Чтобы утешить свою любимицу, царевна выхлопотала у Стефана Яворского освобождение Алексея от суда и от рвания ноздрей.

И отправили тогда Алексея в Никольский монастырь, что на Перерве, а Павочка с горя постриглась в Новодевичьем.

В монастыре Алексея посвятили в дьяконы, а Павочка потом выплакала у царевны, чтобы посвятили его в попы.

Вот он уже и не Алексей, а Александр, иерей Бога живого.

Но в сердце у него давно жила мысль основать свой собственный монастырь и быть в нем игуменом, а потом, при посредстве царевны Марьи Алексеевны, выхлопотать основание другой обители, женской, чтобы там игуменью поставить Павочку.

Вспомнил он, как для достижения этой заветной цели он отправился в Петербург, как жил там у знакомого еще по Москве дьяка Климонтова, как они спорили с ним о богопротивной «табун-траве», которую Климонтов «бесстыдно» нюхал, о богомерзком парике, который носил все тот же Климонтов, подражая моде; до слез спорил с ним о постах...

— Не то ныне время, чтобы новые монастыри заводить,— сказала царица Екатерина Алексеевна, когда до ее рук дошло о том ходатайство инока Александра.

— В нынешнее время и старых монастырей много,— сказала и царица Прасковья Федоровна, когда до нее дошло то же ходатайство инока Александра.

Но вот, через ту же благодетельницу, по слезной просьбе Павочки, он получил игуменство в Александро-Свирском монастыре на место архимандрита Кирилла. Павочку тоже перевели в ближайший монастырь... Молоденькая Павочка надеется скоро быть игуменьей...

А он... он колодник... Его завтра пытать будут, бить кнутом, поднимать на виску, водить босыми ногами по железным спицам...

— Нет, не видать мне ее больше!

Арестант встал и выпрямился. В глазах у него явилась решимость и опять засветился тот недобрый огонек, который еще Толстым замечен был в тайной канцелярии, когда он в первый раз допрашивал упрямого архимандрита.

— Ну, была не была!—с силой сказал он.— Все отпою! Либо за меня встанут все архиереи, либо... Один конец!

Он сел к столику, перекрестился, взял перо и твердою рукою вывел на бумаге следующее:

«Александрова монастыря Свирского аз, архимандрит Александр, написал сие писание своею рукою».

Всю ночь потом не поднимал он головы от бумаги, все писал и писал.

IX. В КАБИНЕТЕ

11-го января 1720 года царь Петр Алексеевич занимался в своем кабинете: он торопился дописать с вечера начатый указ о «новомонерной стройке» судов и о том, что тех судопромышленников, которые будут плавать в «старомонерных» судах, в лодьях и кочах, особенно же с ненавистными ему «скобками», он велит наказывать нещадно кнутом и ссылать в каторгу.

Когда он кончил писанье, то глаза его упали на лежавший в стороне крупно исписанный лист бумаги. Он взял этот лист.

— А! Из тайной,— сказал он вслух,— какого еще зверя затравил Петр Андреич? Чай, опять меня клянут за новшества. О, Москва, Москва! В печенках ты у меня сидишь, выпь болотная!

Он стал читать вслух:

«Александрова монастыря Свирского, аз, архимандрит Александр, написал сие писание своею рукою.

Не праздновал святой великомученице Екатерине, такожде и молебна не пел в день тезоименитства царицы Екатерины Алексеевны сицевые ради вины: ради их царского величества незаконного брака...»

— А, мракобесы! Меня учить вздумали!

Глаза царя сверкали гневом. Он хотел было изорвать в клочки бумагу, но остановился.

— Ну, что он там дальше плетет?

«Восхотел его царское величество венчаться с нею и не взял на сие от первого архиерея благословения, и еже восхоте, то и сотвори царскою своею властию, никому ему о сем возбраняющем: вшед в Божию церковь, его царское величество с нею обвенчался».

— Да, тебя, пустосвята, не спросился,— презрительно улыбнулся Петр.

«А ежели бы о сицевом браце ведомо было первому архиерею,— продолжал он читать дальше,— такожде и прочим архиереям и всему священному собору, то бы никогда таковому браку соизволили быти во святой Божией церкви венчанну: в сем его царское величество насилие сотворил немалое святой соборной и апостольской церкви великороссистей. Еще же к сему и духовное сродство имать его царское величество с нею, царицею: понеже во крещении ея, царицы Екатерины Алексеевны,

крестною матерью была благородная государыня и великая княжна Наталия Алексеевна, и ему, царскому величеству, по духовному сродству имать быти царица Екатерина Алексеевна племянница. А духовное сродство во святой соборной и апостольской церкви Божией предпочитается паче плотского».

— А! Каково ловко подвел: я на племяннице женился! — Государь рассмеялся.

В это время послышался шорох женского шелкового платья, который заставил царя оглянуться. В дверях стояла царица Екатерина Алексеевна.

— Ты чему смеешься, государь? — с улыбкой спросила она.

— Я не смеюсь, матушка, а плачу,— отвечал Петр Алексеевич.— И как мне не плакать, Катюша? Меня с тобой разводить хотят.

— Как разводить? — удивилась государыня.

— Да так! Ты мне не жена, а племянница... Ты, чаю, помнишь, как тебя крестили в русскую веру.

— Помню, государь: я была уже девка на возрасте.

— То-то. А кто была твоя крестная мать?

— Наталия Алексеевна царевна, я и по сих мест называю ее крестной.

— А она моя родная сестра, знаешь это?

— Вестимо, государь, знаю: не дурочка, чаю, твоя жена.

— Ну, а коли не дурочка, так и смекнешь, чаю, что я тебе двоюродный дядя, а ты мне племянница; а по закону, коего я, яко царь, должен быть первым блюстителем и исполнителем, дяде на племяннице жениться нельзя... Уразумела?

— Уразумела, государь.

— Ну, вот и все: нас с тобою, значит, разведут, тебя в монастырь посадят и постригут, а я женюсь на третьей, такую красавицу подцеплю, что любо! Ну, и прощай моя Катюша! Видишь это? — государь ударил рукою по бумаге, и лицо его разом приняло суровое выражение.

— Что это? — спросила царица.

— Вот слушай: «И о сицевом незаконном браце,— продолжал государь читать громко показание нашего колодника,— незаконном браце их царского величества вся святая соборная и апостольская церковь великороссийская скорбит и слезит доднесь. И о сицевых случаях их царского величества и аз убогий архиманд-

рит Александр ревностию подвитохся за сицевое насилие святой Божией церкви, ими царского величества сотворенное, сотворил такоже, яко изъявил писанием сим: о торжестве тезоименитства, и все то за незаконное бракосочетание...» Тебя царицей не признают пустосвяты! А! До чего дошли долгогривые! Так я же им покажу! Я венчаю тебя на царство! В самой Москве венчаю! Все это беззубая Москва мутит, болото стоячее и гнилое!

Государь был гневен. Он ходил большими шагами по кабинету, и энергическое лицо его нервно подергивалось.

— Государь! Успокойся, ради Бога, гнев вредит твоему здоровью,— старалась утешить его гнев государыня.

— Что там еще он вякает? — сказал Петр, возвращаясь к бумаге.— А вот: «Еще же к сему его царское величество,— читал он дальше,— в противность творит против святой восточной и апостольской греческой церкви: которые от нее определенные святые посты («А! — про посты!») прияла святая соборная и апостольская церковь всероссийская и хранит Божиею благодатиею даже до сего времени, яко же прежде бывшие российские князи и киевские, такожде и великороссийские московские великие князья и благочестивые великие государи цари и великие князи хранители даже и до сего его царского величества царствования, но ныне его царское величество взял обычай от падшего западного костела римского, который отринут от святые восточныя церкви и яко же гнилый уд (государь сердито ударил по бумаге: «Гнилый уд! гнилой запад! — а Москва, вишь, не гнилая! — болото затхлое! стоячее!» — говорил он нервно) — гнилый уд отсечен от соединения за многие догматы противные, во свой западный костел им внесенные, которые со святою восточною греческою церквою несогласующие; и ныне его царское величество приял обычай того западного отпадшего костела римского: во все святые посты и во все лето в среды и пятки разрешает и другим всем повелевает творити такожде, яже и творят мнози от его царского синклита, и от прочих христиан мнози, на их смотря, творят, ядят потому же мясо во святые посты, якоже западный отпадший костел римский повелевает творити тако, от него же его царское величество сей обычай восприял, противность творя святой

восточной церкви...» Да, вся беда в мясе, а рыбой и капустой да луком объедаться, это святое дело! Ханжи! — с грустью говорил государь.

И он читал дальше:

— «Такожде его царское величество того западного костела приял и прочие обычаи...» Так! — прервал он сам себя,— все Запад! Все в нем гнилое и негодное... Да у этого Запада, мню я, мы повинны учиться не сто и не двести лет, да и то не досягнуть нам до той версты, до которой дойдено на Западе... Дай только Бог, чтобы мои наследники не забывали мою заповедь: учиться и учиться у Запада, как я учился у него и с топором, и с пилой, и с астролябией, и с анатомией... Токмо мне-то теперь уж поздно учиться,— с грустью добавил он и продолжал чтение: — «Приял от Запада и прочие обычаи, брадобритие и власы на главах своих носят накладные, яко некую мерзость, и якоже сатыри дивии, тако входят в храм Господень бесстудно и без страха Божия. Еще к сему повелел его царское величество богомерзкую проклятую табун-траву продавать по градам, которую сам и весь его синклит употребляет».

— Что ж это за табун-трава такая будет? — полюбопытствовала царица.

— А, табак по-московски же табун-трава; а почему «табун», не ведаю,— отвечал государь.— «И в такое бесстудие пришли,— продолжал он,— не точию, что в домах и в канцеляриях и на путех, но и в церквах Божиих употребляют бесстудно и без страха Божия, якоже аз сам видел светлейшего князя Меншикова в церкви Божией бесстудно употребляюща сию богомерзкую табун-траву проклятую и якоже некоей святыни причащаяся. Не устыдеся лица Божия!»

Слушая эту проповедь невежества, царица только улыбалась, но Петр читал все это с крайним негодованием: он сознавал, что за этим изувером стоит вся московская Русь с ее табунною самобытностью, и что нужны века для очеловечения общества с такими верованиями.

И гениальный Преобразователь был прав: если б он теперь встал из гроба, то к ужасу своему увидел бы, что «проклятая богомерзкая табун-трава» и доселе осталась у нас в большой силе...

Но государь продолжал читать с негодованием и презрением:

— «Такожде второго бесстудника видел — Алексея Петровича Салтыкова сына его, в олтарь вшедшего во

время святыя божественныя литургии, егда речет иерей, держа в руках Пречестныя Тайны: «Всегда ныне и присно и во веки веков»,— и относит на жертвенник, тогда сей бесстудник взял из кармана табакерку у самого престола Божия и учал употреблять ту богомерзкую проклятую табун-траву...»

— Бедный табак! — невольно рассмеялась царица.— И проклятый, и богомерзкий... Бедная трава!

— Да, поди ж ты с ними,— согласился государь,— и вот сии ханжи сеют ропот в народе, мутят умы в государстве... Но посмотрим, что он дальше плетет. Вот: «И такое бесстудие показал сей бесстудник и дерзновение, аки бы некоторой неверный второй бусурман. Такожде его царское величество («ну, опять меня!») и прочие обычаи того западного отпадшего костела восприял от главы и до ног, которые и видятся, и сего ради святая соборная и апостольская церковь и все благочестивии и вернии христиане яве и тай соболезнуют и плачут и скорбят о сицевых начинающихся и делающихся беззакониях в Великороссии, с ними же и аз, писавый сие писание, со всеми любящими святыя восточныя церкви догматы и обычаи и предания святых апостол и святых отец соболезную. И сего ради написал сицево писание в исправление, да некогда, пришед в себя, его царское величество о сицевых деющихся противностях против восточныя святыя греческия церкви, исправится. Архимандрит Александр». Каково! «Пришед в себя»! Точно я вне себя, обезумел... Каковы учители! Это меня-то учат, и кто же! Какой-то лампадчик, всю жизнь деревянное масло в лампадки подливал и это же масло крал, и он меня учит, исправляет... Тебя не признает моею женой: все суют нос в мои семейные дела, не велят мне одеваться, как я хочу, как мне удобнее... Поделали себя судьями своего царя, бесчестят его, советуют, чтоб он «пришел в себя», грозят...

В эту минуту в кабинет вбежала прелестная девочка лет десяти и бросилась к государю.

— Здравствуй, государь батюшка! С добрым утром! — щебетала она.

— Здравствуй, моя птичка! — весь просияв, нагнулся царь к девочке и за локти поднял ее к себе, чтобы поцеловать.

— Ах, какой ты большой! Точно коломенская верста! — капризно говорила девочка.— Когда я выросту

такая большая, что сама буду доставать целовать тебя в губы!

И государь, и государыня весело рассмеялись.

— Ну,— сказал первый,— тебе до меня не дорасти, птичка моя.

Девочка эта была царевна Елисавета Петровна, будущая императрица.

X. БОСИКОМ ПО СНЕГУ

Над Петербургом стоит морозное февральское утро. Город точно окутан мглистым туманом, среди которого белыми клубами поднимается дым над домами и медленно тает в утреннем воздухе. Утро необыкновенно тихое, безветренное, и на деревьях иней, белый и чистый как кристалл, не сдуваемый ветром, каждой веточке, каждому сучку придает необыкновенную картинность. Точно красногрудые снегири, перепархивающие кое-где с ветки на ветку, рассыпают по воздуху серебряные блестки инея, отливающие на солнце всеми цветами радуги.

На Неве, на белой пелене недавно выпавшего снега, против Петропавловской крепости, копошатся заиндевевшие человеческие фигуры. Это чухны и окрестные мужики, под командою дворцовых стражников и десятников, вырубают огромные глыбы льда для дворцовых погребов.

Один из рабочих вдруг остановился и с удивлением указал на что-то двигавшееся по льду, по направлению к крепости.

— Мотри, никак человек?

— Человек и есть.

— А что ж это вкруг яво летит?

— А, кажись, голуби.

— Глянь-кось, глянь! — заговорили другие,— он без шапки.

— И то без шапки, в экой-то мороз.

— Ишь ево скачет как.

— Заскачешь, небось, брат, без шапки-ту.

— Матушки! Да он и босиком! Мотри, мотри!

— И точно босиком, ах ты, Господи!

— Да, эдак, братцы, заскачешь.

— Гляди, гляди, робя! Он на палочке верхом.

— И кнутиком погоняет, ха-ха-ха!

Действительно, по льду, вприпрыжку, приближалась странная личность. Это был старик, сухой и морщинистый, с длинными седыми, по-видимому, нечесаными волосами и седою всклокоченною бородой, сильно припавшими морозным инеем. На старике не было шапки, и ноги его, загрубелые, как ноги дворовой собаки, были босые. Странный субъект действительно скакал на палочке верхом и подхлестывал ее кнутиком. Через оба плеча его перекинуты были две или три сумы, наполненные рожью, горохом, крупою и другими зернами. Эти зерна он разбрасывал голубям и воробьям. Голуби так привыкли к нему, что постоянно за ним летали, и он называл их своими «нахлебничками».

— Здравствуйте, овцы и козлы! — заговорил вдруг этот странный человек, поравнявшись с коловшими лед рабочими.

— Здравствуй,— отвечал один из надсмотрщиков, постарше других.— Это за что ж ты нас козлами обозвал?

— Не вас,— отвечал пришедший,— а вон их (он указал на чухон).

— И впрямь козлы, только безбородые,— засмеялся надсмотрщик.— А мы, значит, овцы?

— Овцы.

— За что ж так?

— А за то, что с вас шерсть стригут.

— Кто это с нас шерсть стрижет?

— А бояре.

Надсмотрщик почесал в затылке и не знал, что отвечать.

— Откудова ж ты это теперь? — спросил он, желая переменить разговор.

— От Марьи Акимовны.

— А кто ж эта Марья Акимовна будет? — допрашивал надсмотрщик.

Пришедший раскрыл висевший у него на груди складной образок с изображением Богородицы.

— Вот она, Матушка,— сказал он, целуя образок.

Надсмотрщик снял шапку и перекрестился. Перекрестились и рабочие.

— А куда ж теперь тебя Бог несет, человече божий? — спросил надсмотрщик.

— А вон туда, в баню.

— Да это крепость,— заметил надсмотрщик.

— Нет, баня,— возразил пришедший.— Там есть хороший банщик, Петр Андреич Толстой, что парит железными вениками, и кто побывал в его баньке, тот выходит такой чистенький, что прямо идет в райские палаты Марьи Акимовны.

Надсмотрщик понял иносказание и несколько оторопел.

— Что же ты, человече божий, без шапки ходишь и без сапог?— спросил он.

— А ты крещеный?— в свою очередь спросил его пришедший.

— А как же! И крест на мне завсегда.

— А в церкви бывал?

— Как не бывать! Вестимо бываю.

— А образа видал там?

— Видал.

— А Христа видел?

— Видел не однова.

— Что ж, Он в шапке и в сапогах?

Надсмотрщика озадачил этот вопрос.

— Точно... без шапки... волоски этта длинненьки, расчесаны, словно бы коса,— проговорил он.

— А на ногах сапоги?— допрашивал пришедший.

— Нет, точно, ножки, этта, босые.

— А у апостолов?

— Точно, и у них ножки босеньки, точно, точно, голеньки ножки... А нам, грешным, как же это без сапог либо лез лаптей?

— Без лаптей нельзя!— заговорили рабочие, обступив юродивого.

— И без шапок, по эстакому-то морозу,— пояснили другие.

— А без рукавиц. Это што и говорить!

Юродивый посмотрел на обступивших его рабочих и полез в одну из висевших у него на плече сумок. Послышалось звяканье денег.

— Вот они,— сказал юродивый, вытащив полную горсть пятаков, алтынов и мелкого серебра.

— Деньги,— послышался говор удивления кругом.

— Откуда у тебя столько денег, человече божий?— спросил надсмотрщик.

— Мне Марья Акимовна дала,— отвечал тот.— Все это ворованные деньги.

— Ворованные?

— Да... Все это вот у них украдено,— указал он на рабочих.

— Как у них?

— У них... Это у них господа да купцы скрали, скрали тысящи, а Марье Акимовне дают по щербатой денежке, чтобы она на них не гневалась; а Марья Акимовна велела мне все это отдать им назад, вот этим обкраденным.

И он начал раздавать деньги рабочим. Те, изумленные и обрадованные, принимали деньги, снимали шапки и набожно крестились.

— Дай тебе Бог... пошли тебе...

Вдруг юродивый вскочил на палочку, хлестнул ее кнутом и, подпрыгивая и выделывая ногами всевозможные коленца, под такт пляса выговаривал:

Как и наш-ат козел
Всегда пьян и весел,
Он шатается,
Он валяется
По крутым берегам,
По желтым по пескам...

И приплясывая, и распевая, юродивый направился к крепости.

Все с изумлением смотрели ему вслед... «Божий человек... Святой человек...»

XI. ЮРОДСТВО — СИЛА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Это был знаменитый в то время Фомушка-юродивый, живой осколок древней, допетровской Руси. Его знала вся Москва, а впоследствии, когда столичная жизнь стала зарождаться во вновь созданном державным «плотником» Питере, узнал его и Петербург.

«Христа-ради юродивые» — это была сила, с которою должна была считаться древняя Русь. Юродивые в то время являли из себя ходячую сатиру, бичевавшую сильных и богатых. С нею должны были считаться и цари, даже такие неподатливые на уступки кому бы то ни было, как Грозный. В словах, иносказаниях и поступках, даже в видимых дурачествах искали и находили пророческий смысл. Юродивые такие резкости говорили всенародно в глаза сильным, какие для других, не для юродивых, могли кончаться застенком и плахою. Особенно в женской половине московской

Руси они были всесильны. Считалось за честь принимать у себя босого и нечесаного Фомушку или Никитушку, и Никитушки давали тон общественному мнению, направляя иногда государственные дела в нежелательную для властей сторону. За них стояли и народ, и войско.

Наш Фомушка являлся живым протестом обновления Руси, и за ним стояла вся старинная бородатая знать. Фомушка ядовито осмеивал все нововведения гениального преобразователя, и злые сатиры его переходили из уст в уста, от боярыни к боярыне, от святителя к святителю. Он постоянно язвил особенно Феофана Прокоповича[12], сочиняя про него небылицы и нелепые вирши, вроде следующей:

Хохол, хохол,
Черкаской вол,
Мазепин брат,
А чертов сват —
На Русь пришел,
Латынь привел
С табун-травой,
Что выросла из черева
Блудницы злой.

Эти глупые вирши расходились по Москве и по Петербургу, отравляя и без того невежественные умы, и глухая смута таилась то по боярским домам, то по кельям старых, закоренелых святителей-«пустосвятов». Как Фомушка избегал страшной дубинки преобразователя, это была его тайна, и скорее тайна покровительствовавших ему боярынь и даже «дворских девок», то есть придворных фрейлин. Он знал все, что делается и при дворе, и в коллегиях, и в тайных канцеляриях.

— Ах вы, гули, гули умницы,— говорил он часто, обращаясь к голубям, слетавшимся к нему за кормом,— вот если б я вас учил дубинкою, как т о т, вы бы все от меня в лес улетели.

И бородачи-патриоты, лавочники и кулаки, слушая такие речи юродивого и догадываясь, на кого он метит, лукаво улыбались в свои бороды и помалкивали: «не ровен час...»

Это был такой же фанатик, как и тот, который сидел теперь в крепости, но только более осторожный и несравненно более опасный. Они знакомы были еще по Москве, когда тот, который сидел теперь в крепо-

сти, еще не был архимандритом и настоятелем Александро-Свирского монастыря, а находился еще в Чудовом монастыре и состоял при лампадах святителя под скромным именем «Алексея-лампадчика». Оба они вхожи были к царевне Марье Алексеевне и водили знакомство с истопником царевны, Иваном Богомоловым, хорошенькая, белокуренькая дочка которого, юная Павочка, была любимицею царевны. При дворе Марьи Алексеевны Фомушка пользовался громадным авторитетом. Слово его, намек, иносказание, даже простое дурачество, понимавшееся как «юродство Христа-ради», принимались как наития свыше, глаголы и деяния пророка. Придворные женщины, для которых странницы Агапеюшки, «своими глазыньками» видевшие «сивилл — девок простоволосых», которые не бросали от себя тени и у которых «в глазах не было мальчиков», были профессорами высших женских курсов, «дворские девки» или фрейлины, заслушавшиеся рассказов о том, как странницы Агапеюшки видели «сиклопесов» на острове «Кикилии», до которого от Соловков «рукой подать», и как эти Агапеюшки своими посохами стучали во «врата адовы» и слышали там за вратами плач, стоны и скрежет зубовный грешников и «чвекот» кипящей смолы, такие придворные особы, патриотки-россиянки, глубоко верили, что Фомушка-дурачок на своей палочке, как «Енох на милоти», летал на небо и беседовал там с самою Марьей Акимовной. Он же, по их глубокому верованию, поймал беса в табакерке безбожного хохла Феофана Прокоповича и, оседлав беса при помощи «двуперстного знамения и трегубой аллилуии», в одну ночь слетал на нем во град Ерусалим, выкупался в Ердань-реке, посидел там на «пупе земли» и «ко вторым петухам» воротился в Москву.

Вот в чем заключалась нравственная сила Фомушки, в бабах. С бабами не мог сладить и сам державный «кормчий» русского государственного корабля: и его железная энергия разбивалась о бабью глупость и неразвитость. Здесь Фомушка был сильнее царя.

— Не учи дубиной, а учи былиной,— говорил он обыкновенно, осуждая крутые меры преобразователя Руси и подразумевая под «былиной» всякие вздорные басни, вроде пойманного в табакерке беса, которым особенно верили бабы, а за ними и их мужья.

— Христос-от и апостолы никого пальцем не тронули, да и солдатушек и пушек у них не было, а поди

на! Весь свет завоевали... А он дубиной-то да пушкой и Сивцева-Вражка не завоевал,— ораторствовал Фомушка уже не перед бабами, а перед бородачами.

— И точно,— соглашались бородачи,— не всегда и бабу плетью возьмешь, а ину пору лаской пуще прошибешь.

— Что правда, то правда,— соглашались другие,— наш Сивцев-Вражек опять отрастил бороды.

И это все были ученики Фомушки, который, проходя Охотным рядом и посыпая горох для голубей, обыкновенно выкрикивал:

Эй вы, купцы, купцы,
Удалые молодцы,
Меряйте — не обмеривайте,
Вешайте — не обвешивайте.

— Ну, без эстово нельзя, человече божий,— отвечали ему вслед охотнорядцы,— не обманешь, не продашь, а мы потом замолим либо нищему копеечку подадим.

Когда до Фомушки дошло известие, что его старого друга, бывшего Алексея-лампадчика засадили в крепость, он тотчас же бросился к царице Прасковье Федоровне. У старой царицы он застал неразлучную с ней Агапеюшку, которая читала ей знакомую уже нам книжку о «сивиллах», о «сиклопесах» и о подобной чепухе.

— А! Здравствуй, божий угодник! — встретила Фомушку царица.— Садись да послушай, что мне Агапеюшка читает об аде.

Фомушка послушно сел на полу.

— Ну, читай, Агапеюшка, сначала,— сказала Прасковья Федоровна.

— «Когда бе ад сотворен? — начала чтица в нос,— понеже и о сем потребно знати. Ад сотворен от божия области в той самый час, егда диавол промыслил противу Бога сести. Где есть ад? Ад есть, его же мы именуем преисподний ад, то есть на конце земли, на некоем месте, иде же смрад и тьма, и никто же от человек живых тамо идти не может...»

— А как же ты, Агапеюшка, говорила, что была там? — перебила чтицу Прасковья Федоровна.

— Я, матушка царица, доходила только до врат адовых,— увильнула продувная баба.

— А! Только до врат? — удовольствовалась ответом царица.

— До врат, государыня.

— А врата были затворены или отворены? — любопытствовала царица.

— Затворены, государыня.

— А какие они?

— Железные, государыня, пребольшущие.

— Ну, читай дальше.

Странница продолжала тем же гнусавым голосом:

— «Каков есть ад? Ад есть версе узок, а вдоль широк и глубок, и никто же весть меры его, токмо Бог един, яко и книги поведают нам, иже некии души, от века тамо впадши, не обретоша еще дна...»

— Царица небесная! — всплеснула руками Прасковья Федоровна.— Так и не долетели до дна?

— Не долетели, государыня.

— И все летят, летят?

— Все летят, матушка царица.

— Слышишь, Фомушка? — обратилась царица к юродивому.

— Слышу, матушка,— отвечал последний,— ох! полетят туда многие, многие... И я знаю, кто полетит туда, ох, знаю!

— А кто, Фомушка? — обратилась царица к юродивому.

— Не велено сказывать, не могу,— уклончиво отвечал юродивый.— А у меня есть до тебя дело, государыня.

— Какое?

— Да об Алексее-лампадчике.

Прасковья Федоровна и руками замахала.

— И не говори! И не говори! Сам-от так и рвет и мечет... на своей-де племяннице женат, пишет ему Алешка.

— Что ж! Алексей прав,— возразил юродивый.

— Да и другой Алексей тоже был прав, а что от него осталось?

Фомушка только рукой махнул.

XII. НЕЧАЯННАЯ ВСТРЕЧА

После этого-то неудачного визита мы и видели юродивого на Неве, когда он, поразив ледоколов своими поступками и щедростью, направился к крепости.

Он надеялся повидаться с заключенным. Ему хотелось укрепить его дух в последние минуты, мало того, внушить ему дерзость: с высоты эшафота, «с колеса» крикнуть во всеуслышанье то, что колодник написал в допросе, в тайной канцелярии, против самово...

У ворот крепости стоял часовой.

— Здравствуй, божий ратничек,— обратился к нему юродивый.

— Уходи, дяденька, здесь нельзя разговаривать,— сказал часовой.

— Я не с тобой разговариваю, а с Богом,— отвечал Фомушка и сунул в руку часовому несколько монет.— Господи! Помилуй своего ратничка, пошли ему здоровья и поскорее воротиться в родную сторонушку.

Часовой видимо был тронут.

— Божий человек... святая душа,— бормотал он про себя.

— Гулю! Гулю! Гулю!—звал юродивый голубей, бросая на землю зерна.

Голуби гурьбой летели на корм.

В это время к крепости приближались две чернички, одна старая, другая совсем молоденькая. Юродивый пристально вглядывался в них, и на лице его появилась не то радостная, не то грустная улыбка. Он пошел им навстречу.

— Беленькая Павочка!—тихо, ласково сказал он.

— Фомушка! Голубчик!—радостно вскрикнула молоденькая черничка и бросилась целовать руки юродивого.

— Дитятко мое! Горлица белая!—сквозь слезы лепетал старик.— Почто пришла в экое страшное место?

Юная черничка залилась слезами.

— Знаю, знаю, дитятко бедное!—говорил старик со слезами на глазах.

Павочка продолжала плакать.

— Хоть на стены, говорит, дай мне посмотреть, где он, горемычный, томится,— пояснила старая черница.

Павочка отняла руки от заплаканного лица и с ужасом посмотрела на высившиеся впереди стены.

Юродивый с грустью любовался ее прелестным личиком с совершенно детским выражением в ясных, лучистых глазах.

— Вот и тебя, дитятко, привел Господь видеть в ангельском чине,— говорил старик,— а я знавал тебя еще махонькой... Помнишь?

— Помню,— смахнула слезу юная черничка.

— Там, у царевны Марьи Алексеевны в покоях, в куклы игрывала.

Павочка грустно покачала головой.

— Что ж ему будет? — спросила она, указывая на крепость.

— Алексею-то?

— Да, родной.

— А Богу ведомо... Только сказывают, сам-от зело сердитует.

— А за что?

— Да Алексей корит ево, будто он женат на своей племяннице.

— Как на племяннице!

— На племяннице, горлица моя, да еще на духовной.

— Как же это так? Я не разберу, в толк не возьму,— говорила Павочка.

— А как же, горлица! Когда ее-то крестили в русскую веру, так восприемницей ее от купели была ево родная сестра, царевна Наталья Алексеевна.

— Ну и что ж?

— Значит, горлица, коли ево сестра ей мать духовная приходится, то брат этой матери кто ей будет?

— Отец, что ли?

Юродивый ласково улыбнулся: «Ох, деточка невинная, голубица чистая!»

— Брат твоего отца кто тебе будет? — спросил он.

— Брат отца? Ну, дядя.

— Ну, и он ей дядя выходит, да не плотской, а духовный.

Старая черница укоризненно покачала головой.

— Уж коли кум на куме не может жениться, так как же на племяннице-то? — с ужасом проговорила она.— Владычица! До чего люди дошли!

— Боже мой! Чем же Алексей-то виноват, что тот женат на своей племяннице? — в тоскливой тревоге спросила Павочка.

— Так, так, моя ласточка,— качал головой юродивый.— Алексей, слышь ты, виноват тем, что знает про это.

— Так все это знают.

— Знают, птичка, да помалкивают. Ты видела в Чудовом образе на стене: у одного человека сучец в глазу, а у другого бревно?

— Видела.

— Ну, Алексей-то, видно, и забыл про этот образ.

— А что? — недоумевала юная черничка.

— А то, что не токмо что указал ему на бревно в его глазу, а и вынуть то оное бревно умыслил.

— Боже мой! — опять заплакала Павочка.— Что ж ему будет за это?

— Венец ангельский, птичка.

— Как венец?

— Да, венец... И тот венец дороже царского венца.

Старая черница набожно перекрестилась, а юная вскрикнула от ужаса.

— Боже! — рыдала она.— И неужто царь не смилуется над ним?

Юродивый только рукой махнул.

— А ежели я сама дойду до царя, упаду ему в ноги? — плакалась Павочка.

— Не поможет... Что ты ему?

— Да вить Алексей мой духовный отец.

— Ну, а сама-ту ты кто, птичка?

— Как кто?

— Да ты, птичка, теперь в ангельском чине обретаешься али нет?

— В ангельском, точно: черничка я.

— А вашу сестру, черничек, да и чернецов он и на версту к себе не допущает: святоши, говорит, пустосвяты. Бога обманывают, говорит, да людей морочат, чтоб жить на их счет и ничего не делать.

Старая черничка укоризненно покачала головой.

— Ох, грехи, грехи... А кто за них, за мирских людей, Богу молится, как не мы: без наших молитв, может, и город этот давно бы провалился за грехи людские.

— Это точно, матушка,— согласился юродивый,— вот в этой моей палочке, может, благочестия больше, чем во всем Питере.

— Господи! Что ж нам делать! — с отчаянием воскликнула юная черничка.

— Как что, птичка беленькая? Радоваться! — с силою сказал юродивый.

— Радоваться!.. Что ты, дедушка! — изумленно посмотрела на него Павочка.

— Да, радоваться... Пред сенным ковчегом, скакаша, играя, людие же божии святии...

И Фомушка начал скакать, семенить ногами и приговаривать: «Пред сенным ковчегом, скакаша, играя...»

В небе ангелы поют,
Венец Лешеньке куют,
Да не просто золотой —
Самый ангельский такой,
Потом Лешеньку возьмут,
В райско место поведут
И посадят в месте том
Рядом с самим со Христом,
С апостолом со Петром...

Снег хрустел под загрубелыми, как у дворовой собаки, босыми ногами бесноватого, седые волосы трепались из стороны в сторону, точно белая куделя, а по морщинистому лбу выступали капли пота... Этими прыжками бесноватого, этою дервишскою пляскою и нелепыми стихами о «райском месте», об «ангельских венцах» и подобной дичью Фомушка и электризовал всегда свою аудиторию, из которой и выходили такие фанатики, как Алексей-лампадчик.

И старая, и юная чернички с благоговением смотрели на возмутительную сцену скаканья по снегу босыми ногами дикого старика, а нелепые причитанья его, видимо, ободрили их.

«Мученический венец получит Алешенька... в райско место войдет... со Христом рядышком сядет...»

— Смотрите! Смотрите! — вдруг, перестав плясать, торопливо заговорил юродивый.

— Что такое, дедушка? — спросила Павочка.

— Вон из дворца выходит.

— Кто такой?

— Великан, видите? Это сам...

Из небольшого дома, построенного у Невы и служившего первое время дворцом для неприхотливого преобразователя России, действительно, выходил великан-человек с саженной дубинкою в руке. С ним вышел кто-то другой, поменьше. Стоявшие у дома часовые взяли на караул.

Великан повернул к крепости.

— Сюда идет, — шепнул юродивый, — скорей уйдем... Сказано бо: «Удалися от зла и сотвори благо...»

Все трое торопливо спустились к Неве. Но царь узнал издали юродивого и погрозил ему дубинкою.

— Грози, грози, — бормотал юродивый, — только я тебе не Филипп, а ты не Грозный [13].

Все осторожно оглядывались на крепость, пока великан не скрылся в крепостных воротах.

— Куда же мы теперь, дедушка?— спросила Павочка, останавливаясь.

— А вы куда шли?— спросил Фомушка.

— К нему, к Алексею: я думала хоть в оконце увидеть ево, света.

— И не думай, а лучше толкнемся к благочестивой царице Прасковье Федоровне, святая душа! Может из жалости к тебе, сиротке, она и сделает что-либо.

— Так веди меня к ней, родной,— встрепенулась юная черничка.

XIII. СТРАННИЦА АГАПЕЮШКА — УЧЕНАЯ ЖЕНЩИНА ДРЕВНЕЙ РУСИ

При входе в покои престарелой царицы уже из другой комнаты слышно было, что там всезнающая Агапеюшка продолжала свою ученую деятельность — читала лекцию, которая так занимала добродушную и скучающую старушку.

— «Како сие бывает,— слышалось гнусливое чтение странницы,— еже земля зевает?»

— Ах, мать моя! Так и земля зевает, не я одна! — послышался возглас Прасковьи Федоровны и затем громкий зевок.— Ах, как сладко зевается под твое чтение, Агапеюшка.

В это время на пороге показался юродивый с черничками — юродивые и черницы всегда имели свободный доступ к богомольной царице.

— А, это ты, Фомушка, с черничками... Ну, садитесь, дайте маленько дослушать,— ласково говорила Прасковья Федоровна,— уж так-то дивно читает эта мастерица, Агапеюшка: земля, слышь, как люди, зевает...

И снова сладкий, продолжительный зевок.

Юродивый знал, что царицу нельзя перебивать, когда она чем увлечена, а потому и сел, по обыкновению, на пол, а чернички поместились у двери на стульях.

— Ну, Агапеюшка, читай.

Чтица продолжала:

— «Слыши и разумей. Земля есть сотворена от божия области, подобна телу человеческому, понеже каменье имеют место костей, коренье древес и трав

вместо жил, древеса и травы — вместо власов. И егда внидут ветры под земные скважни и выразитися оттуда паки не могут, тогда терзают землю и колеблют, еже от великия силы преисподних ветров сице земля отверзается и зевает».

— Чудеса Господни! Значит, и я от ветров зеваю,— добродушно заметила Прасковья Федоровна.

— От ветров, матушка царица,— подтвердила авторитетно ученая лектриса.

— Ну, ин что дальше? — не унималась любознательная старушка.

— Сейчас, матушка. «Поведь ми о западном крае, якоже глаголется земля сикилийская. В той же украйне, под землею, по правде, зело премноги скважни, и тамо родится жупел, сиречь сера горячая от огня, и от тоя серы горячия, разумей, яко в том самом месте, на западе, под тою землею смердливою дом, иже есть ров смертный, ад, и то есть правда, понеже в том крае ничто же видимо благо, но токмо зловоние серы смердит».

— Это в Сикилии-то?

— В Сикилии, матушка царица.

— И ты там была?

— Была, матушка.

— И дюже смердит?

— Дюже... Ох, как смердит!

— Слышишь, Фомушка?

— Слышу, матушка царица.

— Ну, и что еще там в этой Сикилии? Читай.

— Читаю, государыня. «Поведают морстии корабельницы, еже слышится близ тоя земли сикилийския — в море аки собаки лают...»

— Собаки в море!

— Собаки, матушка. «То место нарицается Силла; в том самом месте той вышереченный ад, в нем же великий шум, и смущение, страх, ужас и крик презельный, еже слышат корабельницы и поведают, аки бы там лаяние под водою: по правде, в том самом месте пси, сиречь бесове зли и скверни».

— Ахти, страсти каки! — заволновалась Прасковья Федоровна.— И ты все это слышала, Агапеюшка?

— Слышала, государыня.

— Это когда ж ты там была?

— Да как в Соловки ходили к преподобным Зосиме-Савватию.

— А там разве близко до Сикилии?

— Близехонько, рука подать.

— О-ох, то-то хорошо вам, ученым, Агапеюшка, все видели, все знаете; а я, грешная, дальше Сергиевой лавры не была. А уж об тебе, Фомушка, божий человече, и говорить нечего: ты и в Ерусалиме был.

— Был, государыня.

— На бесе ездил?

— На бесе.

— И он не сбросил тебя в Акеян-море?

— А крест на что? Я ево в загривок-то крестом, крестом!

— А он что? Трепещет, поди?

— Трепещет, государыня: для нево крест святой хуже кнута.

— И неужто тебе не страшно было лететь над Акеян-морем?

— Чево бояться, государыня? А крест на что?

Таково-то было в то время миросозерцание большинства лиц, принадлежавших ко двору и даже к царскому семейству. Какая-то плутоватая странница Агапеюшка считалась ученою женщиною и чуть не святою, потому только, что в каком-нибудь раскольничьем скиту ее научили читать «Златый бисер», книгу, наполненную средневековыми бреднями о людях «с песьими головами», о том, что в «Кикилии» (Сицилия) находятся врата адовы и через эти врата слышали «морстии корабельницы», и в том числе Агапеюшка, как там «бесы собаками лают»; что земля «зевает» так же, как и человек; что из рая вытекает река Гангес и приносит иногда из рая райские плоды и т. д.; что на бесе можно верхом ездить или можно поймать его в табакерке хохла Феофана Прокоповича; что Фомушка юродивый сам сидел на «пупе земли», и т. д., и т. д.

И только среди этого ужасающего умственного мрака можно понять все величие, всю гениальность такой личности, какою является в этой темной среде титан среди государей всех времен и народов — Петр, которому приходилось бороться с изуверами и фанатиками невежества, самыми стойкими из всех фанатиков, потому что фанатизм их опирался не на знания, не на убеждения, а на глубочайшее невежество.

Таким фанатиком был и тот, который сидел теперь в крепости и за которого пришли просить старую царицу Фомушка и Павочка.

Когда Агапеюшка приостановилась, чтоб передохнуть, Фомушка заговорил о своем деле.

— А я опять к тебе, государыня, с докукою.

— О чем, Фомушка?

— Да вот она, инокиня Павла,— он указал на юную черничку,— будет оному Алексею, во узы заключенному, дочь духовная: она пришла к тебе, матушка царица, просить за него.

Павочка встала и повалилась царице в ноги.

— Что ты! Что ты, милая! — замахала руками Прасковья Федоровна.

— Государыня царица! Умоли его царское пресветлое величество не казнить Алексея,— плакалась Павочка.

— Как я умолю его, милая, коли он никого не слушает, окромя своего Данилыча [14] да супруги,— жалобно говорила Прасковья Федоровна.— Данилыч-то на меня ноне сердитует за то, что в сердцах я обозвала его намедни пирожником, оладейником, а та...

Прасковья Федоровна остановилась...

— А царица? — плакалась Павочка.

— Она, сама ведаешь, не простит твоему Алексею его провинки: вместо жены он ее в племянницы произвел.

— А Христос за врагов велел молиться,— вставил свое слово юродивый.

— То Христос,— отвечала Прасковья Федоровна и наотрез отказалась ходатайствовать за осужденного.

Павочка ушла, заливаясь слезами.

XIV. НЕЧТО ОЧЕНЬ ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ

23-го февраля 1720 года у Петропавловской крепости, за кронверком, с утра толпится народ. Там, посреди площади, врыт был в землю столб, а вверху столба укреплено было колесо.

Народ давно был знаком с этою нехитрою архитектурною штукою и хорошо знал ее специальное назначение.

— Ково это, дедушка, под орех разделывать будут? — с глупой улыбкой спрашивал детина в рваном полушубке и с корзиной на голове, обращаясь к старичку в черной засаленной скуфейке.

— Да, сказывают, человече, что ноне колесовать будут одново архимандрита,— отвечала скуфейка.

— Как архимандрита? — удивился детина.— За што?

— Да, сказывают, человече, за табун-траву: оный, чу, архимандрит проклятую табун-траву нюхал.

— Какая ж этта, дедушка, табун-трава? — допрашивал любознательный детина.

— А такая есть заморская трава. Богом проклятая, и ее, человече, нехристи нюхают.

— За что же она, дедушка, проклята?

— А за то, человече, что оная трава выросла из брюха Иродиады-плясовицы.

— А кто ж, дедушка, была этта Ирадяда-плясовица? — не отставал любознательный детина.

— Да девка, человече, такая непутящая была у царя Ирода, все плясала да хребтом вихляла.

— Ишь язва! Ну и што ж, дедушка? Плясала этта девка со хребтом, баишь? Ну?

— Ну, и доплясалась, табун-трава у нее из брюха выросла.

— Ах, язва непутевая!

В это время в толпе произошло волнение и послышались возгласы: «Фомушка, Фомушка юродивый на палочке едет! Верхом на палочке! Ахти! Ах!»

Действительно, сквозь толпу, босыми ногами по снегу, пробегал растрепанный, без шапки, старичок, сморщенный, как сушеная лесная груша, всему Петербургу известный юродивый. Он стегал кнутиком свою палку, изображавшую коня, и приговаривал:

— Но-но, лошадка! Но! От Марьи Акимовны гонец едет!

— Слышь ты, человече, что говорит Божий человек? — объясняла скуфейка своему соседу слова юродивого.— От Марьи-де Акимовны гонец пригнал... А кто Марья-то Акимовна? Дщерь преподобных Иоакима и Анны, сама Богородица! Вот и знай ево, Фомушку-то: от самой Богородицы гонцом! Вот так загнул загогулину, от Марьи, чу, Акимовны!

И скуфейка от умиления руками развела. Между тем юродивый, подскакав на палочке к роковому столбу, стал скакать вокруг него, нахлестывая палку и приговаривая;

— Марья Акимовна всем поклон прислала, всем, кто посты соблюдает и проклятой табун-травы ни ртом, ни носом не жрет... Но-но, лошадка! Но!

— Ах, матыньки! — ахали в изумлении бабы.— Божий человек все святое творит, все святое...

А юродивый, сознавая, что производит эффект среди диких зрителей, запрыгал и запел, как всегда, на голос:

Как и наш-ат козел
Всегда пьян и весел,—

юродивый запел якобы глубокомысленную нелепицу своего собственного сочинения:

Эка ноне благодать!
Якобы колесовать —
Будут Лешеньку венчать,
На престол станут сажать,
Венец златой надевать,
Да не просто золотой —
Самый ангельский такой!

Слушатели были в восторге, толпа ахала в умилении... Юродивый между тем, перестав петь и кривляться, вынул из висевшей у него через плечо сумки жареную баранью ногу, стал ее с аппетитом уплетать за обе щеки.

— Ай, батюшки! — встрепенулась баба.— Баранину ест, матыньки, в пост, в пятницу! Ай!

— Фомушка! Што ты! Ноне пост! — крикнул кто-то из толпы.

Юродивый перестал есть и, обратясь к толпе, сказал:

— Мне сам Иван Захарыч дал баранью ногу: на, говорит, Фомушка, ешь на здоровье... Ноне-де будут человечинку кушать, Лешенькино мясцо, а ты, говорит, ешь баранинку.

Толпа пришла в больший восторг.

— А! Каково! Сам Иван Захарыч! — раздавались голоса...— Нну, братцы!

— А кто этот Иван Захарыч, дедушка? — спросил детина скуфейку.

— Али не знаешь, человече? — таинственно отвечала скуфейка.— Иван Захарыч, сын преподобных Захария и Елисаветы, Иван Предтеча, сиречь Креститель! Вон кто ему баранью-то ногу пожаловал...

В это время в толпе прошел говор: «Ведут! Ведут!»

Со стороны кронверка показалась процессия: окруженный солдатами с ружьями, шел арестант. Это был седой старик, гладко обстриженный, с непокрытою головой.

Трудно было в нем узнать бывшего архимандрита Александра. Да это и не был Александр, это был

«расстрига Алексей». Только глаза остались Александровы, те глаза, которые не потупились и не мигнули перед «немигающими очами» Толстого.

Рядом с ним шел дьяк тайной канцелярии, тот дьяк, который в предсмертном бреду старца Кирилла представлялся ему в виде чудовищного «гусиного пера», которое все скрипело по бумаге. Теперь у дьяка в руке был лист, смертный приговор.

Осужденного поставили к столбу.

— Шапки долой! — крикнул дьяк, поднимая вверх лист, и сам снял шапку.

Толпа заколыхалась, снимая шапки и хрустя сапогами и лаптями по снегу.

— «Расстрига Алексей! — громко читал дьяк.— В прошлых годах, в бытность твою в Москве, в Чудове монастыре, простым старцем у чудотворцева гроба лампадчиках, имея ты у себя в келье образ Иерусалимския Богородицы, ханжил и прельщал простой народ, объявляя себя яко свята мужа, и во время приходу того простого народу, которые, не зная истины твоего прельщения, просили у тебя о себе к Богу молиться и давали подаяние, от чего имел ты богомерзкие прибытки, а потом, из того монастыря вышед, жил ты в Москве под церковью Максима Блаженного, и потому, имея у себя помянутый образ, ханжил и простой народ прельщал таким же образом паче первого и получил себе такую богомерзкую мзду, а потом происком своим через некоторых людей отослан ты в Никольский монастырь, что на Перерве, и посвящен в попы, а в прошлом 1716 году...»

Но осужденный не слыхал дальше своего смертного приговора...

В толпе, насунувшейся к месту казни, он увидел двух монашенок. Одна из них была старая, вся покрытая морщинами и сгорбленная. Другая — совсем молоденькая, с детски миловидным бледным личиком и овальными щечками, на одну из которых, выбившись из-под черного монашеского клобука, падала прядь белокурых льняного цвета волос...

Осужденный узнал последнюю: то была его Павочка, любимица царевны Марьи Алексеевны. Он все забыл, и тайную канцелярию, и застенок, в котором он, с вывернутыми из суставов руками, висел на виске два раза, один раз 23 минуты, другой — 20; он забыл все, он только ее видел... Он не слушал, что читал дьяк...

А дьяк читал уже конец смертного приговора:

— «И великий государь указал за те твои вышеписанные зловымышленные вины учинить тебе смертную казнь — колесовать!»

— Павочка! — с невыразимой нежностью и с предсмертной тоскою крикнул осужденный.

Молоденькая черничка вздрогнула. Обезумевшая от ужаса и горя, она протянула было к нему руки и, как подрезанный колос, упала без чувств навзничь, обнажив при падении свои роскошные льняные волосы...

— Ангел упал! Ангел беленький! — вскричал юродивый, подбежав к упавшей и став около нее на колени.

Дальше произошло нечто очень возмутительное...

XV. «У НЕГО В ГОСТЯХ»

Весна в Петербурге в 1720 году выдалась необыкновенно ранняя и теплая. Летний сад, любимое детище Петра Алексеевича, подкрепленный посадкою новых деревьев с осени предыдущего года, блистал такою яркою и чистою зеленью; дорожки его, обсаженные куртинами редких цветов, семена которых присланы были государю из Парижа, из садов Тюльери и из Версаля, смотрели так красиво, что Петр Алексеевич, любуясь творением рук своих, нередко говорил царице Екатерине Алексеевне:

— Не знаю, приведет ли Бог дожить нам с тобою, а детки наши свою Версаль будут иметь в моем парадизе.

Радовал государя и Петровский остров, где у него был небольшой домик, в котором он любил заниматься летом. На Петровском острову у него также разведен был садик, весь пестревший цветами тех же сортов, какие присланы были государю из Версаля. Таких цветов ни у кого не было в Петербурге. По крайней мере, все так думали.

Но если бы царю Петру Алексеевичу, в прелестное утро 20 мая 1720 года, пришлось случайно находиться в самой глухой части одного из петербургских островов, того именно, который теперь называется Елагиным, то на том конце этого острова, на той именно стрелке, которая впоследствии была

расчищена и превращена в аристократический pointe и откуда доселе петербургская публика летом и в особенности весною, до переезда на дачи и за границу на воды, привыкла любоваться закатом солнца якобы в море,— то государя поразило бы там нечто неожиданное.

Вот что он увидел бы там:

На самом конце стрелки, на небольшой полянке, закрытой со стороны острова кустарником, возвышается небольшой, продолговатый холмик, красиво обложенный зеленым дерном, и на этом холмике роскошно распустились цветы, те именно цветы, семена которых были выписаны государем из Тюльери и Версаля... Цветы посажены вдоль и поперек холмика так, что образуют собою прелестный осьмиконечный крест, эмблему древней православной Руси.

Из-за кустарника показывается человеческая фигура, вся в черном, в одеянии чернички, медленно подходит к зеленому холмику и опускается на колени. Наклоненного лица ее не видно, она молится, не поднимая головы, долго молится. Но вот, заметно, плечи ее и все тело начинают вздрагивать, судорожно, конвульсивно вздрагивают. Она плачет, горький, безутешный, должно быть, этот плач.

Кто же плачет и над кем?

Но вот из-за тех же кустарников показывается сгорбленная фигура старика без шапки, с сумками через оба плеча. В руках у старика длинный посох. Он тихо подходит к зеленому холмику.

— Павочка! — тихо и ласково говорит он.— Мир вам, тебе и ему.

Стоящая на коленях плачущая женщина вздрагивает и поворачивает голову. Из-под чернеческого клобука глянуло молоденькое, беленькое личико, все заплаканное.

— Ты упредила меня, старого, дочушка милая,— говорит пришедший.

Плачущая женщина встает и подходит к пришедшему.

— Благослови меня, батюшка,— говорит она, протягивая руки.

Пришедший благословляет ее.

— А теперь помолимся вместе во имя Того, который рек: «Иде же еста два или три во имя Мое, ту Аз посреди их»,— говорит он.

И оба опускаются на колени для молитвы. Долго длится их молитва, долго губы их шепчут неслышные мольбы.

А вокруг них столько света, столько жизни! Яркая зелень каждым лепестком, каждым стебельком своим кричит о счастье, о блаженстве жизни. Слышится любовный весенний шепот деревьев. Тут же слышится тихий, любовный шепот прибоя реки, стремящейся в холодные, но вечно живые объятия моря. Где-то вблизи кукует кукушка, кукует без конца, как бы провозвещая бесконечную жизнь природы, вечное торжество бытия над небытием. Где-то за Невкой, на Крестовском, заливается соловей, как будто бы для него никогда не существовало зимы с ее морозами, вьюгами и снегами и никогда не будет существовать. А сколько жизни и красоты в этих цветах на зеленом холмике!

А они ничего этого не видят и не слышат! Их мысли и сердца там, а где там, они сами не знают... Их мысли и сердца с тем, кого уже нет с ними; а где он — кто ж это знает!.. А они думают, что знают... Безумные!..

Они кончили молитву и встают.

— Ему там хорошо теперь, Павочка,— говорит старик, блаженно улыбаясь.

— Хорошо-то, хорошо, родной, а все ж надо бы было ему еще пожить с нами,— горестно говорит Павочка.

— Он там в ангельском венце,— утешает старик.

— А все бы ему еще жить да жить...

— Да он теперь с нами, милая, вот тут, около своей могилки... Ноне день его ангела, преподобного Алексия, митрополита московского, при чудотворных мощах которого он состоял лампадчиком...

Павочка опять заплакала. Она вспомнила, как познакомилась с ним, как полюбила его...

— Не плачь, девынька,— утешал ее юродивый,— он с нами ноне, его душенька витает около нас... Вон я вижу его...

— Где? Где? — страстно заговорила юная черничка. — Покажь мне его, дедушка! Покажь, родной! — говорила она, хватая за руки юродивого.— Покажь!

— Да я вижу его умными, девынька, очами,— успокаивал ее Фомушка.— Вон он, светик, в златом венце, на тебя любовно глядит, тебя благословляет, вон он...

— О! Да где же! Я не вижу! — отчаянно ломала руки бедная девушка.

— Погоди, девынька, зело млада ты еще, а старенькою будешь, увидишь...

Она в отчаянии опустила руки... Хорошо утешение!

А кукушка все кукует, все кукует о вечной жизни, но не там где-то, а здесь вот, среди этой зелени, под этим ласкающим солнцем. А соловей все заливается, позабыв и зиму, и все ее невзгоды...

И вот среди такого расцвета и мира природы, среди ее вечной красоты горе чувствуется острее, невыноснее. И Павочка чувствовала его всем своим изболевшим молодым сердцем.

— Я хочу теперь его видеть, вот здесь, сейчас! — рыдала она.— Ты обещал мне это, ты сказал, что он придет сюда.

— Он и пришел, деточка,— увертывался юродивый,— мы у него в гостях.

— О! Зачем ты меня обманывал! Зачем!

И она бросилась на могилу фанатика, целуя зеленый дерн и не видя, как от ее объятий и поцелуев мялись прелестные «царские» цветы, тайна нахождения которых на могиле фанатика была известна только Фомушке-юродивому да его поклонницам «дворским девкам», молоденьким фрейлинам, еще не зараженным новыми веяниями...

КОММЕНТАРИИ

Тексты печатаются по Полному собранию исторических романов, повестей и рассказов Даниила Лукича Мордовцева. Пг., Издательство П. П. Сойкина, 1914, с соблюдением некоторых особенностей орфографии и пунктуации автора.

ВЕЛИКИЙ РАСКОЛ

Исторический роман
из эпохи царствования Алексея Михайловича
(с. 45—422)

Впервые — Русская мысль, 1880, № 1—8.

[1] Явления комет в древности наводили суеверный страх. Кометы считались предвестниками исторических событий бедственного характера.

[2] «У нас верят, что если заяц или белка перебежит дорогу, то ожидай неудачи или какого-нибудь несчастья».— Афанасьев А. Н. Древо жизни. М., Современник, 1982, с. 155.

[3] *Хартейный свиток* — древняя рукопись на пергаменте.

[4] *Котошихин* Григорий Карпович бежал за границу по другим причинам. Еще в 1661 г., прикомандированный к посольству князя Прозоровского и Ордина-Нащокина для заключения Кардисского мира со Швецией, Котошихин вступил в тайную связь со шведским комиссаром Эберсом и за денежное вознаграждение передавал ему копии с русских секретных документов. В 1664 г. Котошихин послан для участия в переговорах с поляками. Сменивший Прозоровского и Ордина-Нащокина Ю. А. Долгорукий потребовал от Котошихина доноса на его предшественников. Не желая выполнить это требование и опасаясь мести Долгорукого, Котошихин бежал в Польшу, а затем — в Швецию, где он написал сочинение «О России в царствование Алексея Михайловича».

[5] Петр, утвержденный в 1305 г. митрополитом всея Руси, впервые обосновался в Москве, поддерживал Юрия

Долгорукого и Ивана Калиту в их борьбе за объединение русской земли вокруг Москвы. По инициативе митрополита Петра был сооружен в Москве кафедральный собор Успенья Богородицы. Умер в 1326 г. Причислен к лику святых. Память — 21 декабря.

[6] Никон хотел основать в России «частный национальный папизм» и подчинить себе власть царскую. Патриарх, по мнению Никона, есть образ самого Христа, а потому он обладает высшей законодательной властью в государстве. Властолюбивые позиции Никона вызвали недовольство бояр — Стрешнева, Никиты Одоевского, Трубецкого и др. Они стали убеждать царя, что Никон умаляет самодержавную власть. Алексей Михайлович согласился с боярами.

[7] *Трубецкой* Алексей Никитич (ум. в 1680 г.) — замечательный дипломат эпохи XVII в., сыгравший большую роль в деле воссоединения Украины с Россией. Талантливый военачальник.

[8] В 1664 г. Алексей Михайлович решил пригласить вселенских патриархов в Москву для суда над Никоном.

[9] *Паисий* Лигарид (1610—1678) — митрополит газский. В 1635 г. закончил греческую коллегию в Риме со степенью доктора богословия. Разделял политические взгляды папы Урбана III, заинтересованного в распространении католицизма на Востоке. В 1644 г. изгнан из Константинополя патриархом Парфением II, энергично боровшимся с латинским влиянисм. Живет в Молдавии, готовит к изданию на румынском языке Кормчую книгу. В 1651 г. посвящается в монахи в Иерусалиме, а в 1652 г. назначается митрополитом газским, но в своей митрополии не появляется, живет в Валахии, участвуя в дворцовых заговорах и интригах. Здесь он получает предложение патриарха Никона принять участие в церковных реформах. Но только в 1662 г. Паисий прибывает в Москву в самый разгар ссоры между Никоном и Алексеем Михайловичем. Паисий поддерживает царя и бояр. Родион Стрешнев обращается к нему с тридцатью вопросами по поводу поведения Никона. В специальной записке Паисий осуждает Никона. Благодаря своей учености он добивается влияния на царя, по совету Паисия Алексей Михайлович решает пригласить восточных патриархов для суда над Никоном.

Позднее, в 1668 г., в Москву пришла весть, что Паисий все это время пользовался титулом митрополита незаконно, что он давно лишен кафедры и проклят, как еретик и сторонник папской власти. Но это не нарушило доброго расположения Алексея Михайловича. Напротив, он добился прощения

Паисия и разрешительной грамоты на этот счет от иерусалимского патриарха Нектария.

Паисий умер в Киеве, утратив всякое влияние в Москве. По некоторым данным, он был посвящен в Риме в священнический сан и ежегодно получал от папы тайное жалование, что не мешало ему в Москве притворяться православным. Равнодушный к вере и нравственности, Паисий был падок на внешние почести и материальные блага.

[10] *Иосиф* (1598—1671) — митрополит астраханский и терский. Убит казаками Васьки Уса, оставленного в Астрахани Стенькою Разиным.

[11] *Павел* посвящен в митрополиты в 1664 г.; во время служения в митрополичьем сане трижды был местоблюстителем патриаршего престола. Человек образованный, близкий друг Симеона Полоцкого, занимался исправлением перевода Библии, возглавляя ученое общество, располагавшееся в его Крутицком подворье, знаменитом богатейшей библиотекой. Провел большую работу по исправлению церковного пения.

Иоаким (1620—1690) — из рода можайских дворян Савеловых; в 1664 г. стал архимандритом Чудова монастыря и вошел в близкие отношения с царем. 26 июля 1674 г. был возведен на патриарший престол. Добился неподсудности лиц духовного сана гражданским властям. Вел решительную борьбу с расколом.

[12] *Марья Ильинична* (урожд. Милославская) — первая супруга царя Алексея Михайловича. Отличалась благотворительностью и религиозностью. Имела 13 детей. Скончалась 3 марта 1669 г.

[13] *Дискос* — блюдо со священными изображениями, употребляемое при обряде причастия.

[14] *Полоцкий* Симеон (1629—1680), церковный деятель и писатель. Родился в Белоруссии, учился в Киево-Могилянской коллегии, принял монашество и служил дидаскалом братской школы в Полоцке. В 1664 г. был приглашен Алексеем Михайловичем в Москву для обучения молодых подьячих тайного приказа. Сошелся с Паисием Лигаридом и выполнял его поручения, требовавшие специальных познаний и бойкого пера. По рекомендации восточных патриархов, приехавших в 1666 г. в Москву для суда над Никоном, выступил перед царем с речью о необходимости усилить образовательные начинания в государстве. По поручению собора 1666 г. составил опровержение челобитных раскольников Лазаря и Никиты. В 1667 г. этот труд по желанию царя и собора был напечатан под заглавием «Жезл правления на правительство

мысленного стада православно-российской церкви...». Но высокопарная ученость и высокомерное отношение к противникам не только не способствовали успеху этой книги, но вызвали еще большее недоверие и ожесточение со стороны ревнителей «древнего благочестия». К тому же в труде этом сказывалась прямая зависимость от западной богословской традиции.

С 1667 г. Полоцкому поручается воспитание царских детей. Для них он пишет «Вертоград многоцветный» (сборник стихов и дидактических поэм), «Житие и учение Христа Господа и Бога нашего», «Книгу кратких вопросов и ответов катехизических». В «Венце веры кафолической» Полоцкий широко использует труды западных богословов — блаженного Иеронима и Августина.

Полоцкий утвердил в Москве традицию живой церковной проповеди. Им написаны также две комедии для зарождающегося театра — «Комедия о Навуходоносоре царе, о теле злате и о трех отроцях в пещи не сожженных», «Комедия притчи о блудном сыне». Кроме стихотворного переложения Псалтири (1680), опубликовал книгу собственных стихов «Рифмологион».

Явился в Москве проводником западных идей, воспринятых в преобразованной Петром Могилой Киевской коллегии. Словом и делом ратовал за распространение образования, обогащая московскую книжность почерпнутыми в Киеве знаниями из западных источников.

[15] В 1661 г., по некоторым историческим данным, Разин отправился на богомолье в Соловецкий монастырь и по пути посетил Москву. Встреча Степана Разина с Никоном — плод авторской фантазии.

[16] Во дворе первосвященника Каиафы и его тестя Анны (Анана) собрались на совет и приняли решение убить Христа его враги (Евангелие от Луки, III, 2; от Иоанна, XVIII, 13, 24).

[17] *Мария Египетская* — преподобная VI в. В молодости была блудницею. Однажды присоединилась к паломникам, шедшим в Иерусалим, обратилась в христианскую веру и 47 лет жила в покаянии в заиорданской пустыне.

[18] Михаил Алексеевич *Ртищев* был приближенным Алексея Михайловича и управлял приказом новой чети. Его старший сын Федор Михайлович Ртищев (1625—1673) — крупный общественный деятель XVII в. Сперва он жил отшельником в двух верстах от Москвы и занимался благотворительностью, раздавая бедным свое имущество. Алексей Михайлович приблизил Ртищева к себе и возвел его

в ранг постельничьего, а потом заведующего соколиной охотой. Пользуясь покровительством царя, Ртищев построил на месте своего бывшего имения Спасопреображенский монастырь, открыл при нем училище, где вызванные из Киева учителя-монахи обучали языкам славянскому и греческому, риторике и философии. Это училище, переведенное в 1685 г. в Заиконоспасский монастырь, явилось зерном Славяно-греко-российской академии.

Младший брат Ртищева, тоже Федор Михайлович, служил при государевом дворе чашником и стольником.

[19] *Никита* (Константинович Добрынин) *Пустосвят* — известный расколоучитель. При патриархе Иосифе вместе с Аввакумом, Лазарем, Стефаном и др. участвовал в исправлении печатных книг. Однако при Никоне в напечатанных им книгах нашли новые ошибки и ввели новые исправления. В 1659 г. Никита прибыл в Москву с доносом на своего архиепископа Стефана, совершавшего богослужение по новопечатным «никоновским» книгам. Стефана оправдали, но Никита не смирился и в 1665 г. представил «Челобитную». Ее опровергали Паисий Лигарид и Симеон Полоцкий. В 1666 г. «Челобитная» была прочитана на соборе и приведены ее опровержения. Никита не согласился с ними и в бранных словах уличал архиереев в невежестве. Тогда его отлучили от церкви и заточили в темницу Угрешского монастыря. Никита просил о прощении, и 26 августа 1667 г. по приказу царя был освобожден, но без возвращения сана. Позднее, в 1682 г., когда раскольники, опираясь на стрельцов, решили восстановить «старое благочестие», Никита оказался главой церковного диспута в Грановитой палате. На следующее утро по приказу царевны Софьи участники диспута были арестованы, и Никита казнен на Лобном месте. Но его товарищи тотчас после казни собрали останки мученика и похоронили в Гжатске Смоленской губернии. Раскольники считали Никиту «столпом правоверия».

[20] *Мелетий* — епископ антиохийский (ум. в 381 г.), получил этот сан в разгар арианских смут и в течение всей жизни вел непримиримую борьбу с ересью. На втором вселенском соборе он был избран в председатели, но внезапно скончался.

Мелетий особо почитался старообрядцами: они видели подтверждение своего учения о двоеперстии в том, что в речи при вступлении на антиохийскую кафедру Мелетий «сначала показал три перста, а потом, два согнув, оставил один». Но в действительности Мелетий не собирался преподать наставление о перстосложении, как считали раскольники, а развивал мысль о троичности лиц во едином божестве.

[21] *Лазарь* — известный расколоучитель, священник г. Романова. При патриархе Иосифе вместе с Аввакумом исправлял церковные книги и был устранен от дела Никоном. За обличение Никоновых новшеств был сослан в Тобольск. Незадолго до приезда восточных патриархов его вернули в Москву. В 1666 г. он представил собору свою «Челобитную». Она была осуждена, а Лазарь предан анафеме. Но упорный раскольник продолжал свои обличения, за что ему отрезали язык и сослали в Пустозерск. Здесь он написал «Щит православия» и «Духовное дело святейшего патриарха». Был сожжен вместе с Аввакумом, Федором и Епифанием в 1681 г.

[22] *Велиар* — библейское наименование темной космической силы, олицетворяющей всяческое бесчестие и беззаконие. Протопоп цитирует здесь Второе послание к Коринфянам (VI, 14, 15).

[23] *Патмос* — один из Спорадских островов, куда был сослан апостол Иоанн и в одной из пещер имел откровение, составившее содержание Апокалипсиса — книги, заключающей Новый завет.

[24] *Филипп* (в миру Федор Степанович Колычев; 1507—1569) — митрополит московский и всея Руси, протестовавший против опричнины и задушенный по указанию Ивана Грозного Малютой Скуратовым. В 1652 г. царь Алексей Михайлович по совещании с патриархом Иосифом и всем освященным собором определил перенести в Москву мощи св. Филиппа. В Соловецкий монастырь, где они хранились, было направлено посольство из светских и духовных лиц во главе с Никоном, тогда митрополитом новгородским. 9 июля 1652 г. мощи были доставлены в Москву и погребены в большом Успенском соборе.

[25] *Брюховецкий* Иван Мартынович — с 1663 по 1668 г. гетман левобережной Украины, в сентябре 1665 г. прибыл в Москву со свитою в 535 человек и предложил царскому правительству несколько добавлений к старым договорным статьям, регулировавшим отношения Украины с Россией. Все сборы податей теперь поступали в государеву казну, а потому на Украину были направлены многочисленные царские чиновники-воеводы, в том числе и в вольное Запорожье. Эта мера вызвала резкое недовольство украинского народа, усилившееся после Андрусовского договора России с Польшей (1667), которым Украина была поделена между Москвой и Польшей, а Киев отдавался полякам. Тогда гетман правобережной, польской части Украины Дорошенко, убедившись в невозможности объединения Украины под

польской или московской властью, решил обратиться к Турции. Брюховецкий почувствовал себя в изоляции и вынужден был начать переговоры с Дорошенко, чтобы отдать всю Украину в подданство Турции и изгнать московские власти из левобережной Украины. 7 июля 1668 г. войско Дорошенко встретилось с войском Брюховецкого на Сербинском поле. Воины Брюховецкого с криками: «Мы за гетманство Брюховецкого биться не станем!» — перешли на сторону Дорошенко. Затем толпа казаков ворвалась в шатер и растерзала Брюховецкого.

[26] *Арсений Грек* по распоряжению царя Алексея Михайловича учредил в 1649 г. школу, в которой русское юношество обучалось греческому и латинскому языкам. Но, заподозренный в латинстве, Арсений был сослан на Соловки. Когда в 1652 г. на патриаршую кафедру вступил Никон, нуждавшийся в образованных людях, он вернул Арсения в Москву и привлек к исправлению богослужебных книг. Против этого восстало общественное мнение духовенства, знавшего, что Арсений был сослан в Соловки за ересь.

[27] *Зосима* и *Савватий* — основатели Соловецкого монастыря (1429), причисленные к лику святых русской православной церкви.

Герман преподобный соловецкий, по кончине Савватия (1425), подвизался в Соловках с преподобным Зосимою. Оставил записки о Зосиме и Савватии, пользуясь которыми Досифей составил житие Зосимы и Савватия.

[28] *Питирим* во время суда над Никоном являлся одним из злейших врагов и грубейших обвинителей патриарха, надеясь после его свержения занять патриарший престол. Но ему это не удалось: патриархом был избран Иоасаф, и только после его смерти Питирим стал патриархом в июне 1672 г., а в апреле 1673 г. он скончался.

[29] *Афанасий,* архиепископ александрийский, был активным обличителем арианской ереси. В 336 г. осужден на изгнание и, по бездоказательным наветам своих противников, сослан в Трир.

Григорий Богослов в 379 г. был назначен епископом константинопольским для укрепления в столице Византии православия. Но козни ариан заставили его покинуть Константинополь и удалиться на родину в Назиану, где он и умер в 390 г.

[30] *Бутурлин* Василий Васильевич — окольничий царя Алексея Михайловича, в 1655 г. соединился в Белой Церкви с украинскими казаками и 18 сентября одержал блестящую победу над поляками, пленив при Солнигородке коронного

гетмана Потоцкого. Затем, вместе с Богданом Хмельницким, взял большую контрибуцию с городов Львова и Замостья. На обратном пути отразил набег крымских татар. Умер в 1656 г.

[31] *Павел* — епископ коломенский, единственный из иерархов русской церкви, во время возникновения раскола принявший сторону старообрядцев. С самого начала он был противником реформаторской деятельности Никона и другом протопопа Иоанна Неронова, одного из вождей раскола. Свою открытую приверженность к старине Павел высказал на московском соборе 1654 г., настаивая, чтобы церковные книги были оставлены в прежнем виде. И хотя он подписался под определением собора о необходимости исправления книг, но сделал оговорку, в которой отрицал возможность изменения правил о поклонах. Никон лишил его епископской кафедры и сослал в заточение, по одной из версий, в новгородский Хутынский монастырь, где Павел был убит сподручниками Никона. Но Семен Денисов в «Винограде Российском» утверждал, что Павел был сослан в Палеостровский монастырь, откуда переведен в Новгород и сожжен в срубе. Аввакум тоже подтверждает факт сожжения Павла.

[32] См. примеч. 9.

[33] *Матвеев* Артамон (Артемон) Сергеевич (1625—1682) — ближний боярин царя Алексея Михайловича. В 1642 г. причислен ко двору с чином стряпчего, в 1643 г. произведен в стрелецкие головы, в 1653 г.— в головы московских стрельцов. На Украине проводил политику присоединения украинцев к России. Расходился во взглядах с начальником посольского приказа А. Л. Ордин-Нащокиным, который считал Малороссию «великой для государственной казны обузой». Матвеев же видел в воссоединении Украины с Россией «прицепление естественной ветви к ее историческому корню». Борьба закончилась поражением Нащокина. В 1662 г. Матвеев участвовал в подавлении так называемого «медного бунта» в Москве. В 1671 г. он занял должность «оберегателя посольских дел». В том же году царь Алексей Михайлович вступил во второй брак с воспитанницей Матвеева Н. К. Нарышкиной. С этого времени влияние и власть его значительно возросли. На Украине, в Польше и за границею Матвеева называли канцлером московского царя, его первым министром. Со смертью Алексея Михайловича положение Матвеева пошатнулось. Враги, в особенности Милославские, обвинили его в чародействе и разных умыслах против царя Федора. В 1677 г. он был сослан в Пустозерск, откуда в 1680 г. переведен в Мезень. Из ссылки писал много

писем, подавал царю челобитные. Однако положение его изменилось к лучшему лишь тогда, когда овдовевший Федор избрал себе в супруги крестницу Матвеева, Марфу Матвеевну Апраксину. Матвеев вернулся в Москву 12 мая 1682 г., уже после смерти Федора, и погиб через три дня во время стрелецкого бунта, подготовленного Милославскими. Является автором трудов: «Всех великих князей московских и всея России самодержцев и титла, и печати», «Избрание и посылка в Кострому... и о походе к Москве по венчании на царство царя Михаила», «Описание всех великих князей и царей российских, славных в ратных победах, в лицах с историями». Ему приписывают также «Летопись о мятежах».

[34] *Диоклетиан* — римский император, предпринявший в 303—304 гг. жестокие гонения на христиан.

[35] В 1453 г. пала Византия, ее столица Константинополь была захвачена турками и переименована в Стамбул.

[36] *Гавриил* — сербский архиепископ из знатного рода Раичей. В 1655 г. вместе с антиохийским патриархом присутствовал в Москве на соборе, где Аввакум восстал против Никонова исправления книг. Получил от Алексея Михайловича щедрые дары для Сербии, но, по возвращении на родину, был обвинен в государственной измене. Турки пытали его, безуспешно принуждали принять магометанство и в 1659 г. повесили. Сербская церковь причислила Гавриила к лику святых.

[37] *Иларион* — с 1657 г. архиепископ рязанский и муромский. В большом соборе 1666—1667 гг. уличал Никона в неуважении к вселенским патриархам и других грехах. Торжественно прочел на русском языке приговор о низложении Никона. Но, вопреки ожиданиям, по окончании суда отказался подписать акт низложения, так как увидел в нем указание о подчинении власти патриаршей власти царской. Паисий Лигарид увещевал Илариона и Павла крутицкого, разъясняя, что царь имеет преимущество в политических делах, а патриарх — в церковных. Некоторое время Илариону было запрещено совершать церковную службу. Он был прощен лишь после полного раскаяния.

[38] *Кормчая книга* — принятый от константинопольской церкви в православной русской и других славянских церквах сборник правил церкви и относящихся к ней государственных узаконений, подвергавшийся после принятия разным дополнениям и изменениям. В XVII в., при патриархе Иосифе, она вновь пересматривалась и была перепечатана в 1650 г. Никон, после смерти Иосифа, приостановил печатание и распространение Иосифовой Кормчей книги, внес в нее свои

перемены и выпустил в 1653 г. с обращением от своего имени и дополнениями.

[39] Когда в 397 г. один из величайших отцов церкви Иоанн Златоуст был избран архиепископом Константинополя, он ввел строгие порядки: ограничил роскошь в столичном клире, покровительствовал бедным, строил больницы и другие благотворительные учреждения, обличал роскошь и суетность высокопоставленных лиц в государстве. Созванный врагами Златоуста собор осудил праведника по мелочным и лживым обвинениям и выслал из Константинополя. Едва Златоуст отбыл из города, как в столице случилось страшное землетрясение. Враги увидели в этом выражение гнева Господня и поспешили вернуть праведника. Но в 404 г. его вновь удалили с архиерейской кафедры и сослали в армянский город Кукуз, а через два года — в Пицунду, на пути в которую 14 сентября 407 г. Златоуст скончался в Команах.

[40] Греческий Номоканон в российских переводах получил название «Кормчая книга» (см. примеч. 38), которая, впрочем, иногда тоже именовалась по-гречески — российский Номоканон.

[41] *Юлиан Отступник* (331—363) — римский император, объявивший себя сторонником реформированной языческой религии и издавший антихристианские эдикты.

[42] *Даниил Заточник* — по легендарной версии, уроженец южного Переяславля, сосланный в XII в. на озеро Лаче Олонецкого края. Обратился к своему князю с письменным посланием «Слово (или моление) Даниила Заточника», являющимся известным памятником древнерусской литературы.

[43] *Варвара Великомученица* — пострадавшая в финикийском городе Гелиополе около 306 г. одна из наиболее почитаемых на Руси святых. Считается, что ей дана от Бога благодать спасения людей от внезапной насильственной смерти.

[44] *Наталия Кирилловна* (урожденная Нарышкина) стала женой царя Алексея Михайловича в 1671 г. Воспитанница боярина Артамона Матвеева (см. примеч. 33), она поддерживала при дворе прогрессивные начинания.

[45] *Федор Прокофьевич Соковнин* за преступление брата своего Алексея, пытавшегося убить Петра Великого, был сослан в 1697 г. в дальние деревни, где и скончался в том же году.

[46] *Нести к «четью-петью»* — то есть на богослужение в церковь.

[47] *Голицын* Василий Васильевич родился в 1643 г. Молодые годы провел в придворном кругу Алексея Михайловича в званиях стольника, чашника, государева возницы и главно-

го стольника. В 1676 г. в звании боярина был отправлен на Украину для предотвращения набегов крымских татар и турок. Участвовал в Чигиринских походах. Вернувшись в Москву, добился уничтожения на Украине института наместничества, вызывавшего особое недовольство украинцев. С 1682 по 1689 г., в период правления Софьи, страстно его любившей, стал во главе посольского приказа. 26 апреля 1686 г. он заключил вечный мир с Польшею, по которому Киев переходил в российские пределы Украины. С приходом к власти Петра I Голицын подвергнут жестокой опале и сослан на север в Архангельскую губернию, где он умер 21 апреля 1714 г.

Голицын был образованнейшим человеком своего времени, владел немецким, греческим и латинским языками. Он был сторонником реформ: развития образования в европейском духе, освобождения крестьян от крепостного права. Но в отличие от Петра I, который ориентировался на протестантскую Европу, Голицын испытывал симпатии к католической культуре.

[48] *Воротынский* Иван Алексеевич — двоюродный брат царя Алексея Михайловича по матери. В 1664 г. пожалован в бояре и дворецкие. Умер в 1679 г. С ним пресекся род Воротынских.

Одоевский Лев Никитич — боярин, управлял стрелецким и аптекарским приказами, а также приказом казанского дворца.

Волынский Василий Семенович в 1663 г. отправлен послом в Швецию; в 1666 г. вел переговоры со шведами, закончившиеся миром у реки Плюсы; в 1688 г. получил в управление сыскной приказ. Карьерой своей обязан не уму и способностям, а умению заискивать у сильных.

[49] *Мазепа-Колединский* Иван Степанович родился в православной шляхетской семье в 1644 г., воспитывался при дворе польского короля Яна Казимира. Любовная история с женой польского шляхтича заставила его покинуть двор и удалиться на Украину. Ротмистр гетманской надворной компании, потом писарь, он пристал к Дорошенко, женился на богатой шляхтенке, был послан в Турцию, но по дороге схвачен запорожцами и отправлен в Москву. Здесь он вкрался в доверие бояр и действовал уже во вред Дорошенко. Перейдя на службу к гетману Самойловичу, расположил к себе В. В. Голицына и с помощью интриг и наветов добился свержения Самойловича и избрания 25 июня 1687 г. малороссийским гетманом. В начале Северной войны деятельно помогал Петру I и в то же время вступил в тайный союз со

шведами. Осенью 1708 г. Петр приказал избрать нового гетмана. Им стал Скоропадский. Мазепа бежал и 22 августа 1709 г. умер в турецких владениях.

[50] *Енох* — седьмой патриарх, начиная от Адама, по библейскому выражению, «ходивший перед Богом», то есть стремившийся к высшей чистоте и святости. В награду за благочестие и веру Бог «взял его с земли». По Библии, перед вторым пришествием Христовым ожидается явление Еноха вместе с пророком Илией.

Илия (с евр. — «Бог моя сила») — пророк, ревностный поборник религии Иеговы. Был живым взят на небо, оставив в залог своих духовных сил Елисею верхнюю одежду, сброшенную уже с огненной колесницы, увозящей Илию на небеса.

[51] *Морозов* Борис Иванович — «дядька», воспитатель и друг царя Алексея Михайловича. В 1645 г. в сане близкого боярина стал главным руководителем царя в управлении страной, непременным членом всех совещаний в царской думе. Был женат на родной сестре царицы Милославской. Боярыня Морозова являлась женой его брата, Глеба Ивановича, занимавшего видное место при дворе, но рано скончавшегося.

[52] *Ирина Михайловна* (1627—1679) — старшая из семи дочерей царя Михаила Федоровича от второго брака. Придерживалась в своих религиозных убеждениях староотеческих преданий.

[53] Речь идет о будущем российском императоре Петре Великом, родившемся в 1672 г. от второй жены Алексея Михайловича Натальи Кирилловны Нарышкиной.

[54] *Иудифь* — героиня библейской «Книги Иудифи», в которой рассказывается, как царь ассирийский Навуходоносор отправил полководца Олоферна наказать непокорных иудеев. Иудеи укрылись в Ветилуе, осажденной Олоферном. Осада затянулась, городу грозила гибель. Тогда молодая и красивая вдова Иудифь притворной лаской добилась доверия Олоферна и отрубила ему голову. Иудеи разбили растерявшихся врагов.

Девора (с евр. — «пчела») — библейская героиня, возглавлявшая вооруженную борьбу древних евреев против ханаанского царя Иавина.

Есфирь — знаменитая библейская женщина послевавилонского периода, явившаяся к царю Артаксерксу (Ксерксу) и убедившая его отменить указ об истреблении иудеев. После отмены этого указа иудеи восстали и уничтожили своих врагов. В воспоминание о славной победе они установили особый праздник — Пурим.

[55] *Ромодановский* Федор Юрьевич при Петре I был избран начальником над потешным и регулярным войском, а после Кожуховского похода назван генералиссимусом. Уезжая в 1697 г. в заграничное путешествие, Петр I вверил Ромодановскому управление государством, присвоив ему титул князя-кесаря.

Ушаков Андрей Иванович — сын бедного дворянина, возведенный Петром I в звание тайного фискала, начальника тайной розыскной канцелярии.

Шешковский Степан Иванович — назначен Екатериной II секретарем тайной сыскной канцелярии. Посылая его в Москву по делу Пугачева, Екатерина II писала, что Шешковский «особливый дар имеет с простыми людьми и всегда весьма удачно разбирал до тонкости и доводил трудные разбирательства». Создал целую систему допроса «с пристрастием», приводившую в ужас подследственных. Несмотря на запрещение пыток, тайно их применял, и даже великосветские дамы за сплетни испробовали его кнута. В то же время усердно посещал церковь, а под стоны и раздирающие душу крики читал акафист сладчайшему Иисусу и Божьей Матери. Отсюда — ненависть, которую питали к нему все, от простого народа до царедворцев.

ФАНАТИК

Исторический рассказ

(с. 425—488)

Впервые — в издании: «Тимош и Фанатик. Исторические повести». СПб., 1891.

[1] *Алексей Петрович* (1690—1718) — старший сын Петра I от первой жены Е. Ф. Лопухиной. Воспитывался у матери в окружении духовенства и боярства, враждебного петровским преобразованиям. В октябре 1711 г. женился на принцессе Софье Шарлотте Брауншвейг-Вольфенбюттельской, от которой имел сына Петра (впоследствии император Петр II; 1715—1730).

Разногласия между сыном и отцом обострялись и принимали политический характер. Народная молва видела в царевиче Алексее надежду на освобождение из-под гнета петровских реформ. Семейный раздор вылился в борьбу партий. После смерти кронпринцессы Шарлотты (1715) царь письменно потребовал от сына, чтобы он исправился или ушел в монастырь, а в противном случае грозил поступить с ним как со «злодеем». Тогда царевич бежал за границу с любовницей Евфросиньей Федоровной. В Неаполе подосланные царем Петр Толстой и Алексей Румянцев уговорили царевича вернуться в Россию, поманив разрешением жениться на Евфросинье по вступлении в пределы России («чтобы меньше стыда было»). Первое свидание отца с сыном состоялось 3 февраля 1718 г. Царевич был лишен права наследовать престол и взят под стражу. Начался розыск сначала в Москве, потом в Петербурге, пытки, казни. Царевич также подвергался пыткам и 24 июня 1718 г. был приговорен к смертной казни, но скончался до ее исполнения (а по другой версии был задушен приближенными Петра I в Петропавловской крепости).

[2] Учреждение «всешутейшего и всепьянейшего собора» относится к 1694 г., когда Петр в доме своего любимца, немца Лефорта предавался забавам разрушения старого придворного этикета и русской православной церковности.

[3] *Екатерина Алексеевна* (1658—1718)—дочь царя Алексея Михайловича от первого брака. Держалась в стороне от политических событий и единственная не испытала на себе гнева Петра I. Была восприемницей при крещении Екатерины I.

[4] *Прасковья Федоровна* (1664—1723)—с 1684 г. жена царя Иоанна Алексеевича, мать императрицы Анны Иоанновны. Овдовев, проживала со своими дочерьми в с. Измайлове. Воспитанная в условиях старинного дореформенного уклада, она едва знала грамоту, была полна предрассудков и суеверий. «Двор невестки,—говорил про нее Петр I,—госпиталь уродов, ханжей и пустосвятов». В то же время она понимала необходимость образования и, к удовольствию Петра I, детей воспитывала в новом духе.

[5] *Након*—прием; «бил в три накона»—то есть трижды, в три приема.

[6] *«Слово и дело государево»*—так назывались в XVIII в. государственные преступления. В эпоху Петра I всякое словесное оскорбление государя или неодобрительное слово о его деятельности считались государственными преступлениями, караемыми смертью. Смертью каралось и недонесение, нежелание сказывать «слово и дело государево». Лиц, сказывающих за собою «слово и дело», велено было присылать из всех мест в Преображенский приказ, в Петербург. Даже члены семейств, опасаясь за собственную жизнь в случае недонесения, часто сказывали один на другого.

[7] *Толстой* Петр Андреевич (1645—1729)—граф, в 1717 г. оказал Петру I важную услугу, ловко обойдя царевича Алексея в Неаполе и склонив его к возвращению в Россию. За деятельное участие в следствии и суде над царевичем был поставлен во главе тайной канцелярии.

[8] *Екатерина I Алексеевна*—дочь литовского крестьянина Самуила Скавронского по имени Марта, жена шведского драгуна. По взятии Мариенбурга русскими принята в услужение к Шереметьеву, от Шереметьева перешла к Меншикову, а в 1705 г. ее увидел Петр и с тех пор не расставался с нею. В 1712 г. состоялся обряд крещения и брак Екатерины с Петром I. 28 января 1725 г. Екатерина I стала всероссийскою императрицей.

[9] *Наталия Алексеевна* (1673—1716)—дочь царя Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны, младшая сестра Петра I. В селе Преображенском устроила домашний театр, переведя сюда все убранство «комидийной храмины», помещавшейся прежде на Красной площади в Москве.

[10] *Стефан Яворский* (в миру Симеон; 1658—1722) — закончил Киево-Могилянскую академию; в 1684 г., «чтобы получить доступ в католические школы и продолжить образование», принял католичество под именем Станислава Симона. Учился в высших католических школах Львова и Люблина, Познани и Вильно. В 1687 г. вернулся в Киев, принес покаяние в своем отречении от православной церкви и постригся в монахи. Преподавал в Киево-Могилянской академии, был ближайшим помощником киевского митрополита в сношениях с московским правительством. В Москве его заметил Петр I и в 1700 г., после смерти патриарха Адриана, назначил местоблюстителем патриаршего престола. Петра привлекала западная ученость Яворского и свобода от традиций старой московской партии. Приверженцы старины видели в Яворском «латинца» и «еретика». Иерусалимский патриарх тоже обличал Яворского в ереси. Но Петр I этим не смущался, так как уже замыслил вообще уничтожить патриаршество, и даже Яворский в его глазах оказался приверженцем старины с католическими симпатиями в противоположность петровским, протестантским.

В феврале 1720 г. был утвержден новый устав духовной коллегии, а в 1721 г.— открыт Синод. Патриаршество упразднялось, но Яворский все-таки назначался президентом Синода, которого он не признавал, на заседания не являлся и бумаг не подписывал. Петр, очевидно, назначил его, чтобы придать хоть какую-нибудь санкцию новому управлению. Яворский находился под следствием, и только смерть его развязала затягивающиеся узлы.

[11] *Мария Алексеевна* (1660—1723) — дочь царя Алексея Михайловича от Марии Ильиничны Милославской. Несмотря на осторожное поведение свое во время царствования Петра I, была причастна к делу царевича Алексея.

[12] *Феофан Прокопович* (1681—1736) — закончил Киево-Могилянскую академию. По окончании курса уехал в Рим, перешел в католичество и обучался в иезуитской коллегии святого Афанасия. В 1704 г. Петр I вызвал его в Петербург, где Феофан в роли проповедника утверждал идею примата светской власти над властью духовной. В 1718 г. Петр сделал его епископом псковским и главным своим помощником в делах духовного управления: он составляет все законодательные акты по делам церкви, в том числе «Духовный регламент». С упразднением патриаршества Ф. Прокопович становится первенствующим членом св. Синода и проводит идеи, близкие к протестантским богословам, сталкиваясь

с католическими симпатиями Стефана Яворского. Будучи сторонником «просвещенного деспотизма», он был неуязвим для противников, вызывая глухой, копившийся гнев старорусской партии.

[13] Намек на жестокую расправу Ивана Грозного с митрополитом Филиппом.

[14] Имеется в виду Меншиков Александр Данилович (1673—1729), фаворит Петра I.

СОДЕРЖАНИЕ

Великий раскол

Часть первая

Часть вторая

Фанатик

Мордовцев Д. Л.

М 79 Сочинения. В 2 т. Т. 1. Великий раскол; Фанатик / Сост., вступ. ст. и коммент. Ю. Лебедева.— М.: Худож. лит., 1992. 509 с.

ISBN 5-280-02675-1 (Т. 1)
ISBN 5-280-02676-X

Даниил Лукич Мордовцев (1830—1905) — русский писатель-демократ, автор многочисленных исторических романов, имевших успех у широких кругов читателей. С особым вниманием и интересом относился писатель к народному движению разных эпох. В первый том входят романы «Великий раскол» и «Фанатик».

М $\frac{4702010101\text{-}183}{028(01)\text{-}92}$ без объявл. **ББК 84Р1**

ДАНИИЛ ЛУКИЧ МОРДОВЦЕВ

**СОЧИНЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ**

ТОМ ПЕРВЫЙ

Зав. редакцией *С. Князева*

Редактор *К. Нещименко*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Г. Морозова*

Корректор *Г. Ганапольская*

ИБ № 7376

Подписано в печать с готовых диапозитивов 04.03.92. Формат 84 × 108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,88. Усл. кр.-отт. 27,3. Уч.-изд. л. 27,56. Тираж 50 000 экз. Изд. № II-4468. Заказ 177. «С» — 007.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Отпечатано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Министерства печати и информации Российской Федерации. 113054, Москва, Валовая, 28.